



Межрегиональные
исследования
в общественных науках

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

«ИНОЦЕНТР
(Информация. Наука.
Образование)»

Институт имени
Кеннана Центра
Вудро Вильсона
(США)

Корпорация Карнеги
в Нью-Йорке (США)

Фонд Джона Д.
и Кэтрин Т. МакАртуров
(США)



Данное издание осуществлено в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках», реализуемой совместно Министерством образования и науки РФ, «ИНОЦЕНТРОм (Информация. Наука. Образование.)» и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения доноров и организаторов Программы.

Научный Совет

- | | |
|--|--|
| Барановский Владимир Георгиевич | — доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН |
| Дробижева Леокадия Михайловна | — доктор исторических наук,
профессор |
| Каменский Александр Борисович | — доктор исторических наук,
профессор |
| Мельвиль Андрей Юрьевич | — доктор философских наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ |
| Михеев Василий Васильевич | — доктор экономических наук,
член-корреспондент РАН |
| Федотова Валентина Гавриловна | — доктор философских наук,
профессор |
| Шестопал Елена Борисовна | — доктор философских наук,
профессор |
| Юревич Андрей Владиславович | — доктор психологических наук |

З О Л О Т А Я К О Л Л Е К Ц И Я

**ФИЛОСОФСКИЕ
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ**

Коллективная монография



МОСКВА
ОЛМА-ПРЕСС
2005

УДК 80
ББК Ю621.21+Ч110.4
Ф 563

*Печатается по решению Совета научных кураторов программы
«Межрегиональные исследования в общественных науках»*

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор *Р. Г. Апресян*,
доктор филологических наук, профессор *Е. Н. Ширяев*

*В оформлении использован фрагмент картины
Виктора Борисова-Мусатова «Водоем»*

Книга распространяется бесплатно

Ф 563 Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллективная моногр. / Отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 542 с. — (Золотая коллекция).

ISBN 5-224-05263-7

В коллективной монографии представлен философский очерк теории толерантности, разработана лингвокультурологическая проблематика: описаны языковые средства выражения толерантности, показано, как эта категория отражается в русской языковой картине мира; продемонстрированы формы проявления толерантности в пространстве функциональных стилей русской речи; охарактеризованы механизмы русского толерантного общения в аспекте традиций и новаций; выявлены проявления толерантности в межкультурной и внутрикультурной коммуникации.

Для лингвистов, философов, культурологов, специалистов в области других гуманитарных наук, а также для тех, кто интересуется проблемой толерантности.

**УДК 80
ББК Ю621.21+Ч110.4**

ISBN 5-224-05263-7

© Коллектив авторов, 2003
© АНО «ИНО-Центр (Информация.
Наука. Образование)», 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	9
РАЗДЕЛ 1. Философские аспекты проблемы толерантности.....	15
Толерантность и ее границы: размышления по поводу современной англо-американской теории. <i>М. Б. Хомяков</i>	15
Современный миропорядок и философия толерантности. <i>А. В. Перцев</i>	29
Русский менталитет: возможности толерантности. <i>Б. В. Емельянов</i>	51
Повествование и наука: от вражды к толерантности. <i>Е. Г. Трубина</i>	59
Принцип толерантности в риторике и поэтике. <i>В. Н. Маров</i>	83
Литература.....	95
РАЗДЕЛ 2. Выражение толерантности средствами языка.....	99
Толерантность и терпимость: взгляд лингвиста. <i>О. А. Михайлова</i>	99
Терпимость в русской языковой картине мира. <i>А. Д. Шмелев</i>	111

Толерантность и некоторые особенности русского менталитета в зеркале языка. <i>О. П. Ермакова</i>	124
Толерантность русского словообразования (на материале новообразований конца XX века). <i>Т. В. Попова</i>	132
Вербализация метаязыкового сознания как реализация принципа толерантности. <i>И. Т. Вепрева</i>	153
Толерантность и интенциональность орфографии в текстах современной рекламы. <i>А. И. Дунев</i>	165
Толерантность как вектор антиномического бытия языка. <i>Н. Д. Голев</i>	172
Литература	187
 РАЗДЕЛ 3. Толерантность в пространстве функциональных стилей и жанров русской речи	194
Толерантность, речевые жанры и функциональные стили современного русского литературного языка. <i>О. А. Крылова</i>	194
Проблемность и вопросительность: журналистские аналитические тексты вчера и сегодня. <i>Л. М. Майданова</i>	203
Оппозиция «провинция — столица» в журналистском тексте. <i>Л. В. Енина</i>	221
Научная полемика как эталон толерантного речевого общения. <i>М. Ю. Федосюк</i>	233
Телевизионная реклама как источник фрустрации. <i>Ю. Б. Пикулева</i>	246

Толерантность и виртуальная речевая среда. <i>О. П. Жданова</i>	261
Толерантность и естественная письменная речь. <i>Н. Б. Лебедева</i>	278
Толерантность как необходимое условие функционирования речевого жанра анекдота. <i>Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев</i>	288
Бытовая и идеологическая толерантность в художественном мире Владимира Высоцкого. <i>Н. А. Купина, К. В. Муратова</i>	296
Литература	318
 РАЗДЕЛ 4. Толерантность в речевом общении	 324
Толерантность и коммуникация. <i>И. А. Стернин</i>	324
Ритуалы вежливости и толерантность. <i>Н. И. Формановская</i>	337
Постулат искренности vs постулат толерантности и их произ- водные в разных культурных и языковых моделях поведения. <i>М. Я. Гловинская</i>	355
Русский разговорный диалог: зоны толерантного и нетолерант- ного общения. <i>И. Н. Борисова</i>	364
Речеповеденческие стратегии и тактики в конфликтных ситуациях. <i>Л. А. Шкатова</i>	389
Ошибка как средство коммуникативного контакта. <i>И. В. Шалина</i>	402
Литература	412

РАЗДЕЛ 5. Язык — культура — толерантность	419
Единицы лингвокультурного пространства (в аспекте проблемы толерантности).	
<i>Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров</i>	419
Национально-культурные традиции русского речевого поведения в зеркале автобиографической прозы.	
<i>Н. А. Николина</i>	433
Этностереотипы в современном языковом сознании: к постановке проблемы.	
<i>Л. П. Крысин</i>	450
«Свой» и «чужие»: межкультурная коммуникация и этнические стереотипы в чеховской России.	
<i>О. Йокояма</i>	455
Журналист как медиатор в межкультурной коммуникации.	
<i>Э. В. Чепкина</i>	466
О национально-культурных компонентах русской и китайской фразеологии.	
<i>Цун Япин</i>	477
Корпоративная культура и причины тревожных состояний.	
<i>Е. В. Харченко</i>	484
Очаги напряжения и конкуренция идеологем.	
<i>С. Ю. Данилов</i>	498
Толерантность как принцип культуры речи.	
<i>В. Е. Гольдин</i>	515
Литература	527
Сведения об авторах	533

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллективная монография, подготовленная учеными, которых объединил Уральский межрегиональный институт общественных наук, посвящена разработке проблемы толерантности в философском и лингвокультурологическом аспектах. Такое соединение подходов закономерно: до настоящего времени категория толерантности не осмыслена отечественной гуманитарной наукой; философская природа толерантности не описана в формах, приемлемых для научного гуманитарного сознания. Все это побудило нас предварить собственно лингвокультурологический анализ философскими очерками толерантности.

Раздел первый **«Философские аспекты проблемы толерантности»** открывается анализом англоязычных философских версий категории толерантности (М. Б. Хомяков), ее противоречивой природы, возможностей определений и интерпретаций. А. В. Перцев показывает, как тот или иной философский взгляд на толерантность определяет понимание миропорядка, вскрывает многогранный потенциал ключевого понятия. Поскольку русская философская традиция прямо не связана с толкованием толерантности, Б. В. Емельянов пытается выявить ментальные основания, которые могут стать фундаментом национального осмысления исследуемой категории. Философский анализ нарратива, обнаруживающий поворот от вражды к толерантности, предпринимает Е. Г. Трубина. От текста идет и В. Н. Маров, вскрывающий реализацию принципа толерантности в поэтике и риторике. Так осуществляется связь между философией и прочтением текста как речевого произведения. Все последующие разделы монографии включают исследование языковых структур в культурном контексте, проведенное с учетом философских оснований категории толерантности.

Раздел второй **«Выражение толерантности средствами языка»** демонстрирует системные возможности русского языка в номинации

и характеристики концепта «толерантность». Когнитивный подход позволил О. А. Михайловой предложить лингвокультурологическое определение толерантности, очертить поле толерантности в русской языковой системе. Культурологическое углубление в проблему приводит А. Д. Шмелева к выводу о специфике представления толерантности в русской языковой картине мира. Выводы А. Д. Шмелева углубляет О. П. Ермакова, демонстрирующая с помощью семантико-культурологического анализа ментальные оттенки лексического выражения толерантности. Последняя, как показывает Т. В. Попова на материале русских отаббревиатурных образований, проявляется в словообразовательных механизмах языка, приспособляющего «чужое» к своим правилам и законам. Толерантность рассматривается как принцип, лежащий в основе метаязыковых высказываний-рефлексивов (И. Т. Вепрева), отражающих отношение носителей языка к «чужому». Свойственное русскому менталитету соединение противоположностей имеет частные проявления, например, в орфографии современных рекламных текстов (А. И. Дунев), и может быть описано в общем плане, если рассмотреть толерантность как вектор антиномического бытия языка (Н. Д. Голев). Авторы данного раздела сумели доказать, что русский язык, не имеющий исконного слова для обозначения анализируемого концепта, выработал систему средств, предназначенных для представления ментально ценностных содержательных составляющих концепта «толерантность». Более того, действие механизмов языковой системы обнаруживает формально определенные реализации принципа толерантности.

Раздел третий **«Толерантность в пространстве функциональных стилей и жанров русской речи»** переключает внимание читателя на тексты, которые закреплены за конкретными сферами деятельности и отражают специфику определенного типа общественного сознания. О. А. Крылова показывает, что толерантность выступает как конструктивный принцип возрождающегося церковно-религиозного стиля речи. Анализ жанровых типов Рождественских и Пасхальных посланий позволяет отграничить именно на основании принципа толерантности церковно-религиозный стиль от публицистического. Последний анализируется Л. М. Майдановой и Л. В. Ениной, в центре внимания которых разные стороны проблемы толерантно-

сти. Так, Л. М. Майданова приходит к выводу о том, что смена свойственной текстам советской публицистики модальности долженствования вопросительностью и неуверенностью, тенденция к аналитичности открывают перспективу развития современной публицистики по линии толерантности. Л. В. Енина обнаруживает отражение в публицистических текстах культурных стереотипов, препятствующих толерантности. Преломление толерантности в научной полемике наблюдает М. Ю. Федосюк, выделяющий эталонные речевые структуры, поддерживающие толерантность как условие научного спора. Особое внимание уделяется анализу рекламных телевизионных текстов, которые нередко служат источником фрустраций, порождают напряжение и чувство озабоченности (Ю. Б. Пикулева). Углубляет представление о толерантности исследование текстов в виртуальной речевой среде (О. П. Жданова), не подвергшейся до настоящего времени кодификации. Нерегламентированная сфера речи рассматривается Н. П. Лебедевой, обнаруживающей проявления толерантности в граффити и других произведениях «естественной письменной речи». Другую естественную сферу проявления толерантности фиксируют Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев. Рассматривая функционирование анекдотов, они обнаруживают коммуникативные неудачи, связанные с несоблюдением принципа толерантности, который должен входить в коммуникативную стратегию и реализовываться в характерных для русской речевой культуры тактиках рассказывания/восприятия анекдотов. Раздел завершается лингвокультурологическим анализом толерантности в художественном мире В. Высоцкого (Н. А. Купина, К. В. Муратова). Идеологическая, этническая, бытовая, коммуникативная толерантность, отраженная в песенном сверткесте, позволяет составить представление о ментально ценностных гранях толерантности в собственно русской и советской культурах.

Раздел четвертый **«Толерантность в русском речевом общении»** посвящен коммуникативной толерантности. И. А. Стернин, отталкиваясь от теоретического определения коммуникативной толерантности, формулирует группу задач, решение которых необходимо для практической толерантной коммуникации в современной России. Н. И. Формановская, основываясь на описании ритуалов вежливости, предлагает интерпретацию оппозиций «я — другой», «свой — чужой»,

составляющих фундамент этикетной толерантности. Важнейшими составляющими коммуникативной гармонии являются постулаты искренности/толерантности, которые, как показывает М. Я. Гловинская, по-разному проявляются в тех или иных моделях поведения, в разных культурах. Внимание И. Н. Борисовой сосредоточено на зоне толерантного общения, которая выделяется в пространстве русского разговорного диалога, является его ментальной характеристикой и находит специальные формы речевого выражения, поддерживающие коммуникативную координацию. Конфликтные зоны диалогического общения рассмотрены Л. А. Шкатовой, описывающей речеповеденческие тактики, наполняющие конфликт. Предлагается группа методик, направленных на диагностику конфликта и моделирование приемов речевого поведения в конфликтных ситуациях. И. В. Шалина обращается к сочинениям абитуриентов и находит связь между типом ошибки и коммуникативным результатом. Рассматривается выбор коммуникативного режима как объективный фактор толерантности.

Раздел пятый **«Язык — культура — толерантность»** включает труды, устанавливающие многообразные связи и отношения между языком и культурой, а толерантность рассматривается как феномен внутрикультурной и межкультурной речевой коммуникации. Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров исследуют созначения единиц, которые употребляются в функции лингвокультурных операторов, причем содержательный потенциал этих единиц (логоэпистем — в терминологии авторов) позволяет предложить их типологию. Внутрикультурный и межкультурный диалог структурируется на базе содержащих ментально специфические культурные смыслы логоэпистем, обуславливающих действие механизма обратной связи, взаимоприятия, взаимопонимания.

Источником выявления традиций внутрикультурной толерантности становятся тексты русской автобиографической прозы (Н. А. Николина), отражающие особенности русского речевого поведения. Характеризуются традиции общения в семье, ролевые стереотипы и стереотипы собственно речевые в различных ситуациях коммуникативного взаимодействия. Выведенные закономерности могут послужить надежной базой для моделирования ментально характеризованных схем толерантного диалогического поведения, прежде всего внутрисемейного.

Этническая толерантность — острая проблема современного российского общества — имеет лингвистические корни. Л. П. Крысин выявляет наличие в общественном сознании этнических стереотипов, создающих очаги напряжения. Он характеризует слова, фразеосочетания и конструкции, употребление которых заостряет отличия, выводит особого рода коннотации, маркирует инокультуру как чуждую. Изучение этнокультурных речевых стереотипов помогает осознать устойчивые представления об этносе. Этностереотипы анализируются и О. Йокоямой, извлекающей соответствующие речевые формулы из прозы А. П. Чехова. Опираясь на репродуцированные писателем речевые формы межэтнического взаимодействия в различных бытовых ситуациях, О. Йокояма ищет основания межэтнической толерантности, фиксирует эти основания в случаях нейтрализации оппозиции *свой — чужой*. Эта оппозиция, как показывает Э. В. Чепкина, проявляется и в современном журналистском дискурсе: на лексическом, лексикофразеологическом уровнях при насыщении категорий автора и персонажа. Существенные для осмысления межэтнической толерантности наблюдения содержатся в работе Цун Япин, исследующей культурологические смыслы русских и китайских фразеологизмов.

Очаги напряжения в корпоративной культуре фиксирует Е. В. Харченко, в распоряжении которой находятся данные социолингвистических экспериментов. Устанавливаются причины тревожных состояний, формы вербализации тревоги, предлагается лингвистическая методика нейтрализации тревоги. С. Ю. Данилов показывает, что причиной напряжения могут стать вступающие друг с другом в противоречие стереотипы. Отталкиваясь от результатов лингвокультурологического анализа школьных сочинений, он диагностирует состояние языкового сознания школьников и учителей в аспекте толерантности.

Культурно-речевая ситуация в современной России в целом не может быть охарактеризована как толерантная. В. Е. Гольдин полагает, что толерантность должна стать принципом культуры речи, предполагающим принятие «чужого», а значит, и инокультурных форм речевого существования.

Проведенное коллективом авторов исследование толерантности показало необходимость, но недостаточность философского взгляда

на проблематику в целом. Аспектный подход углубляет представление о самой категории толерантности и ее конкретных проявлениях в разных сферах общественного бытия. Лингвокультурологическое исследование толерантности позволяет предложить рабочее определение, установить системно-языковые средства выражения толерантности, построить лингвокультурологическую типологию толерантности, выявить очаги напряжения в письменных монологических текстах и диалогических структурах, теоретически обосновать лингвистическую диагностику культурно-речевой ситуации, разработать основы технологий толерантного коммуникативного взаимодействия — внутрикультурного и межкультурного.

Н. А. Купина

РАЗДЕЛ 1

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЕЕ ГРАНИЦЫ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ТЕОРИИ

М. Б. Хомяков

Толерантность представляет собой весьма сложное понятие. Практически все современные исследователи говорят о фундаментальной его противоречивости. Иногда толерантность объявляют невозможным явлением (хотя, одновременно, и необходимым). Так, согласно точке зрения одного из ведущих британских философов морали Бернарда Уильямса, толерантность именно невозможна — причем ни как добродетель, ни как ценность. Фактически единственное, о чем можно говорить непротиворечиво, так это о некоторых практиках толерантности, базирующихся на основаниях, всецело отличных от морального фундамента принципов. По Уильямсу, подобные практики могут быть основаны на скептицизме, индифферентности, некоторой широте взглядов или на своеобразном неогоббсианском прагматическом «равновесии интересов», но вовсе не на понимании толерантности как добродетели или ценности. Все дело в том, что под толерантностью всегда имеется в виду нечто большее, нежели просто отказ от насилия — как в случаях чистого расизма или кровной мести, когда от людей требуется попросту «потерять их ненависть, их предрассудки... Если мы просим людей быть толерантными, то мы просим о чем-то гораздо более сложном. Им действительно будет нужно утратить что-то — их желание подавить или уничтожить иное верование; но они также что-то и сохраняют,

а именно приверженность тем своим представлениям, которые и породили это желание...» [Williams 2000: 73]*. Здесь, как представляется, и лежит корень проблемы: с одной стороны, имеется то, что кажется нам морально ошибочным, с другой же — мы именно как субъекты морали обязываемся допускать существование этого ошибочного. Иначе говоря, толерантность в собственном смысле требуется только по отношению к тому, к чему вообще нельзя относиться терпимо. А значит, объем этого понятия сжимается до нуля. Как выражает это сам Уильямс, толерантность «...кажется невозможной, поскольку она ... требует думать, что некоторые представления или практика являются абсолютно неверными ... и в то же самое время полагать, что имеется некоторое внутреннее благо в том, чтобы позволить им процветать» [Williams 2000: 73]. Указанная Уильямсом трудность действительно является чем-то вроде внутреннего парадокса толерантности. Сьюзан Мендус в ставшей сегодня классической книге «Толерантность и границы либерализма» так определяет этот парадокс: «Утверждение Боссуэта о том, что «у меня есть право преследовать тебя, поскольку я прав, а ты нет», показывает нам эту трудность: сложно объяснить необходимость толерантного отношения к тому, что люди считают ошибочным, одновременно считая, что мы ничего не потеряем от уничтожения данной практики...» [Mendus 1989: 18].

Хотя Мендус и даже Уильямс все же находят некоторое разрешение данного парадокса (в утверждении либеральных ценностей, связанных с автономией личности), кажется, что именно эта фундаментальная трудность в определении толерантности обуславливает широкое разнообразие подходов, имеющихсся в современной политической теории. Однако, уже в силу указанного выше парадокса, все они, наряду с оправданием толерантности, подразумевают и существование того, что не может быть терпимо — и не только в качестве чего-то, определяющего толерантность негативным образом (негативно — в смысле Спинозовского *omnis determinatio est negatio*), но и парадоксально — в качестве собственного объекта толерантности. Иными словами, все эти концепции различают два вида нетерпимого: такое, к которому все же можно (и нужно) относиться

* Цитаты приводятся в русском переводе М. Б. Хомякова. *Ред.*

толерантно, и такое, которое ни при каких условиях терпимо быть не может. Понятно, однако, что конкретное определение этого нетерпимого будет зависеть от определенного *типа обоснования* толерантности, то есть от существенных характеристик той или иной теории.

Таких типов можно выделить несколько. Согласно Питеру Николсону, толерантность может быть обоснована либо негативно (через невозможность или, чаще всего, нерациональность интолерантности), либо позитивно (как некоторое благо, ценность и добродетель). Позитивные обоснования, в свою очередь, распадаются на те, которые обосновывают толерантность через какое-то другое благо (прогресс, свободу, справедливость), и те, которые полагают толерантность некоторым благом-в-себе [Nicholson 1985: 158—173]. Тем самым мы имеем, по крайней мере, три возможных способа определения нетерпимого: по прагматическим основаниям, через отрицание какого-либо внешнего блага и через собственные границы толерантности, которые она, как и всякая добродетель (если, конечно, только она является таковою), имеет.

Прагматические границы толерантности

Толерантность прежде всего есть практика «обычных» людей. Философская концепция, как обычно, — *primum vivere deinde philosophari* — следует за этой практикой, а идеологические схемы лишь делают более прочным уже достигнутый мир. Но достигается-то этот мир вовсе не по принципиальным основаниям, а — как это чаще всего бывает с практикой — по утилитарным и прагматическим соображениям. Поэтому вполне объясним тот факт, что и первые обоснования необходимости толерантности в теории отражали такое положение дел, ссылаясь на нерациональность преследования диссидентов. Таковы «Послания о веротерпимости» Локка, таковы взгляды Мильтона, к этому же в конечном счете можно свести и более ранние аргументы Кастеллио или Пьера Бейля. Для них интолерантность иррациональна, ибо не может достичь своей цели — привести к истинной религии. И прежде всего потому, что никто не может твердо знать истинности своей религии (хотя, конечно, вполне

может верить в ее истинность). Некоторые (в их числе и Локк) добавляют к этому старый библейский аргумент о невозможности принуждения к вере, из которого также следует утверждение толерантности по прагматическим основаниям.

Итак, вопрос здесь состоит в том, каковы границы так понятой толерантности. Ответ вполне очевиден: если толерантность необходима попросту потому, что интолерантность не достигает своих целей, она перестанет быть нужной, если только гонения окажутся эффективными. То есть если кому-то удастся показать, что плодотворная интолерантность все-таки возможна (либо в силу изменения конкретных условий, либо по причине перемены общей теоретической перспективы), прагматическая толерантность теряет всякую ценность. Именно поэтому, по Фоме Аквинскому, толерантно следует относиться к тем ересям и религиям, борьба с которыми приведет к еще большему злу (но не ко всем остальным диссидентам, борьба с которыми не только возможна, но и желательна). Именно поэтому Джонасу Просту удалось противопоставить тезису Локка о невозможности принуждения к вере *концепцию опосредованного влияния* насилия. В самом деле, по Просту, хотя и невозможно в строгом смысле слова заставить человека верить во что-либо, ограниченное насилие вполне может *побудить* его более внимательно рассмотреть основания своих представлений. Если это так, интолерантность иррациональна лишь в самых крайних своих проявлениях, ибо, конечно, совсем уж неразумно казнить человека, желая обратить его в свою (истинную) веру.

Таким образом, границы толерантности вполне могут интерпретироваться *прагматически* и даже чаще всего понимаются именно так в политической практике. Толерантность, с этой точки зрения, ценна до тех пор, пока она эффективна; в противном случае вполне закономерны разной степени суровости меры воздействия. Такое понимание, однако, само весьма ограничено — своей принципиальной неустойчивостью. Если выбор толерантности зависит от конкретных изменяющихся условий, не существует никаких гарантий невозобновления Варфоломеевской ночи или религиозных войн — если только кто-то сможет доказать, что полное уничтожение той или иной группы, во-первых, возможно, а во-вторых, желательно ради того или иного «общего блага». В конце концов, ведь именно прагматическими соображениями гонители чаще всего объясня-

ют свою нетерпимость. Если обратиться к совсем недавнему примеру, предложение группы депутатов Государственной Думы вернуться к закону 1933 года, предусматривающему уголовное наказание за гомосексуализм, имеет абсолютно прагматические основания: борьбу со СПИДом, заботу о моральном и физическом здоровье нации и т. д. Проблемы прав человека данный дискурс попросту не ставит.

Наконец, последний и очень яркий в этой связи пример. Историкам и философам хорошо известна эволюция взглядов Св. Августина, который перешел от достаточно широкой толерантности к той «трактовке» донатизма, которая позднее стала теоретической основой Священной Инквизиции. Причем сам Августин объяснял этот свой поворот именно практическими соображениями. Так, в письме к донатисту Винценту он заявляет: «Мое мнение сначала состояло в том, что никого не следует принуждать к единству во Христе. ...Затем, однако, я уступил фактам... Я отказался от этого своего мнения не из-за каких-то контраргументов, но в силу доказанных фактов... Прежде всего мне указали на мой собственный город, который был совершенно донатистским, но страхом императорских законов был обращен к католическому единству...» (цит. по: [Lamirande 1975: 14—15]). Поскольку толерантность Августина была основана на убеждении в неэффективности интолерантности, именно факты, а не какие-то абстрактные рассуждения-контраргументы побудили его изменить свою точку зрения. Однако нельзя отрицать и того, что в некоторых случаях прагматические соображения работают как нельзя лучше — ведь именно ими были остановлены кровавые религиозные войны новоевропейской истории, и это конкретное решение оказалось вполне устойчивым (хотя скорее всего, как мы увидим в дальнейшем, такая устойчивость связана с тем, что практические выходы из положения были осмыслены теоретически и превратились в твердые принципы европейского морального сознания).

Итак, прагматическая толерантность определяется эффективностью и полезностью своего применения, что, в свою очередь, ограничивает и саму эту концепцию, поскольку основанные на ней решения проблем оказываются недолговечными. Такое положение дел заставляет искать *принципиальные* подходы к проблеме. Следует, правда, заметить, что одним из условий такого поиска будет обретение мира, то есть именно практическое решение вопроса.

Границы «благотворной» толерантности

Одним из принципиальных решений вопроса является утверждение, что толерантность связана с некоторым благом, развитию которого она способствует. Поворотной точкой от чисто прагматических решений и утверждений о неразумности интолерантности к разработке понятия толерантности как некоторой ценности считается эссе Джона Стюарта Милля «О свободе».

Милль в России знают главным образом как утилитариста. Между тем отношение эссе «О свободе» к «Утилитаризму» далеко неоднозначно и до сих пор является предметом самой оживленной дискуссии исследователей. Дело в том, что Милль сумел заложить теоретические основы, на которых до сих пор зиждется либеральная мысль, и основы эти вовсе не совершенно утилитарны. Толерантность здесь становится частью свободы индивида не только от государственного вмешательства в его частную жизнь, но и от давления гораздо более широкого — влияния большинства общества. Для викторианской Британии такое вмешательство было слишком характерно, а воздействие общества на индивида столь сильно, что, согласно Миллю, принимало форму некоторой «тирании большинства».

Дело в том, что в XIX веке власть более не противостоит народу как нечто ему внешнее; в качестве демократии она стала собственной властью нации. В этом случае уже не может идти речи о тирании правителя, поскольку правительство лишь выражает волю своего народа. Проблема, однако, состоит в том, что и сама нация вполне может быть тираном, а потому народоправство обязательно должно быть также ограничено, иначе «тирания большинства» выльется в тираническую политику государства. Именно от этой тирании, по Миллю, и следовало защищать индивидуальную свободу.

Однако свобода, собственно говоря, не есть ценность-в-себе. Она не может (и не должна) быть беспредельной, но всякое ее ограничение должно быть обосновано и может производиться лишь на основании некоторых твердо установленных критериев. Сама в себе свобода содержать этих критериев, конечно, не может. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос о нетерпимом у Милля, мы должны спросить себя: зачем вообще нужна эта самая индивидуальная свобода, какому идеалу служит ее развитие? «Тирания большинства», отвечает Милль,

ведет к воплощению «китайского идеала, создания похожих друг на друга людей», к установлению единообразия гомогенного общества [Mill 1947: 73]. Следовательно, свобода, напротив, ведет к разнообразию, различию, а именно последнее, по мнению философа, является условием подлинного прогресса. Толерантность, согласно этой теории, ценна уже не потому, что невозможна нетерпимость, а потому, что она способствует общественному развитию. В самом деле, несмотря на то, что Милль всячески подчеркивает автономию личности, он, по словам С. Мендус, защищает ее, «настаивая на том, что дух свободы является «единственным... вечным источником усовершенствования», и оправдывает как принцип, в котором заинтересован человек «в качестве прогрессивного существа»» [Mendus 1989: 59]. Милль считает свободу согласной с утилитаризмом, хотя она *по видимости* и противоречит принципам последнего. Действительно, если общество не должно принуждать человека к чему-либо, даже если он и станет от этого более счастливым, такое противоречие налицо, ибо утилитаризм рассматривает как благо все, что ведет к увеличению совокупного счастья. Однако, раз человек по своей природе есть существо развивающееся, свобода непосредственно входит в условия его *истинного счастья*. Или, как об этом говорит сам английский философ, «я считаю пользу (utility) последним критерием во всех этических вопросах; но это должна быть польза в самом широком смысле, основанная на вечном интересе человека как прогрессивного существа» [Mill 1947: 11].

Казалось бы, границы свободы и толерантности в этом случае должны определяться их реальным вкладом в развитие и улучшение человека. Иначе говоря, если прогресс является основным благом, то и терпеть мы должны только то, что ему (прогрессу) способствует. Однако такое утверждение, по Миллю, было бы абсолютно неверно. Дело в том, что свобода не является *инструментом* прогресса (поскольку она не производит его сама по себе); свобода есть скорее *условие* прогрессивного развития общества. А это означает, что, по сути дела, любое ограничение индивидуальной свободы есть препятствие для такого движения вперед. Поэтому индивид у Милля является «абсолютным сувереном над самим собой, над своим умом и телом» [Mill 1947: 10] и его автономия не подвластна *никакому* ограничению. И все же нетерпимое существует, а значит, имеют-

ся и вынужденные пределы свободы. Но картина в общем и целом переворачивается: если в Средние века — да и в раннее Новое время, впрочем, тоже — единообразие верований считалось благом, а толерантность к различиям, в лучшем случае, полагалась необходимым злом, теперь необходимым злом становятся скорее некоторые неизбежные униконформность и конформность, а также вынужденные ограничения свободы.

Сам Милль считает главной задачей своего эссе утверждение «одного очень простого принципа, которым полностью должно руководствоваться общество в его отношении к индивиду». Принцип этот состоит в том, что «самозащита является единственной целью, ради которой человечеству дано право ... вмешиваться в свободу действий любого его представителя. ... Единственной задачей, ради которой должным образом можно применить власть по отношению к члену цивилизованного сообщества против его воли, является предотвращение вреда для других его членов. Его собственное физическое или моральное благо не является здесь достаточным основанием» [Mill 1947: 9]. Конечно, «очень простой принцип» вовсе не так прост: работа Милля до сих пор служит камнем преткновения во многих дискуссиях. И дискуссии эти по большей части касаются этого самого принципа ограничения индивидуальной свободы посредством утверждения недопустимости нанесения вреда другим людям (*harm principle*).

Прежде всего само понятие вреда очень размыто и вряд ли может служить принципом точного разделения «терпимого» и «нетерпимого». Один из известных исследователей Милля, некогда его защитник, а ныне противник Джон Грей задает ряд вопросов, связанных с проблемой практического определения этого самого вреда. А именно: «...действительно ли Милль хочет, чтобы читатель относил «вред» только к физическому вреду, или же во всякое применение принципа свободы должен быть включен класс морального вреда, наносимого личности? Должен ли тот вред, который предотвращается ограничениями свободы, наноситься определенным индивидам, или его можно также рассматривать и в отношении институтов, социальных практик и форм жизни? Может ли серьезное оскорбление чувств считаться вредом, насколько это касается ограничений свободы?» [Grey 1983: 49]. Эти вопросы остаются практически без ответа, а меж-

ду тем именно от ответа на них зависит понимание границ толерантности в следующих Миллю либеральных учениях.

Говоря коротко, может быть два основных способа понимания вреда, наносимого другим людям. Эти способы можно назвать соответственно слабой и сильной моделями. Согласно модели слабой, в понятие вреда включается любой моральный ущерб, всякое оскорбительное деяние. По сильной модели, вред есть лишь физическое воздействие — убийство, насилие и др. Согласно первой модели, в разряд нетерпимого попадет слишком многое, вполне допустимое в современном демократическом обществе. Второе понимание, однако, оставляет в обществе место пропаганде насилия, расовой дискриминации и др. К тому же и вне зависимости от различия этих моделей остается вопрос об определении вреда как такового. Это последнее затруднение демонстрируют дискуссии феминистов с либералами по поводу допустимости порнографии. Если либералы, основываясь на принципах свободы слова, полагают допустимым «приватное» чтение порнографии, то феминисты настаивают на абсолютном ее запрещении. Для либералов «приватное» употребление порнографических материалов допустимо, поскольку оно не наносит физического вреда (не способствует росту числа изнасилований, например), и, значит, права потребителя подобного сорта материалов не должны как-то ограничиваться. Для феминистов, однако, само существование порнографии свидетельствует об отношении «мужского общества» к женскому телу как к средству для получения наслаждения. Такое отношение представляет собой именно вред, причем прямого «физического сорта», вовсе не менее калечащий личность, чем изнасилование. Как бы то ни было, утилитарное понимание границ толерантности, как мы видим, вовсе не очевидно, и понимание нетерпимого здесь зависит от способа интерпретации понятия вреда.

Наконец, необходимо отметить, что теория Милля вполне может стать основой и совершенно нелиберальных выводов. В самом деле, вовсе не очевиден тот факт, что свобода и автономия личности являются необходимыми условиями морального прогресса. В конце концов, еще из Библии известно, что свободный выбор вовсе не всегда есть выбор морально лучшего. Можно сказать, что теория Милля основывается на своеобразном оптимизме по отношению к челове-

ской природе, что неизбежно ограничивает возможности ее применения. Вряд ли с таким оптимизмом согласится подавляющее большинство христиан, считающих эту самую природу фундаментально испорченной грехопадением. Вспомним в этой связи хотя бы утверждение Августина о том, что человек «не может не грешить» (non potest non peccare).

Милль хорошо понимает эти границы и вводит еще один принцип, ограничивающий свободу индивида, принцип *моральной зрелости* человека для свободы и автономного выбора: «...эта доктрина предназначена только для людей в состоянии зрелости их способностей. Мы не говорим о детях или о молодых людях младше того возраста, который закон определяет как возраст мужской или женской зрелости (manhood or womanhood). <...> По той же самой причине мы можем не рассматривать те прошлые состояния общества, в которых сама человеческая раса может считаться находящейся в незрелом возрасте. <...> Деспотизм является вполне легитимным способом правления при обращении с варварами, при условии, что целью будет их улучшение, а средства оправданы тем, что они действительно способствуют достижению этой цели» [Mill 1947: 10]. Отсюда, при всем оптимизме Милля, действительно следуют очень неутешительные выводы, к примеру, по отношению к некоторым Британским колониям. Варварство, как и детство, не способно к свободному выбору, и потому, в сущности, не дает нам примера истинной автономии. Свобода хороша для подданных королевы, достигших состояния совершеннолетия.

Применение теории Милля на практике в современном обществе оказалось бы лишением права на свободу многих культур, кажущихся западной цивилизации «варварскими». В конечном счете не это ли происходит сегодня с отношением либерального большинства к мусульманам и не прагматические ли только соображения удерживают западную цивилизацию от нового крестового похода?

Введение еще одного критерия, кроме принципа ненанесения вреда — зрелости человека как морального существа, — делает теорию Милля попросту нелиберальной. Дело в неопределенности самого этого критерия. Кажется, что сам Милль определяет зрелость как такое состояние, при котором автономный свободный выбор ведет к моральному усовершенствованию личности. Такое усовершен-

ствование означает предпочтение «высших» наслаждений «низшим» (вспомним в этой связи отличие Милля от Бентама, не различавшего «игру в кнопки» (pushpin) и поэзию). Отличие «высшего» от «низшего» же, в свою очередь, определяется не чем иным, как *собственным моральным* идеалом Милля. В таком случае варварством можно объявить все, такому идеалу не соответствующее. И в самом деле, мы видим, что и сам Милль подчас поддается такому искушению. К примеру, вовсе не либерально звучат сегодня следующие его размышления об «истинном» браке: «Я не буду пытаться описать, чем может быть брак между двумя личностями с развитыми способностями, согласными друг с другом во мнениях и целях, между которыми существует наилучший вид равенства, а именно подобие сил и способностей. ... Но я утверждаю с глубочайшим убеждением, что это, и только это, является идеалом брака и что все мнения, обычаи и институты, поддерживающие любое другое понятие о нем либо поворачивающие планы и стремления, связанные с ним, в любом другом направлении ... являются остатками первобытного варварства» [Mill 1983: 177]. В таком случае вообще непонятно, зачем свобода в отношении брака, если любые другие формы его суть не что иное, как «варварство», «незрелость», то есть, по мнению Милля, свободу исключающие?

Итак, толерантность у Милля ограничивается, во-первых, вредом, наносимым другим членам общества, и, во-вторых, моральной зрелостью человека и общества. Оба эти принципа поддаются самым различным толкованиям, что весьма сильно подрывает данный тип обоснования.

Проблема, однако, заключается, кроме всего прочего, в том, что современный либерализм, несмотря на всю его кажущуюся новизну и отрицание утилитаризма, в целом остается в пределах модели Милля. Так, например, Джон Роулс в своей «Теории справедливости», отвергнув все «телеологические» способы мысли (к которым он относит прежде всего именно утилитаризм), все же основывает свою теорию во многом на принципе автономии личности Канта и Милля. В более поздней работе («Политический либерализм»), правда, он, пытаясь отказаться от любой метафизики, в том числе и кантовской, провозглашает некоторый особый, «политический» либерализм в противовес либерализму «теоретическому» (comprehensive).

Суть такого политического либерализма, по Роулсу, состоит в том, что в условиях «разумного плюрализма» различных доктрин и теорий, в спорах о справедливом устройении общества мы должны руководствоваться вовсе не этими доктринами (в их число на сей раз попадает и учение об автономной личности), но соображениями права. Сомнительность такого решения, однако, очевидна: совершенно необъяснимым остается то, с какой стати цельная личность, имеющая твердые убеждения, будет временно отказываться от них в политических спорах о наиболее справедливом устройении общества. Отсутствие здесь сколько-нибудь убедительного решения побуждает многих либералов, среди которых много и тех, кто видит всю сложность ситуации мультикультурализма, возвращаться к принципу автономии личности. Так, например, Уилл Кимлика полагает, что «самая основательная либеральная теория основана на ценности автономии и что любая форма групповых прав, ограничивающая гражданские права членов группы, тем самым несовместима с либеральными принципами равенства и свободы» [Kimlicka 1996: 95]. Кимлика при этом вполне осознает тот факт, что в условиях мультикультурализма вовсе не всякая культура считает прогресс благом, а автономию причисляет к достоинствам личности. Либеральное государство, считает он, вовсе не обязано абсолютно жестко следовать своим принципам и насильственно насаждать либерализм в любых группах, проживающих на его территории. Вопрос о «насаждении либерализма», по Кимлике, является чисто практической проблемой, при решении которой необходимо принимать во внимание множество более специфических вопросов, таких, например, как вопросы «степени нарушения прав в той или иной группе, степени согласия в группе по поводу легитимности ограничения индивидуальных прав, возможности для диссидентов выйти по своему желанию из состава этой группы, существования исторических соглашений с меньшинством...» [Kimlicka 1996: 95] и т. д.

И все же, несмотря на очевидную практичность, данное решение оставляет нерешенным затруднение теоретического плана, поскольку, по сути дела, объявляет основной принцип либерализма утопией в современном мире. Здесь может быть два пути: один, оптимистический, состоит в том, что постепенно нелиберальные меньшинства признают ценность автономии личности и вступают на путь «цивили-

зованного» человечества. Надежда на такой ход событий напоминает нам об оптимизме Милля. Другая возможность заключается в усилении противоречий в связи с дальнейшим развитием мультикультурного общества. Но в этом случае, несмотря на то, что пока «имеется мало места для насильственного вмешательства», поскольку большинство проблем, возникающих между либеральным большинством и нелиберальными меньшинствами, может быть разрешено «посредством мирных переговоров» [Kimlicka 1996: 96], в грядущем либеральное государство придет либо к насилию, либо к полному отказу от своих собственных принципов. Некоторые из постмодернистских теоретиков политики прогнозируют гибель либерализма вообще и принципа толерантности в частности, поскольку, по их мнению, «либеральная толерантность предполагает культурный консенсус по поводу ценностей, даже когда допускает различия в представлениях. Это — идеал, неадекватный для обществ, в которых глубокое моральное разнообразие становилось как факт жизни» [Grey 2000: 323—333]. Трудно сказать, по какому пути пойдет современное общество, но пока, несмотря на многочисленные теоретические и практические трудности, все же очевидно, что известие о гибели либерализма несколько преувеличено.

Толерантность как благо-в-себе

Здесь можно сказать очень немного. Питер Николсон, указывая на теоретическую возможность понимания толерантности как самостоятельного блага, на деле говорит очень мало о том, как вообще оно возможно практически. Ведь если толерантность есть благо-в-себе, то есть является благом через саму себя, а не через что-то иное, то она не нуждается в каком-либо обосновании этой ее благодати. Между тем (и сам П. Николсон признает это) благодать толерантности является наиболее дискуссионной характеристикой этого понятия. Если это так, если ценность толерантности для своего утверждения в обществе нуждается в философском обосновании, как можно говорить о ее внутренней благодати?

Здесь имеется, правда, один трюк, к которому прибегают и Николсон, и некоторые другие авторы (в их числе и авторы Декларации

принципов толерантности ЮНЕСКО). Толерантность незаметно подменяют каким-то иным, близким по смыслу, но все же не абсолютно тождественным понятием. Так, Николсон заявляет, что под толерантностью следует понимать уважение к личности человека, а упомянутая выше Декларация определяет ее как уважение к разнообразию культур. Внутренняя ценность уважения, конечно, гораздо более очевидна, нежели имманентная благодать толерантности. Однако здесь очевидна и опасность подмены понятий, ведь уважение, как представляется, есть нечто большее, чем толерантность.

Здесь можно указать на два способа понимания этого самого уважения. Если речь идет, например, об уважении мнений, поступков, к которым мы должны относиться толерантно, то при таком понимании практически полностью уничтожается момент морального несогласия, внутреннего неприятия таких мнений или поступков. Тем самым о толерантности, согласно самому определению Николсона, речи идти не может. Поэтому теоретики предпочитают говорить об уважении личности (или культуры) при моральном несогласии с мнениями или поступками этой личности. Эта формула напоминает нам христианскую заповедь о ненависти к греху, но любви к грешнику. Аналогия, однако, показывает и опасность такого понимания, ведь совершенно не ясно, почему уважение к личности должно препятствовать борьбе с мнениями или поступками этой личности; точно так же любовь к грешнику не только не мешала Священной Инквизиции искоренять ересь, но даже побуждала ее к этому. Понимание этой опасности заставляет вводить принцип уважения к правам человека, концепция которых воскрешает принцип автономии личности Милля и, в конечном счете, вновь уводит нас от интерпретации толерантности как блага-в-себе.

На очерченные вопросы и сомнения в современной теории толерантности нет однозначных ответов. Каждая из описанных выше концепций имеет свои сильные и слабые стороны, а потому дискуссии о толерантности как ценности вовсе нельзя считать завершенными. Толерантность — одна из самых противоречивых ценностей современного общества. Эта противоречивость, однако, не снижает ее значения, но скорее отражает крайнюю сложность того мира, в котором обречен жить современный человек.

СОВРЕМЕННЫЙ МИРОПОРЯДОК И ФИЛОСОФИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

А. В. Перцев

Анализ последнего десятилетия российской истории, начавшегося 1991 годом, заставляет видеть **актуальность проблемы** толерантности в новом свете, говорить о необходимости движения от толерантности политической к толерантности ментальной.

В это десятилетие Россия перестала пролагать уникальный путь исторического развития и прекратила тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы направить силой или увлечь на этот путь другие народы и страны. В новой для себя роли *действительного*, а не номинального члена мирового сообщества России приходится осваивать новые правила жизни, основанные на этике толерантности. Утверждение принципов толерантности в ее внутренней и внешней политике уже не может быть предметом споров — это выражение жизненных интересов страны и народа.

С этим, как казалось, были согласны все основные политические силы страны. Отказ от насилия, потрясшего страну в 1993 году, переход к общественному примирению, к конструктивному парламентскому диалогу представлялся долгосрочной перспективой развития России. Основываясь на опыте перехода к индустриально-рыночному обществу в странах Запада, аналитики ожидали устойчивого роста толерантности, укрепления правового государства, развития правосознания.

Столь же многообещающим представлялось и развитие толерантности в сфере международных отношений. Прекращение холодной войны, непримиримого противостояния между блоками на мировой арене открывало перспективы перехода к качественно новому миру, в котором все острые проблемы могут решаться за столом переговоров, а не на полях сражений.

Развитие событий в России и в мире в первые годы XXI века во многом поколебало эти надежды. Движение России к правовому го-

сударству оказалось значительно более медленным, чем это ожидалось. Это движение обеспечивается сегодня не столько реальным ростом правосознания населения, сколько усилением государственного аппарата, осуществляющего функции государственного принуждения силовыми методами. Некоторые политические силы России, не добившись успехов на парламентском поприще, демонстрируют попятное движение. Они покидают стол переговоров, угрожая перейти к политике внепарламентской конфронтации, к давлению на парламент и правительство посредством уличных акций. Это чревато развитием экстремизма.

Резкое обострение международной обстановки в мире, произошедшее в последние месяцы 2001 года, говорит о той же тенденции: неудача толерантного диалога, ощущение проигрыша за столом переговоров заставляют делать ставку на силовое давление, терроризм, военные акции. Сегодня, после террористических ударов по США, после активизации террористической деятельности в Израиле, после развязывания «почтовой» бактериологической войны во многих странах мира и после начала ответных антитеррористических операций, может возникнуть впечатление, что политика толерантности дискредитировала себя как неэффективная. Может даже показаться, что не склонная к толерантности сторона расценивала ее как проявление слабости, что толерантность лишь провоцировала эскалацию. Да можно ли говорить об актуальности исследований толерантности тогда, когда некоторые аналитики завели речь о начале Третьей мировой войны?

Представляется, что говорить об актуальности исследований толерантности можно и нужно. Причем именно сегодня. Однако требуется иная расстановка акцентов и приоритетов. Собственно говоря, это следовало сделать уже давно по чисто теоретическим резонам. Сегодняшние всплески насилия в мире лишь подталкивают к давно назревшим теоретическим выводам.

Уроки развития современных международных отношений показали: толерантность в том виде, в котором она главным образом исследовалась доньше, это:

— толерантность, принципы которой были развиты в космосе западной культуры, — культуры индустриально-рыночной цивилизации;

— толерантность, достигаемая в отношениях между людьми, которые принимают европейские ценности, распространявшиеся на протяжении Нового времени усилиями просвещения и ставшие ныне под названием «общечеловеческих ценностей» основой для документов международного сообщества;

— толерантность, обеспечиваемая и обосновываемая сугубо рациональными средствами, достигаемая на разумной основе, причем «разум» опять-таки трактуется в традиции европейской культуры.

Однако реакция на террористические удары, наблюдавшаяся во всем мире, убедительно продемонстрировала, что «общечеловеческие ценности», некогда открытые и обоснованные в космосе европейской культуры Нового времени, разделяются далеко не всеми. Речь идет не только о так называемых «странах-изгоях», не только об экстремистски настроенных кругах в мусульманских странах. В России, как и в других странах, являющихся членами ООН, по результатам экспресс-опросов, значительная часть населения отнеслась к ударам террористов по США, к гибели тысяч людей с безразличием, а порой — и со злорадством. Каким бы ни был исход контртеррористических операций, эта часть населения останется при своем мнении.

Возникает закономерный вопрос: почему воспитание в духе гуманизма, уважения к правам человека, признания высшей ценностью человеческой жизни — воспитание, которым, как предполагается, занимается вся система образования в России и в иных странах мира, оказывается в значительной мере неэффективным? Почему западноевропейская культура, ценности которой (свобода, демократия, уважение к правам человека, толерантность и ненасилие) были предназначены стать базовыми для мирового сообщества, так и не привилась, не пустила корни в умах представителей целого ряда социальных слоев? Почему во всех странах мира, включая европейские, ширится движение против нее, известное как движение антиглобалистов? Почему оно находит разнообразную поддержку со стороны влиятельных социальных сил в России?

Эти и подобные им вопросы определили **целевые установки данного исследования**, связанные с анализом причин попятного движения от толерантности к конфронтации и разработкой стратегии развития ментальной толерантности.

Считаем необходимым:

— рассматривать все виды современной конфронтации в стране и в мире не просто как противостояние политическое, но как столкновение непримиримых менталитетов;

— изучать эти менталитеты, не принимая их конфронтацию как непреодолимую данность, которая не может быть изменена никакими средствами, но искать корни различия менталитетов в различии образов жизни их носителей;

— разрабатывать новые методы постижения этих менталитетов, опираясь на достижения «понимающей философии» [Дильтей 1996; Ясперс 1992, 1997], которая не ограничивается чисто рационалистическим их исследованием либо позитивистским описанием их проявлений;

— основываясь на принципе, согласно которому политика есть искусство возможного, искать новые основания для налаживания толерантного диалога, новые пути преодоления конфронтации.

Есть все основания полагать, что сформировавшееся представление о толерантности* оказывается достаточно ограниченным. Причиной неудач политики, основанной на таком представлении о толерантности, оказывается именно поверхностность или тенденциозность последнего. Сегодня, как никогда ранее, важно понять, что толерантность политическая и моральная еще не обеспечивает действительного взаимопонимания между представителями различных этносов, социальных слоев, между носителями различных культур.

Многие сторонники толерантности видят в ней панацею от всех социальных бедствий, в то время как толерантность *лишь промежуточный этап в движении от конфликта к действительному взаимопониманию и взаимодействию*.

Исследователю, который поставил своей целью изучение проблем толерантности, постижение и достижение ее, естественно, представляется *конечным результатом*, итогом. Если толерантность будет достигнута на практике благодаря его усилиям, он сочтет свою задачу полностью выполненной. Но это всего лишь взгляд специа-

* Обзор современных представлений о толерантности содержат работы: [Хомяков 2000; Коваль, Семенов 2000].

листа, который сосредоточил свое внимание на решении частной задачи, перестав видеть общую картину. А в рамках общей картины толерантность — это лишь *промежуточное состояние*, лишь *переход*, который не может затягиваться надолго.

Толерантность — это переходное состояние от конфликта, который может вылиться в насилие, к взаимопониманию и сотрудничеству.

При таком изменении взгляда на проблему многие ее стороны начинают видеться по-иному. Состояние толерантности как состояние переходное не может быть самоцелью. Долго оставаться в этом промежуточном состоянии невозможно: если нет движения вперед, к взаимопониманию и сотрудничеству, неизбежно соскальзывание назад, к открытому конфликту, который может разгореться с еще большим ожесточением.

Толерантность политическая и моральная — это позиция неустойчивого равновесия. Хотя бы потому, что устойчивость в отношениях между людьми не может основываться на одной только доброй воле и рациональных этических соображениях. Разум — вещь гибкая и изменчивая. В каждую следующую секунду он уже не равен себе прежнему. Строить на нем — значит строить на песке. Устойчивость может обеспечиваться только рутинными, вошедшими в привычку, то есть уже не требующими осмысления и постоянного морального выбора, действиями. Говоря иными словами, устойчивая толерантность должна основываться не только на решении разума, которое может измениться, но и на привычке, которая срабатывает квазиавтоматически, став органической составляющей менталитета.

Следует учесть, что отдельный человек вовсе не тождественен своему разуму, как было принято полагать у просветителей и их наследников. Сегодня никто из серьезных исследователей не подпишется безоговорочно под сентенцией Гегеля: «Человек есть дух». Есть множество психических факторов, способных заставить человека отказаться от сознательно принятого решения. А потому полагаться на сознательное решение при построении прочных межчеловеческих отношений нельзя, даже если принявший его человек отличается уравновешенностью и дает зарок быть верным своему слову. Что же касается группы людей, малой или большой, или народа, взятого в целом, то даже во времена просветительства эти сообщества отнюдь не рассматривались как сообщества мыслителей,

склонных к сознательному самоограничению. К сожалению, достаточно нескольких провокаторов, чтобы в одночасье разрушить с таким трудом достигнутые отношения толерантности, прекратить тяжелый переговорный процесс, нацеленный на мирное урегулирование конфликта.

Толерантность всегда неустойчива потому, что она возникает в конфликтной ситуации. Конфликт сложен и отличается остротой. И толерантность сама по себе не разрешает этого конфликта, не устраняет его причин, не снимает противоречия между конфликтующими сторонами. Она всего лишь переводит развитие конфликта в относительно мирное, ненасильственное русло. Отсутствие войны еще не означает мира. Стороны конфликта остаются на своих исходных позициях. Они всего лишь отказываются от вооруженной борьбы. Конфликт продолжается за столом переговоров. «Горячая» война переходит в «холодную» и ведется до тех пор, пока существует образ врага. Но разрушить образ врага невозможно, не заменив его другим образом — причем образом привычным, хорошо знакомым, воспринимаемым как нечто само собой разумеющееся. Это возможно только при переходе к устойчивому сотрудничеству.

Конфликт, перенесенный с поля «горячей» или «холодной» войны за стол переговоров, может развиваться по двум основным сценариям.

Первый сводится к тому, что одна из сторон, навязав оппоненту военное перемирие, продолжает добиваться своей *победы* иными, «ненасильственными» средствами. Кавычки здесь вполне уместны, поскольку экономическая экспансия или блокада, массированное насаждение своего образа жизни на территории вчерашнего врага под прикрытием переговоров едва ли можно считать формами ненасильственного мирного существования. Это всего лишь иные, невоенные способы добиться от противника капитуляции. Таким же способом принуждения к капитуляции является использование своего превосходства в аргументации, достигаемое путем навязывания оппоненту состязания на своем культурном поле, по своим правилам, выступая одновременно и состязающейся стороной, и арбитром, определяющим победителя. Научно-рационалистическое *перубеждение оппонента* также является продолжением войны другими сред-

ствами. Не случайно слово «полемика», ныне использующееся в научных спорах, первоначально означало войну до полного поражения противника на поле боя.

Иными словами, первый сценарий предполагает понимание толерантности как средства обеспечения победы над противником без использования насильственных средств. Победы, достигаемой не мытьем, так катаньем, не мощью оружия, так мощью экономической или мощью интеллектуальной. Победа здесь равнозначна утрате противником его идентичности, отказу от собственной системы основополагающих жизненных ценностей. Нет ничего удивительного в том, что, почувствовав себя проигравшим, оппонент снова берется за оружие.

Второй сценарий предполагает устремленность не к победе, а к установлению устойчивого *сотрудничества* со вчерашним противником. Точно так же, как победа может быть обеспечена только при условии совместных действий представителей армии, экономики, политики и культуры, сотрудничество может быть достигнуто только при реализации единой жизненной стратегии представителями всех этих основных родов человеческой деятельности.

Правда, довольно трудно представить себе армию, которая ставит перед собой иную цель, чем победа над врагом, армию, которая не имеет перед собой образа «вероятного противника». Это трудно, но возможно. На протяжении последнего десятилетия российская армия живет без такого образа. В возможности этого убеждает идея войск ООН, осуществляющих миротворческие функции, а также реализация концепции сотрудничества России с НАТО, не направленного против третьих стран. Идея борьбы не с народами, а с террористами как международной антигосударственной и антиобщественной силой способствует развитию в том же направлении: соединяющие свои усилия армии как вооруженные силы государств выступают гарантами сохранения принципа государственности вообще. Наконец, современные армии в сотрудничестве своим способны противостоять природным и экологическим катастрофам. На наших глазах обретает вес и новое содержание идея войсковых формирований Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, постоянно готовые к сотрудничеству с коллегами из других стран, все более воплощают в себе единое человечество, противостоящее природной стихии и бедствиям техногенного происхождения.

Жизненная стратегия, направленная не на победу, а на сотрудничество, проявляется и в экономике. Экономика сотрудничества с самого начала ориентирована на кооперацию, она не стремится к самодостаточности, изоляции, постоянно готовясь таким образом к войне и условиям изоляции. Достижение такого уровня международного разделения труда, при котором ни один сколько-нибудь сложный продукт не может быть произведен полностью в рамках отдельной страны, является наилучшей гарантией мира. Антимонопольное законодательство также представляет собой барьер, поставленный на пути экономики, нацеленной на победу над конкурентами и последующий тоталитарный диктат на рынке.

Та же жизненная стратегия, ориентированная на сотрудничество, реализуется и в сфере культуры. Она ведет к отрицанию национального пуризма, взаимообогащению культур. Примеров реализации такой жизненной стратегии достаточно и в театре, и в музыке, и в киноискусстве, и в литературе.

Сказанное не означает, что итогом жизненной стратегии сотрудничества должно стать полное слияние и взаиморастворение социальных субъектов, полная утрата ими идентичности. Плодотворной является не утрата противоположности жизненных стратегий борьбы и единения, не победа одной из них над другой, а постоянное взаимоограничение их. Процесс развития межчеловеческих отношений — один и тот же, только видится он по-разному представителям различных жизненных стратегий. Индивидуальный или социальный субъект, постоянно нацеленный на борьбу, победу, подавление противника и собственное торжество, видит этот процесс так:

...→конфликт→толерантность→взаимодействие→конфликт→...

Жизнь постоянно представляется ему движением от конфликта к конфликту. Он всегда готов, вслед за Гераклитом, воскликнуть: «Война есть отец всего!»

Напротив, индивидуальный и социальный субъект, постоянно нацеленный на поиски диалога и сотрудничества, видит тот же самый процесс развития межчеловеческих отношений иначе:

...→взаимодействие→конфликт→толерантность→взаимодействие→...

Жизнь для него — это движение от интерсубъективности к интрасубъективности, от сотрудничества к новому сотрудничеству

в иной форме, прерываемое конфликтами и продолжительными поисками их смягчения посредством развития толерантности.

Эти два противоположных способа видения одной и той же жизни достаточно хорошо известны всем и каждому. Но весьма трудно представить себе кого-либо, кроме, пожалуй, профессиональных исследователей и поборников толерантности, кто видел бы развитие межчеловеческих отношений так:

...→толерантность→взаимодействие→конфликт→толерантность→...

Это лишний раз доказывает: толерантность есть лишь промежуточная, неустойчивая, кратковременная фаза в движении от конфликта к сотрудничеству и взаимодействию.

Если толерантность — всего лишь промежуточная, хотя, разумеется, и крайне важная, весьма сложнодостижимая фаза в развитии межчеловеческих отношений, то акцент переносится с изучения *толерантности как акта*, то есть толерантности самой по себе, на изучение *толерантности как потенции для чего-то иного*. *Толерантность как действительность* оказывается менее интересной, чем *толерантность как возможность для взаимодействия* или для возобновления конфликта с применением насилия.

Толерантность есть усилие духа и души. Возвращение к конфликту в насильственной его форме есть неудача этого усилия, попятное движение. Война — всего лишь усилие тела, руководимого инстинктами и прагматически ориентированным интеллектом. Дух и душа в это время дремлют, просыпаясь в краткие минуты привала. Но и рутинное сотрудничество, отлившееся в однообразные, стереотипные формы и застывающее в них, усилий духа и души тоже не требует. Это — царство хайдеггеровского *das Man**, абсолютной *безличности*, на которую перекладывается неприятный груз мышления и принятия решений.

Войны и рутинное экономическое взаимодействие в условиях мира занимали большую часть времени человечества. Тем не менее краткие вспышки неординарной деятельности духа и души, связан-

* Прекрасный анализ хайдеггеровского учения о *das Man* содержится в кн.: [Слотердайк 2001: 227—244].

ные с поиском нового образа жизни и нового образа мыслей, всегда были неизмеримо более интересными для любого интеллектуала. Великие философии возникали именно в поисках толерантности — тогда, когда требовалось найти новую стратегию жизни в нестерпимых условиях, вызывающих сартровскую экзистенциальную тошноту. Тогда, когда жить по-старому было уже невозможно, но и новая жизнь, складываясь она хаотично, грозила бы привести к бунту, бессмысленному и беспощадному.

Если учесть все сказанное ранее, то необходимо признать необходимость совершенно нового подхода к исследованию философии и культуры прошлого. Ранее история философии писалась как история конфронтационного мышления. Теперь следует восстановить историческую истину и обратиться к той стороне истории философии, которая доныне оставалась в тени, — в ней следует найти и историю мышления толерантного, нацеленного на взаимопонимание, сотрудничество и преодоление конфликтов. Прошрое толерантного мышления должно помочь нам развить его в настоящем.

Философия Нового времени отнюдь не была философией революции. Она была философией избегания революции, философией предотвращения ее, философией обуздания страстей, уже вырвавшихся на волю при ломке старых, чересчур узких рамок.

Ф. Бэкон был лордом-канцлером Англии и, по должности, главным судьей в государстве, правителем страны в отсутствие короля. На титуле знаменитой книги Т. Гоббса, всю свою жизнь прожившего при дворе, Левиафан — великан, защищавший людей, в различных изданиях принимал «то облик Кромвеля, то Карла II» [Абрамов 2000: 8]. Покровителем Дж. Локка был лорд Эшли, впоследствии ставший лордом Шефтсбери и Великим канцлером Англии. Именно Локк выступил в трактате «О правлении» защитником английской Славной революции, которая привела к власти принца Вильгельма Оранского. «Здравый смысл Локка нравился Вильгельму и внушал большое доверие и уважение; поэтому он во всех затруднительных случаях обращался за советом к философу» [Литвинова 1996: 191]. Французские просветители были в числе интеллектуальных друзей Екатерины II. И. Кант устраивал в своем доме обеды для аристократов и генералов феодальной Пруссии. Гегель прославлял прусскую

конституционную монархию как наиболее отвечающий требованиям Абсолютного Духа политический режим.

Зная это, трудно признать справедливость характеристики западной философии Нового времени как философии буржуазной. (Может ли быть однозначно *буржуазным* ближайший советник главного феодала страны?) Факты здесь явно принесены в жертву марксистской схеме. На самом деле великие философы менее всего думали об интересах только одного общественного класса или слоя. Они думали о благе народа в целом, а потому всячески старались способствовать взаимопониманию и примирению социальных слоев. Они видели основные тенденции в развитии страны и, разумеется, приветствовали одни из них и не приветствовали другие. Но даже тогда, когда они принимали сторону одной из социальных сил, они использовали все свое влияние и дар убеждения, чтобы предотвратить социальные катаклизмы и потрясения, которые могли возникнуть в связи с общественными преобразованиями. Если же этого не удавалось сделать, они выступали за скорейшее переведение конфликта в ненасильственную форму и достижение общественного согласия.

Можно сказать, что европейские философы Нового времени в большинстве своем были людьми, создававшими свои учения для обеспечения плавного, основанного на взвешенных компромиссах, на взаимной толерантности перехода от традиционного общества к обществу индустриальному. Они полагали, что своим влиянием на сильных мира сего смогут смирить страсти в стране, добиться того, чтобы переход от одной формы цивилизации к другой произошел малой кровью. Они в равной степени ненавидели и застой традиционного общества, и разрушительный хаос массовых бунтов. Каждый из них мог бы сказать известные слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая страна». Именно потому эти люди поддерживали буржуа в аристократе и аристократа — в буржуа, стремясь таким образом снять остроту социальной конфронтации в переходный период, перевести развитие в русло толерантности и сотрудничества.

Ситуация, в которой необходимо выбирать из двух зол (застоя и бунта), но надо выбрать при этом *нечто третье*, а именно требующую великой толерантности постепенность прогрессивных реформ, возникает тогда, когда в обществе назрели необратимые перемены.

За последнее десятилетие своей истории Россия успела осознать одинаковую пагубность позднефеодальной рутины «развитого социализма» и анархии «дикого рынка».

Как представлялось, с началом процесса, именуемого «перестройкой», странам, ранее входившим в состав СССР и социалистического лагеря, удастся перейти к демократии без особых проблем. К такому мнению можно было прийти, учитывая общий кризис тоталитарной системы, неспособность ее обеспечить экономическое развитие и процветание граждан, негативное отношение к ней в последние годы во всех без исключения слоях общества, даже в высших, не удовлетворенных ее возможностями, — словом, учитывая все, что можно выразить собирательным понятием «усталость от социализма».

Первые десятилетия посттоталитарного развития в странах бывшего «советского блока», несмотря на явное копирование ими государственного устройства западных демократических обществ, не привели к возникновению действительно демократического устройства жизни. Попытки новой власти вступить в демократический диалог с народом были расценены как признак ее слабости — в сравнении с «сильными» тоталитарными властями прошлого. Это спровоцировало анархию, сопровождавшуюся насилием. Преодоление анархии привело, в свою очередь, к всевластию чиновников. Все сферы жизни посттоталитарных обществ оказались под их контролем, который погасил широкую общественную инициативу, нацеленную на преобразование и поиски нового.

Демократизация «по западному типу» потерпела относительную неудачу вовсе не потому, что не были скопированы *формы* устройства западного демократического общества, не потому, что недоставало желания демократизировать общество, не потому, что оказалась чересчур сильной и косной государственная машина. Как политик, так и чиновник в посттоталитарном обществе всегда ориентируется на общественное мнение в стране и предпринимает «реставрационные» меры только тогда, когда рассчитывает на поддержку широких общественных слоев. *Первоочередным препятствием для демократизации «по западному типу» является ментальная инерция, по-разному проявляющаяся у представителей каждого общественного слоя в посттоталитарных обществах.*

Вывод, который является единственно возможным для России сегодня, это, по сути, тот же вывод, который был сделан в аналогичных исторических ситуациях в Англии и во Франции: спасти страну способна только толерантность, которая соединяет крайности — вначале на «социалистическом» предприятии (без банкротства и массовых увольнений), переходящем к «рынку», затем — в парламенте, где правые и левые, доныне склонные к насильственному подавлению противника, привыкают не только выслушивать друг друга, но и сотрудничать в одних и тех же комиссиях, решая конкретные проблемы жизни страны, а далее — и в фигуре правителя, сочетающего в себе монарха и буржуа.

Жизненная стратегия толерантности, нацеленной не на победу над противником, а на конструктивное сотрудничество с ним, требует глубокого изменения сознания общества и индивида. Оно должно освободиться от боевитости и непримиримости — причем не только в этике и в политике, на поверхности, но и в глубине, в основополагающих мировоззренческих представлениях, в сфере онтологии и гносеологии.

Нацеленность на победу возможна только при условии веры в свою абсолютную правоту. Философия, нацеленная на победу, оперирует понятиями «истина» и «заблуждение». Философия толерантности допускает множественность истин, которая соответствует множественности жизневоззрений в индустриально-рыночном обществе. При однообразии мышления у всех членов общества не может быть ни рынка, ни разделения труда, ни свободы предпринимать. Рынок, разделение труда, свобода предпринимать ежедневно, ежечасно порождают разнообразие мышления. Только философ способен глубокомысленно рассуждать, что тут первично, что вторично. В жизни и в жизневоззрении человека практического — от уличного торговца до капитана индустрии — изменение в действиях происходит неразделимо с изменениями в менталитете. Его мышление неразрывно сплетено с практической деятельностью и постоянно изменяется вместе с ней.

То, что именовалось в философских учениях четырех прошлых веков Природой, Разумом, Волей, на самом деле вовсе не было чем-то объективно реальным, принадлежащим к космическим, бытийным

силам. Это были лишь философские смыслообразы, выражающие состояния и движения народного менталитета, — разумеется, в зависимости от того, каким видел его философ и каким он желал его видеть, активно навязывая свое видение другим. Наглядные примеры из неорганического царства, из жизни растений и животных были всего лишь проясняющими аналогиями или способами подвести читателя к выводам, касающимся его собственного социального бытия. Если естествоиспытатель говорит о камнях или атомах, то он говорит именно о них — без всякой задней мысли. Но если философ рассуждает об атомах, самопроизвольно отклоняющихся от падения по прямой, о душах-монадах камней, которые спят без сновидений, о реализации Объективного Духа в царстве механики, химии и органики, о Творческой Эволюции в мире растений и животных, то можно быть уверенным: он говорит, намекая на человека, подталкивая читателя к выбору определенной жизненной стратегии.

Философия, трактующая материю как объективную реальность, живущую по своим собственным законам, не подвластным влиянию человека, на деле формирует таким образом сознание, которому остается только «отражать, копировать, фотографировать» существующий социальный порядок. Это философия охранительная, философия, сковывающая и убивающая всякую инициативу субъекта. Не может быть двух принципиально разных отражений, копий, фотографий одного и того же предмета. Могут быть лишь разные *точки зрения* на него. Различные наблюдатели (не деятели!) смотрят на одну и ту же вещь с разных сторон. Поэтому их истины-отражения односторонни и частичны, относительноны и субъективны. Но кто это говорит? Кто может обвинять в частичности, односторонности, относительноности и субъективности? Только тот, кто удивительным образом видит вещь всесторонне, абсолютно, в целом и объективно. Как она есть. Такая объективность не может быть суммой субъективностей, а тем более не определяется большинством при голосовании. Такая объективность свойственна только провидцу и ясновидцу, проникающему взглядом в самую суть — к вещи-в-себе. А сущность, как известно, никогда не складывается из суммы явлений.

Это — авторитарная теория познания, доминирующая в традиционных, а тем более в «догоняющих» обществах. Одна истина — одна партия — один вождь. Именно на эту роль — духовного вождя и на-

ставника — претендуют метафизик и теолог, донельзя боевитые и нацеленные на победу, вооруженные *оружием* логики, *арсеналом* аргументов и методов.

Проблема современного российского общества — как внутренняя, так и внешняя, возникающая при взаимодействии его членов с иными культурами, — состоит в преодолении собственного авторитарного мышления, постоянно нацеленного только на войну с противником и на победу над ним. Время не воевать, а строить. Строить общество, в котором нет и не может быть приказа и бездумного повиновения, нет и не может быть презрительного слова *отсебятина*, заменяющего слово *инициатива*. Время строить общество, в котором разномыслие и разнодействие не надо *разрешать* и *терпеть*, поскольку они становятся необходимыми и естественными.

Традиционное общество существует не только и не столько в наблюдаемых формах организации человеческой деятельности, сколько в том, как видят мир и жизнь в нем люди. Нетерпимость к инакомыслию в традиционном, а также и в вечно «догоняющем» обществе имеет не моральное происхождение: она коренится, в конечном счете, в вынужденном навязывании всем безальтернативного образа действий. Нетерпимость к инакомыслию вполне соответствует образу жизни, образу хозяйственной деятельности членов традиционного или «догоняющего» общества и постоянно будет воспроизводиться до тех пор, пока этот образ жизни не изменится.

Пока скудные условия жизни без всяких излишков — от урожая до урожая, от зарплаты до зарплаты — будут порождать страх голода и нищеты, традиционное общество и низшие слои «догоняющего» общества будут держаться изо всех сил за отработанный веками способ деятельности предков. При натуральном хозяйстве все делают всё и должны делать это строго единообразно, как делали их отцы, деды и прадеды. *Поскольку способ видения вещи определяет способ действия с ней, образ вещи должен быть единообразен у всех.* Обучение и воспитание в традиционном обществе сводятся к усвоению такого единообразного видения вещей как *предметов*, как того, что дано заранее в одинаковом для всех виде. Вещь такова, какой ее видит старший, подающий пример деятельности с этой вещью для всех. Но его авторитет подкрепляется распространением убеждения

в том, что вещь такова по своей сущности, на самом деле, *по природе своей*, что она такова от Бога.

В Америке начала XX века был распространен анекдот, комизм которого определялся странностью мышления, свойственного традиционному обществу, во времена общества индустриального. Когда у одной старой дамы, вполне освоившей первую массовую машину Форда — модель «Т», спросили, не считает ли она, что у этого автомобиля должна быть еще одна передача, она заявила: «Если бы Господь захотел, чтобы она была, он сотворил бы ее». Услышавший эту вполне реальную историю американец искренне веселился, потому что понимал, насколько его собственный способ видения предмета как созданного человеческим умом и трудом расходится с тем способом восприятия предмета как Божьего творения, который существовал в традиционном обществе.

Два этих способа видеть предмет несовместимы. Один, свойственный старой леди, предполагает смирение перед Божьей волей, пассивное принятие ее. Ясно, что никакого технического прогресса при таком видении предмета достигнуть невозможно. Другой предполагает, что предмет дан не от века, не от Природы, не от Бога. Предмет этот — предмет индустриального общества — придуман и создан человеком, а значит, человеком же может быть изменен. Согласимся, что старые, свойственные традиционному обществу гносеологические формулы звучат применительно к предметам общества индустриального несколько странно: *Природа автомобиля состоит в том, что...; Сущность автомобиля заключается в...; Следует отличать сущность автомобиля от явления автомобиля... и т. п.*

Видение предмета, предуготовленное и сформированное схоластической гносеологией в традиционном обществе, предполагает и вполне определенные отношения между людьми. Налицо явное неравенство: кому-то предмет предстает всего лишь как явление, а кто-то видит его сущность. Естественно, что второй из них имеет право поучать первого, наставлять его и всячески командовать им.

Ни о какой сколько-нибудь устойчивой толерантности речь не может идти до тех пор, пока сохраняется представление о вещах-в-себе, о вещах-самих-по-себе, суть которых раз и навсегда определена объективными силами — Богом или Саморазвивающейся Мате-

рией. Толерантности не может быть до тех пор, пока сохраняется разделение вещи-в-себе и вещи-для-нас, сущности и явления, пока существует абсолютное разделение и противопоставление субъекта и объекта, пока существует представление об объективной истине.

Толерантность состоит в признании права другого на инакомыслие только и единственно по той причине, что другой настолько же достоин уважения как личность, насколько этого уважения заслуживаешь ты, проявляющий толерантность.

Но может ли искренне признать право на разномыслие человек, который полагает, будто существует хотя бы одна объективно реальная вещь?

Представим себе такую ситуацию: два человека обсуждают третьего, знакомого им (допустим, некоего Петрова). Один из них говорит: «Ты, Сидоров, знаешь Петрова с одной стороны. Я, Иванов, знаю его с другой. Каждый из нас знает, каков Петров для него, каким он является нам. Но это — знание поверхностное и субъективное. Есть еще Петров сам по себе, Петров-каков-он-на-самом-деле!»

Согласимся, что говорящий так несколько лукавит. Еще не родился такой человек, который во всеуслышание искренне признался бы, что его знание — поверхностное и субъективное. Ведь я могу назвать какое-то знание поверхностным и субъективным только тогда, когда я обладаю знанием глубоким и объективным: только в сравнении с этим вторым знанием выявляется поверхностность и субъективность первого знания. Однако если у меня два знания (одно — поверхностное, субъективное, а другое — глубокое и объективное), почему же я не приведу их в соответствие между собой? Не говорит ли это о моих невысоких умственных способностях?

Что имеет в виду Иванов, говоря об объективном знании Петрова-как-он-есть-на-самом-деле? Что он опросил тысячу или более знакомых Петрова и собрал сведения о том, каков Петров для каждого из них? Разумеется, нет. Из суммы неизбежно противоречащих друг другу субъективных знаний о Петрове, которыми обладает все множество его знакомых, невозможно составить объективное мнение о нем. Оно все равно будет субъективным — как сумма субъективных знаний.

Лукавый Иванов, говоря свои слова, подразумевает нечто иное. Он-то полагает, что ему известно, в отличие от собеседника, не только

то, каков Петров для него, но и то, каков Петров объективно. Ему известна сама *сущность* этого Петрова. А потому он — прав. То есть, его мнение, выдаваемое за объективную истину, будет господствующим.

Речь идет всего лишь об отработанном веками приеме воздействия на собеседника, известном со времен Сократа. Тот вначале заявлял: «Я знаю, что ничего не знаю». Когда собеседник начинал потешаться над ним, мудрецом, который не знает ничего, Сократ говорил: «А ты знаешь что-нибудь? Расскажи, что знаешь». После выявления множества противоречий и несообразностей в знании пришельца под градом хитрых вопросов Сократа оказывалось, что собеседник тоже не знает ничего. И тогда Сократ делал вид, что теперь они, двое незнающих, отправляются на поиски истины. Однако Сократ прекрасно знал заранее, куда они придут! И умело направлял своими вопросами спутника в поисках истины — так, что тот всегда приходил к истине, нужной Сократу.

Впоследствии терминология, описывающая подобное «убеждение», несколько изменилась, но метода осталась прежней. Вначале теолог или метафизик обрушивались на субъективные мнения и призывали искать объективную истину, торжественно клялись служить только ей и понуждали давать такие же клятвы всех остальных. В результате легковверные слушатели отказывались от собственных знаний. Теологу и метафизику оставалось только выдать свои знания за объективную истину.

Мы, разумеется, не станем утверждать, подобно чересчур резким в суждениях просветителям, что теология и метафизика возникают там, где встречаются простак и обманщик. Обманщик знает, что он обманывает. Теолог же искренне верит, что у него есть преимущественный доступ к Богу и Его мудрости. Метафизик искренне полагает, что мироздание избрало именно его, чтобы раскрыть свои тайны и подлинные смыслы. Теолога и метафизика отнюдь не смущает, что они отправляются, вместе с внимающими им учениками, на поиски объективной истины, но в то же время как бы взирают на ход таких поисков откуда-то со стороны и судят о том, как этот поиск протекает. Все это напоминает соревнования по спортивному ориентированию, один из участников которых в одно и то же время пробирается сквозь чащу и является судьей, сидя на горе с биноклем.

Теолог ищет Бога, но в то же время уже нашел его, поскольку наставляет паству, в каком направлении и как следует искать. А как наставлять, если ты и сам не ведаешь, где находится Бог? Значит, ты его уже нашел, раз знаешь, где он находится? Метафизик утверждает, что абсолютная истина недостижима, но мы постепенно движемся к ней. Но как он может знать об этом, если сам не ведает, что такое абсолютная истина, какова она и где пребывает? Нет, он вполне искренне полагает, что ведает, — по крайней мере, ближе всех других приблизился к ней. А потому действительное его место не в рядах искателей истины, а высоко на горе или в башне из словенной кости, откуда видны и истина, и массы блуждающих по долинам и оврагам в ее поисках. Только оттуда, с вершины, можно судить, кто и как приближается к истине объективной, к истине абсолютной, к действительному знанию о предметах, как они есть на самом деле.

Может ли такой человек, который полагает, что сидит на горе, с которой видна объективная истина, искренне быть толерантным к блуждающим в долине? Может ли он искренне уважать всякого другого и оставлять за ним право на самостоятельное мышление, на высказывание собственного мнения? Ведь этот другой — профан в сравнении с ним. Он — *отстающий* в поисках истины, и это слово имеет такой же презрительный оттенок, с каким оно звучит в российской школе. *Отстающий* — значит двоечник. Можно ли уважать двоечника? Толерантно относиться к нему и к его суждениям? Разумеется, нет. Его надо оценить со всей принципиальностью и требовательностью, выставив ему «неудовлетворительно». Толерантность к двоечнику может быть только временной и непродолжительной. Педагог, нередко пересиливая себя, мирится с его вечными оправданиями, со скрытым отвращением знакомится с его ошибочным мышлением, отличающимся от собственного — правильного. Но рано или поздно терпение его лопается.

Не являются ли такими же *отстающими* в глазах теолога и метафизика все остальные люди? Не полагает ли каждый из них, подобно Платону, что все остальные сидят в пещере, и только он уже вышел из нее к свету?

Но какая же толерантность может проявляться ко взглядам пещерных жителей?

Теолог и метафизик находят общий язык с правителями традиционных обществ именно потому, что все они одинаково авторитарны. А общую социальную опору в традиционном обществе они обретают в лице столь же авторитарных глав больших семейств, которые верховодят в общинах. Вот социальный блок, с которым приходится вести борьбу людям предпринимателям, и соратниками в такой борьбе неизбежно становятся критики теологии и метафизики. Те, кто начинает подкапываться под представление об объективных вещах — под краеугольный камень метафизики.

Философы *Нового времени* — времени индустриально-рыночных обществ — прекрасно сознавали свою социальную миссию. Она виделась им вовсе не только в том, чтобы победить в споре с теологами и схоластами, в учениях которых находят свое оправдание порядки традиционного общества. *Миссия их в том, чтобы предложить всем предпринимателям людям мировоззрение, поддерживающее их в жизненной борьбе за общество нового типа.* Если бы-вают мировоззрения, которые смиряют и утешают (в частности, теологические и метафизические), то могут быть и мировоззрения, активизирующие, побуждающие волю к победе, к поиску и утверждению нового. Именно такие мировоззрения и требуется развить, внятно выразив в них черты менталитета предпринимателей.

Современный российский философ находится в лучших условиях, чем европейский философ Нового времени. Он может учиться на чужом опыте и чужих ошибках. Он знает, как качался маятник нетолерантности на Западе — от тирании короля к тирании революционной толпы, — пока не пришел в точку равновесия и толерантности, описанную О. Контом словами «прогресс и порядок»: «...прогресс составляет совершенно так же, как и порядок, одно из двух основных условий новейшей цивилизации» [Конт 1910: 41]. Но, умножая познание, он умножает и скорбь, поскольку все более сознает невозможность усвоения чужого опыта народным менталитетом. История никого ничему не учит теоретически: она заставляет каждый народ и каждого человека пройти свой путь к толерантности и к сотрудничеству на новых принципах свободы и ответственности.

Философ и историк философии могут лишь помочь человеку и обществу самостоятельно прояснить для себя, что с ним происходит. Помочь, занимаясь *пониманием* мыслей и чувств людей прошлого и настоящего. Помочь, рассказывая о них своим современникам и давая выговориться им самим.

Ментальная инерция, существующая в постсоциалистических обществах, является главным препятствием для демократизации их жизни и обеспечивает политическую поддержку «реставрационных» мер в них. Посттоталитарное сознание представляет собой принципиально новый феномен, возникающий в результате «сложения векторов», один из которых — искреннее стремление к демократизации общества, к действительному «народовластию», второй — влияние рутины тоталитарных мыслительных стереотипов, третий — инерция менталитета народа, сложившаяся на протяжении веков в данном регионе в соответствии с его социальной, экономической, культурной спецификой. Посттоталитарное сознание не может пониматься, однако, как простая сумма этих тенденций, но являет собой качественно новое явление, возникающее на их основе; оно отличает себя и от западного демократического сознания, и от тоталитарного сознания, и от «традиционного» сознания данного народа, существовавшего на протяжении многовековой его истории. Инерция менталитета народов посттоталитарных стран выражается в сохранении его основных черт, определяемых многовековой традицией, вопреки всем идеологическим воздействиям — как воздействиям «западно-буржуазным», так и «западно-социалистическим». Традиционный менталитет дистанцируется от этих воздействий, отделяет себя от них и критически относится к ним, в случае же репрессивного давления лишь демонстрирует их восприятие в чисто внешних формах, а на деле активно приспособливает навязанные «показные» формы для выражения своего собственного содержания. С другой стороны, эта инерция не абсолютна, поскольку относительно адаптированные новые формы, навязываемые идеологически, со временем превращаются в составляющие традиционного менталитета, несколько видоизменяя его. Новые формы деятельности, в контексте которых постоянно существует менталитет, довершают дело.

Исследование вопроса о выяснении особенностей традиционно-го менталитета, сохраняющего значительную степень инерции по отношению к идеологическим — «демократическим» и «тоталитарным» — воздействиям, в различных постсоциалистических обществах позволит оценить эффективность уже произошедших на протяжении последних полутора десятилетий преобразований, определить перспективы дальнейшего реформирования посттоталитарных обществ и избрать наиболее действенные пути и средства такого реформирования (воздействия на общество с учетом особенностей инерции существующих в нем менталитетов).

Поле исследований ментальной толерантности должна стать широкая пограничная область, в которой встречаются ментальная история, этнография, социальная психология, «понимающая» история философии, основанная на принципах В. Дильтея и К. Ясперса. Религиозная, политическая, межэтническая толерантность останутся поверхностными и непрочными до тех пор, пока не будут исследованы реальные менталитеты взаимодействующих социальных субъектов. До сих пор представления об этих менталитетах умозрительно конструировались философами и публицистами. Изучить их реально можно только путем герменевтического и «понимающего» постижения, основанного на достоверном материале ментальной истории. Компаративистское изучение менталитетов позволяет преодолеть рационалистическое представление о принципиальном взаимонепонимании людей, принадлежащих к разным культурам.

Методы изучения возможностей ментальной толерантности и ментальной инерции должны представлять собой принципиально новый инструментарий. Использование социологических опросов и фокус-групп среди различных категорий населения должно быть нацелено не на выявление простого отношения опрашиваемых к фактам и выяснение простейшей оценки их, но на понимание того, каким образом эти факты вписываются опрашиваемыми в систему их ментальных представлений. Особое значение при этом имеет анализ влияния российской школы на формирование толерантности, гуманистического мышления и сохранение традиций национального менталитета. Сочетание такого рода исследований с анализом этнографического материала, данных «ментальной истории», черт социальной психологии только и позволит прийти к теоретиче-

ским выводам и рекомендациям, относящимся к сфере *философии понимания и сотрудничества*.

Философия должна врачевать души, а не выстраивать ряды и колонны. Такова ее толерантная миссия в современном мире.

РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ: ВОЗМОЖНОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Б. В. Емельянов

В последнее десятилетие в общественных и гуманитарных науках наиболее востребованы два понятия — «менталитет» и «толерантность». Содержательный анализ этих понятий был дан учеными, имеющими различные философские и социально-политические взгляды, чем и объясняется разнообразие предложенных ими трактовок менталитета и толерантности. Чтобы дать характеристику основных черт русского менталитета и ответить на вопрос, какое место в нем занимает толерантность, проанализируем оба понятия, исходя из некоторых устоявшихся их определений.

В первом приближении менталитет — это устойчивые представления национальной общности и/или отдельной личности о мире, их социокультурные ценности и нормы, ритуалы, обычаи*. Как обозначение склада ума, мироощущения, мировосприятия понятие «менталитет» стало употребляться недавно. До него в этом смысле чаще всего использовалось понятие «национальный характер». Но и с ним дело обстоит непросто, поскольку некоторые ученые, например Л. Н. Гумилев, считают, что «так называемый «национальный характер» — миф, ибо для каждой новой эпохи он будет другим, даже при ненарушенности последовательных смен этногенеза» [Гумилев 1994: 432]. Другие, признавая существование национального характера, отрицают возможность его научного познания. Так, Г. Гачев, говоря о национальном характере, пишет: «Ощущаешь, что он есть, но, как только пытаешься его определить в слова, — он часто

улетучивается, и ловишь себя на том, что говоришь банальности, вещи необязательные, или усматриваешь в нем то, что присуще не только ему, а любому, всем народам» [Гачев 1998: 55]. И все же, несмотря на трудности с его определением, **национальный характер** — понятие научное, означающее «совокупность некоторых особенностей духовного облика народа, которые проявляются в свойственных его представителям традиционных формах поведения, восприятия окружающей среды и т. д.» [Баграмов 1973: 13].

Но именно так обычно определяется менталитет. Это прежде всего специфические субъективные коллективные представления о себе и окружающем мире, специфический склад мышления, чувств, мнений, верований, поведения и т. п. Однако у менталитета есть и объективная сторона, связанная с опредмечиванием этих представлений в социуме. У него есть свои детерминанты — природные, социальные, религиозные.

Для великороссов природные условия (размеры территории, особенности климата, почв) являются неблагоприятными, требующими неимоверных усилий для выживания. Поэтому русский народ всегда был непритязателен в отношении материальных благ и привык довольствоваться скромным достатком. С другой стороны, чтобы получить даже минимальные блага, он был вынужден много трудиться. Труд всегда был главным идеалом русского народа, определяющим его жизнеспособность. Недаром среди пословиц и поговорок русского народа почетное место отводится тем, в которых прославляется труд, ибо терпение и труд все перетрут.

Экстремальные природные условия выработали у русских одну удивительную особенность их менталитета. Недолгое лето и ненастья требовали от русского крестьянина огромных усилий, чтобы за короткое время осуществить весь сельскохозяйственный цикл, а затем долгую осень и зиму он почти ничего не делал. «Так великоросс приучился к чрезмерному кратковременному напряжению своих

* Менталитет — понятие междисциплинарное. Поэтому ученые акцентируют свое внимание на разных его сторонах в зависимости от своих философских, психологических, культурологических интересов. Тем не менее чаще всего менталитет понимают как картину мира или систему взглядов, которые «лежат в основе человеческих представлений о мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей» [Дюби 1991: 52].

сил, привыкал работать скоро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению, труду на короткое время, но нигде в Европе, кажется, не найдется такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду» [Ключевский 1995: 279]. Поэтому-то русские привержены штурмовщине и исполнение работы затягивают до последнего возможного срока. Природа обманывает русских, они не верят ей, полагаясь на «авось»: «Расчетливый великоросс любит подчас очертя голову выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта склонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский «авось»» [Там же].

Не могла не отразиться на менталитете русских и обширность территории их обитания. «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, — пишет Н. А. Бердяев, — та же безграничность, бесформенность, широта» [Бердяев 1994: 79]. Разумеется, огромную территорию надо было обустраивать, заселять и защищать, что требовало от населения величайших усилий, но одновременно давало чувство безопасности: такую территорию вряд ли кто смог бы завоевать. Кроме того, именно беспредельность земли русской давала ощущение свободы, в ее лесах и степях всегда можно было спастись от угнетения со стороны хозяина или государства, получив тем самым волю. Воля — это свобода по-русски, беспредельность пространства.

Беспредельность территории выработала у русских широту души, расточительство. Русские считают, что страна настолько богата землями и природными ресурсами, что их хватит навсегда. И они не берегут эти богатства, расточают и теряют их, как потеряли огромные исконные русские земли при распаде СССР. В ментальности русских нет гена сохранения принадлежащих им ценностей.

Важнейшим детерминантом национального менталитета являются геополитические и социально-политические обстоятельства русской истории. Россия, находясь между Западом и Востоком, всегда была лакомым куском для завоевателей как с той, так и с другой стороны. Поэтому России приходилось много воевать, защищаясь. «Русская история развивалась так, что для нее не было никакого выбора: или надобно было сражаться, или быть уничтоженным; или вести войну, или превратиться в рабов и исчезнуть» [Ильин 1996а: 477].

Бесконечные войны выработали у русских самоотверженность, стойкость, выносливость, неприхотливость, жертвенность. Любая иностранная интервенция поднимала народ на защиту Отечества.

Следующая геополитическая характеристика России — многонациональный состав ее населения. Более ста народов, живущих на ее территории, имеют свою культуру, язык, религию. Эта семья народов складывалась разными путями: за счет внутренней колонизации, переселения и расселения крестьян на неосвоенных землях, а также за счет добровольного вхождения отдельных народов в состав России. Происходило межэтническое смешение. Русский народ в своей основе имеет славянское начало, впитавшее в себя тюркское и финно-угорское этническое влияние. Это влияние нашло свое отражение и в менталитете русских, наполнив его положительными и отрицательными чертами.

Еще одним детерминантом, определившим национальный менталитет русского народа, является роль государства в его истории. В силу исторических обстоятельств, чтобы сохранить себя как этнос, русский народ сделал выбор в пользу авторитарной власти, призвав варягов. Она навязала русскому народу, анархисту по натуре, жесткую дисциплину, граничащую с внутренним террором. Благодаря этому было построено великое государство. Вначале это была царская, а затем советская империя. Народ заплатил за ее могущество гражданскими и политическими свободами. А. И. Герцен по этому поводу писал: «События сложились в пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой — но какою ценою?.. Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни» [Герцен 1956: 403—404].

На ментальном уровне в русском народе за столетия выработалось странное, по западным меркам, противоречивое отношение к государству: с одной стороны, он неизменно демонстрирует почтение, уважение к его главе (царю, генеральному секретарю компартии, президенту), а с другой — стремится нарушить государственные и правовые нормы. Склонность к своеволию и анархии так и осталась национальной чертой русского народа.

Другим организующим началом для русского народа была сельская община, чаще всего понимаемая как демократический союз местного самоуправления, взаимопомощи, трудовой демократии

и совместного владения землей. Община помогала крестьянину выживать, в ней он был защищен, мог принять участие в решении насущных проблем, она как бы уравнивала своих членов, обеспечивая некую справедливость. Одновременно община сдерживала личный произвол крестьянина, его бунтарский характер.

Наконец, детерминирующим началом для менталитета стала религия. Русь была крещена, выбрав православную веру. Но христианская вера на Руси имела свои особенности: «Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии; славянского язычества, которое встретило эту новую веру; и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие и переработал его в своем духе» [История религии 1991: 164]. В результате этого своеобразного сочетания возникло двоеверие, имеющее непосредственное отношение к менталитету. Его суть в том, что в христианскую православную веру оказались вплетены ценности славянского язычества. Таким образом, существующая в России вера может быть определена как оязыченное христианство или как христианизированное язычество. В этом симбиозе язычество «отвечает» за стихийность и иррационализм русского менталитета, его мистическое отношение к природе.

Православие имеет ряд особенностей, оказавших серьезное воздействие на русский менталитет. Прежде всего это идея Воскресения (святого Воскресения, или Пасхи), имеющая большое влияние в православии, и культ Девы Марии — Богоматери. Женское начало в русском менталитете связано именно с любовным почитанием Богоматери — защитницы земли русской. Среди православных святых на Руси особо почитаемыми были Борис и Глеб — тоже защитники земли русской. По приказу старшего брата они были убиты, причем приняли свою смерть, не сопротивляясь творимому злу. Как считают историки православия и русской мысли, этот первый пример непротивления заложил основы важной особенности русского менталитета. «Подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещенного русского народа» [Федотов 1990: 27].

Завершая краткую характеристику русского менталитета, обратим внимание еще на одну его особенность, которую отмечают все исследователи, — противоречивость. Наиболее емко и образно данную особенность описал Н. А. Бердяев. Вот одно из таких наблюдений: «По-

дойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства... Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Великой Инквизитор) мирится с рабьей покорностью» [Бердяев 1990: 3—4].

Помня об этой противоречивости русского менталитета, постараемся теперь определиться с перспективами расширения в нем объема толерантности. Понятие «толерантность», как и понятие «менталитет», в общественной мысли появилось недавно. В Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, принятой 16 ноября 1995 года, толерантность определяется как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» [Декларация 1995: 7]. Но единого толкования этого понятия до сих пор нет. В различных словарях толерантность толкуется по-разному, так как в разных науках и областях жизнедеятельности имеет свое понимание. К примеру, в юридической области толерантность означает, что жизнедеятельность общества определяется ограничениями в проявлениях любой идеологии, то есть идеология должна быть отделена от государства, являясь частным делом каждого. На практике это означает прежде всего суверенитет личности и свободу совести. В философии под толерантностью понимается отсутствие монополии на истину, открытость для критики и т. д.

К тому же в различные времена у разных народов их ментальные характеристики толерантности приобретают различное выражение: компромисс, ненасилие, непротивление, равнодушие и т. п.

Одним из аналогов толерантности, корнящимся в русском менталитете, является понятие **терпимости**. Как писал И. А. Ильин, «история России являет собой образец терпения и постоянного жертвенного служения: вечную готовность, твердую выдержку» [Ильин 1996б: 480]. Философски значимая разработка проблем терпимости начинается в России в XVIII веке. Русские религиозные мыслители

этого времени Тихон Задонский и Паисий Величковский предложили в своих трудах осмысление основных постулатов православия, в том числе и проблем терпимости. В частности, считается, что Тихон Задонский в своем произведении «Сокровище духовное, от мира собираемое» дал одно из первых определений терпимости — не только как отсутствие мести и, следовательно, насилия, но и как нежелание дальнейшего мщения. Терпимость он относит к всепрощению.

Русские просветители конца XVIII — начала XIX века сделали акцент на возможности **терпеливого** отношения к вере. В частности, А. П. Куницын писал: «На праве свободно мыслить и действовать основывается право свободного вероисповедания... Заблуждение в догматах веры может истребить одно только просвещение. Гонение может укоренить и распространить самые суеверные секты. Терпимость есть самое надежное оружие для поражения расколов, ибо она дает людям время размыслить о догматах веры» [Куницын 1966: 237].

Большинство русских философов XIX — начала XX века в той или иной мере полноты высказалось об этой «разновидности» толерантности, считая, что у терпимости могут быть различные характеристики: она может быть «пассивным воздержанием» и «любовным действенным терпением» (П. А. Сорокин). Что же касается места терпимости в русском менталитете, то она, несомненно, является одной из важнейших его характеристик. За века своей непростой, а порой трагической истории русский народ выработал это поражающее иностранцев свойство терпения, жертвенного принятия трудностей во имя сохранения этнической целостности и государственности. Русский народ вытерпел татаро-монгольское иго, крепостное право, сталинские репрессии. Терпит он и теперь: природные катаклизмы, издевательское отключение тепла и электроэнергии, материальные лишения... Долготерпение народа — свидетельство его жизнестойкости, мужества, уверенности в своих силах и оптимизма.

Терпеливое отношение русского народа к своим проблемам и трудностям — это одна сторона его **толерантного менталитета**. Другая сторона — такое же толерантное отношение к иноплеменникам, другим нациям и народам. Россия, в отличие от Европы, сохранила все свои этносы, да и самой Европе неоднократно помогала выжить, оберегая ее границы. В русском народе слабо чувство национального эгоизма и исключительности, ему в большей мере присуще чувство

взаимопомощи, «всечеловечности» (Ф. М. Достоевский) и, следовательно, толерантного отношения к другим народам. ««Чистый» национализм в России никогда не работал, но всегда облакался в идеи всемирности. Только в этом случае можно было ощущать себя носителем высшей истины (будь она идеей Третьего Рима или пролетарского интернационализма — все равно) и испытывать превосходство над непоследовательными, а потому и враждебными иноземцами. И этот основной архетипический механизм культуры, определивший ее ментальность, остался прежним. Его можно назвать склонностью к заимствованию или тягой к всечеловечности, понимавшейся Достоевским как способность к целостному восприятию всей европейской культуры. Только нынче всемирные идеи другие, ибо изменилась ценностная ориентация и геополитическая структура мира, — идеи открытого общества, рыночной экономики, — которые, хоть и в диковатом российском исполнении, уже не ведут к изоляционизму, ибо разрушают жупел «вражеского окружения»» [Кантор 1997: 251—252].

И все же у терпимости есть свой антипод, и он присутствует в русском менталитете, показывая, сколь труден путь обретения толерантного отношения к миру во всем объеме его проявления. Нетерпимость дает себя знать не только в политике или в нашей повседневной жизни, но даже в таких областях, где ее, по определению, не должно быть. Я имею в виду православие. После десятилетий притеснений при советской власти сегодня православие восстанавливает свои прежние позиции, расширяя сферы деятельности. И это отрадное явление нашей общественной и духовной жизни. В то же время обращает на себя внимание, как и прежде, нетерпимость православных иерархов к инакомыслию. Она в свое время проявилась в отлучении от церкви Л. Н. Толстого, а на наших глазах — в отлучении в 1994 году Н. К. и Е. И. Рерихов как создателей «Живой этики». Самый последний пример такой нетерпимости — протест екатеринбургских церковных деятелей против демонстрации ряда плакатов на выставке, посвященной толерантности, в стенах Уральского университета. Чтобы соответствовать времени, необходимо толерантность воспитывать и распространять во всех сферах жизни — политической, культурной, религиозной.

Еще больше трудностей с реализацией такого проявления толерантности, как **ненасилие**. Хотя число его сторонников сегодня мно-

жится, правит миром по-прежнему насилие, которое распространяется по всему миру, в том числе и в России, где оно занимает свою нишу в русском менталитете. «Исторический выбор без насилия, вне насилия у нас в России еще невозможен», — заявил известный правозащитник С. А. Королев [Риск исторического выбора 1994: 20]. Характер насилия в нынешней России изменился: оно утратило идеологическую поддержку и легитимность, как это было при сталинском режиме (см.: [Кантор 1997: 138—191]), но оно сохранилось, и толерантности предстоит нелегкая борьба за свои приоритеты.

Толерантность можно и нужно воспитывать, создавая педагогику толерантности. В официальном документе — межведомственной программе «Основы формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в гражданском обществе» (<http://www.innovations.ru>) заявлено о необходимости разработки и внедрения системы учебных программ и тренингов для всех ступеней образования в России, эффективных социокультурных технологий, распространения норм толерантного поведения и противодействия различным видам экстремизма и этнофобии, внедрения в социальную практику стандартов культуры толерантного поведения. Эта работа началась. Она составляет одну из актуальных сторон деятельности ряда межрегиональных институтов общественных наук, среди которых Уральский МИОН занимает особое место в силу специфики своей научной программы, связанной с разработкой теоретических и прикладных проблем толерантности.

ПОВЕСТВОВАНИЕ И НАУКА: ОТ ВРАЖДЫ К ТОЛЕРАНТНОСТИ

Е. Г. Трубина

Важная просвещенческая идея толерантности, первоначально развитая Джоном Локком, стремящимся найти концептуальные основания для установления мира в раздираемой религиозными конфликтами Европе, в течение XIX и XX веков по нарастающей полу-

чает все более и более широкое применение. Идея толерантности присутствует в обсуждениях расовых, этнических, сексуальных проблем, культурных и социальных отличий. В политической теории либерализма она занимает ключевое место, осмысленная как непреклонный элемент свободного общества, как обратная сторона нравственного и культурного плюрализма и релятивизма. Практика школьного и вузовского образования на Западе и — в гораздо меньшей степени — в России включает в себя элементы сравнения культур для постижения основ культурного релятивизма. Учащиеся и студенты сталкиваются со сложными вопросами толерантности, когда они размышляют, как следует относиться к людям, не похожим на них самих, и как следует относиться к тем, кто сами нетерпимы. При этом возникают проблемы, которые нельзя назвать теоретически хорошо разработанными, в частности проблемы различий между толерантностью и релятивизмом, между принятием практики или ценностей, с которыми не согласен, и убеждением, что данная группа людей представляет собой первый и последний источник собственных моральных критериев и культурных ценностей, что не существует универсальных моральных стандартов. В этих разнообразных направлениях обсуждения идеи толерантности ощутимы обязательные компоненты собственно понятия толерантности, а именно субъекты толерантности (один из которых практикует или исповедует толерантность, а другой — индивид, группа, организация, социальный или культурный институт — во всей своей инаковости является тем, на что толерантность направлена); объект толерантности (действие, убеждение или практика); негативное отношение со стороны субъекта, практикующего толерантность, по отношению к объекту толерантности; воздержание от действия против этого объекта [Horton 1993].

Концептуальная структура этого понятия традиционно отсылает прежде всего к социально-политическим реалиям (индивиду или организации, практикующим толерантность, должен быть гарантирован статус субъекта, что возможно только в рамках развитых правовых институтов, и т. д.). В предлагаемых же рассуждениях пойдет речь скорее о реалиях *герменевтических* и *эпистемологических*. Соответственно имеются в виду такие весьма специфические субъекты толерантности, как сообщества интеллектуалов, рефлектирующие

основания, ценности и идеалы своей деятельности. Объект толерантности — присутствие нарративов там, где их вроде бы быть не должно, — в научной деятельности, в разнообразных практиках, понимаемых в смысле М. Серто, то есть как социальные и культурные процессы преобразования социальных и культурных институтов, занимающихся научным познанием, в символический продукт, называемый знанием [Certeau 1988].

Тенденция, которая схематично очерчена в названии («от вражды к толерантности»), относится к процессам, обозначаемым обычно как «нарративный поворот», то есть к характерному для последних трех десятилетий междисциплинарному движению, в центре которого — нарративные модели порождения знания и нарратив как способ социального взаимодействия. До недавнего времени рассуждения о нарративной природе юриспруденции или экономики не поощрялись. Производство и распространение знания в этих областях было подчинено позитивистским моделям научного исследования и научного дискурса. Нарративные модели, по крайней мере в качестве аналитических инструментов, были немыслимы. В этих контекстах истории, повествования допускались только в качестве иллюстрации, риторического обрамления строгой мысли, как что-то глубоко вторичное, как ненужные кружева на железном остова строгой аргументации. Один из центральных аргументов антинарративистов состоит в том, что категории рационального мышления не могут (и не должны) быть с легкостью включены в нарративную форму. Вероятно, только время покажет, будут ли нарративные объяснительные модели в таких дисциплинах, как когнитивная теория, педагогика, политическая теория, социология, экспериментальная психология, психотерапия, изобразительное искусство, естественные науки, обладать такой же надежной объяснительной силой, что и в дисциплинах, полагающихся на истории достаточно долгое время, — в теории литературы и кино, истории, философии, этнографии, теологии и психоанализе. Более того, вообще неясно, можно ли рассматривать как образования одинаковой природы, как истории или повествования столь отличающиеся друг от друга дискурсивные феномены.

Сегодня ведется речь об онтологии, эпистемологии, политике, когнитивном статусе нарратива, причем с разных интеллектуальных и институциональных позиций, с разными целями. Нас будут инте-

ресовать, во-первых, те тенденции развития философского и социально-гуманитарного знания в период модерности, которые объясняют «вражду» между наукой и повествованием; во-вторых, те направления интеллектуальной истории XX века, которые подготовили «нарративный поворот»; в-третьих, функционирование тех дисциплин, где напряжение между наукой и повествованием стало предметом особенно продуктивной рефлексии.

Под упомянутыми выше *герменевтическими* реалиями, с которыми связана толерантность, мы имеем в виду, как минимум, два обстоятельства. На первое обращает внимание У. Эко, разбирая противоположное толерантности состояние — нетерпимость. В качестве «наиболее явных форм» последней он называет фундаментализм и интегрализм, замечая, что первоначально фундаментализм представлял собой «один из принципов герменевтики, относящийся к интерпретации *священного текста*» [Эко 2000: 139]. Когда оказалось, что Священное Писание вынуждено конкурировать с другими версиями возникновения Вселенной, Земли, человека, американские протестанты, следуя традициям, заложенным отцами церкви, буквалистски толковали библейский текст и нетерпимо отрицали отличающиеся от него естественно-научные тексты (прежде всего дарвинизм). Эта «фундаменталистская буквализация», как ее называет мыслитель, жестко регламентировала прочтение текста, не допуская символического, аллегорического и прочего его толкования.

Как мы знаем из недавнего прошлого, такие жестко регламентированные варианты прочтения квазисакральных текстов могут быть востребованы тоталитарными режимами: консерватизм герменевтического фундаментализма соединяется с прогрессизмом фундаментализма политического. Различие между лояльной к букве текста интерпретацией и интерпретацией иного рода во многих случаях есть различие между допущениями о единственности и множественности интерпретаций. Для мыслителя либо студента, воспитанного в традициях монологического сознания, не предполагавшего возможность разных прочтений одного и того же текста, но, напротив, настаивающего на необходимости одной, единственно верной интерпретации, множественность интерпретаций — досадная помеха. В качестве господствующей доктрины, контролирующей интерпретацию, могут выступать философская школа (марксизм в его функ-

ционировании в качестве господствующей идеологии в советское время) либо идеалы классического естествознания (в рамках которого допускалось лишь одно описание и объяснение данной совокупности эмпирических сведений). Ж. Деррида называет такой вид интерпретации основанным на «начале», «центре», каковыми является господствующая доктрина, задающая интерпретации жесткие концептуальные рамки и сводящая собственно интерпретацию к контролируемому приложению определенных понятий [Деррида 1995]. Понятно, что в рамках такого подхода к интерпретации факт возможной множественности истолкований есть крамола, есть нечто, угрожающее научности и объективности. По Деррида, противоположный тип интерпретации состоит в принятии самой множественности в качестве исходного принципа.

П. Рикер также считает, что «конфликт интерпретаций» неизбежен, поскольку любой текст предполагает множество прочтений, что вытекает из множественности смыслов, одновременно открытых человеку. Конкретный «конфликт интерпретаций», который лег в основу одноименной работы П. Рикера, состоял в сосуществовании в психоанализе «энергетической» (понимания психического на основе модели энергии, напряжения и разрядки) и «смысловой» интерпретаций (толкования психического на основе причин и следствий и его описания на основе намерений и мотивов). В этом конфликте проявляется напряжение между полярными установками, сциентистской и антисциентистской, между ориентацией на строгую науку и допущением «нестрогости» психоаналитического учения. Что касается интерпретации, то и первый, «доктринальный», и второй, «альтернативный», подходы к ее пониманию как противоположные ее типы сосуществуют в современном гуманитарном познании. Возвращаясь к размышлениям У. Эко, можно сказать, что «доктринальная» интерпретация отмечена герменевтической нетерпимостью, тогда как допущение множественности интерпретаций тяготеет к герменевтической толерантности.

Второе обстоятельство связано с некоторыми тенденциями в функционировании современного знания. Герменевтика, понимаемая обычно как интерпретация текстов, осмысливается постмодернистски ориентированными комментаторами более широко — как риторическое толкование конвенций, обуславливающих должный эф-

фект, производимый научным текстом. Так, политический теоретик Д. Нельсон, воспроизводя хорошо знакомую сегодня критику позитивистской объективистской науки, показывает, что объективность, столь значимая для современного социального знания, есть не что иное, как вариант риторики, равноправной по своей познавательной значимости с логикой. Ниже еще пойдет разговор о «поэтике» научного текста, о фигурах научной речи, таких, как метафора, метонимия, гипербола, синекдоха, но к этому исследователь добавляет стандартные фигуры языка научной теории, используемые в описаниях, объяснениях, теориях. Нельсон настаивает, что такие обычные практики социальной теории, как «превращение информации в статистические данные, перевод объяснений на формальные языки, представление отношений в качестве моделей, превращение допущений в идеальные типы», есть риторические приемы, используемые в качестве методологических процедур [Nelson 1985: 419]. Герменевтика, с его точки зрения, может объяснить, как учиться риторическим конвенциям и как их создавать, как оценивать снаружи или изнутри и как подгонять под различные обстоятельства или изменяющиеся ситуации [Там же: 426]. Тем самым герменевтика переосмыслиется: из искусства интерпретации текстов общностью исследователей она становится интерпретацией общности исследователей в качестве текста. По словам Нельсона, «как наука об интерпретации герменевтика может освоить способы, какими удачные основания порождают активности, конвенции и институты, достаточно стабильные для того, чтобы быть замеченными в качестве практик. Основания — это излюбленные предтексты, побуждающие нас создавать тексты наших жизней в контекстах нашего времени. Практики, которые сохраняются и расширяются в рамках медленно изменяющихся пределов, становятся традициями, которые самосохраняются на основе постоянной критики, которую мы называем интерпретацией» [Nelson 1985: 427]. Иными словами, герменевтика не только связана с оправданием, сравнением и рефлексией в научной аргументации, но и с этикой научного исследования, с вовлеченными в него отношениями власти. Нас будет особенно интересовать, каким образом воспроизводятся и поддерживаются границы между научным и вненаучным (нарративным) и каким образом происходило нарастание толерантности в отношении вненаучного, то есть прежде всего повествовательного, от-

ражения реальности в контексте науки и философии.

Классическая рациональность:
нетерпимость к иному и терпимость к нетерпимому

Интерес к связи повествования и науки есть, по-видимому, одно из наиболее интересных следствий общего, отличающего современную эпистемологию процесса «осознания первостепенности социального» [Хьюбшер 1994: 11]. Повествование представляет собой один из фундаментальных компонентов социального взаимодействия, состоящий, как минимум, в том, что «кто-то рассказывает кому-то, что что-то произошло» (Б. Смит). На связь повествования со знанием указывает этимология термина: *нарратив* связан с латинским *gnarus* («знающий», «эксперт», «осведомленный в чем-либо»), восходящим, в свою очередь, к индоевропейскому корню *gna* («знать»). То отношение к повествованиям, которое оформилось в рамках периода модерности, то есть в течение XVII — первой половины XX века, и поныне составляет существенную познавательную ориентацию. Оговорюсь, что в своих рассуждениях я скорее исхожу из совокупного о б р а з а науки модерности, который создан усилиями историков, эпистемологов, социальных и культурных критиков.

Классическая рациональность (на складывание которой в XIX—XX веках повлияли прежде всего естественные науки) воплощает в себе основные установки модерности. Главным для *модерности*, или для *модерна*, по словам Ю. Хабермаса, было «неуклонно развивать объективирующие науки, универсалистские основы морали и права и автономное искусство с сохранением их своеобразной природы, но одновременно и в том, чтобы высвободить накопившиеся таким образом когнитивные потенциалы из их высших эзотерических форм и использовать их для практики, то есть для разумной организации жизненных условий» [Хабермас 1992: 45]. Естествознание, естественная наука задает образ науки в целом, науки как таковой. Классическая просветительская установка состояла в убежденности в универсальной способности разума. Хабермас подчеркивает важную черту классической науки (читай: естественной), состоявшую в том, что в XVII—XVIII веках она перестала быть уделом посвященных, стала играть в развитии общества принципиально иную, значительную роль, став источником могущества людей.

Успехи естественных наук в XIX веке нашли отражение в позитивистском мировоззрении, согласно которому законы социума можно было «исчислить» наподобие законов природного мира.

В науке этого периода преобладала абстрактно-генерализующая установка, предполагающая поиск необходимостей и законов сущего. Свойственная модерности универсализация процесса мышления проявлялась в допущении, что разум всех людей устроен и функционирует примерно одинаково. А коли так, все индивидуальные пристрастия, интересы были сочтены неважными. Мыслящий субъект был уверен в том, что именно его внеположенность миру, отстраненность, а точнее оторванность от него, и обуславливают его право и способность мыслить мир и составляющие его противоречия. В итоге субъект, любое упоминание о нем, любой симптом субъективности «вычищались» из науки. Такой способ мышления Ханна Арендт именует архимедовой точкой зрения: Архимед в поисках точки опоры создал теорию рычага, суть которой в том, что наша власть над вещами увеличивается пропорционально нашему расстоянию от них. В ходе модерности сложился такой способ мышления, для которого свойственна принципиально незаинтересованная позиция мыслителя, отстраненного от проблем и тревог повседневной жизни, способного абстрагироваться от его собственных связей с местом рождения, семьей, этносом, полом.

Предполагаемое равенство всех перед истиной (и воплощающим ее научным текстом) было одним из важных компонентов «проекта модерности» (Ю. Хабермас), составляло фундамент идеологии либеральной демократии, поскольку открывало широкие познавательные перспективы перед каждым, кто мог и хотел учиться. Введенное Р. Декартом представление, что приложение точно избранного метода к любой сфере исследования обеспечит получение желаемых результатов, приводило к тому, что процесс изложения полученных ученым результатов расценивался как заведомо второстепенный, выполняющий скорее служебную функцию трансляции готового содержания. Преимущество, отдаваемое в теории познания объективно мыслящему субъекту, было сопряжено со специфическими ограничениями, налагаемыми на его коммуникативные и, в частности, риторические стратегии. Главная из них состояла в том, чтобы изложить результаты своего исследования с максимальной точностью.

Эта аккуратность зависела от того, насколько был упорядочен созданный дискурс. Средствами его упорядочения выступали, как правило, постулирование в начале изложения намерений автора, предмета его изучения, оснований, из которых он исходил, и, главное, метода, которому собирается следовать.

Центрированность науки на методе, ошутимое присутствие в научном письме «метода современной науки» (Х. Г. Гадамер) позволяли относиться к научному письму как ценностно-нейтральному, производимому людьми, которым каким-то образом удается существовать вне конкретной идеологической и культурной ситуации. Письмо предназначено было зафиксировать то, что ученые уже знали, — некоторые результаты, полученные на основе методологически выверенной деятельности. Стремление ученого узнать что-то новое расценивалось как более важное, нежели его способность донести свое открытие до публики. При этом публика мыслилась как недифференцированная группа людей, способная воспринять любой дискурс. Подобно тому, как от ученого ожидалось максимальные беспристрастность и объективность, подобные же ожидания адресовались и читателю. И уж меньше всего ученого заботило то, что читатели его текстов могут иметь собственные пристрастия.

«Модерная» модель изолированного интеллектуала, в одиночку создающего новое знание, которое затем подлежит трансляции без каких-либо искажений с помощью максимально недвусмысленного языка, поддерживалась повсеместным доверием к знанию, связанным, в свою очередь, со специфической для модерности культурной посылкой. Она состояла в том, что научные тексты представляют собой воплощение некоторого рационального осмысления той или иной области реальности, изучение которой есть более или менее одинаковая для каждого человека операция, которой язык изложения материала должен способствовать, будучи максимально нейтральным. Эта предпосылка связана с общим для традиционной гносеологии и риторики представлением о научном дискурсе и языке как незаинтересованном представлении фактов либо информации. Одним из следствий этого была неуместность в научном дискурсе вымышленных или художественных средств аргументации, таких, как анекдоты, аналогии, басни и др., а также каких-либо проявлений повседневного знания, непосредственного человеческо-

го опыта. Все это рассматривалось как оппозиция объективности, проявление недопустимых для науки субъективности и литературности.

Во второй половине XIX века стал очевидным кризис классического рационализма. Его субъект-объектная парадигма, предполагающая независимость субъекта-наблюдателя и объекта наблюдения, перестала соответствовать нарастающему убеждению философов и ученых в том, что мир является единой системой, непрерывно развивающейся и самоорганизующейся. Человек в этой системе не просто наблюдатель, но действующий элемент. Г. Риккерт обратил внимание на то, что науке свойственно непрерывное течение жизни превращать в дискретность понятий, как бы «прорезая» эту непрерывность своими понятиями. Схожую метафору использовал Анри Бергсон, толковавший о «ножницах восприятия», вырезающих из сплошной действительности отдельные кадры. Верность мыслительных построений индивидуальному и историческому опыту познающего человека также приобретала все большее значение. Но в контексте нашего обсуждения немаловажен еще один момент. Классический рационализм, который формировался как «оценочная позиция, стремящаяся отделить «свое» от «чужого» и возвеличить неисторически и абстрактно понимаемые разум и науку в противоположность всему иному» [Касавин 1999: 202], обеспечивал свою господствующую позицию, культивируя своего рода *герменевтический фундаментализм*. Безусловно, в рамках собственно научной теории всегда имелись критические процедуры, позволяющие обновлять устаревающие представления, но когда дело доходило до проведения границ между наукой и тем, что таковой не считалось, границы, будучи установленными, охранялись весьма неукоснительно. Нетерпимость к иным, нежели научные, способам смыслополагания и постижения реальности поощрялась и поддерживалась философией, культивирующей «законодательный разум» (З. Бауман), философией-«местоблестительницей» (Ю. Хабермас), претендующей на возможность «высшего», «лучшего» понимания и стремящейся корректировать здравый смысл и те варианты понимания, которые возникают в рамках повседневной жизни. В XX веке эта нетерпимость оказывается парадоксальным образом совместимой с тем, что можно назвать «терпимостью к нетерпимому» — симбиозом классической рациональности

и тоталитарных режимов.

Х. Арендт: «темные времена» как вызов науке

В творчестве американского политического философа Ханны Арендт, достаточно жестко противопоставлявшей рассказывание историй ценностям классической рациональности, и прежде всего традиционному научному объяснению, замечателен момент сопротивления претензиям сторонников последнего на обладание некоей универсальной привилегированной позицией, на суждения от имени безличной объективности. Жизненный опыт еврейки — немецкого интеллектуала, вынужденной эмигрировать в США и ставшей там одной из самых уважаемых политических мыслителей своего времени, обусловил ее обостренное чувство: существование Освенцима есть радикально новое и немыслимое событие в истории западной цивилизации. Арендт полагала, что при определенных исторических обстоятельствах, обозначенных ею как «темные времена», даже наиболее правдоподобные теории теряют свою роль в человеческом знании. Однако отсюда не следует невозможность понимания. Овладеть прошлым, постичь его уроки можно, если будет пересмотрена традиционная роль теорий. Арендт настаивала на том, что подлинно критическое осмысление жизни общества и личности, а также тех деформаций, которые они претерпевают в силу двух главных событий, никак не предвиденных социальной наукой, — тоталитаризма и Холокоста, возможно как раз на основе персонального опыта мыслителя. Это предполагает понимание теории не столько как обоснования объективных фактов с помощью абстрактных принципов, сколько как провоцирующей истории события или ситуации, рассказанной с разных точек зрения, но так, чтобы речь шла об индивидуальных человеческих существах [Arendt 1959: 33].

В истории социально-гуманитарного знания и философии XX века то или иное отношение исследователей к жизненному миру, к феномену повседневности, к реалиям современной истории оказалось связанным с противостоянием объективистски-натуралистских и антинатуралистских парадигм. Это проявляется в разном, подчас полярном отношении к опыту XX века, который с тем большей легкостью именуется трагическим и катастрофическим, чем легче допускается, что возможны свободные от его бремени вариан-

ты смыслообразования. Так, в 60-е годы в рамках проекта «Авторитарная личность» широко обсуждались итоги экспериментов А. Мильграма, призванные продемонстрировать, в какой обескураживающей степени пиетет к науке и конформистское подчинение господствующим социальным установкам могут заглушить элементарные нравственные чувства, и прежде всего способность сопереживать. Кажется, Э. Фромм заметил, что экспериментаторам не было нужды создавать для этого искусственную ситуацию. Та нравственная интенция, которая лишь имплицитно присутствует в этом замечании, эксплицируется в целом ряде позиций, которые объединяет следующая установка: проблема понимания как тех тенденций, которые привели XX век к «черной дыре» тоталитаризма, так и того, что произошло в ходе этого века с культурой и наукой, высвечивает недостатки традиционных мыслительных категорий и стандартов, их тесную связь с конвенциональными представлениями об объективности и беспристрастности.

Философия Арендт содержала как обоснованную критику в адрес позитивистской ортодоксии, так и яркое выражение альтернативы ей. Мыслитель понимал, что сам опыт последнего столетия ставит каждого исследователя перед моральной дилеммой объективизма и релятивизма. Бесспорно, универсалистски-объективистские притязания традиционной метафизики продемонстрировали свою ограниченность, но и релятивизм не менее проблематичен. Чем более плюралистичной и фрагментарной становится жизнь, тем более прочным становится убеждение людей в том, что все понятия — не более, чем завеса для людских предпочтений и целей. Однако значит ли это, что поиск истины бессмыслен? Но если он не возможен более на пути подверстывания беспрецедентных событий и судеб последнего столетия под классические универсальные категории, то как он возможен вообще?

Сложность проблемы, поставленной Х. Арендт, стала причиной того, что ее собственные представления о задачах исследователя в век тоталитаризма и попытки их реализовать оставались и остаются открытыми для упреков в релятивизме, субъективизме, сентиментальности, забвении канонов научного исследования. Особенно далеки от традиционного понимания научного метода две характеристики предлагаемого Арендт пути [Luban 1983: 216—217]. Первая — пред-

ставление о том, что научное объяснение радикально связано с определенным периодом времени: исторические обстоятельства определяют не столько характер объяснения, сколько саму его возможность. Это противоречит принятому в позитивной науке обыкновению отделять теорию от обстоятельств ее возникновения. Согласно Арендт, не важно, сколь абстрактно могут звучать наши теории или сколь последовательными могут оказаться наши аргументы, за ними лежат случаи и истории, которые, по крайней мере для нас самих, содержат, как в скорлупе, полный смысл того, чего бы мы не должны были сказать. Вторая — утверждение о том, что нужный для понимания тип личностной добродетели не есть ни научная отчужденность от предмета, обособление от него (которое Арендт называет «объективностью евнуха», «угасанием Я»), ни ум. То, что требуется, это скорее способность к объективности в смысле честности и беспристрастности, подобно Гомеру, «решившему воспевать дела троянцев не меньше, чем дела ахейцев», или подобно Геродоту, поведавшему о великих и чудесных делах греков и варваров, чтобы помешать утрате полагавшейся им награды славы» [Arendt 1968: 51]. И больше всего — «чистота души, неотраженная невинность сердца» [Arendt 1964: 229], которая позволяет рассказать историю так, как она произошла.

Мыслителя возмущал тот факт, что столь ценимые западной философской и политической мыслью абстрактные категории права и морали именно в силу своей абстрактности с такой легкостью стали не только предметом нацистских «лингвистических игр» и идеологических манипуляций, но и основанием легитимности тоталитарного режима [Disch 1993: 672]. С ее точки зрения, тоталитаризм делает «тотальным» именно его способность «фабриковать» реальность, то есть превращать в безоговорочную реальность частную по своей сути гипотезу (о возможности мирового господства) [Arendt 1968: 87]. Эта способность ставит тоталитаризм «по ту сторону» объективных необходимостей, рассматриваемых наукой как составные части реальности. Эпистемологический кризис, в который тоталитаризм повергает науку, проистекает из его способности «создавать» реальность, что обесмысливает традиционный для науки поиск объективности. Выйти из него можно, если понимать объективность не как абстрактное нейтральное описание какого-либо феномена, но как не скрывающее моральные предпочтения и критические ин-

тенции автора рассказывание истории происшедшего, основанное на личных переживаниях и опыте теоретика, направленное на воздействие и усиление моральных способностей аудитории. По Арендт, осмыслить, понять опыт этого века — это значит придать ему смысл в форме истории, рассказа. В своей работе «Человек в темные времена» она замечает: «История вскрывает значение того, что в противном случае осталось бы невыносимой последовательностью чистых случаев» [Arendt 1959: ix—x].

Чтобы пролить свет на несовместимость реальности и тех абстрактных представлений, которых мы придерживаемся, считала Арендт, необходимо рассказывать истории. Когда мыслительные дилеммы, связанные с происшедшим, неразрешимы с помощью предзаданных правил, настаивала она, их стоит представить, рассказывая историю происшедшего, что, как минимум, вызовет иной, более живой отклик тех, кому они адресованы, нежели строгая аргументация. Новаторство и интеллектуальная честность Х. Арендт состоят в переосмыслении принципов критического понимания жизни общества и личности, понимания деформаций, которые они претерпевают в силу тоталитаризма. Арендт полагает, что это возможно в случае, если персональные опыт и переживания мыслителя не отвергаются, что предполагается в рамках традиционной метафизики, но, напротив, кладутся в основу размышлений и становятся импульсом к рассказыванию истории.

Дело, однако, заключается не только в той или иной степени нравственной состоятельности исследователя, обуславливающей его способность или неспособность дистанцироваться от происшедшего. Вопрос состоит в том, как возможно мышление «после Освенцима»? Арендт размышляла и над этим, будучи особенно озабоченной возможностью мышления такого плана, чтобы оно не только выражало, но и включало в себя темпоральность как свой конститутивный элемент. «Вневременность», «абстрактность» теоретического мышления в целом и полагания ценностей в частности становятся объектом ее острой критики. Выходом здесь, с ее точки зрения, является помещение вневременного мышления в темпоральный, человеческий контекст, что придало бы ему должную ответственность перед миром. В своей работе «Жизнь разума» [Arendt 1978] она увязывает этот тезис с фактами рождения как одного из условий чело-

веческого существования и темпоральности как его главного конституирующего момента. Логика ее рассуждения такова. Просто постулировать необходимость ответственности мышления за мир — недостаточно. Эта идея требует какого-то понятия, какого-то мыслительного стандарта. Какой же стандарт мышления может быть задан темпоральностью, областью, где ценности и традиции постоянно изменяются и где люди постоянно себя трансформируют? Чтобы найти такой стандарт, надо прежде всего признать проявление темпоральности человеческого существования в его вечно новых, всегда беспрецедентных результатах, сущность которых невозможно предсказать. Мы должны начать, утверждает она, не с сетования на непредсказуемость человеческих дел, но с ее прославления. Нам нужна онтологическая парадигма, которая утвердила бы нашу темпоральность вместе с императивом, которым могло бы руководствоваться ответственное действие. Такая парадигма может быть найдена в факте рождения. Говоря о рождении, Арендт понимает под ним появление все новых человеческих существ, каждое из которых несет с собой в мир возможность новых начинаний, действий, мыслей, инициатив. Это на первый взгляд очевидное обстоятельство возводится Арендт в ранг онтологического фундамента человеческих деятельности и разума, неперменным атрибутом которых должна стать ответственность. Факт рождения налагает на нас бремя обеспечивать непрерывность существования человеческого вида, гарантировать, что новый человек способен будет в будущем действовать, и не препятствовать проявлению его креативного потенциала. Это и есть ответственность за мир. В появлении новорожденного в мире лежит способность к мысли, к «чуду», которое «спасает мир», по Арендт. Рождение прерывает заданность континуума истории, все новые люди, появляясь на свет, становятся живыми свидетельствами свободы. В силу этого наше первое обязательство в защиту разума — сохранять и заботиться о вечности человеческого вида не ради истории, но ради обещания мыслить и действовать, которое хранит в себе каждый человек. Поэтому наши действия должны руководствоваться первым общим принципом — благоговением перед жизнью. Благоговей перед «чудом рождения», мы можем выполнить тройной императив «жизни ума». Во-первых, мы удостоверяем приверженность непрерывности развития человеческого вида, а тем самым и истории.

Во-вторых, на нас лежит обязательство обеспечить новорожденному будущее, в котором он сможет действовать свободно. В-третьих, мы напоминаем о бесконечности новизны, в которой мысль вечно проявляет себя. Тем самым «чудо рождения» есть почва, на которой произрастает единство мысли и действия.

Требование ответственной мысли было сформулировано Арендт в ответ на события немецкой истории 30-х годов. Шоком для мыслителя стала неспособность ее немецких коллег-философов повести себя вровень с «темными временами» [Трубина 1999: 116—131], что проявилось не только в их нравственной слабости, но и в слабости интеллектуальной, ибо они, по выражению К. Лефора, «поставили на службу отсутствия мысли самые искусственные, самые лживые конструкции» [Лефор 2000: 66].

Одной из доминирующих тенденций XX века стало осознание краха «законодательного разума» (З. Бауман) перед лицом непредсказуемости исторических сдвигов, глубины экзистенциальных потрясений. Складывается впечатление, что в усиливающемся внимании к нарративам проявляется общий процесс, условно говоря, мобилизации ресурсов опыта и культуры человечества в целях осмысления проблематичного статуса, который получает научная рациональность в наши дни.

Нарративы в историческом знании: между history и story

Название одной из относительно недавних монографий по истории сформулировано в виде вопроса: «Как итальянский путешественник стал американским героем?» Речь в ней идет о Колумбе, и приурочена она была к широким торжествам по случаю пятисотлетия открытия европейцами Америки [Bushman 1992]. Праздновалась эта дата несколько лет в начале 90-х — на пике движения политической корректности. Понятно, что образ великого мореплавателя, какой веками рисовала традиционная историография, не мог уже устроить широкие слои общественности. Традиционно этот образ символизировал торжество идеалов западной цивилизации, безудержность ее развития, убедительность и оправданность ее расширения. Но как быть с десятками тысяч индейцев, истребленных по

мере того, как выходцы из далекой Европы обживались на новом континенте? Как быть с трудом бесчисленных рабов, привезенных из Африки для того, чтобы привести жизнь белых людей на этом континенте в соответствие с европейскими стандартами? Соответственно, в какой контекст следует помещать этот эпизод, радикально изменивший направление истории? Какую историю об этом следует рассказывать? Было ли это на самом деле открытием? А может быть, скорее вторжением, завоеванием? Было ли то, что последовало за высадкой Колумба, «даром одной цивилизации другой или геноцидом индейцев» [Berkhofer 1995: 44]? Обилие известных сегодня фактов дела не облегчает, ибо то, что сам Колумб сделал и как события развивались впоследствии, можно понять, только поместив факты в контекст, то есть только придумав историю, которая, отобрав некоторые из них, непротиворечиво их соединяет. Интерпретаций одного эпизода может быть бесконечно много, и компромисс между сторонниками самых несопоставимых из них нередко бывает невозможен.

Парадоксально, что, несмотря на всеобщую убежденность в том, что путешествие свое Колумб действительно предпринял, что какие-то контакты между его людьми и «местными» имели место, единственное, в чем нам это начало современной американской истории дано, это те или иные *тексты*. Нас, кстати, даже в отношении тезиса об открытии Колумба как начала современной американской истории могут поправить сторонники исторической справедливости, подчеркнув, что для американских индейцев «их» история Америки началась неизмеримо раньше, что поэтому, начиная ее отсчет с открытия Колумба, мы искажаем истину и «протаскиваем» эгоистический взгляд белых людей. Но нам сейчас важно подчеркнуть другое. Кажется, мы с достаточной отчетливостью могли бы представить реальность момента прибытия Колумбовых кораблей: вот истомленные матросы с тоской вглядываются в океанскую даль, вот что-то показалось вдалье, вот первая шлюпка шоркнула о неведомый берег. Тем не менее все, все картины, которые разворачиваются в нашем воображении, какой бы массой подлинных деталей они ни были сопровождены (имена членов команды, чем они питались во время долгого пути, политические обстоятельства снаряжения Колумбовой экспедиции и прочее, и прочее), даны нам только через те или иные *истолкования* этого эпизода. К примеру, вышли книги, в которых

этот эпизод изложен так, как он сохранился в памяти поработанных европейцами народов: из поколения в поколение передавались легенды, пока не были записаны антропологами. Но стоит только представить количество опосредований, перетолкований, просто ртов и ушей, через которые эти предания прошли, прежде чем появиться на страницах толстой книги, как становится более понятным тот феномен, по поводу которого сегодня ломается столько копий.

История, говорим мы сегодня, прежде всего язык, дискурс, текст. Если любому пониманию реальности предшествует формирующее влияние языка — одного из многих, — неизбежна множественность исторических реальностей — языковых игр и их интерпретаций. Радикализм этого тезиса обернулся для историографии в последние тридцать лет интенсивным обсуждением языка в самых разных его видах и проявлениях: языка символов и жестов, языка как репрезентации, языка источников и языка историков, устной и письменной речи, пределов репрезентации уникальных исторических событий. «Поворот к языку» — возможно, главный итог интеллектуальной истории XX века — привел к пониманию того, что прямой доступ к исторической реальности невозможен: она всегда уже истолкована, представая перед нами в тех или иных вариантах языковой репрезентации. Одни историки восприняли «лингвистический поворот» как оправдание неизбежности многоголосия мнений, другие — как подтверждение интерпретативной стороны истории, третьи — как санкцию на инструментальный подход к знанию, наконец, для четвертых важны его моральные и политические измерения, связанные с демонстрацией отношений власти, содержащихся в системах знания.

Вы можете создать реалистические рассказ и роман, картину и фильм и — что нас особенно интересует — исторический текст, и в каждом отдельном случае ваша репрезентация будет реалистичной, но будет отличаться от других — в силу отличия вашего «медиума» и конвенций, на которых основано его функционирование. Даже документальные фильмы и книги не ускользают от этого правила: они должны основываться на специфических приемах, придающих изображению вид реальности. Литературные теоретики подробно показывают, как реализм достигается за счет изображения характеров, последовательности разворачивания события во времени. Представители «поэтики» или «риторики» исторического пока-

зывают, что реализм исторического текста, сколько бы статистических таблиц и фактической информации он ни содержал, также основывается на некотором количестве конвенций, почерпнутых, в свою очередь, из научного письма. Поясним это подробнее. Сегодня в различных дисциплинах появились книги, названные «Риторика...», «Поэтика...». Их авторы показывают, что даже именующие себя точными науки в действительности не свободны от произвольных допущений, вытекающих из какого-то определенного типа языка и культуры. Социология и философия науки произвели целый корпус литературы, показывающей, что наука — это тип дискурса, не слишком тесно связанный с внешней реальностью. Научные суждения содержат в себе нечто большее, нежели экспериментальные данные, анализируемые ученым: значительное место в них занимает риторический и ненаучный дискурс.

Внимательный анализ естественно-научных текстов обнаруживает присутствие встроенных в них риторических стратегий распространения среди членов общества новых открытий, не исключаящих создания вымышленных историй, упорядочивающих хаотичность исследовательской деятельности в связных повествованиях, отвечающих публичным представлениям о том, как должна делаться наука [Гилберт, Малкей 1987].

Издание книг типа «Экономика как дискурс» совпало по времени с общей волной консервативной критики в адрес науки, в ходе которой и критики науки, и собственно ученые оценили меру вовлеченности дискурсивных практик в процесс поддержания более или менее высокого публичного статуса науки. В то же время ряд изданий такого плана предназначались для демонстрации беспочвенности претензий социально-гуманитарных дисциплин на научность. Кочующие из книги в книгу утверждения о том, что никакой реальности за научным текстом нет, что это лишь «риторика», лишь «идеология», претендующая называться научной, только чтобы воспользоваться престижем науки, тесно связаны с общими критическими по отношению к проекту модерности построениями. Идея автономной науки, находящейся в стороне от какого бы то ни было конкретного контекста, есть, показывают авторы, фантазия, культивируемая учеными либо в целях собственной карьеры, либо ради успокоения людей. Если общество модерности строилось на доверии к научным

текстам и, в частности, к учебникам, то сегодня нередко можно услышать утверждения, что учебники типа популярного у российских студентов «Экономикс» Сэмюэльсона есть не что иное, как набор риторических трюков, ничего общего с реальной экономической деятельностью не имеющих.

Вместе с тем внимание к «нарративности» науки становится способом критики и преодоления традиционных представлений о научной теории и осмысления конститутивных характеристик таких типов реальности, как историческая, психологическая, художественная. За счет чего воссоздается в текстах профессиональных историков историческая реальность? Во-первых, это происходит на основе не только дисциплинарных конвенций, специфических для научного письма, но и социальных конвенций, в частности социальных представлений о том, что может быть реальным (а что заведомо должно быть отнесено к сфере вымысла). Тогда представление о том, что *считается реальным*, во-первых, в данном обществе, во-вторых, в данном профессиональном сообществе и оказывается тем, что подразумевают под реальностью историки, обуславливая природу объяснений [Berkhofer 1995: 59]. Во-вторых, это происходит за счет негласного договора между читателями и историками, который восходит к тем типам текстов, в которых реалистическая установка воплотилась с наибольшей полнотой: крайними, но равно влиятельными здесь являются реалистический роман и научная статья. В-третьих, за счет того, что прошлое воссоздается как объективно постижимое всеми читателями, независимо от их классовой принадлежности или культурной местоположенности [Berkhofer 1995: 59].

Все это в совокупности обуславливает «натурализацию» конвенций реализма: благодаря этому «прошлое представляется как автономный мир, который может быть рассмотрен вне зависимости от того, кто создает историю... то, что практически является абстрактным, представляется, как если бы это была конкретная реальность, и реальность где-то там, но не в тексте» [Berkhofer 1995: 59]. Иначе говоря, абстрактное — в ходе конструирования исторической реальности в тексте — смешивается с конкретным, то, что представляет собой конструирование, представляется как реконструирование, нарративные моменты изложения маскируются под анализ, декларирование первостепенности фактов как источника очевидности за-

темняет изобилие плодов работы воображения. Это делается с тем, чтобы придать текстам необходимую прозрачность, скрыть то, чем они на самом деле являются — риторическими репрезентациями прошлого, и, напротив, подчеркнуть, что и организация текстов, и характер содержащихся в них описаний обусловлены структурой самой реальности.

Некоторые итоги

Мы попытались показать, что нарративный поворот побудил по-новому взглянуть на соотношение науки и истории, оценить меру их «нарративности». Тем не менее эта проблематика касается глубинных интуиций западной культуры, затрагивая те ее болевые точки, которые связаны с осмыслением рациональности, объективности, истинности, толерантности. Это понятно: подобные варианты критического прочтения научной теории не вызывают восторга за пределами соответствующего дискурса. Поясню это на таком примере.

Давая краткий очерк истории европейской (континентальной) философии, восходящая звезда английской философии — преподаватель университета в г. Эссексе Саймон Кричли провокационно заявляет, что, помимо многого замечательного, что в ней происходит, наблюдаются и тревожные тенденции, которым Кричли дает хлесткое название — «X-files»-комплекс [Critchley 2001: 118]. Что же удостоилось такой сомнительной квалификации? Кричли говорит о том, что философию заполонил «обскурантизм». Боже, думает читатель, это напоминает стиль советских авторов, клеймивших мыслительные недуги буржуазных недругов. Это нагруженное слово Кричли, безразличный, похоже, к наследию неокантианства, использует, чтобы описать отвержение философией причинных объяснений происходящего, предлагаемых естественными науками, в пользу «альтернативной причинной истории» более высокого порядка, к тому же «окультистской» по природе.

Научному объяснению противопоставляется контрнаучное, рациональному — исходящее из неизбежности таинственного, но тем не менее остающееся причинным: «землетрясение было вызвано не тектоникой подземных плит, но гневом Бога на наши грехи». Чтобы последней версии объяснения поверило достаточно большое число

людей, культура, к которой они принадлежат, должна предпринимать особые усилия, делая историю о том, чем для людей чреват гнев Господа, достоянием своих носителей. Чтобы понять, почему, по этой версии, произошло землетрясение, надо знать смысл отношений людей с Богом, оформленных в историю. Но не нужно ли знать и историю формирования земной начинки, чтобы счесть убедительной первую версию? Предполагает ли, иначе говоря, оформление в виде истории научная тектоническая теория? Конечно, ведь она генетически объясняет сегодняшнее расположение подземных плит, одни события и процессы выдвигая в качестве причин, а другие — в качестве следствий. Отличаются ли эти теории с точки зрения очевидности предлагаемого объяснения? Вряд ли. Дело в другом. Первая — научна, вторая — нет: первая объясняет происходящее *естественными* причинами. Но нельзя ли сказать, что у объяснительной истории, которую предлагает геофизика, просто герой другой? Там, где теологи твердят о неисповедимости путей Господних, геофизики рассуждают о многофакторности процессов подвижек земной коры. Многочисленные провалы в работе сейсмологов и, как результат, миллионный ущерб, искалеченные и унесенные жизни, страх, гнездящийся в душах жителей Еревана или Лос-Анджелеса, — не может ли это все быть объяснено капризностью и злокозненностью земных недр? А если скажут, что я одухотворяю и одушевляю, протаскивая мифологическое в научное, то я, парируя, напомним о «пыхнувших мембранах» в биологии и «тесноте стихового ряда» в поэтике.

И все-таки: неистребимость метафор в научном дискурсе и пропитанность его историями в большей степени, чем мы в этом готовы себе признаться, составляют хотя и волнующее, но дополнение к его существу. А вот чем объяснить сегодняшнюю одержимость, если не поглощенность, массовой культуры необъяснимым и таинственным? На ум приходят разочарование в возможностях науки, негативные последствия гордыни, с какой ее представители подступались к раскрытию тайн мироздания, раскрыли их, использовали, и, мало того, что тайн никаких вокруг не осталось, так еще и сколько вреда нанесено. Вот мы и видим столкновение в каждом эпизоде «X-files», так сказать, герменевтики веры и герменевтики подозрения: что бы таинственное ни стряслось, уравновешенной Скалли и импульсивным

Малдером предлагаются две причинные гипотезы: одна — научная, другая, как выражается Кричли, «оккультная». Не беда, что вторая в итоге всегда пасует — она-то и оставляет нас озадаченными. Но Кричли, конечно же, прав, говоря, что если как вечернее развлечение «X-files» безвредны, то последствия «X-files»-комплекса могут быть достаточно серьезными. Однако мы удивимся, прочитав перечень «кандидатов в обскурантистское объяснение». Названы не только «вездесущность чужеродного разума» и «воздействие звезд на поведение людей», но и «воля Бога». Не обладает ли история, построенная на последней «Причине», рядом достоинств, которые выводят ее далеко за рамки тех или иных проявлений современной мифологии? Но в своих дальнейших рассуждениях Кричли сокрушает и святыни, возможно более дорогие сердцу современного интеллектуала. Он называет их «менее очевидными, но равно злостными». Это «драйвы» по Фрейд, «архетипы» по Юнгу, «власть» по Фуко, «реальное» по Лакану, «след Бога» по Левинасу или «история как эпохальное удаление от бытия» в позднем Хайдеггере. Это, конечно, очень и очень ответственная оценка. Чем же тогда нам всем заниматься, как не толковать «реальное» по Лакану и «существование» по Хайдеггеру?

Кричли, поклонник Витгенштейна, раскрывает карты: не стоит ли опереться на опыт феноменологии? Не стоит ли присмотреться к неявному, скрытому от нас самим запасу наших ноу-хау относительно социального мира? Для его постижения нам вряд ли потребуются как научные объяснения, так и псевдонаучные гипотезы на основе смутных причин. Что потребуется, так это «проясняющие замечания» в отношении тех главных сторон вещей, которые скрыты от нас в силу своей простоты и обычности. Скрытые, потому что самоочевидные, и скрытые, но самоочевидные. Опыт феноменологии, состоящий в смене угла зрения, под которым мы смотрим на привычные вещи, в переупорядочении того, что неявно уже было известно, пригодится и нам, когда мы смотрим на повествования вездесущие, и именно этой своей повсеместностью интригующие и настаораживающие.

Критический пересмотр канонов происходит почти в каждой дисциплине, равно как и в междисциплинарных дискуссиях. Одно из главных направлений, которые он принимает, состоит в обмене представлениями о том, каким должен быть научный дискурс. Это

приводит к разного рода результатам: от взаимного неприятия сторонников «маскулинного» и «феминного» (варианты: «европоцентристского» и «афроцентристского», «гегемонистского» и «контргегемонистского» дискурсов) до трезвого принятия некоторых моментов. Среди таковых следует упомянуть осознание, так сказать, меры риторичности и, в частности, повествовательности науки. Это обстоятельство связано, в свою очередь, с тем, что в ситуации обостренной социальной критики в адрес науки, утраты наукой былого доминирования исследователям предстоит уделять внимание и передаче, и распространению своих результатов, и их получению. Выбор исследователем тех или иных повествовательных моделей из общего запаса социальных представлений предназначен для поддержки более или менее принятого обществом образа науки как источника объективного упорядочивающего знания, а ее создателя — как служителя универсальной истины. В то же время обсуждение задействованных в функционировании научного знания повествовательных стратегий обнажает глубоко «пристрастную» природу научной дискуссии, те, в частности, факты, что выбор определенных стратегий воплощает доминирующую в обществе систему социальных смыслов, что кажущиеся на первый взгляд само собой разумеющимися риторические предпочтения в действительности объясняются не столько научной необходимостью, сколько скрытыми идеологическими приверженностями к существующим в обществе иерархиям ценностей.

Большие интерпретативные возможности открывает признание того факта, что в социуме доньше преобладали идеализированные модели научного письма и риторические конвенции и что, напротив, критика скрытой социальной ангажированности традиционно академического дискурса возвращает методологов и социологов науки к анализу феномена авторства в науке и того, в частности, каким многомерным, охватывающим все существо исследователя, воплощающим его локализованность в конкретных исторических, культурных, идеологических обстоятельствах процессом является научное письмо.

Речь, разумеется, не идет о новом витке элиминации нарративов, которые, как можно видеть, столь эффективно размывают границы между «чисто» научным и социальным. Скорее на повестке дня оказывается вопрос о том, что признание безусловной полезности науч-

ных повествований должно быть сопряжено с осознанием их неизбежной ограниченности, тесно связанной с особенностями фигуративного языка как такового. Речь идет о том, что способность такого языка к упорядочиванию достигается весьма дорогой ценой: он выделяет одни этапы процесса, одни стороны явлений ценой отвлечения, «замалчивания» других этапов и сторон нарратива. В силу этого такой язык порождает неопределенность. Хорошо известны неоднократно предпринимаемые в истории науки попытки если не элиминировать эту неопределенность, то свести ее к минимуму. Неудача большинства из них привела к примирению с неопределенностью, что, однако, не освобождает исследователей специфики научного письма каждый раз вновь и вновь задаваться вопросами о том, с какой целью отбирается та или другая повествовательная модель, насколько продуктивна она для воплощения того или иного видения предмета исследования, особенно новых взглядов, что в описываемом феномене или процессе такая модель «замалчивает», как данное повествование работает по сравнению с другими научными историями.

ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В РИТОРИКЕ И ПОЭТИКЕ

В. Н. Маров

Понятие толерантности в последнее время вводится в научный обиход, в том числе теорией коммуникации*. Соответствующими принципу толерантности считаются такие элементы сообщения, которые имеют признаки рефлексивности и симметричности [Кондаков 1976: 600]. При этом актуализация и соотношение данных признаков неодинаковы в разных типах сообщений. В этой главе

* Так, Н. А. Купина считает, что к факторам «идеологической толерантности» в коммуникации относятся: установка на открытый диалог, гражданская активность, проявление всенародного единения перед угрозой утраты национально значимой ценности», и полагает, что «центральной в анализе толерантных отношений становится категория диалога (полилога)» [Лингвокультурологические проблемы... 2001: 239, 236].

предметом изучения с точки зрения реализации принципа толерантности являются тексты риторического и поэтического характера, сопоставляемые и противопоставляемые в концептуальном плане со времен Аристотеля.

В тексте р и т о р и ч е с к о г о характера, по Аристотелю, сущностной является установка на разумность, рассудительность, что само по себе должно располагать собеседников к толерантности: «Есть три причины, вызывающие доверие к говорящему ...это рассудительность, добродетельность и доброжелательность» [Аристотель 2000: 59]*. Вследствие этого в риторическом тексте на первый план выдвигаются признаки р е ф л е к с и в н о с т и (лат. *reflexio* — «обращение назад»)** . Признаками рефлексивности в риторическом тексте выступают, во-первых, наличие в его структуре аргументации: риторика «изучает любые произведения слова, в которых содержится а р г у м е н т а ц и я» [Волков 2001: 9]; во-вторых, то, что основой риторической аргументации являются т о п о с ы — положения, понятия и принципы, «которые признаются всеми вообще и не требуют доказательств» [Рождественский 2000: 5]***; в-третьих, то, что построенная из этих топосов э н т и м е м а — базисная форма риторического убеждения [Аристотель 2000: 5] — отвечает правилам рефлексивного рассуждения, то есть, реализуя схему имплицативного отношения антецедента (посылки) и консеквента (заключения), делает это отношение «обратным»: по консеквенту мы делаем заключение об антецеденте. Сложность при этом видится в том, что в энтимеме, как известно, выпущена одна из частей силлогизма, которая должна подразумеваться, и это не только акт доверия к собеседнику,

* Говоря о форме «рассудительности» и упрекая авторов предшествующих риторик, Аристотель пишет, что «они ничего не сообщают об энтимемах, составляющих основу убеждения» [Аристотель 2000: 5].

** Полагают, что само появление риторики обязано рефлексии: «Дорефлексивные эпохи... имели разработанную практику этикета публичной речи, но не имели и не могли иметь риторики» [Эстетика 1989: 297].

*** Ю. В. Рождественский с позиций лингвосемантической мотивировки выделяет топы «род — вид», «целое — часть», «причина — следствие», которые зависят от грамматических значений, и топы типа «благо», «зло», «враг», «друг», которые формируются «на основе лексических значений общего характера», но «в конкретных высказываниях... этически организованы» [Рождественский 2000: 108]; в этом смысле общие места — «основа регулирования всех видов современных споров» [там же: 5].

но и расчет на его способность рассуждать.

Приведем примеры рефлексивности, которые взяты нами из материала С. Кузиной «7 мифов о Чернобыле» (Комс. правда. 2002. 13 февр.): *О двухголовых черномыльских бычках ходят легенды. Но тогда откуда взялись уроды в Кунсткамере, созданной еще при Петре I?* Здесь первое предложение выступает в роли антецедента, причем слово *легенда* актуализирует словарное значение «предание (рассказ) о каком-либо событии». В этом контексте содержание предложения воспринимается как правильное, общепринятое (топос). Однако далее в качестве второй посылки автор вводит риторический вопрос, который возвращает нас к начальной посылке и заставляет переосмыслить ее содержание: благодаря этому повороту в слове *легенда* на первый план выходит другое его значение — «вымысел, миф». Такое заключение, которое выпущено автором, проецируется им на топос с помощью «обращения назад», чем реализуется коммуникативная задача показать, что многое из того, что принято связывать с ядерным инцидентом в Чернобыле, является вымыслом.

Как видно из анализа, рефлексивная схема энтимемы может использоваться в риторических целях. Однако для этого необходимо, чтобы построение рефлексивной энтимемы производилось по определенным правилам. Это прежде всего правило т р а н з и т и в н о с т и (лат. *transitus* — «переход»), которое подразумевает, что «если первый член отношения сравним со вторым, а второй с третьим, то первый сравним с третьим» [Кондаков 1976: 615]. Своеобразие же рефлексивной транзитивности заключается в том, что она в этом случае приобретает обратную направленность. Например: *Если бы Чернобыль нас убивал, то за 16 лет число онкологических заболеваний должно было бы стремительно возрасти, превысив средние показатели за прошлые годы на десять — двадцать тысяч случаев ежегодно. Но до сих пор у онкологов России, Украины, Белоруссии не случались такие «авралы».* В этой имплицативной схеме рассуждения («если ... то») понятие *убивать* сравнимо с *числом онкологических заболеваний*, а оно, в свою очередь, сравнимо с *авралами онкологов*. А поскольку этих *авралов* нет, то, полагает автор, *Чернобыль нас не убивает*. Это подразумеваемое здесь заключение проецируется на исходную посылку (топос), которой является бытующее сегодня мнение: *Чернобыль нас убивает*, представляя ее спорной и не соответствующей

действительности. Подобный вывод, однако, не навязывается, а только предлагается адресату речи. Поэтому такая схема аргументации воспринимается как т о л е р а н т н а я.

Другим правилом построения рефлексивных отношений является р е д у к ц и я (лат. *reducere* — «приводить обратно, возвращать»), смысл которой сводится к тому, что какое-либо положение, трудно поддающееся пониманию, преобразуется в более простое, исходное для этого положения начало. В логике редукцией обозначают один из методов доказательства, например, прием сведения к абсурду [Кондаков 1976: 515]. В риторике редукция — это «смысловая связь между понятиями, включенными в аргумент, посредством которых значение положения сводится к значению основания» [Волков 2001: 82]. Задача рефлексивной редукции — возвратить включенные в аргумент понятия к основному положению с позиций его большей доступности, понятности. Рассмотрим пример: *Но дело в том, что чернобыльская ситуация должна быть приравнена к любому другому серьезному стихийному бедствию, как наводнение или пожар, с выплатой денег пострадавшим один раз. Нужно снять с практически здоровых людей ярлык радиационных жертв и вернуть их к нормальной трудовой жизни. В противном случае будут считаться такими же жертвами дети, родившиеся в 1986—1987 годах. А если следовать подобной логике, то и последующие поколения будут вправе требовать льгот. Но ведь погорельцев, семьи погибших шахтеров никто не содержит всю жизнь.*

В этом примере основанием является *должно приравнивать к...*, а следствием — *выплата денег один раз*. Их отношение определяется, по сути, имплицативной схемой (*если чернобыльский инцидент — стихийное бедствие, то выплата пострадавшим должна осуществляться один раз*), где консеквент, как и в предыдущих примерах, опущен и подразумевается. Однако антецедент, в отличие от предшествующих случаев, не является топосом. Поэтому основное внимание в аргументации автор уделяет основанию, для чего использует несколько риторических приемов: «приведение к нелепости» (если основание не признать истиной, то, по мнению автора речи, в число жертв войдут не только дети пострадавших, но и все последующие поколения) и «умножение аргументов» (инцидент приравнивается к наводнению, пожару, гибели шахтеров). После осуществления редукции автор считает возможным вернуть нас к исходному сужде-

нию, обогатив его новыми смыслами (пострадавших *должно приравнять* к здоровым и аннулировать их права на льготы и т. п.). Редукция, таким образом, играет существенную роль в рефлексивном обосновании авторского положения, но, поскольку при этом прибегают обычно к помощи сравнения, этот прием позволяет избегать императивности, используя в этих случаях модальность возможного, вероятного.

Еще одним правилом построения рефлексивного текста является *рекурсивность* (лат. *recurso* — «возвращение»). Из этого правила следует, что значение данного аргумента определяется с помощью значений, свойственных предшествующим аргументам [Кондаков 1976: 515]. Пример: *В основе радиофобии лежит лживая информация со стороны административных органов, подкрепляемая малограмотностью «специалистов» от радиационной медицины, которую печатают СМИ. Ведь радиационная доза, которую получили чернобыльцы, немного превышает природный радиационный фон, при котором человечество прекрасно проживает уже миллиарды лет. Средний радиационный фон на планете, включая Россию, 2,4 миллизиверта (мЗв — это тысячная доля зиверта). А есть области в Индии, США, где люди живут при естественном фоне, превышающем эти цифры в десятки раз! И ничего. Естественный фон образуется за счет содержащихся в почве и скальных грунтах радиоактивных элементов, а также за счет космического излучения.* Здесь рекурсивность аргументации автор обеспечивает тем, что вводит в текст понятие *природный радиационный фон*, содержание которого соотносится с предшествующим понятием *радиационная доза* и последующим понятием *средний радиационный фон*. С ним, в свою очередь, соотносится понятие *естественный фон, превышающий средний радиационный фон*. Рекурсивное построение аргументации создает в рассуждении такую последовательность, когда для решения поставленной задачи используются возвратные движения мысли, однотипность которых производит впечатление единого алгоритма, обеспечивающего обоснованность доказываемого положения. В тексте присутствуют некоторые неэвфемизированные выражения (*лживая информация, малограмотность специалистов*), но они относятся не к собеседнику, а к третьему лицу. В целом же рекурсивный ход аргументации приглашает собеседника порассуждать, проявить здравомыслие, то есть

быть благорасположенным в общении.

Как видно из рассмотренных примеров, названные выше правила имеют существенное значение для реализации п р и н ц и п а т о л е р а н т н о с т и путем организации рефлексивного рассуждения, характерного для риторического текста. Этот его формально-логический уровень, ориентированный на топику, при определении с т р а т е г и и сообщения должен дополняться архетипическим уровнем, который, составляя смысловой фон текста, играет важную роль при установлении цели общения, его общей стилистической направленности и т. п. Например, наличие в текстах СМИ ценностных суждений, связанных с пропагандой насилия, агрессии, нетерпимости, воспринимается как н е т о л е р а н т н о с т ь. Разрушение «идеологической толерантности» [Лингвокультурологические проблемы... 2001: 239] в наших СМИ стало ощутимым в период экспансии явлений, получив название *черный ПР, информационная война, борьба компроматов* и др. Их распространение стало возможным из-за отсутствия в массовом общении демократических традиций и принципов, одним из которых является толерантность. Сегодня необходимость в следовании этому принципу осознается как практическая задача СМИ.

Для решения этой задачи, в частности, рекомендуют отказаться от коммуникативных стратегий, которые ориентируют коммуникаторов на агрессивный стиль, на аффектирование адресата при размытости представлений о средствах достижения успеха в коммуникации. На формальном уровне эти средства отмечены резко негативной оценочностью по отношению к оппоненту, применением для его характеристики пренебрежительно-сниженной, грубо-просторечной лексики. Например: *делят власть мерзавцы, заправский шулер, подонки, воры и казнокрады* (газета «Завтра»). На архетипическом уровне эти лексические средства эксплицируют следующие антагонистические отношения: «свой — чужой», «мы — они» и т. п. (например: «мы» — это *народ, патриоты, коммунисты*; «они» — это *демократы, олигархи, правительство*). Мифологемы, создаваемые на этой основе в текстах периодики, демонстрируют псевдокоммуникацию.

Периодические издания, включающие в свою концепцию п р и н ц и п т о л е р а н т н о с т и, по-иному выстраивают свою коммуникативную стратегию. На формальном уровне она выражается в устремленности к диалогу, который наделяет коммуникаторов такими

чертами, как терпимость к чужому мнению, миролюбие, невраждебность, неконфликтность, склонность к сотрудничеству, согласию и т. п. По степени выраженности этих интенций диалог делится на два типа: 1) такой, в котором толерантность выражена слабо (избегание конфликтных тем и ситуаций, некатегоричность в формулировании своей позиции, стремление к нейтралитету); 2) диалог с сильно выраженной толерантностью (признание паритетности всех точек зрения, сохранение лица оппонента в полемическом дискурсе, гармонизация полисубъектной речевой деятельности). На архетипическом уровне тексты того и другого типа характеризуются «ориентацией на чужое слово» (М. М. Бахтин) как непереносимое условие и н т е р с у б ъ е к т н о г о д и а л о г а, под которым можно понимать выражение рефлексии через категории топики; в этом виде диалог становится, по существу, «основой современной риторики» [Рождественский 2000: 93].

Теперь перейдем к анализу текста п о э т и ч е с к о г о характера, для которого, по Аристотелю, сущностной является установка на «ритм, слово, гармонию» [Аристотель 2000: 149]. Гармония — представление архетипического уровня («упорядоченность, красота, совершенство»), которое включает в себя «операционное» понятие с и м м е т р и и как соразмерности в расположении частей какого-либо целого (от греч. *symmetria* — 1. «соразмерный, соответственный, сообразный, подходящий, приличный, согласный»; 2. «соблюдающий надлежащую меру, умеренный; *поэт.* вовремя, кстати») [ГРС 1879: 1172—1173]. В таком значении это понятие выступает со времен античности как «натурфилософский космологический принцип и канон художественного творчества» [Айзикович и др. 1983: 608]*. Симметричность появляется в тексте как результат его структурного преобразования посредством ф и г у р: «Нет поэзии без фигур, если, конечно, понимать фигуры достаточно широко: любое литературное «сообщение» ритмизовано», в нем используются ассо-

* Примечательна следующая мысль: «В ходе эволюционного развития материи... обнаруживается тенденция уменьшения степени симметрии и соответственно возрастания асимметрии» [Айзикович и др. 1983: 608]. Видимо, эту мысль можно экстраполировать и на развитие коммуникации.

** Эту точку зрения поддерживает Ю. М. Лотман, говоря, что «поэтика текста», сочетаясь с типами переносных значений, образующих «поэтическую семантику», составляет основу «общей риторики» [Лотман 1995: 92].

нансы, членение, оппозиции и т. д. [Общая риторика 1986: 59]**. Введение таких фигур означает «кодовый переход» общения на «поэтический язык», с помощью которого «можно управлять проявлением у воспринимающего партнера определенных представлений и чувствований» [Жинкин 1997: 21]*. В качестве кодового «преобразователя» могут выступить, например, средства достижения «благородства» в сообщении. «Благородное же и незатасканное выражение есть то, — замечает Аристотель, — которое пользуется необычными словами. А необычными я называю глоссу, метафору, удлинение и все, уклоняющееся от общеупотребительного» [Аристотель 2000: 171]. Здесь «преобразуемыми» выступают, с точки зрения «Поэтики» Аристотеля, слова «обычные» (обыденные, затасканные), «преобразованными» — слова «необычные» («уклоняющиеся»), а «преобразователями» являются фигуры поэтической речи. Эти процессы предполагают наличие в тексте некой о с и п р е о б р а з о в а н и я, что также является признаком симметрии. Лингвосемантическая мотивировка к созданию такой оси преобразований характеризуется как проекция «принципа эквивалентности с оси отбора на ось комбинации», по Р. О. Jakobsonу, при этом отбор осуществляется на основе «подобия — различия, синонимии — антонимии», а комбинация — на основе смежности [ЛЭС 1990: 543]**. В парадигматическом плане эквивалентность, обязательное свойство симметрии, можно определить как меру и н т е р п р е т а ц и и базового лингвосемантического архетипа, представляющего абстрактную величину, которая вытекает из обратимости соотносимых в тексте семантических пространств в категориях синонимии, антонимии и др. Так, сопоставляя выражения *говорить в глаза* и *говорить за глаза*, мы замечаем, что

* Автор считает «кодовыми переходами» взаимодействие «внутреннего, субъективного языка и натурального, объективного». Поскольку «представления и чувствования... непосредственно не передаваемы», это «достигается путем введения в язык новых правил, регулирующих или надсинтаксическую структуру временных членений (как в поэтическом языке), или форму языковой изобразительности, то есть способ построения описываемых ситуаций (как в художественной прозе)» [Жинкин 1997: 21].

** О кореференции. В повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» параллелизм осуществляется через две цепочки наименований: 1) что-то черное, человек, вожатый и т. п.; 2) Емельян Пугачев, злодей, самозванец и т. п. И только в восьмой главе возникает кореференция: оказывается, вожатый и Пугачев были «одно и то же лицо».

осью преобразования служит слово *говорить*, причем не во всем объеме своих значений, а только в одном из них: «высказывать мнение, суждение». Оно-то и является в данном случае архетипической семой, общей для сопоставляемых выражений и интерпретируемой на основе антонимии. В синтагматическом плане системные свойства симметрии могут в поэтических текстах проявляться по-разному, например может отсутствовать одна из сопоставляемых единиц, которая должна домысливаться в категориях интерпретации. С учетом сказанного, можно определить правила, соблюдение которых необходимо при такого рода структурных преобразованиях текста.

Во-первых, это правило *т р а н с п о з и ц и и* (лат. *transpositio* — «перестановка»), использующееся для преобразования текста с помощью «метафор и иных переносов в лексике» [ЛЭС 1990: 519]. Приведем пример (отметим, что симметричности взяты нами из рецензии: Смолева Д. Светлый путь по окружности // Новые известия. 2000. 21 марта): *Ветры на салоне дуют с разных сторон, но самый мощный — из советского прошлого. Теперь это «эмблемно запечатлено в рекламном образе»: на обложке каталога красуется некое подобие герба СССР. Вместо пшеничных колосьев — колонковые кисточки, вместо земного шара — вид на ЦДХ, звездой служит пятиугольная комбинация из тюбиков краски, а кумачовый лозунг внизу гласит: «Artists of all countries unite»!* Здесь осью преобразования и опорой интерпретации выступает сема «прошлое», то есть «переставшее существовать, минувшее». Сопоставляются части этого «прошлого»: советский герб и эмблема салона ЦДХ, причем *прошлое прошлого* (герб СССР) актуализируется посредством фразеологизма *откуда ветер дует*, в значении «на что или на кого следует ориентироваться в своих действиях, поступках» [Жинкин 1997: 62], а *прошлое настоящего* (рекламный образ) вводится с помощью уподобления, то есть развернутых контекстуальных синонимов. В результате возникает сложная система параллельных общностей между двумя сопоставляемыми явлениями, которая призвана украсить текст, выражающий нелицеприятное мнение автора о салоне, поэтическими оборотами и одновременно уйти от назидательности, смягчить иронию, иначе говоря, преобразовать структуру сообщения с п о з и ц и й т о л е р а н т н о с т и.

Другим правилом создания симметрии в тексте является *а н а л о г и я* (греч. *analogia* — «соразмерность, соответствие, сходство»). Сораз-

мерность как категория «Поэтики» соединена у Аристотеля с представлением о красоте. В «операционном» плане аналогия (как соразмерность) означает «использование в речевой деятельности структурного образца», на основе которого «единицы языковой парадигмы упорядочиваются в речи (в тексте) в соответствии с некими принципами пространственной организации, образуя своего рода подобия геометрических фигур, хотя самой структуре языка такая пространственность не присуща» [ЛЭС 1990: 31, 543]. К такого рода фигурам прежде всего относятся композиционно-стилистические формы, то есть расположение частей произведения в соответствии с образцовыми схемами, имеющими признаки симметрии, например: параллелизм (синтаксический, строфический, ритмический), кольцо (лексическое, фразеологическое, целого текста), амебейное построение (вариативное чередование структур) и т. п. В число «геометризованных» речевых фигур включаются противопоставления: охват, перекрест (хиатус), антитеза, эпистрофа, восходяще-нисходящая градация и т. п. Рассмотрим пример: *Здесь бы надо перейти к обзору: кто блеснул, кто провалился, кто выступил на привычном уровне*. В этом примере градация построена таким образом, что ее восходящие лингвосемантические элементы (*блеснул*, то есть «отличился», «показал свое превосходство») и нисходящие (*провалился*, то есть «потерпел неудачу») соразмеряются с третьим ее элементом (*привычный уровень*), который служит точкой отсчета для интерпретации и осью симметрии, создаваемой на основе антонимии. Значение лингвосемантических структур, организуемых с опорой на соразмерность различных точек зрения, определяется тем, что они формируют в тексте завершенность, цельность, самодостаточность и обуславливают впечатление сходства, подобия представлений общающихся о предмете речи.

Еще одним правилом создания симметрии в тексте выступает к о р е ф е р е н т н о с т ь (от лат. *co* — «с, вместе»; *referens* — лингв. «предмет, к которому относится слово или знак; денотат»), то есть «тождество референций двух речевых отрезков», при этом цепочка таких отрезков, насыщающих текст сигнификативной информацией, образует его «референциальную историю» [ЛЭС 1990: 411]. В случае симметрии в тексте могут образовываться две параллельные «референциальные истории», соотнесенные друг с другом одним денотатом. Рассмотрим с этой точки зрения заголовок анализируемого

нами текста — «*Светлый путь по окружности*». Этот заголовок состоит из двух лингвосемантических единиц, каждая из них образует свою референциальную цепочку: *светлый путь*, значение которой определяется номинативной функцией, и *окружность*, значение которой устанавливается характеризующей функцией. Номинативная функция «обеспечивает референцию, когда речь идет о предмете, известном обоим собеседникам» [ЛЭС 1990: 411]. В данном случае имеется в виду название известного кинофильма («Светлый путь»), ставшего символом (знаком) советского искусства. Употребление автором имени собственного как имени нарицательного расширяет его смысл и обеспечивает соотношение, с одной стороны, того, что находится вне текста и обозначено этим символом, и, с другой стороны, внутритекстовой «референциальной истории», посвященной описанию салона (на обложке каталога — *подобие герба СССР, проект — «Соцреализм вчера и сегодня», кумачовый лозунг: «Artists of all countries...»*). Характеризующая функция обеспечивает референцию атрибутивного характера, соотносимую с семей «круг» / «окружность» (то есть замкнутое пространство определенных тем, направлений, «устоявшаяся цикличность», «ностальгический фокус», «нерепрезентативное окружение»). Эти референциальные цепочки, будучи связанными с архетипическим ядром сообщаемого («прошрое»), выходят на уровень коререференциальной интерпретации исходных лингвосемантических единиц. При этом напряжение, созданное за счет параллельных лингвосемантических конструкций, снимается, делая общение более толерантным.

Таковы правила конструирования симметрии для создания поэтического эффекта и реализации принципа толерантности в общении. Однако при определении с т р а т е г и и текста поэтического характера следует учитывать, во-первых, то, что в этом случае интерпретируемый в сообщении архетипический уровень дополняется «операционными» структурами топического происхождения. Во-вторых, необходимо принять во внимание, что принцип толерантности по-разному понимается в «классической» и «неклассической» поэтике. Первая связывает его с подчинением Слову — Логосу как носителю властных полномочий, вокруг которого организуется текст, имеющий целью воздействовать на адресата и модифицировать его поведение (например, с помощью изображения некоторых

образцов, достойных подражания). Отсюда моноцентрированная, иерархически организованная структура дискурса, которая рассчитана на такие «доксы», как «терпимость» субъекта к иллюминированной в произведении точке зрения, «смирение» перед причинно-следственными отношениями, «забывание» им своей «суверенности». Что же касается «неклассической» поэтики, то ее текстообразующие модели ориентированы на суверенность «другого» (М. Бахтин), на эпистемы адресата как со-творца, на активизацию его творческой фантазии, на разрушение некоторых классических стереотипов (например, гендерный подход в современной литературе призван разрушить моноэпистему европейской культуры).

Вместе с тем следует сказать, что на архетипическом уровне в парадигму толерантности «неклассической» поэтики входят разнообразные идеи, подчас не сводимые друг к другу: «трансгрессия» (М. Фуко), «этнический дифферанс» (Ж. Деррида), «нулевая степень письма» (Р. Барт) и др. При попытке как-то типологизировать это разнообразие можно выделить, на наш взгляд, два емких аспекта на основе того или иного понимания идеи «суверенности». Первый аспект связан с признанием «суверенности» самой организации произведения и духовной культуры в целом, являющейся «самовластной реальностью», которая не всегда угадывается на уровне тем, мотивов произведения, фактуры знаков и т. п., но соответствует модели «экономики текста», которая выражает «необходимость акцента на корне „номос“ как заместителе дискредитированного „логоса“» [Кропотов 1999: 400]*. Эта модель предусматривает доверие и терпимость к «объективно протекающему процессу игры сил», то есть к возможному переворачиванию в этом процессе обычной логики: больше — меньше, причина — следствие, центр — периферия и др. (отсюда «смерть автора» и «атопия» Р. Барта). В этом случае ось симметричных преобразований в тексте превращается в перспективу бесконечной аллегоричности и ассоциативности, источником кото-

* Автор утверждает: «...понятно, почему „логос“ ниспровергается в постструктурализме: среди прочих значений в греческом и латинском он имеет устойчивые коннотации не только в смысле „слово“, „пропорция“, „мера“, но и „собирать, связывать“, и „считать, исчислять“. За эпохой культа разума и рациональности как самоцели просматривается экономика эквивалентного (то есть разумного и соразмерного) обмена» [Кропотов 1999: 37].

рых является «энергия языковой игры» (Х.-Г. Гадамер).

Второй аспект подразумевает признание, наряду с суверенностью «номоса» произведения, его «экологии», которая служит «апо-трофейной эгидой» (*апотрофейный* — «предотвращающий беду»), то есть щитом от агрессии, неконтролируемой смены ролей и ориентиров в поэтическом пространстве. «Экологическая» мудрость такой коммуникативной модели зиждется на ценностях, являющихся составляющими суверенных прав адресата текста на идеологически приемлемую для него информационную среду. Это, например, актуально для поэтики массовых коммуникаций, так как стало общим местом упрекать СМИ в информационном «насилии». Но такое отношение проявляется не только к СМИ. Поэтому, с другой стороны, в коммуникации возникает тенденция к «деконструкции» (Ж. Деррида) «репрессивных» структур, которая побуждает к их переосмыслению (интерпретации) с позиций «экологии». На уровне ценностной «доксы» эту позицию можно считать условием и н т е р т е к с т о в о г о диалога, который является выражением симметрии в категориях интерпретации. В этом плане п о и с к и п у т е й д о с т и ж е н и я т о л е р а н т н о с т и имеют общепоэтический смысл, так как обусловлены природой самой культуры, идеология которой организуется с установкой на «открытый диалог» текстов [Лингво-культурологические проблемы... 2001: 239].

Таким образом, риторика и поэтика располагают каждая своими «кодами» преобразования текстов с п о з и ц и й т о л е р а н т н о с т и. Риторика при этом использует правила организации в тексте рефлексивности, а поэтика — симметричности. То и другое можно рассматривать в отношении текстуальных стратегий как взаимодополняющие ресурсы коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамов Н. А. Шотландская философия века Просвещения. — М., 2000.
- Айзикович А. С., Алексеев И. С. Симметрия // Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. — М., 1983.
- Аристотель. Риторика. Поэтика / Пер. с др.-греч.; Сопровожд. ст. В. Н. Марова. — М., 2000.
- Баграмов Э. А. К вопросу о научном содержании понятия «националь-

ный характер». — М., 1973.

Бердяев Н. А. Судьба России. — М., 1990.

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма // Бердяев Н. А. Сочинения. — М., 1994.

Волков А. А. Курс русской риторики. — М., 2001.

Гачев Г. Национальные образы мира. — М., 1998.

Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. — Т. 3. — М., 1956.

Гилберт Дж., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. — М., 1987.

Гумилев Л. Н. От Руси до России: Очерк этнической истории. — М., 1994.

Декларация принципов толерантности // Первое сентября. 2000. 16 сент.

Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 9, Филология. — 1995. — № 5.

Дильтей В. Описательная психология. — СПб., 1996.

Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 г. // Одиссей: Человек в истории. — М., 1991.

Жинкин Н. О кодовых переходах во внутренней речи // Риторика: Специализир. пробл. журн. (Москва). — 1997. — № 1.

Ильин И. А. О России: Три речи. 1926—1933 // Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. — Т. 6, кн. 2. — М., 1996а.

Ильин И. А. Сущность и своеобразие культуры // Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. — Т. 6, кн. 2. — М., 1996б.

История религии / А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. М. Булгаков. М., 1991.

Кантор В. К. «Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации: Исторические очерки. — М., 1997.

Касавин И. Миграция. Креативность. — СПб: Текст, 1999.

Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций: В 3 кн. — Кн. 1. — М., 1995.

Коваль Б. И., Семенов С. И. Толерантность и гражданское общество // Толерантность и ненасилие: теория и международный опыт. — Екатеринбург, 2000.

Конт О. Дух позитивной философии. — СПб., 1910.

Кропотов С. Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. — Екатеринбург, 1999.

Лефор К. Политические очерки (XIX—XX веков). — М., 2000.

Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Литвина Е. Ф. Джон Локк: Его жизнь и философская деятельность //

Дж. Бруно. Бэкон. Локк. Лейбниц. Монтескье: Биографические повествования. — Челябинск, 1996. — (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова; Т. 24).

Лотман Ю. М. Риторика // Риторика: Специализированный проблемный журнал. (Москва). 1995. — № 2.

Общая риторика / Пер. с фр. / Ж. Дюбуа и др. — М., 1986.

Риск исторического выбора (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. — 1994. — № 5.

Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики. — М., 2000.

Слотердайк П. Критика цинического разума. — Екатеринбург, 2001.

Трубина Е. Г. Идентичность в мире множественности: прозрения Ханны Арендт // Вопросы философии. — 1998. — № 4.

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. — М., 1993.

Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. — 1992. — № 4.

Хомяков М. Б. Толерантность как социокультурная проблема // Толерантность и ненасилие: теория и международный опыт. — Екатеринбург, 2000.

Эко У. Пять эссе на тему этики. — СПб., 2000.

Ясперс К. Шифры трансценденции // Культуры в диалоге. — Екатеринбург, 1992.

Ясперс К. Философская автобиография // Западная философия: Итоги тысячелетия. — Екатеринбург; Бишкек, 1997.

Arendt H. Men in Dark Times. N. Y., 1959.

Arendt H. Eichmann in Jerusalem. N. Y., 1964.

Arendt H. Between Past and Future. N. Y., 1968.

Arendt H. The Life of the Mind. Vol. 1: Thinking. N. Y., 1978.

Bushman C. L. America Discovers Columbus: How an Italian Explorer Became an American Hero. Hannover; N. H.: Univ. Press of New England, 1992.

Berkhofer R. F., Jr. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1995.

Critchley S. Continental Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford Univ. Press, 2001.

De Certeau M. The Historiographical Operation // The Writing of History / Trans. T. Conley. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1988.

Dish L. More Truth than Fact: Storytelling as Critical Understanding in Hanna Arendt's Writings // Political Theory. 21. №. 4.

Grey J. Mill on Liberty: A Defence. L.: Routledge and Kegan Paul, 1983.

John G. Pluralism and Toleration in Contemporary Political Philosophy //

Political Studies. 2000. Vol. 48.

Kimlicka W. Two Models of Pluralism and Tolerance // *Toleration: An Elusive Virtue* / Ed. by D. Heyd, Princeton, 1996.

Lamirande E. Church, State and Toleration // *An Intriguing Change of Mind in Augustine*. Villanova Univ. Press, 1975.

Liberalism, Multiculturalism and Toleration / Ed. by J. Horton L.: Macmilan, 1993.

Luban D. Explaining Dark Times: Hannah Arendt's Theory of Theory // *Social Research*. 50. 1983. №. 1.

Mendus S. Toleration and the Limits of Liberalism. Humanities Press International, 1989.

Mill J. S. The Subjection of Women. L.: Virago, 1983.

Mill. On Liberty / Ed. by A. Castell. Wheeling (Illinois), 1947.

Nelson, J. S. Seven Rhetorics of Inquiry: A Provocation // *The Rhetoric of the Human Sciences: Language and Argument in Scholarship and Public Affairs* / Eds by J. S. Nelson, A. Megill, D. McCloskey. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1985.

Nicholson P. Toleration as a Moral Ideal // *Aspects of Toleration. Philosophical Studies* / Eds by J. Horton, S. Mendus. L.; N. Y., 1985.

Williams B. Tolerating the Intolerable // *The Politics of Toleration in Modern Life* / Ed. by S. Mendus. Durham: Duke Univ., 2000.

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ

ГРС — Греческо-русский словарь / Сост. А. Д. Вейсман. — СПб., 1879.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. — 2-е изд. — М., 1976.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990.

Хюбшер А. Мыслители нашего времени: Справ. по филос. Западу XX в. — М., 1994.

Эстетика: Слов. / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. — М., 1989.

РАЗДЕЛ 2

ВЫРАЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ТЕРПИМОСТЬ: ВЗГЛЯД ЛИНГВИСТА

О. А. Михайлова

В современном мире слово *толерантность* стало не просто широкоупотребительным и модным, его активизация отражает актуальность самой проблемы межличностного и социального взаимодействия членов социума. Для России особенно существенным в этом плане является последнее десятилетие XX века, изменившее социальную структуру общества, принципы взаимодействия его членов, роль средств массовой информации и в какой-то мере сам менталитет народа. Плюрализм ценностей и размытость норм в современной культуре определили необходимость разработки понятия *толерантность*.

Проблема толерантности сейчас оказывается предметом внимания многих наук: философии, политологии, религиоведения, социологии, конфликтологии и др. Термин *толерантность*, употребляясь в разных научных парадигмах, наполняется собственным специфическим содержанием. Так, с точки зрения этики *толерантность* представляет собой норму цивилизованного компромисса между конкурирующими культурами и готовность к принятию иных взглядов. В политическом плане толерантность — это готовность власти допускать инакомыслие в обществе. *Толерантность* с позиций философии определяется как мировоззренческая категория, отражающая универсальное правило активного отношения к другому. М. Б. Хомяков выделяет политическую, религиозную, экономическую и межличностную толерантность [Хомяков 2000].

Как бы ни понималась толерантность сегодня, очевидно, что она выступает как условие сохранения разнообразия, как основание демократического согласия. Исторически и по существу она является альтернативой насилию в конфликтах, обусловленных противоположностью мировоззренческих позиций, то есть представляет собой ненасильственный способ их разрешения. Толерантность делает возможным сотрудничество между индивидами, которые придерживаются несовместимых убеждений и верований (см., например: [Толерантность 2001]). Проблема толерантности в условиях этнических, социальных, политических, религиозных различий, в условиях плюралистического общества становится важнейшей проблемой, требующей междисциплинарного исследования.

В парадигме лингвистики слово *толерантность* регулярно встречается в словосочетаниях *принцип толерантности, фактор толерантности, максима толерантности, понятие толерантности, концепт толерантности, категория толерантности*. Ряд словосочетаний, включающих в роли главного слова такие единицы, как *принцип, фактор, максима*, отражают важнейший аспект толерантности — коммуникативный. В этом смысле толерантность соотносится с максимой вежливости Лича, а также с принципом кооперации Грайса, и следование ей обеспечивает эффективность общения, ибо толерантность — это основа успешной коммуникации. Словосочетания другого ряда, образованные словами типа *концепт, понятие, категория* и под., выводят толерантность на лингвокогнитивный уровень; в них сделан акцент на семиотическую функцию слова, а именно на то, какое содержательное пространство покрывается этим языковым знаком. С позиций лингвистики *толерантность* предстает как многослойное и недостаточно четко определенное в современной науке понятие. Содержательная сложность находит отражение в языке, что проявляется, с одной стороны, в разнообразии парадигматических связей данной лексической единицы, а с другой стороны — в семантической размытости соответствующего лексического значения.

Слово *толерантность* этимологически восходит к латинскому *tolerantia* — «терпение, терпимость», связанному с многозначным глаголом *tolerare* с тем же значением, что и в современном английском языке, — «выносить, переносить, сносить». В русском языке данная

лексическая единица не зафиксирована ни в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, ни в других толковых словарях XVIII—XIX веков, то есть слово *толерантность* в его «ментальном», а не «биологическом, медицинском» значении является сравнительно недавним заимствованием. В современных словарях существительное *толерантность* (со значением «терпимость, снисходительность к кому-, чему-либо») встречается лишь в семнадцатитомном академическом «Словаре современного русского литературного языка» (БАС, 1950—1965) и в разных изданиях «Словаря иностранных слов» (впервые отмечено в 1937 г.). В других толковых словарях слово «толерантность» в интересующем нас значении отсутствует. В «Словаре синонимов русского языка» З. Е. Александровой (1971) это существительное представлено как стилистически маркированное (с пометой «книжное») в синонимическом ряду с доминантой *снисходительность*. Производящее прилагательное *толерантный* («терпимый») зафиксировано впервые в четырехтомном «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935—1940), оно также включено в БАС и в словари синонимов (З. Е. Александровой, 1971, и под редакцией А. П. Евгеньевой, 1975).

Следует заметить, что в БАС и существительное, и прилагательное имеют помету «устаревшее», то есть в начале XX столетия лексемы *толерантность*, *толерантный* принадлежали к пассивному словарю. Речевые материалы также свидетельствуют о достаточно активном употреблении этого слова писателями XIX века и о его практическом отсутствии в первой половине XX века. Отсутствие в русском языке слова *толерантность*, безусловно, не отрицало существования самого понятия, хотя русскими философами толерантность не признавалась специфической чертой национального самосознания [Перцев 2001], а идея толерантности никогда не была популярной в России и фактически отождествлялась с христианскими заповедями возлюбите ближнего своего, не противиться злу, нести свой крест. В советском тоталитарном государстве толерантность как уважение к людям других политических взглядов, терпимость к иному мировоззрению, иной вере, иному мнению считалась недопустимым качеством. Возможно, в этом кроется причина почти полного отсутствия слова *толерантность* в толковых словарях советской эпохи. Так как словари были проводниками языковой полити-

ки государства, слово, представляющее идеологическую опасность, не должно было включаться в лексикон рядовых носителей языка.

Толкование слов *толерантность*, *толерантный* через слова *терпимость*, *терпимый* говорит об их семантической близости и о принадлежности к одному лексико-семантическому (и понятийному) полю.

В конце XX века, как уже отмечалось, слово *толерантность* активно вошло в русский язык и получило широкое распространение в современном речевом употреблении. В языковое сознание наших современников слово *толерантность* вошло в результате процесса становления гуманитарных прав, и сейчас можно говорить об определенном расширении и/или модификации его значения по сравнению с системно-языковым значением, зафиксированным словарями. Это связано не только с новизной слова и неоднозначностью его понимания в русском языковом сообществе, но и с социально-культурным контекстом, в котором оно функционирует, с его принадлежностью к национальной концептосфере. Как справедливо заметил И. А. Стернин, в русском языке отсутствует концептуальное поле толерантности [2001: 124], оно только формируется с появлением нового слова. При этом новое заимствование накладывается на русскую лексическую систему, отождествляясь (часто неправомерно) с близкими понятиями и обогащаясь всеми нежелательными, порой отрицательными коннотациями, зависящими от социокультурного контекста. Появление концепта *толерантность* отражает смену культурно значимых ориентиров в современном обществе.

Будучи философским понятием, *толерантность* является также и лингвокультурологической категорией, поскольку получает различное осмысление в разных языках, и каждый язык привносит с собой множество специфических исторических и культурных коннотаций, а культурная интерпретация языковых знаков меняется в зависимости от установок ментальности. В русском языке *толерантность* можно рассматривать в двух аспектах: она понимается, во-первых, как отношение и соотносится со словом *терпимость*, а во-вторых, понимается как деятельность, поведение, и соотносится со словом *ненасилие*. Таким образом, толерантность является ядром лингвокультурологического поля, в которое входят все слова, семантически и ассоциативно связанные с терпимостью и *ненасилием*.

Наиболее близко *толерантности* в русском языке, как уже говорилось, понятие *терпимость*. По русским толковым словарям *терпимость* определяется, во-первых, как «способность мириться с кем-, чем-либо, во-вторых, как «терпимое отношение». Строго говоря, мы имеем дело с двумя лексико-семантическими вариантами, один из которых принадлежит полю «свойство, качество», а другой — полю «отношение».

В первом употреблении актуализирован психологический аспект понятия: способность относится к числу высоких душевных качеств личности наряду с такими близкими категориями, как *великодушие, добро, сердечность, чуткость, отзывчивость, душевность, мягкость, готовность помочь*. Эти качества личности являются, как отмечают исследователи, составляющими того, что называется русской идеей [Воробьев 1997]. Русская идея подразумевает чувство, сочувствие, доброту, она есть «идея сердца» (И. Ильин). Терпимость и терпение входят в систему культурных ценностей русской нации, то есть в такую систему, которая является социально детерминированным типом программирования поведения: это наш способ делать дело, наш способ существования в мире. Значимость терпимости как добродетели зафиксирована разными «культурными кодами» [Телия 1996], в частности в религиозных (сакральных) текстах и пословицах. Так, в Нагорной проповеди Иисус Христос сформулировал требование не противиться злу и любить врагов своих. Национально-культурное мировидение воплощено в пословицах, закрепивших прескрипции народной мудрости: *За терпенье дает Бог спасенье; Терпенье дает уменье*. Терпимость и терпение выступают признаками кротости, смирения, укрощения в себе гордыни, и в них же проявляются сила и величие духа. Однако в последнее время вышли работы, опровергающие «распространенный миф об извечной терпеливости русских» (см., например: [Горянин 2002]).

Некоторые современные концепции толерантности определяют ее также как основную добродетель. Это понимание идет еще от Сенеки, который считал толерантность главной добродетелью души. Однако большинство исследователей сходятся в том, что толерантность «не эмоция, это осознанная и трезвая позиция, которая обуздывает эмоции. Толерантный человек лишь в той мере способен взять в шоры свои агрессивные эмоции, в какой способен сделать

это с эмоциями вообще» [Соловьев 2001: 68].

Второе понимание терпимости, как мы уже сказали, сводится не к внутреннему свойству личности, а представляет собой *отношение*. Согласно словарям, это «терпимое, мягкое отношение к слабостям и недостаткам другого». В самом толковании при указании на объект отношения — *к слабостям и недостаткам другого* — уже заложен признак амбивалентности: терпимость может быть со знаком «плюс» (*терпимость к чужому мнению, к неудобствам*) и со знаком «минус» (*терпимость к беспорядкам, к нарушению норм общественной морали*). В современных словарях набор членов синонимического ряда, включающего лексику *терпимость*, также отражает двуполярную оценочность: с одной стороны — это *снисходительность, милость, милосердие, доброжелательность, либеральность*, а с другой стороны, *снисхождение, нетребовательность, невзыскательность*. Однако в русской наивной этике терпимость оценивается отрицательно, поскольку предполагает обычно терпимость к плохому и связана с понятием прощать [Стернин, Шилихина 2001]. Такое представление о терпимости находит отражение и в словарях. Так, в толковании слова *снисхождение* объект терпимости определен однозначно — «не слишком строгое отношение к вине кого-либо». Терпимость презиралась и отвергалась в советскую эпоху. В лучшем случае ее трактовали как слабость, мягкотелость, чаще же — как измену. Оппонент рассматривался как враг, которого надлежит разоблачить и уничтожить.

Проявляя терпимость по отношению к кому-, чему-либо, субъект оставался бездеятельным: подобное отношение не было поиском взаимодействия с другим, но оказывалось «вынужденным допущением бытия другого» [Хомяков 2000: 105]. Потенциальная сема пассивности субъекта, возможно, мотивирована грамматической семантикой, поскольку слово «терпимость» восходит к страдательному причастию *терпимый*. В словаре В. И. Даля существительное *терпимость* имеет только «пассивное» значение, суть которого проявляется в иллюстрациях: *терпимость веры, разных исповеданий*; так же и слово *терпимый* — «что или кого терпят только по милосердию, снисхождению»: *терпимая обстановка*. Однако в современном русском языке у обоих слов развилось «активное» значение: *терпимый человек* «тот, кто терпит»; *терпимость общества к разным политическим взглядам* (о рассогласованности грамматической и лексической

семантики данных слов см.: [Толстая 2001]).

При всей семантической близости понятий *толерантность* и *терпимость* отождествлять их нельзя. Толерантность в отличие от терпимости не оперирует аксиологическими категориями «хорошо — плохо», она основана на противопоставлении «свой — чужой»; это терпимость к «другому», «иному», при отсутствии враждебности или отрицательного отношения к «чужому». Возможно, в этом кроется объяснение факта лексикографической осторожности по отношению к слову *толерантность* в советскую эпоху. Поскольку словари были тогда проводниками языковой политики государства, а в тоталитарном государстве терпимость и соответственно толерантность к иному мировоззрению, иной вере, иному мнению считалась недопустимой, постольку само слово *толерантность* представляло опасность и не должно было включаться в лексикон либо могло существовать только в пассивном запасе как устаревшее.

Толерантность основана на активном отношении к «другому» и подразумевает сознательное признание прав и свобод «другого», это «деятельное допущение существования другого» [Хомяков 2000: 105]. Если *терпимость* семантически сближается с глаголом *смириться* «перестать упорствовать, покориться обстоятельствам» [МАС, т. 4: 155], то *толерантность* имеет более сильные семантические связи с глаголом *примириться* «терпимо отнестись к чему-либо; прекратить состояние ссоры, вражды с кем-либо» [МАС, т. 3: 424].

В понятии *терпимость* акцент делается на психологической стороне отношения. Толерантность понимается шире или даже несколько иначе, поскольку акцентируются рациональная и социальная стороны отношения: это терпимое отношение к мнениям, убеждениям и верованиям «другого». Поэтому с понятием *толерантность* соотносится не только понятие *терпимость*, но и другие понятия, в частности *миролюбие*, *сострадание*, *сочувствие*, *согласие*, также выражающие идею преодоления конфликта, достижения консенсуса и структурирующие единое лингвокультурологическое поле.

Американский политолог Майкл Уолцер [Уолцер 2000] пишет о спектре из 5 возможных отношений, составляющих толерантность: 1) отстраненно-смирненное отношение к различиям во имя сохранения мира; 2) позиция пассивности, расслабленности, миро-

стивого безразличия к различиям; 3) принципиальное признание прав другого, даже если способ пользования этими правами вызывает неприязнь; 4) открытость в отношении других, любопытство, возможно, даже уважение, желание прислушиваться и учиться; 5) восторженное одобрение различий. Действительно ли все названные типы отношений можно рассматривать как толерантность?

Когнитивная структура, или ментальный образ ситуации, обозначенной словом *толерантность*, включает несколько компонентов: условие возникновения отношения, само отношение, субъект 1 и субъект 2. Условием возникновения проблемы толерантности является только ситуация конфликта (в широком понимании), ситуация разногласий, взаимного отрицания ценностей и норм другого субъекта. Именно поэтому нельзя считать толерантным пассивное, безразличное отношение (2-й тип, выделенный Уолцером). Важной оказывается аксиологическая сторона отношения: какова ценность предмета разногласий для субъекта. Нельзя быть толерантным (или нетолерантным) к тому, до чего нам нет никакого дела. Парадокс толерантности состоит в том, что мы согласны не соглашаться с чем-то действительно для нас важным. Толерантность влечет за собой напряженность между приверженностью собственным взглядам и признанием убеждений других. Именно поэтому она в сущности своей не тождественна безразличию.

Как кажется, нельзя также считать толерантным отношением и выделенные Уолцером 4-й и 5-й типы, то есть открытость, уважение и тем более восторженное одобрение. Как можно говорить о терпимости в отношении того, что одобряется субъектом? Безусловно, этос толерантности не отрицается в этом случае, но здесь мы имеем дело с более высокой ценностью — уважением к достоинству человека. Если брать отношение не в конкретном взаимодействии и межличностной коммуникации, а шире — в масштабе социального взаимодействия — и если рассматривать толерантность не в коммуникативном, а в лингвокогнитивном аспекте, то, безусловно, следует различать толерантность и уважение. Выделенный Уолцером 1-й тип отношений (отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира) нельзя, на наш взгляд, признать толерантным, ибо между терпимостью и толерантностью, как было показано, есть весьма существенные раз-

личия.

Таким образом, понятия *безразличие, равнодушие, индифферентность, беспринципность, попустительство, а также уважение, одобрение, восхваление* не являются разновидностями толерантности, так как уважение и безразличие — это то, что мы испытываем к тому, что любим, или к тому, к чему не питаем активной неприязни. Другими словами, в этих случаях отсутствует либо не осознается ситуация конфликта, обязательная для толерантности. Но тем не менее все эти понятия входят в лингвокультурологическое поле «толерантности», во-первых, по причине их определенной семантической близости, во-вторых, на основе ассоциативных связей, устанавливаемых рядовыми носителями между названными понятиями (результаты эксперимента см.: [Стернин, Шилихина 2001]).

Взгляд на *толерантность* как на категорию межличностного общения, как на форму поведения позволяет соотнести понятия *толерантности* и *ненасилия*.

Можно ли отождествлять толерантность и ненасилие? Существительное *ненасилие* отсутствует в толковых и синонимических словарях и поэтому может быть определено через производящее существительное *насилие*. Насилие связано с принуждением, давлением; предполагает воздействие на кого-либо средствами авторитета, власти, силы с целью добиться желаемого для себя, но нежелательного для объекта воздействия. В связи с этим ненасилие означает «отказ от принуждения, притеснения; воздействие без применения силы». В социально-политическом смысле ненасилие есть отказ от насилия как способа разрешения общественных конфликтов, как средства борьбы за социальную справедливость. В таком понимании (особенно под влиянием советской идеологии) ненасилие обладает отрицательной коннотацией и вызывает эмоциональное сопротивление большинства людей и общественного мнения в целом. Почему существует такая позиция? Исследуя вопрос об этике и философии ненасилия, А. А. Гусейнов [2001] показывает, что в реальном историческом опыте (и не только нашей страны) чаще всего сознательно культивировались две нравственно-политические стратегии, возможные как ответ на ситуацию социальной несправедливости, — стратегия смирения (покорности) и стратегия боевого (и обычно вооруженного) сопротивления.

И хотя покорность, терпение всегда были свойственны русскому человеку, они не всегда вызвали симпатию. Поэтому в рамках такой альтернативы насильственное сопротивление является, несомненно, более предпочтительной позицией, поскольку действующие таким образом личности сохраняют ответственность за цели, хотя при этом снимают с себя ответственность за средства достижения этих целей. Ненасилие в такой ситуации означает, с позиций менталитета россиянина, отказ не только от средства борьбы, но и от справедливости как единственно достойной человека общественной цели. Оно воспринимается либо как форма социального лицемерия, либо как форма социальной трусости и капитуляции. Ненасилию отказывают в доверии, поскольку в нем видят отступление от героической морали, согласно которой нравственное качество жизни выше самой жизни, а идеалы общественной справедливости стоят того, чтобы идти за них в бой.

Но наряду с указанными стратегиями — покорностью и ответным насилием — существует еще одна стратегия поведения в конфликтной ситуации — это ненасильственное сопротивление, или толерантность. Толерантное поведение основано на убеждении: никто не может быть судьей в вопросах добра и зла, и потому нельзя квалифицировать межчеловеческие конфликты в этих категориях. Отказ от того, чтобы выступать от имени добра и считать противоположную сторону носительницей зла, является единственной возможностью остаться в пространстве морали, когда мнения людей расходятся радикальным образом. Толерантность выражается в человеческом стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности — *диалог, разъяснение, сотрудничество*. Эти категории признаются центральными при исследовании толерантного взаимодействия [Купина 2001: 236] и именно поэтому оказываются составляющими данного лингвокультурологического поля.

Таким образом, *толерантность и ненасилие* — не вполне тождественные понятия. Толерантность, в отличие от ненасилия, включает в себя деятельность и ответственность за цели деятельности, а в отличие от насилия — ответственность за средства достижения цели. Толерантность требует решимости, внутренней душевной

силы.

Поведение субъекта в существенной для него ситуации разногласий, его действия по отношению к противоположной стороне, естественно, могут быть различными. В каком случае можно говорить о толерантности? В любом конкретном конфликте существуют альтернативные стратегии начала действия, два возможных пути поведения — примириться с конфликтом либо урегулировать его.

Субъект отказывается от разрешения конфликта, примиряется с ним, но в ущерб своим собственным ценностям и стандартам, в обмен на ограничение собственных прав. В таком случае нельзя говорить о толерантности, здесь речь может идти только о терпении и смирении.

Субъект стремится урегулировать конфликт, но такое решение может быть продиктовано двумя мотивами. Первый фактор, когда субъект пытается разрешить конфликт путем преимущественного продвижения своих планов, для чего использует силу, проявляет враждебность, прибегает к агрессии, в том числе и речевой. Необходимо отметить, что агрессивность является, вероятно, наиболее простой для индивида реакцией на самые разнообразные ситуации, следовательно, и речевая агрессия (как реакция на вербальные и невербальные раздражители), являющаяся следствием напряженности в общении, возникает достаточно легко. Напряженность в общении может создаваться коммуникантами как преднамеренно, так и не преднамеренно, а «вследствие незнания этикетных, конвенциональных норм и принципов общения, культурных стереотипов. При контакте разных речевых культур напряженность выступает как... следование групповым и индивидуальным нормам, не совпадающим между собой или с нормами общекультурными» [Шалина 2000: 275]. Без специальных усилий напряженность разрешается чаще всего в агрессивный речевой акт.

В сознании носителей языка *толерантность* предполагает *интолерантность* в качестве своего неперемennого коррелята, поэтому в пространстве исследуемого лингвокультурологического поля располагаются единицы, имеющие по отношению к ядерной номинации обратный знак, — *нетерпимость, агрессивность, преследование, насилие, диктат, враждебность, безапелляционность, кон-*

фликтность.

Второй мотив, которым может руководствоваться субъект для урегулирования конфликта, это мирное разрешение. Субъект понимает другого и поддерживает право каждого человека на возможность иметь мнение, отличное от его собственного; он стремится прийти к согласию, признавая при этом равноправие сторон и обеспечивая максимально полное удовлетворение интересов ценой взаимных уступок. Эта позиция вытекает из морального стоицизма — принципиального признания равных прав человека на наиболее полное развитие своих способностей. Нейтрализация ситуации риска, возникающей в процессе коммуникации, предполагает взаимное приспособление либо адаптацию, когда хотя бы один из коммуникантов пытается обойти препятствие. Толерантное поведение, таким образом, предполагает использование тактик уступчивости, компромисса, сотрудничества. Учитывая такое положение дел, мы должны признать, что в лингвокультурологическое поле толерантности входят понятия *компромисс, примирение, уступчивость, бесконфликтность, вежливость.*

Подводя итоги, следует отметить, что лингвокультурологическое поле с ядром *толерантность* представляется достаточно обширным и сложным, и мы рассмотрели лишь околоядерную часть. В его семантическом пространстве переплетены понятия толерантности как психологической сущности, как нравственной установки или расположения ума, а также как спектра различных типов поведения и межличностных отношений. О национальном характере концепта *толерантность* можно говорить потому, что он представляет собой социально-культурный гештальт, функционирующую систему культурных ценностей. В его чрезвычайно емком содержании можно обнаружить и отрицательные коннотации как отголоски героического советского времени, и положительные оценки как отражение черт нового мышления. Чтобы толерантность стала составной частью менталитета, чтобы толерантный тип поведения возобладал над агрессивностью, необходима серьезная психологическая, речеведческая работа и длительный период активного обучения и воспитания. И тогда известный в истории девиз справедливости *suum cuique tribuere*, то есть «воздавать каждому свое», может воплотиться

в действие.

ТЕРПИМОСТЬ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА*

А. Д. Шмелев

Описание лингвоспецифичных аспектов языковой концептуализации мира само по себе может рассматриваться как школа толерантности. Размышляя об уроках истории Вавилонской башни, рассказанной в Книге Бытия, В. Н. Топоров [1989: 9—13] отмечал, что помощь Бога заблудшим состояла в том, что, вступив на путь культурно-языковой дифференциации, люди должны были осознать факт многообразия языков и культур, отказаться от восприятия своего взгляда на мир как единственно возможного или единственно верного, такого, который «не с чем сравнить, соотнести, сопоставить и нечем проконтролировать, поправить, поддержать, продублировать» (что «питает как на дрожжах поднимающуюся гордыню»), и научиться жить в условиях культурно-языкового плюрализма, «увидеть не только «другое», но через него и себя, по крайней мере ощутить свое различие, свою специфику, свою характерность — и в достоинствах, и в недостатках, которые в своей совокупности образуют неповторимость данного языка и данной культуры, уникальность, распространяющуюся в конце концов на весь массив языков и культур». В этом смысле описание любого фрагмента русской языковой картины мира в сопоставительном ключе связано с темой толерантности самым непосредственным образом.

Однако, говоря об изучении специфики русской языковой картины мира в связи с толерантностью, можно обратить внимание и на другую сторону проблемы. Речь идет о том, как сама идея терпимости к «чужому» преломляется языковым сознанием. Можно полагать, что различные языки понимают и оценивают терпимость по-разному.

Терпимость в русской языковой картине мира может быть рас-

* Работа выполнена при поддержке ИНТАС—РФФИ (грант IR-97-0822) и РФФИ—РГНФ (грант 01-04-00201-а).

© А. Д. Шмелев, 2003

смотрена, по меньшей мере, с трех точек зрения.

Во-первых, терпимость к тем аспектам жизни, которые почему-либо нас не устраивают, является составной частью общей установки на «примирение с действительностью», которая представлена в семантике целого ряда русских лингвоспецифичных выражений (см. об этом, например: [Шмелев 1997а: 507]).

Во-вторых, интерес представляет устойчивое сочетание, служащее для обозначения терпимости к чужим мнениям, а именно *широта взглядов*. Хотя по своей внутренней форме оно не является исключительной принадлежностью русского языка (ср., например, английское *broad-mindedness*, также выражающее идею «широты»), но именно в рамках русской языковой картины мира оно интересным образом встраивается в систему представлений о «широте души», которая издавна считается одной из определяющих черт «русского характера».

Наконец, существенны ассоциативно-деривационные связи русского слова *терпимость*, входящего в словообразовательное гнездо глагола *терпеть*. Своеобразие конфигурации этого гнезда позволяет понять, с чем в первую очередь ассоциируется терпимость у носителей русского языка.

Примирение с действительностью

Характеристика ценностных установок русской языковой картины мира в отношении *терпимости* к тому, что нас не устраивает, отличается некоторой двойственностью. С одной стороны, нередко отмечается, что для русской языковой картины мира чрезвычайно характерна установка на «примирение с действительностью», находящая отражение в семантике целого ряда лексических единиц и синтаксических конструкций. С точки зрения установки на «примирение с действительностью», достижение внутреннего мира возможно лишь при условии отказа от вражды с другими людьми и принятия всего, что вокруг происходит. Положительная оценка «примирения с действительностью» проявляется в целом ряде контекстов, в которых с очевидно положительной окраской используются производные глагола *примириться*, — ср. примеры из эссе Солженицы-

на о Пушкине:

*относился к смерти **примиренно**, спокойно, с возвышением мысли, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведенные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма — всплытие в слой покоя, **примиренности** и света;*

*вера его высится в необходимом и объясняющем единстве с общим **примиренным** мирочувствием;*

*горе и горечь освещаются высшим пониманием, печаль смягчена **примирением**.*

Показательно также и осмысление *смирения* — важнейшей христианской добродетели — по аналогии с созвучным словом *примирение*, в результате чего слово *смирение* получило семантические обертоны, отличающие его от словарных эквивалентов в западных языках (см. об этом, в частности: [Wierzbicka 1992: 188—195; Шмелев 2000]).

Но установка на такое *смирение*, предполагающее, в числе прочего, *примирение* со своим положением, может вести к бездеятельности и нежеланию что-либо предпринимать. Поэтому она вызывает отталкивание у людей активных и деятельных. Так, Вадим Зацырко из «Ракового корпуса» *«раздражался от этих разжижающих басенок о **смирении**. Такая водянистая, блеклая правденка противоречила всему молодому напору, всему сжигающему нетерпению, которое был Вадим, всей его потребности разжаться, как выстрел, разжаться и отдать»*.

Впрочем, здесь существенно, что на формирование взглядов Вадима решающую роль оказало советское воспитание. Дело в том, что идеал «примирения с действительностью» был чужд советской идеологии, и, как следствие, советский идеологический язык имел определенные особенности в отношении использования соответствующих слов. А. Вежбицка как-то заметила, что сочетание *смиренный коммунист* воспринимается как аномальное [Wierzbicka 1992: 194]. Слово *смирение* если и могло появиться в советском идеологическом дискурсе, то скорее всего в качестве цитирования и с отрицательной оценочной окраской (например, *поповские сказочки о смирении*).

Но и *примирение* не входило в число коммунистических ценностей, а его аналогом в советском идеологическом языке было слово *примиренчество*, носящее яркую отрицательную окраску. Легко приобретало отрицательную окраску и слово «компромисс». Напротив,

положительно окрашенным было слово «непримиримость». С точки зрения советской идеологии, человек должен быть *бескомпромиссным* и не должен *мириться* ни с врагами, ни с недостатками.

Впрочем, подозрительное отношение к *компромиссам* характерно для русского дискурса вообще и не ограничивается языком коммунистической идеологии. Такие сочетания, как *искусство компромисса*, хотя и постепенно входят в обиход, но все же иногда ощущаются как перевод с некоторого западного языка (ср. английское *the art of compromise*).

Различие между русскими и англосаксонскими ценностными установками в отношении *компромиссов* отмечается многими наблюдателями. Характерен следующий комментарий Вячеслава Глазычева (Русский журнал. 1998. 14 сент.), обратившего внимание на отсутствие в русском языке глагола *компромимировать*, который мог бы переводить английский глагол *to compromise*, и указавшего в связи с этим на то, что у русских *компромисс* «отнюдь не входит в стандартный свод национальных доблестей».

Поздняя конструкция *идти на компромисс* самой своей природой выражает некий трагизм — на компромисс идут, как на плаху. Большевицкая специфическая эпоха, как известно, отнесла компромисс к числу смертных грехов, и уже советская эпоха отпечатала и гнев, и презрение ко всякого рода соглашению в сугубо позитивной трактовке прилагательного *бескомпромиссный*.

Конечно, не следует полагать, что между англосаксонским и русским отношением к компромиссу лежит пропасть. С одной стороны, в английском языке прилагательное *uncompromising* может употребляться с положительной окраской, а *compromise*, напротив, нести отрицательные коннотации. Так, известная реклама стиральной машины «Miele» завершается фразой *Anything else is a compromise*. Очевидно, что уместность такого рекламного слогана прямо связана с представлением о нежелательности компромиссов. С другой стороны, когда речь идет о переговорном процессе, русское «компромисс» вполне может употребляться как положительно окрашенное слово (ср. фразу *не удалось достичь компромисса*). Речь скорее может идти о том, что в русской языковой картине мира в целом *компромисс* находится под подозрением и не входит в число культурно значимых ценностей.

При этом подозрительное отношение к *компромиссу* может не

противоречить готовности к «примирению с действительностью». И то, и другое может быть обусловлено тем, что для русской языковой картины мира характерно пренебрежительное отношение к суетным ценностям, к «мелочам жизни», к полученной выгоде. Поэтому поощряется «наплевательское» отношение к житейской суете, которое нередко рассматривается как образец философского взгляда на жизнь — ср. пример из работы [Шмелев 1997б]:

Как мне нравится Победоносцев, который на слова: «Это вызовет дурные толки в обществе» — остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше (Розанов).

Более того, иногда «наплевательство» характеризуется как подлинно христианское отношение к жизни. Ср. следующий показательный пример:

Американцам кажется: как же не судиться? ... Другие пути решения конфликтов — попросту подраться (дикий варварский путь) или, наоборот, плюнуть, махнуть рукой и взять да и простить обидчика (путь христианский) — представляются американцам глупыми, нецивилизованными и, полагая, беспокоят их новосветское сознание как иррациональные (Т. Толстая, статья в газ. «Русский телеграф», 1998, 14 марта).

Но ценность примирения, основанного на «наплевательстве», связана именно с тем, что оно предполагает готовность отказаться от мелких выгод. Примирение же, основанное на компромиссе, подозрительно уже тем, что, как правило, мотивируется взаимной выгодой и тем самым предполагает отказ от «высоких идеалов» из мелких, корыстных соображений. Такое примирение отрицательно оценивалось не только советским идеологическим языком, но и носителями неконформистских установок.

Более того, в неконформистском дискурсе «примирение с действительностью» иногда рассматривается как разновидность конформизма и противопоставляется борьбе за правду. Так, в «Раковом корпусе» Солженицына перед Елизаветой Анатольевной, у которой растет сын, встает вопрос: *скрывать правду, примирять его с жизнью или нагружать всей правдой*. И, как мы помним, Костоглотов уверенно отвечает ей: **Нагружать правдой!** — *«будто сам вывел в жизнь десятки мальчишек — и без промаха»*.

Итак, мы видим, что терпимость к чужим недостаткам и вообще

к несовершенствам мира поощряется русской культурной традицией, как она отражена в семантике русских лексических единиц, в той мере, в какой она вытекает из готовности не придавать слишком большого значения «мелочам». Если же человек идет на компромисс в мелочной надежде получить выгоду и тем самым предает «высокие идеалы», такая «терпимость» получает отрицательную оценку — здесь скорее уместна *бескомпромиссность* и *несгибаемость*.

Широта взглядов и широта души

В статье [Шмелев 2000] отмечалось, что словосочетание *широкая русская душа* стало почти клишированным, хотя в него может вкладываться разный смысл. Речь может идти о *широте* как особом душевном качестве, включающем великодушие, щедрость и размах (ср. такие выражения, как *широкие жесты*; *жить на широкую ногу*). С другой стороны, под *широтой* (или «широкостью» — см. [Арутюнова 2000]) может пониматься сочетание в человеке разных свойств, иногда противоположных, — то, о чем Митя Карамазов говорил: «*Широк человек, я бы сузил*». Наконец, иногда о *широте* говорят в связи с возможным влиянием «русских просторов» на «русский характер». Так, В. А. Подорога [1994] пишет, что «широта плоских равнин, низин и возвышенностей обретает устойчивый психомоторный эквивалент... и в нем... располагаются определения русского характера: открытость, доброта, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям».

Здесь мы коснемся еще одного аспекта *широты* — терпимости, понимания возможности различных точек зрения на одно и то же явление. *Широта* в таком понимании также иногда приписывается «русскому характеру» («отзывчивость, способность „все понять“», — перечисляет А. Солженицын в ряду «свойств русского характера», приводимом в книге «Россия в обвале»; можно вспомнить также характеристику русского народа, данную Достоевским: «широкий, всеоткрытый ум»). Чаще всего в таком случае используют сочетание *человек широких взглядов*, то есть человек прогрессивных воззрений, готовый переносить инакомыслие, склонный к плюрализму, иногда, возможно, даже граничащему с беспринципностью. Умение понять

чужую точку зрения и чужую правду у человека *широких взглядов* граничит с философским и моральным релятивизмом. *Широта взглядов* оборачивается нравственной неустойчивостью, «широкой совестью»* и даже может толкнуть на преступление — ср. следующее ироническое употребление рассматриваемого выражения в журнале «Без тормозов» (2000. № 10):

...Аркадьев-Иващенко, это был известный даже за рубежом программист, в ранней юности отличавшийся оригинальностью идей и широтой взглядов.

Вот эта самая широта взглядов и толкнула его на преступный путь.

Зыбкость грани между «всемирной отзывчивостью» и «широкой совестью» остро ощущалась Достоевским, и *широкий* человек легко может перейти эту грань. «Широкость ли это особенная в русском человеке... или просто подлость?» — вопрос, который задавал герой «Подростка». Именно рассмотрение взглядов Достоевского на проблему «широкости» привело Н. Д. Арутюнову [2000: 384] к выводу, отсылающему к Христовой заповеди входить «тесными вратами»: «Тесные врата тесны для широкого человека».

Кроме того, существенно, что апелляция к необходимости *терпимости* и *широты взглядов* может использоваться как оправдание отсутствия терпимости. Диакон Андрей Кураев так описал историю гонений на христиан в Римской империи (которая, как мы знаем, завершилась изданием Миланского эдикта — «манифеста о толерантности»):

Христиане раздражали язычников... своим отказом чтить святыни других религий. И империя начала преследовать христиан, требуя от них терпимости. Христиан ослепляли, требуя от них «широты взглядов». Христиан запрещали, требуя: «запрещено запрещать!», «не смейте своим адептам запрещать молиться нашим богам!».

Христиане же предложили различать терпимость идейную и терпимость гражданскую. У людей должно быть право на несогласие, на дискуссии, на резкую оценку противоположных взглядов. Но государству не следует вмешиваться в эти споры.

Еще чаще твердость в противостоянии злу демагогически назы-

* На выражение широкая совесть из «Подростка» Достоевского обратила внимание Н. Д. Арутюнова [2000: 381].

вают *узостью* и противопоставляют ее *широким* взглядам, пытаются оправдать тем собственный конформизм и моральный релятивизм. Так, в самой ранней редакции «Дракона» Е. Шварца «первый ученик» дракона Генрих говорит благородному рыцарю Ланцелоту:

Я кончил семь факультетов, Ланцелот... С вашей философией я познакомился на первом курсе философского. Она была изложена в предисловии, в примечании, в трех словах и тут же опровергнута за узость.

Итак, *широта взглядов* рассматривается в русской языковой картине мира как превосходное качество в той мере, в какой она обусловлена способностью «широкого» человека не придавать значения «мелким» идеологическим различиям. Но она же превращается в «подлость», если человек *широких взглядов* вообще не желает видеть различия между добром и злом, склонен к *попустительству*, к тому, чтобы *потакать* чужим или собственным порокам.

«Терпеть» и его производные

В данном разделе будут рассмотрены основные идеи, заложенные в русском глаголе **терпеть** и проявляющиеся в различных употреблениях указанного глагола и его производных. При этом не утверждается, что каждая выделяемая таким образом идея непременно соответствует отдельному лексическому значению глагола: речь может идти лишь об особых типах употребления в рамках одного и того же лексического значения. Важно, однако, что каждая из рассматриваемых идей, указывая на особый аспект «терпения», задает отдельную ветвь словообразовательного гнезда с вершиной *терпеть*.

1. Орег («неприятное»).

В первом круге употреблений глагол *терпеть* имеет предельно бедное семантическое содержание; он лишь указывает на наличие некоей неприятной ситуации, обозначенной посредством прямого дополнения. Он может функционировать как непарный глагол (*терпеть нужду*) или в качестве видового коррелята к гла-

голу «потерпеть», с которым он в таком случае образует тривиальную видовую пару (*потерпеть/терпеть поражение, неудачу*)*. Ср. приблизительные толкования: X *потерпел* Y «с X произошло (неприятное) событие Y»; X *терпит* Y «с X имеет место (неприятная) ситуация Y».

Изредка глагол *терпеть* в этом значении употребляется абсолютивно, когда «неприятная ситуация» не конкретизируется посредством прямого дополнения. В этом случае, как правило, она может быть реконструирована при помощи косвенного дополнения: ...*такой просвещенный гость, и терпит, от кого же? от каких-нибудь негодных клопов* (Гоголь. «Ревизор»).

Соответствующая ветвь словообразовательного гнезда не очень велика: в первую очередь сюда относится субстантивированное причастие *потерпевший (потерпевшая)*, представляющее собой юридический термин. При терминологическом употреблении синтаксическая валентность объекта у субстантивированного причастия утрачивается, но соответствующая семантическая валентность остается облигаторной и заполняется на основе информации, заданной коммуникативной ситуацией. Кроме того, с данным типом употребления глагола «терпеть» соотносятся глаголы *претерпеть* и *претерпевать*, образующие потенциальную видовую пару, а также сатуративный глагол *натерпеться*.

Поскольку субъект глагола (*но*)*терпеть* в этом круге употреблений никак не контролирует ситуацию, она не получает в русской языковой картине мира никакой этической оценки, хотя, разумеется, бедственное положение субъекта может вызывать сочувствие.

2. «Терпеливо переносить неприятное».

В этом круге употреблений глагол *терпеть* может быть истолкован приблизительно следующим образом: «подвергаясь воздействию неприятного фактора, не пытаться прекратить его действие и не те-

* О различных типах видовых пар см.: [Зализняк, Шмелев 2000: 53—61; 2001]. Особый тип видовой соотносительности (близкий перфектному) демонстрируют такие конструкции, как *потерпеть / терпеть <аварию, бедствие, катастрофу, кораблекрушение>*. В них имперфективный член пары может указывать на состояние, возникшее в результате события, обозначенного перфективным членом, и длящееся в течение некоторого времени: *корабль терпит крушение после того, как потерпел крушение, и до тех пор, пока не пойдет ко дну или не будет спасен*.

рять контроля над своим поведением». В данном значении *терпеть* является непарным глаголом (*потерпеть* представляет собою не перфективный коррелят, а делимитатив: «*Сейчас может быть больно, но ты немного потерпи*», — может сказать врач ребенку, приступая к неприятной процедуре*). Как правило, в этом круге употреблений глагол *терпеть* используется без дополнения**; при наличии дополнения (*терпеть боль*) данный круг употреблений отчасти сходен с рассмотренным выше (Орег), но отличается тем, что акцент делается не на наличии неприятной ситуации, а на том, что субъект не делает попыток ее прекратить.

С данным кругом употреблений соотносятся глаголы «*вытерпеть* <боль>, *стерпеть* <обиду> и *перетерпеть****», существительное *терпение*, прилагательные *терпеливый*, *нестерпимый* и их производные, в частности соответствующие наречия — ср.: *терпеливо переносить* <насмешки>; «*И ему нестерпимо представилось, что еще это все он должен напрягаться делать, неизвестно зачем и для кого*» (Солженицын. «Раковый корпус»).

Терпение, соотносимое с данным кругом употреблений, в традиционных народных представлениях оценивается скорее положительно. Характерны пословицы: *Христос терпел и нам велел; С бедой не перекоряйся, терпи!; Терпенье лучше спасенья; Не потерпев, не спасешься; Работай — сыт будешь, молись — спасешься, терпи — взмилуются*. Напротив того, в языке революционных демократов 60-х годов XIX века *терпение* в этом понимании — величайшее зло. Как пишет Корней Чуковский [1952: 308—309], «с этим словом у революционных демократов шестидесятых годов всегда была связана мысль о неподготовленности крестьянства к революционному действию», так что «когда после поездки в деревню Некрасов писал о том тягостном чувстве, которое вызывают в нем встречи с крестьянами:

Их нищета, их *терпенье* безмерное

* Ср. также: «Потерпи, родная, — старики твердят, — / Милого побои недолго болят!» / «Потерпи, сестрица! — отвечает брат. — / Милого побои недолго болят!» / «Потерпи! — соседи хором говорят. — / Милого побои недолго болят!» (Н. Некрасов).

** Ср.: Чем хуже был бы твой удел, / Когда б ты менее терпел? (Н. Некрасов).

*** Ср.: Сейчас — только бы лечение как-нибудь перетерпеть! (Солженицын. «Раковый корпус»).

Только досаду родит... —

это на его языке означало: „Как могут крестьяне выносить столько обид и унижений и не восстать против своих угнетателей?“»

Эта отрицательная оценка *терпения* была первоначально заимствована и советским дискурсом. Разумеется, речь шла не о том, что советские люди призывались к бунту. По отношению к советскому времени о *терпении* вообще не было речи, поскольку само обсуждение того, надо ли *терпеть*, рассматривалось бы как идеологическая диверсия: терпение предполагает, что сложившаяся ситуация причиняет людям страдания. Само слово *терпение* считалось уместным лишь по отношению к дореволюционной ситуации, в которой оно в полном соответствии с наследием революционных демократов оценивалось отрицательно. Однако ситуация переменялась после того, как Сталин по окончании Второй мировой войны произнес тост «За здоровье русского народа» и отметил терпение в ряду наиболее замечательных качеств русского национального характера. Тогда и терпение, как пишет Корней Чуковский [1952: 313], «стало героической доблестью свободных советских людей».

3. «Терпеливо ждать».

В следующем круге употреблений, который является производным от предыдущего, глагол *терпеть* может быть истолкован приблизительно следующим образом: «желая, чтобы произошло событие Y, не пытаться его ускорить и демонстрировать желание, чтобы оно скорее произошло». О «неприятной ситуации» речь уже не идет, и глагол *терпеть* в этом круге употреблений является непереходным.

В данном круге употреблений *терпеть* также является непарным глаголом, а *потерпеть* представляет собой делимитатив — ср.: *потерпи, и я все тебе отдам*.

Производные, соотносимые с данным кругом употреблений, в основном те же, что и в предыдущем: существительное *терпение*, прилагательное *терпеливый* (вместе с наречием *терпеливо* и существительным *терпеливость*), глагол *вытерпеть* (употребляемый в этом значении без дополнения и, как правило, с отрицанием). Но имеется и особое производное — чрезвычайно характерное существительное «нетерпение» (ср. оборот *сгорать от нетерпения*). К данному кругу употреблений примыкают используемые преимущественно в контексте отрицания глаголы *стерпеть* и *утерпеть*: «сдержаться;

не сделать того, что хотелось»: *не утерпел и рассказал..., засмеялся* и т. п.; *не знаю, как я утерпел и не рассказал; Баба тоже не стерпела — кочергой его огрела*.

На базе рассматриваемого круга употреблений слов из данного фрагмента словообразовательного гнезда возникает еще один тип употреблений — по отношению к кропотливой работе, которую человек выполняет, не рассчитывая на немедленный результат. Способность к такой работе оценивается в языковой картине мира положительно. Именно о таком *терпении* говорит пословица: *Терпенье и труд все перетрут*. Заметим, что сам глагол *терпеть* не имеет аналогичного значения.

4. «Терпимо относиться».

В данном круге употреблений глагол «терпеть» означает нечто вроде «мириться с существованием отрицательно оцениваемого явления». В контексте отрицания подчеркивается резко негативная оценка явления (*не терпеть* чего-либо), не позволяющая с ним мириться* (ср. также клишированный оборот *терпеть не может*). Перфективный коррелят «потерпеть» используется в данном значении почти исключительно с отрицанием (*Не потерплю в своем доме...*), что затрудняет установление типа семантического соотношения в видовой паре.

Именно с этим кругом употреблений глагола *терпеть* соотносятся интересующие нас прилагательные *терпимый* и *нетерпимый* (и, соответственно, существительные *терпимость* и *нетерпимость*). Восходя по форме к пассивному причастию (ср.: *Эти явления не могут быть терпимы*), указанные слова в основном используются для обозначения активной установки субъекта, мирящегося (или не мирящегося) с негативными явлениями.

Однозначной оценки *терпимости* и *нетерпимости* русская языковая картина мира не содержит. Такая оценка устанавливается лишь в рамках конкретной этической системы и тем самым оказывается в компетенции моралистов, а не лексикографов. Приведем рассуждение Владимира Соловьева (из «Оправдания добра»):

«Особая разновидность терпеливости есть качество, которому

* Ср.: Я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыка — и задушевных бесед (В. Набоков).

присвоено по-русски неправильное в грамматическом отношении название терпимости (*passivum pro activo*)*. Так называется допущение чужой свободы, хотя бы предполагалось, что она ведет к теоретическим и практическим заблуждениям. И это свойство и отношение не есть само по себе ни добродетель, ни порок, а может быть в различных случаях тем или другим, смотря по предмету (напр., торжествующее злодеяние сильного над слабым не должно быть терпимо, и потому «терпимость» к нему не добродетельна, а безнравственна), главным же образом — смотря по внутренним мотивам, каковыми могут быть здесь великодушие, и малодушие, и уважение к правам других, и пренебрежение к их благу, и глубокая уверенность в побеждающей силе высшей истины, и равнодушие к этой истине».

Однако, по Соловьеву, это же касается и других видов установки, обозначаемой глаголом *терпеть*:

«*Терпеливость* (как добродетель) есть только страдательная сторона того душевного качества, которое в деятельном своем проявлении называется великодушием, или духовным мужеством. Тут почти вся разница исчерпывается субъективными оттенками, не допускающими твердых разграничений. <...> С другой стороны, единство внешних признаков может и здесь (как и в предыдущем случае щедрости) прикрывать существенное различие этического содержания. Можно терпеливо переносить физические и душевные страдания или вследствие малой восприимчивости нервов, тупости ума и апатичности темперамента — и тогда это вовсе не добродетель; или вследствие внутренней силы духа, не уступающего внешним воздействиям, — и тогда это есть добродетель аскетическая (сводимая к нашей первой нравственной основе); или вследствие кротости и любви к ближнему (*caritas*), не желающей воздавать злом за зло и обидой за обиду, — и в таком случае это есть добродетель альтруистическая (сводимая ко второй основе: жалости, распространяемой здесь даже на врага и обидчика); или, наконец, терпеливость происходит из покорности высшей воле, от которой зависит все совершающееся, — и тогда это есть добродетель пизтистическая, или рели-

* Здесь в издании [Соловьев 1988] авторы комментариев (С. Л. Кравец и Н. А. Кормин) делают следующее примечание: «восприимчивость к действию (лат.)». Очевидно, что они просто не поняли смысл латинского выражения, означающего 'пассив вместо актива' и имеющего чисто грамматический смысл.

гиозная (сводимая к третьей основе)».

Впрочем, Соловьев предварил свое рассуждение словами:

«Смотря на одного и того же человека, спокойно переносящего бедствия или мучения, один назовет его великодушным, другой — терпеливым, третий — мужественным, четвертый увидит здесь пример особой добродетели — невозмутимости (*ajtaraxvida*) и т. д. Спор о сравнительном достоинстве этих определений может иметь только лексический, а не этический интерес».

Но для нас интерес представляют именно лексические вопросы, а именно концептуализация *терпимости* и вообще *терпеливости* русской лексической системой. Как мы видим, для более точного представления о месте *терпеливости* в русской наивной этике требовался бы детальный сравнительный анализ слов словообразовательного гнезда с вершиной «терпеть» и слов, относящихся к смежным семантическим полям: *великодушные*, *мужество*, *невозмутимость*, *стойкость*, *выдержка* и др. Такой анализ — дело будущего.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА

О. П. Ермакова

Толерантность — важная культурно-психологическая категория, которая является отличительной особенностью менталитета любого народа. Русскому менталитету свойственно соединение противоположностей во всем. Есть оно и в проявлении толерантности, что находит отражение в языке. Рассмотрим свойственное русскому языку выражение толерантности (или нетолерантности) в отношении некоторых нравственных сторон жизни человеческого общества и отдельных проявлений «антиповедения» (безумия). По нашим наблюдениям, определяющими для толерантности (или нетолерантности) служат понятия «всеобщность — невсеобщность» (или исключитель-

ность) и «свое — не свое». Терпимость человек проявляет, как правило, к тому, что свойственно в с е м, и, напротив, нетерпимость — по отношению к тому, что свойственно е д и н и ц а м. Приведем отдельные примеры.

Толерантность и грех

По данным языка, определяющим отношение к греху является сознание его всеобщности. Отсюда терпимость, которая довольно отчетливо выступает в русских пословицах:

Один Бог без греха; Без греха веку не изживешь; Невольный грех живет на всех; Не согрешишь — не покаешься; Грех воровать, да нельзя миновать; Грех да беда на ком не живет; На грех мастера нет; Грех не беда, да слава нехороша; Грешный честен, грешный плут — в мире все грехом живут!

Выражения *случился грех, впасть в грех, вводить во грех, грех попутал* создают представление о непроизвольности греха («без вины виноватые»), а расхожие упоминания о своей греховности носят шуточный характер (но не без элемента страховки — на всякий случай), тем более что в таких ситуациях речь обычно не идет о тяжких грехах. Ср.: *Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешите поболтать с вами?* (Чехов. «Пассажир первого класса»); *Грешный человек, я вообразил, что Пунин пришел с намерением занять деньжонок* (Тургенев. «Пунин и Бабурин»).

Ср. также шуточно-укоризненное употребление слов *греховодник, грешок*, ироническое *грехопадение* и др.: *Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух* (Крылов, «Троеженец»); *Работа в этой газете была моим первым грехопадением* (устн. речь).

Из сознания всеобщности греха рождается оправдание себя, которым человек нередко пользуется. Ср. размышления Нехлюдова после обольщения Катюши: *«Что же это: большое счастье или большое несчастье случилось со мной?» — спрашивает он себя. «Всегда так, все так», — сказал он себе и пошел спать.*

«...Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой... так это было с дядей Гришей, так это было с отцом...

А если все так делают, то, стало быть, так и надо» (Л. Толстой. «Воскресение»).

«Так поступают в с е» очень часто является оправданием своего

поведения в самых разных ситуациях. В одном рассказе Чехова француз, наблюдая, как вполне благообразный человек поедает горы блинов, ужасается, расценивая это как способ самоубийства, и пытается этому помешать. Но на попытку внушить, что так много есть нельзя, слышит: *Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все! (в чем убедился француз, оглянувшись вокруг)* (Чехов. «Глупый француз»).

И только исключительные личности действуют **в о п р е к и в с е м**. Все — не мотив, не оправдание, а сигнал к инакомыслию, инакодействию.

Так трактует роль в с е х М. Цветаева:

...Кроме того: раз все вокруг шепчут: «Целуй руку! целуй руку!» — ясно, что я руки целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала (М. Цветаева. «Мой Пушкин»).

В то же время в этом снисхождении с позиции всеобщности грехов малых и больших, кроме желания оправдать себя (что часто бывает), заключается и элемент благородства: сознание отсутствия права судить (и я небезгрешен).

Ср.: *Я глядел на счастливое лицо дяди, и мне почему-то было страшно жалеть его. Я не выдержал, вскочил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и слабого, как все люди, человека* (Чехов. «Тайный советник»).

Н. Бердяев пишет, что в русском человеке, в соответствии с православным воспитанием, всегда была «огромная нравственная снисходительность». Ему было прежде всего предъявлено требование смирения: «Лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться...». «Высшие человеческие задачи стоят перед святыми. Обыкновенный русский человек не должен задаваться высокой целью, даже отдаленно приближаться к этому идеалу святости. Это — гордость» [Бердяев 1990: 74]*.

* А гордость нетерпима с точки зрения бытового сознания, что отражается в словах гордец, гордячка, гордыня, да и слово гордый чаще актуализируется со значением 'надменный', а не с 'чувством собственного достоинства': «...Высока, стройна, белая, И умом, и всем взяла, / ...Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива» (Пушкин. «Сказка о мертвой царевне»); Ты бы посидела с гостями, а то подумают, что ты гордая (Чехов. «В родном углу»). Ср. также спесь, чванство — семантические соседи гордости: Варлаам: ...Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю; иное дело пьянство, а иное чванство (Пушкин. «Борис Годунов»).

Отсюда противоречивое отношение к тем, кто добродетельной жизнью резко выделяется среди всех. Ср. употребление слов *богомол*, *богомолка*, *святой*, *святые* в виде прозвищ в деревнях или в небольших городках с некоторой долей пренебрежения или осуждения. Ср. также употребление в говорах слова *богомолка* — 1. «Девушка, отказавшаяся от замужества и посвятившая себя молитве и посту»; «Так называются в Ферапонтовской волости Буйского уезда старые, обрекшие себя на безбрачие девы» (заметим, что старые девы никогда не пользовались в народе особым уважением) [СРНГ 1968].

Ср.: *богомолка* — «богомолками зовут местами заматерелых девок, грамотниц, посвятивших себя обучению детей и чтению псалтыря и канонов» (Даль); *Богомолками* же называли женщин, принадлежавших к секте шалопутов (разновидность хлыстовства. — О. Е.) [СРНГ 1968]; Ср. также *богомол* в тюремно-лагерном жаргоне — «попрошайка».

Ср. *ханжушка* — таким насмешливым названием окрестили в Киеве профессиональных *богомолок*:

...*Молодой монах, не усвоивший еще в достаточной степени внешнюю степень «ангельского чина», никогда не утратит случая, увидев ханжушку, обозвать ее «мокрохвосткой» или «дармоедкой»* (Куприн. «Ханжушка»).

Очевидно, что коннотации у слова «богомолка» связаны с негативным оценочным компонентом, что наблюдается и в литературном языке: — *Вот полчаса холодности терплю, / Лицо святейшей богомолки. / И все-таки я вас без памяти люблю!* (Грибоедов. «Горе от ума»).

Сознание, опирающееся на положение «один Бог без греха», сопротивляется вере в святость обыкновенного человека: вряд ли это искренне. Отсюда, например, развитие у слова *святоша* значения «лицемер, притворяющийся праведником, ханжа» (презрит.) (первоначально — «богомольный человек, строго исполняющий церковные обряды»).

Здесь действует и еще один фактор: непонимание того, что не укладывается в норму, в средний стандарт, а непонимание обычно вызывает раздражение. Людям нередко кажется неискренним то, чего они сами сделать не в состоянии.

С этим вполне уживается почитание святых угодников: ...*Рассказывает она житие пречистой девы, житие отшельников, угодников*

божиих, святых мучениц (Тургенев. «Дворянское гнездо»).

С почтительным отношением к истинно святым связано и переносное значение у слова *святой* — «высоконравственный, безупречный в своей жизни, поведении». Ср., например, высказывание: *Сахаров был святой* (устн. речь).

Толерантность и зависть

Зависть, как известно, одна из самых страшных страстей человеческих. Не случайно первое убийство, о котором сообщает нам Библия (Авеля своим братом Каином) произошло на почве зависти.

Однако, по данным языка, в народном бытовом сознании зависть не представляется дьявольским порождением и не находит явного резкого осуждения.

В пословицах русского народа она осуждается, но чаще всего с юмором, с добродушной насмешкой. В поговорках показано, что человек глупеет от зависти, утрачивает чувство реальности, доходит до абсурда:

В чужих руках ноготок с локоток; На чужом дворе курица гусем кажется; Чужие хлебы спать не дают; Завистливый по чужому счастьем сохнет; Господи, господи, убей того до смерти, у кого денег много и жена хороша! Чужие дураки — загляденье каки, а наши дураки — невесть каки!

Только одна пословица у Даля представляет зависть как страшное явление, разрушающее, убивающее человека: — *Лихоманка да зависть — Иродовы сестры*.

Поговорки показывают две стороны сущности зависти:

1) желание обладать тем, что есть у другого;

2) нетерпимость к чужому благополучию, превосходству, бессмысленное стремление к равенству.

Ср.: *Не то обидно, что вино дорого, а то, что целовальник богатеет; Не столько смущает свой убыток, сколько чужой прибыток; Пусть лучше у меня не будет коровы, только бы у соседа не было две; Чужим здоровьем болен* и т. д.

Об этом писал Достоевский: «В нынешнем мире равенство — это ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть. „Он умен,

он Шекспир, унижить его, истребить его“».

В то же время данные языка не только не выявляют дьявольскую природу зависти, но представляют ее как некую норму человеческих отношений, свойственную всем. Она всегда есть там, где у кого-то что-то хорошо: *Где счастье, там и зависть; Зависть прежде нас родилась; Чужое завистливо (ему завидуешь); На чужое счастье глядеть завистливо* (Даль).

Об этом еще больше свидетельствует семантика слов и выражений, связанных с понятием *зависть*. *Завидный* (жених, место, работа и т. д.) значит «хороший», сделать *на зависть* — «хорошо», в других контекстах *на зависть* обозначает высшую степень чего-то хорошего: *на зависть крепкое здоровье*. О чем-то очень хорошем говорится: *предмет общей зависти*. В качестве высшей положительной оценки чего-то выступает указание, что это непременно вызовет зависть у всех: *Все иззавидуются (умрут от зависти)*. Ср.: *И жених, и невеста были предметом общей зависти* (Гоголь). В говорах завистливый (или завистный на что-нибудь) значит «усердный, старательный»: *Она на работу завистная*.

И эта всеобщая зависть желанна, нередко является предметом усерданий:

Костюм бы сшить такого цвета. Все другие короли лопнули бы от зависти (Е. Шварц). От такого мужа (красивого. — О. Е.) и страдать-то счастье... Зато когда видишь, как все женщины завидуют тебе, как зеленеют от злости — вот и торжествуешь. Я ей говорила: «Не спеши выходить замуж... Может, явится такой красивый мужчина, что заахают все дамы и девицы, вот тогда на зависть всем и бери его» (А. Островский). Все дамы ее вкусу, красоте и экипажу завидуют (Достоевский).

Напротив, отрицательная оценка объекта или ситуации выражается словами *незавидный, я ему не завидую, ему не позавидуешь*.

Таким образом, по данным языка, зависть представляется настолько распространенным чувством, что воспринимается как норма. И именно поэтому не находит резкого осуждения: все грешны. Это отчасти напоминает отношение в народе к пьянству: все пьют, что же судить-то?

Конечно, в художественной литературе мы находим и самые суровые оценки зависти. В «Моцарте и Сальери» он [Пушкин] *раскрывает*

нам истоки одной из самых зловещих человеческих страстей — *зависти* (Ф. Искандер); *Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным? Змеей, людьми растоптанною вживе?* (Пушкин). Можно встретить и указание на сатанинское начало этой страсти: *Демонское чувство зависти водило моей кистью* (Гоголь).

Но это не изменяет общей картины представления в языке концепта «зависть» и в целом вполне терпимого отношения к ней.

Толерантность и безумие

Теперь я хочу кратко остановиться на отношении к такому явлению, как безумие, с позиции толерантности и в зеркале языка. Безумие — это болезнь. Но болезнь, которая выражается в необычности поведения. Это, по выражению Б. А. Успенского, «антиповедение», это поведение в н е н о р м ы, отличающееся от поведения всех. Это единственная болезнь, которая «породила» большое количество слов, использующихся как грубые сравнения или презрительные названия лиц в просторечии и жаргоне: *идиот, придурок, полоумный, шизик, псих, психопат, чокнутый, съехавший, стукнутый, долбанутый, шарахнутый* — и массу нецензурных слов. Так обозначают, естественно, не больного на самом деле, а человека, с в чем-то отклоняющимся от норм поведением. Более мягкие обозначения странностей — *с прибабахом, с закидонами, со сдвигом*.

То, что слова из поля безумия употребляются как бранные, говорит о презрении к людям с психическими отклонениями у определенной части населения. Они, психически больные, не как все. Толерантность же основана на всеобщности, а не на исключительности. Отчасти это явление объясняется и тем, что безумие не всегда ограничивается от глупости, тупоумия.

В то же время русскому менталитету нередко импонирует компонент *неразумия, безрассудности, неистовства*, который ассоциируется с безумием, и такие названия лиц, как *безумный, ненормальный, сумасшедший* могут быть предикативами с оценкой «минус» и с оценкой «плюс»: *Она ненормальная, нельзя же держать в доме столько кошек*. Или при рассказе о немотивированной агрессии кого-то: *Ну что вы хотите? Он же ненормальный*. Но и с восхищением: *Мой муж*

ненормальный: *потратил столько денег на цветы для меня.*

Невсеобщность и непонятность (то ли больной, то ли преступник, то ли притворяется) рождает презрение, нетерпимость.

По-видимому, только в русском языке слово «блаженный» могло означать и «сумасшедший», и «святой». Ср.: в польском *blażen* (очевидно, от того же корня, хотя не все этимологи это отмечают) — «шут», «паяц»; в чешском *blbzen* — «сумасшедший», «дурак», «шут».

Б. А. Успенский называет юродство одним из видов «антиповедения»: «Образ действия юродивого внешне может быть неотличим от магического (колдовского) поведения; не случайно юродивых нередко принимали за колдунов и только впоследствии стали считать святыми» [Успенский 1994: 327]. Религиозные философы, в частности С. Булгаков, пишут о юродстве как о пределе самоотречения, к которому должно стремиться истинно верующему [Булгаков 1994: 300]. В то же время и в церковном значении *юродивый* иногда — «глупый, неразумный, безрассудный». Даль приводит пример из Евангелия от Матфея: *Пять же бе от них мудры, и опять юродивы.*

В переносном значении слово *юродивый* употребляется для обозначения чудака, но чудака, вызывающего осуждение и подозрение в притворстве. Естественно, что отношение к тем, кого называют *чудаками, чудными, странными*, аналогично отношению к юродивым.

Значение слова *чудак* у Даля определяется так: «Человек странный, своеобразный, делающий все не по-людски, а по-своему, вопреки общего мнения и обычая». Слово, как видно уже из толкования, содержит компонент негативной оценки, возникающей на основе нестандартности, противоположности всем. Эта оценка имеет довольно широкий диапазон: от легкого пренебрежения (часто под маской сочувствия) до прямого осуждения.

Интересны в связи с этим наблюдения М. Цветаевой об отношении людей к Мандельштаму и А. Белому:

— ...*А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет...*

Я:

— *И вы серьезно, Надя, думаете, что любая барышня?..*

— *Да что вы, барыня, это я им для утехи, уж очень меня разжалобил. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая.*

Чужден болно! (М. Цветаева. «История одного посвящения»).

О Белом всегда говорили с *интонацией* «бедный». — «Ну, как вчера Белый?» — «Ничего. Как будто немножко лучше». Или: «А Белый нынче был совсем хорош». Как о трудно-больном. Безнадёжно-больном. С тем пусть крохотным, пусть йотовым, но непременно оттенком превосходства: здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы — хотя бы над самым прекрасным *казусом* (М. Цветаева. «Пленный дух»).

Герой Пушкина Онегин был, как известно, объявлен чудачком и в провинциальном, и в столичном обществе за нестандартное поведение. Заступаясь за своего героя, Пушкин замечает, что *«посредственность одна нам по плечу и не странна»*. Посредственность — это среднее, это «как все».

Мы проанализировали лишь некоторые проявления толерантности и нетолерантности в русском менталитете с точки зрения языка. Думается, что отношение к содержанию рассмотренных концептов носит отнюдь не специфически русский характер, — оно заложено в природе человека. Но выражение толерантности в разных языках требует серьезного изучения.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОНЦА XX ВЕКА)

Т. В. Попова

Толерантность является одним из конструктивных принципов устройства языковой системы, особенностью языковых механизмов, с помощью которых порождаются и сочетаются друг с другом номинативные единицы. Достаточно вспомнить современные новообразования *экс-супружество*, *окейчик*, *окействовать*, *пиарить*, название

компании «Волга-ойл», в которых подчеркнутая морфема является иноязычной, а остальные — исконно русскими либо максимально освоенными, обрусевшими. Более того, в новообразованиях конца XX века легко соседствуют элементы, оформленные с помощью графических средств разных языков: *internetмен*, *VIP-билет*, *Propaganda*, названия передач «*Вася In Da House*», «*TV-парк*», «*News Блок Daily*» и т. п. Часто такие лексемы становятся фактами языковой игры: *Propaganda*, *сэндвич-мен*, *человек-сэндвич*, *журфиск* и т. п.

Именно в сфере новой лексики, пополнившей русский язык в конце XX столетия, наиболее ярко проявляется толерантность русского словообразования. Попытаемся проиллюстрировать толерантное функционирование деривационных механизмов русского языка путем рассмотрения неологизмов-аббревиатур *CD*, *PR* и образованных от них производных. Для анализа были выбраны именно эти лексемы по следующим причинам.

Во-первых, в русском языке XX века количество аббревиатур не уменьшается, а растет, об этом, в частности, свидетельствуют словари аббревиатур. В «Словаре сокращений русского языка» [Алексеев 1977], зафиксировано около 15 000 сокращений; в «Словаре современных русских сокращений и аббревиатур» [Новичков 1995] содержится 12 000 новых сокращений и аббревиатур, которые появились в русской печати за годы кардинальных социально-политических и экономических преобразований, последовавших за распадом СССР.

Во-вторых, в конце XX века аббревиация как способ словообразования характеризуется высокой продуктивностью [Жилина 2001: 256] и полифункциональностью: современные аббревиатуры выполняют не только номинативную и компрессивную функции, то есть служат для создания более кратких, чем соотносительное словосочетание, номинаций [Земская 1992: 8—12], но и являются средством экспрессивизации речи [Земская 1996a: 120—124]. Современные аббревиатуры часто маскируются под обычное слово (см., например, иллюстрации Е. А. Земской: БАРС — «вид животного» и «Банк развития собственности», МИФ — «легенда» и «Московский инвестиционный фонд»; СПб — Санкт-Петербург и «скорая помощь бытовая»), что создает при их восприятии семантическую двуплановость, оценочность, провоцирует появление эффекта языковой игры [РЯСО 1968: 97].

В-третьих, выбранные неологизмы находятся на пересечении

двух наиболее стойких и сильных языковых процессов XX века — аббревиации и заимствования. Об этих активных тенденциях развития лексической и деривационной подсистем русского языка писали многие исследователи: А. Д. Васильев, Е. А. Земская, В. В. Колесов, Л. П. Крысин, В. Шапошников и др.

В-четвертых, разные грамматические и лексические группы слов обладают разным неогенным потенциалом. Аббревиатуры *CD* <си-ди> (*CD* < *compact disk* «особый носитель информации — компакт-диск»), *PR* <пиар> (*PR* < *public relations* «система информационно-аналитических и процедурно-технологических действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации данного проекта») [Чумиков 2001: 14], обозначая предмет и вид деятельности, род занятий, охватывают основные неогенные области современного русского языка.

В-пятых, словообразовательная система современного русского языка характеризуется расширением круга мотивационных баз*, в том числе за счет активного вовлечения в деривационные процессы аббревиатур и роста образованных от них производных [Земская 1996а: 120—124].

Новообразования с корнями *PR*, *CD* нуждаются в описании и специальном изучении еще и потому, что они активно употребляются в речи носителей современного русского языка, но фиксируются словарями в весьма ограниченном объеме. Так, неологизмов с этими иноязычными корнями нет ни в «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова (СПб., 2001), ни в «Толковом словаре иноязычных слов» Л. П. Крысина (М., 2001), ни в «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой (М., 2000).

В «Словаре иностранных слов» Н. Г. Комлева [1999: 322, 180] зафиксирована только аббревиатура *си-ди* и ее русский синоним *компакт-диск*, а также дериват от последнего *компакт-дисплейер* — «магнитофон для проигрывания компакт-дисков»; в «Словаре русского арго» В. С. Елистратова [2000: 424] — существительное *сидюк*,

* Об активном использовании в современных словообразовательных процессах производящих основ из заимствованных, жаргонных, просторечных лексических пластов см.: [Жилина 2001: 256]; об именах собственных как базовых основах словопроизводства см.: [Земская 1996а: 99—103].

относящееся к жаргону компьютерщиков; в «Большом словаре русского жаргона» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной [2000: 537] — неологизмы *сиди-ромка* (комп., шутл.), *сидил* (мол.), *сидюк* (комп., шутл.), *сидюшник* (комп.), *сидишник* (комп.), *сидюшка* (мол., шутл.), *сидишка* (мол., шутл.).

Более полно исследуемые новообразования представлены в «Толковом словаре современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия» под редакцией Г. Н. Скляревской (М., 2001). В нем описаны следующие лексемы: *пиар*, *пиарить* — разг. «заниматься пиаром, проводить пиар-кампании», *пиар-кампания*, *пиаровец* — «тот, кто занимается пиаром»; *пиарщик* (разг.), *пиаровский* (с. 569—570), *PR*, *PR-агентство*, *PR-акция*, *PR-бизнес*, *PR-кампания*, *PR-менеджер*, *PR-мероприятие*, *PR-щик*, *PRщик*, *Public*, все, кроме слов *пиар* и *пиарить*, имеют помету «публ.» (с. 889—890); *сидиром* (разг.), *сидюк* (жарг.) (с. 720), *CD*, *CD-drive* (то же, что *сидиром*), *CD-R*, *CD-ROM*, *CD-Rom*, *CD-ROMный*, *CD-диск*, *CD-плеер*, *CD-плеер*, *CD-проигрыватель*, *CD-чейнджер* «устройство для автоматической смены компакт-дисков в музыкальном центре, компакт-диск-проигрывателе и т. п.», *CDшка*, все неологизмы имеют помету «информ.» (с. 882—884).

Материалы современной периодической печати и устные выступления позволяют существенно дополнить этот список аббревиатурных новообразований. Наибольшее количество неологизмов пополнило словообразовательное гнездо (в дальнейшем — СГ) с вершиной *пиар*.

«PR-неологизмы». К ним относятся следующие новообразования:

PR («По мнению одного из пионеров «паблик рилейшенз» в Германии, А. Оэкла, основные задачи *PR* заключались в том, чтобы помочь отдельным субъектам ориентироваться в обществе, получать правильную информацию и формировать собственное мнение» [Чумиков 2001: 23]);

PR-агентство («Рейтинг российских *PR-агентств*» [Чумиков 2001: 6]);

PR-ассоциация («Международная *PR-ассоциация*» [Чумиков 2001: 23]);

PR-влияние («...чем дальше от финального звена цепочки ... начинается *PR-влияние*, тем более значимый результат может быть до-

стигнут...» [Чумиков 2001: 27]);

ПР-действие («...без ее освоения трудно обойтись при составлении более или менее масштабных концепций или планов *ПР-действий*» [Чумиков 2001: 34]);

ПР-департамент («...*ПР-департамент* нефтяной компании «Лукойл»» [Чумиков 2001: 186]);

ПР-деятельность («Многие из тех, с кем мне приходилось встречаться на стезе *ПР-деятельности*, воспринимали креатив главным образом как оригинальность...» [Чумиков 2001: 10]);

ПР-документ («...Стратегический план Санкт-Петербурга является ... полномасштабным *ПР-документом* — как по способу его производства, так и по роли в социально-экономическом и политическом пространстве» [Чумиков 2001: 53]);

ПР-достаточность («...в госучреждении уровень минимальной *ПР-достаточности* определяется наличием пресс-секретаря или пресс-центра...» [Чумиков 2001: 185]);

ПР-задача («Но и при решении оперативной *ПР-задачи*, и при анализе предложения об участии в благородном, престижном и т. д. мероприятии — в каждом случае необходимо тщательно взвесить, насколько предлагаемые действия вписываются в имеющийся имиджевый контекст...» [Чумиков 2001: 72]);

ПР-кампания («Профессионально проведенная *ПР-кампания* позволяет создавать и поддерживать «эффект присутствия» для фирмы с минимальными затратами» [Чумиков 2001: 14]);

ПР-консультант («...в кризисной ситуации у руководителей и *ПР-консультантов* компании возникает неплохая возможность показать общественности, что их организация не бездушный механизм для производства товаров, услуг и получения прибыли, а структура, состоящая из порядочных и дееспособных людей» [Чумиков 2001: 136]);

ПР-мен («Широкое распространение прессы вызвало появление новой, необычной профессии — пресс-агентов, по существу организаторов работы с прессой, которые стали прообразом будущих *ПР-менов*...» [Чумиков 2001: 19]);

ПР-мен-индивидуал («Созданные СЕРП в 1989 г. специальные организации *ПР-менов-индивидуалов* (СЕРП-консультанты, СЕРП-образование и СЕРП-профи) активно проводят свои курсы и семина-

ры» [Чумиков 2001: 261]);

ПР-менеджер («*ПР-менеджер* — это чаще всего специалист-универсал, обладающий необходимым опытом и знаниями в нескольких специализациях» [Борисов 2001: 50]);

ПР-метод («В то же время совокупность потребностей, их иерархия носят гибкий, подвижный характер, и *ПР-методы* вполне способны оказывать воздействие на их формирование» [Чумиков 2001: 26]);

ПР-механизм («Как действует *ПР-механизм*?» [Чумиков 2001: 27]);

ПР-модуль («...проанализируем типичную логику и набор *ПР-модулей*, которые применялись в ходе ПР-обеспечения одного из масштабных проектов» [Чумиков 2001: 244]);

ПР-направление («Политические паблик рилейшенз ... могут включать в себя отдельные, самостоятельно развивающиеся *ПР-направления*: правительственные, финансовые, государственных спецслужб и силовых ведомств, международные, военно-промышленные» [Борисов 2001:33]);

ПР-обеспечение (см. предыдущий пример; «В начале 90-х годов, работая по *ПР-обеспечению* проекта «Московский Сити», мы выдумывали новости практически каждый день...» [Чумиков 2001: 90]);

ПР-обслуживание («Поэтому такие показатели (гарантии продажи в бизнесе или избрания в политике) не могут фиксироваться в договорах на *ПР-обслуживание*...» [Чумиков 2001: 32]);

ПР-отдел («В *ПР-отделе* или агентстве должны быть разработаны, задокументированы и утверждены менеджером по качеству типовые планы действий» [Чумиков 2001: 275]);

ПР-отрасли («Параллельно нарастал объем подготовки специалистов, ориентированных на работу в *ПР-отрасли*» [Чумиков 2001: 176]);

ПР-подразделение («...в чем разница между *ПР-подразделением* в госучреждении и коммерческой организации?» [Чумиков 2001: 185]);

ПР-правило («Кто напишет *ПР-правила*?» [Борисов 2001:3]);

ПР-практика («...одним из отцов современных ПР называют Айви Ли — американского журналиста, обратившегося к *ПР-практике* в 1903 г.» [Чумиков 2001: 20]);

ПР-программа («Этот курс [первый курс по практике и этике ПР, прочитанный Бернейз в 1923 г. в Нью-Йоркском университете] стал предшественником многих *ПР-программ*, предлагаемых сейчас уни-

верситетами мира» [Чумиков 2001: 21]);

ПР-продукт («Тезисы о том, что ПР менее конкретны, чем реклама, и что ПР не обеспечивают непосредственного результата (продажи, избрания и т. п.), а лишь способствуют его достижению, зачастую вызывают некоторое замешательство как у заказчиков, так и у товаропроизводителей *ПР-продуктов*» [Чумиков 2001: 29]);

ПР-проект («модульные технологии в реализации *ПР-проектов*» [Чумиков 2001: 5]);

ПР-процесс («В этом смысле *ПР-процесс* вполне сопоставим, скажем, со строительством дачи...» [Чумиков 2001: 244]);

ПР-рынок («...ежегодный оборот мирового *ПР-рынка* исчисляется десятками миллионов долларов...» [Чумиков 2001: 24]);

ПР-служба («Государственная *ПР-служба*: уровень минимальной достаточности» [Чумиков 2001: 4]);

ПР-сообщество («Наряду с формированием новых школ в 40—60-х годах происходит консолидация *ПР-сообщества*, создаются международные объединения специалистов, работающих в сфере связей с общественностью» [Чумиков 2001: 23]);

ПР-сопровождение («...вы предлагаете отремонтировать автомобиль ... мы — обеспечить *ПР-сопровождение* экономического, политического, социального, культурного и любого другого проекта» [Чумиков 2001: 243]);

ПР-специализация («В первые десятилетия XX в. появляются и личности, с именами которых связывают рождение профессиональной *ПР-специализации*» [Чумиков 2001: 20]);

ПР-специалист («...Задача *ПР-специалиста* — добиться того, чтобы...»; «Столь же альтруистическое определение... предлагает известный английский ПР-специалист Сэм Блэк...» [Борисов 2001: 13, 17]);

ПР-стратегия («Пресс-служба Президента РФ выполняла главным образом организационно-тактические ПР-задачи, функция же разработки *ПР-стратегий* возлагалась на созданное после президентских выборов 1996 г. Управление по связям с общественностью» [Чумиков 2001: 180]);

ПР-структуры («Появление *ПР-структур* — дань моде или закономерность?» [Чумиков 2001: 176]);

ПР-субъект («...выбор того или иного пункта в ... последовательности информационных действий является не столько предметом

полета творческой мысли, сколько в ряде случаев единственно возможным вариантом реагирования как для *ПР-субъекта*, так и для самих СМИ» [Чумиков 2001: 98]);

ПР-сфера («Примерно с начала XX в. и стоит, на мой взгляд, начинать анализ развития *ПР-сферы* как таковой» [Чумиков 2001: 20]);

ПР-технологии («Отсюда спрос на *ПР-технологии* в бизнесе, политике, социальной сфере становится перманентным» [Чумиков 2001: 23]);

ПР-усилие («...содержание *ПР-усилий* все больше смещается от воздействия на среду к ее изучению и привлечению полученной информации к управлению» [Чумиков 2001: 23]);

ПР-услуга («...располагая товаром, который должен быть продан (*ПР-услуги*), и ориентируясь на покупателя (клиента), который потенциально его может купить, они [*ПР-агентства*] как бы заимствуют у коммерческих фирм необходимые для этих целей должности» [Чумиков 2001: 187]);

ПР-фирма («специализированная *ПР-фирма*» [Чумиков 2001: 187]);

ПР-функция («Формальные названия занятых выполнением *ПР-функций* служб («департамент по связям с общественностью и средствами массовой информации», «пресс-служба», «информационно-аналитический отдел» и т. п.) не имеют большого значения» [Чумиков 2001: 177]);

ПР-ход («Эта кампания будет складываться из следующих *ПР-ходов*» [курс. раб. Ю. В. Лебедевой, студентки филол. фак. УрГУ, 2000]);

ПР-центр («МПК (Международный пресс-клуб) действует как *ПР-центр*» [Чумиков 2001: 46]);

ПР-эксперт («Как констатировал, в частности, М. Крозье, американские *ПР-эксперты* продают в конце концов гражданам то общественное мнение, которое заказывают монополии» [Чумиков 2001: 23]);

бизнес-ПР («Коммерческий ПР [*бизнес-ПР*] ...также подразумевает некую отраслевую специализацию...» [Борисов 2001:33]);

пропиарить («Важней всего бабки. Если есть бабки, я тебе что угодно *пропиарю*» [Дашкова 2002:120]);

пиарошный («Евгений Николаевич так привык к своей вымышленной, *пиарошной* биографии, что настоящую уже не помнил»

[Дашкова 2001:166]).

Эти новообразования увеличивают объем гнезда с вершиной *пиар* с 15 до 64 слов (см. схему 1).

Схема 1.

Словообразовательное гнездо существительного PR

Примечания:

1. Производные, обладающие одним и тем же лексическим значением, но отличающиеся только орфографическим оформлением (*PRщик*, *PR-щик*) отнесены к вариантам слова; слова, включающие в свой состав морфемы, оформленные по законам русской и иноязычной графики (*PR-кампания*, *ПР-кампания*), — к разным словам.

2. Звездочкой (*) отмечены слова, не включенные в современные словари.

PR → *PR-агентство*

→ *PR-акция*

→ *PR-кампания*

→ *PR-менеджер*

→ *PR-мероприятие*

→ *PRщик (PR-щик)*

→ *Public*

→ *ПР** → *пиар* → *пиарить* → *пропиарить**

→ *пиар-кампания*

→ *пиаровец*

→ *пиарищик*

→ *пиаровский*

→ *пиарошный**

→ *ПР-агентство**

→ *ПР-ассоциация**

→ *ПР-влияние**

→ *ПР-действие**

→ *ПР-департамент**

→ *ПР-деятельность**

- *ПР-документ* *
- *ПР-достаточность* *
- *ПР-задача* *
- *ПР-кампания* *
- *ПР-консультант* *
- *ПР-мен* * ?*ПР-мен-индивидуал* *
- *ПР-менеджер* *
- *ПР-метод*
- *ПР-механизм*
- *ПР-модуль* *
- *ПР-обеспечение* *
- *ПР-обслуживание* *
- *ПР-отдел* *
- *ПР-отрасли* *
- *ПР-подразделение* *
- *ПР-правило* *
- *ПР-практики* *
- *ПР-программа* *
- *ПР-продукт* *
- *ПР-проект* *
- *ПР-процесс* *
- *ПР-рынок* *
- *ПР-служба* *
- *ПР-сообщество* *
- *ПР-сопровождение* *
- *ПР-специализация* *
- *ПР-специалист* *
- *ПР-стратегия* *
- *ПР-структуры* *
- *ПР-субъект* *
- *ПР-сфера* *
- *ПР-технология* *
- *ПР-усилие* *
- *ПР-услуга* *
- *ПР-фирма* *
- *ПР-функция* *
- *ПР-центр* *

→ *ПР-эксперт* *

Анализ неологизмов с корнями ПР и РР обнаружил следующее.

Во-первых, СГ, состоящее из рассматриваемых новообразований, реально имеет две вершины: английскую аббревиатуру РР и русскую ПР. Иноязычная лексема РР появилась раньше русской ПР и стала мотиватором последней, но в настоящее время английское существительное РР имеет незначительное количество дериватов (7 слов), в то время как русское мотивирует 57 производных; дериваты с РР употребляются в текстах СМИ значительно реже, чем производные с ПР. Именно поэтому можно предположить, что на современном этапе развития русского языка анализируемое СГ имеет 2 вершины (см. схему 2), причем русская вершина активно вытесняет исторически первичную, англоязычную. По завершении этого процесса СГ примет традиционный, одновершинный вид.

Схема 2.

**Двухвершинное словообразовательное гнездо
существительного РР**

РР → *РР-агентство*

→ *РР-акция*

→ *РР-кампания*

→ *РР-менеджер*

→ *РР-мероприятие*

→ *РРщик (РР-щик)*

→ *Public*

→ *ПР** → *пиар* → *пиарить* → *пропиарить* *

→ *пиар-кампания*

→ *пиаровец*

→ *пиарищик*

→ *пиаровский*

→ *пиарошный* *

→ *ПР-агентство* *

→ *ПР-ассоциация* *

→ *ПР-влияние* *

→ *ПР-действие* *

- *ПР-департамент* *
- *ПР-деятельность* *
- *ПР-документ* *
- *ПР-достаточность* *
- *ПР-задача* *
- <...>
- *ПР-эксперт* *

Во-вторых, в современном русском языке происходит активное освоение аббревиатур *ПР*, *PR* и их производных, но этот процесс далеко не завершен.

Русификация рассматриваемых заимствований идет чрезвычайно активно: они освоены языком семантически (приобрели особое лексическое значение); получили грамматические характеристики: категориально-грамматическое значение предметности, категорию множественного числа и склонение (*ПиАром*); мотивировали значительное количество производных, появившихся в языке почти одновременно; приобрели русскую фонетическую форму.

О незавершенности процесса освоения анализируемых лексем свидетельствует их вариативное графическое оформление:

— «*ПР-дериваты*» в целом оформляются неоднотипно: графическими средствами только русской (*пиар*, *пиарить*, *пропиарить*, *пиар-кампания*, *пиаровец*, *пиарщик* и т. п.), только латинской (*PR*, *Public*) либо и русской, и латинской графики (*PR-агентство*, *PR-акция*, *PR-кампания*, *PR-менеджер*, *PR-мероприятие*, *PRщик/PR-щик*);

— одно и то же явление может быть названо лексемой, имеющей как русскую, так и иноязычную форму: *пиарщик*, *PRщик*, *PR-щик*; *PR-агентство* и *ПР-агентство*; *PR-кампания* и *ПР-кампания*;

— даже если слово передано графическими средствами только одного языка, оно не всегда имеет однотипное оформление: при его передаче используются строчные и прописные буквы: (*ПР* — *ПиАр* — *пиар*), слитное (*PRщик*), дефисное (*PR-щик*) и даже раздельное написание (*ПР ассоциация*).

В современных печатных изданиях явно обнаруживается тенденция все более активного использования русского варианта написания слова. Если в названных выше словарях новообразования с корнями *ПР* и *PR* имели в основном англоязычную форму и еще совсем

недавно воспринимались как экзотичные («*ПиАр* — звучит как ребус... *ПиАр* — это общественные связи, это решение общественных проблем и управление кризисными ситуациями» [Васильев 2000: 92]), то в изданиях последних лет эти же неологизмы оформляются в основном средствами русской графики. Это свидетельствует об активизации процесса графического освоения слова.

В-третьих, новообразования с корнями *ПР* и *PR* семантически разнообразны.

С точки зрения грамматической семантики, среди них есть дериваты, обозначающие предмет (*пиар*, *пиарщик*, *пиаровец*, *PR-менеджер*, *PRщик /PR-щик*), *ПР-консультант**, *ПР-мен**, *ПР-профессионал**, *ПР-специалист**, *ПР-субъект**, *ПР-эксперт* и др.), его статический (*пиаровский*) и динамический признаки (*пиарить*, *пропиарить*). В СГ явно доминируют имена существительные, составляющие 97 % всего гнезда. Это хорошо соотносится с общей тенденцией современных процессов неологизации: субстантивы в разных языках мира являются самой неогенной частью речи.

С точки зрения деривационной семантики, производные с корнями *ПР* и *PR* имеют следующие словообразовательные значения (СЗ):

«то, что названо мотивирующим существительным (н. м. с.):»:
Public, *Пиар* — 2 деривата;

«человек, имеющий отношение к тому, что н. м. с.):»:
пиарщик, *PRщик /PR-щик*, *пиаровец*, *ПР-консультант**, *ПР-мен**, *ПР-мен-индивидуал**, *PR-менеджер*, *ПР-профессионал**, *ПР-специалист**, *ПР-субъект**, *ПР-эксперт** — 11 производных;

«организация или ее часть, имеющие отношение к тому, что н. м. с.):»:
PR-агентство, *ПР-агентство**, *ПР-ассоциация**, *ПР-департамент*, *ПР-отдел**, *ПР-отрасли**, *ПР-подразделение**, *ПР-служба**, *ПР-сообщество**, *ПР-структуры**, *ПР-фирма**, *ПР-центр* — 12 дериватов;

«действия, мероприятия, связанные с тем, что н. м. с.):»:
PR-акция, *ПР-влияние**, *PR-кампания*, *ПР-кампания**, *пиар-кампания*, *PR-мероприятие*, *ПР-действие**, *ПР-деятельность**, *ПР-обеспечение**, *ПР-обслуживание**, *ПР-практики**, *ПР-процесс**, *ПР-сопровождение**, *ПР-усилие**, *ПР-услуга** — 15 производных;

«сфера действия того, что н. м. с.):»:
*ПР-рынок**, *ПР-специализа-*

ция*, *ПР-сфера** — 3 производных;

«способ осуществления, отдельный акт того, что н. м. с.»: *ПР-задача**, *ПР-метод**, *ПР-механизм**, *ПР-модуль**, *ПР-правило**, *ПР-программа**, *ПР-проект**, *ПР-стратегия**, *ПР-технология** — 9 дериватов;

«результат действия того, что н. м. с.»: *ПР-документ**, *ПР-продукт** — 2 производных;

«свойство, качество объекта или субъекта, связанного с тем, что н. м. с.»: *ПР-достаточность**, *ПР-функция** — 2 деривата;

«имеющий отношение к тому, что н. м. с.»: *пиаровский* — 1 производное;

«совершать (-ить) действия, связанные с тем, что н. м. с.»: *пиарить*, *пропиарить* — 2 деривата.

Явно доминируют производные со значением самого процесса пиара (27 дериватов) и субъектов, осуществляющих эту деятельность (17 производных).

С точки зрения лексической семантики, анализируемые отаббревиатурные производные образуют хорошо структурированные, значительные по объему лексико-семантические группы.

1. Это прежде всего ЛСГ имен со значением лица, осуществляющего ПР-деятельность. В нее входят лексемы, номинирующие лицо по выполняемому им действию и практически являющиеся синонимами-дублетами, это пиарщик = *Ррщик* = *ПР-щик*, *пиаровец*, *ПР-мен*, *ПР-специалист*, *ПР-субъект*; имена существительные, характеризующие специализацию ПР-менов: *ПР-консультант*, *ПР-менеджер*, *ПР-эксперт* — или способ работы (коллективный или индивидуальный): *ПР-мэн-индивидуал*.

2. Вторая ЛСГ объединяет лексемы, характеризующие организации, связанные с пиаром: это имена существительные, называющие конкретную пиаровскую организацию (*ПР-агентство*, *ПР-служба*, *ПР-структура*, *ПР-фирма*, *ПР-центр*), ее часть (*ПР-департамент*, *ПР-отдел*, *ПР-подразделение*) или объединение таких компаний (*ПР-ассоциация*, *ПР-сообщество*).

К этим новообразованиям можно добавить значительное количество аббревиатур — имен собственных, образованных от исследуемых *ПР* и *РР*:

*ИПР** («...в Англии проводились постоянные заседания, совпадавшие с ежегодными конференциями британского Института *ПР*

(ИПР)» [Чумиков 2001: 259]);

ИПРА? («Международная ассоциация *ПР* (*ИПРА*) была создана в Лондоне 1 мая 1955 г.» [Чумиков 2001: 259]);

ИКПР? («Для достижения этого подписавшиеся под Хартией ассоциации положили начало совместному предприятию путем организации *ИКПР* (*IQPR*) — Международного института качества связей с общественностью» [Чумиков 2001: 270]).

Подобные аббревиатуры обычно функционируют и в русском, и в английском графическом вариантах (*СЕПР* и *СЕPR*).

3. Третья значительная по объему ЛСГ, образуемая дериватами с корнями *ПР* и *PR*, это существительные со значением деятельности по установлению связей с общественностью. Среди них есть субстантивы, обозначающие:

обобщенный, неконкретизированный вариант пиаровской деятельности (*ПР-деятельность*, *ПР-обеспечение*, *ПР-обслуживание*, *ПР-практика*, *ПР-процесс*);

отдельный акт этой деятельности (*PR-акция*, *ПР-действие*, *PR-мероприятие*, *ПР-усилие*, *ПР-услуга*);

способ, механизм осуществления пиар-действий (*ПР-задача*, *ПР-метод*, *ПР-механизм*, *ПР-модуль*, *ПР-проект*, *ПР-программа*, *ПР-стратегия*, *ПР-технология*);

совокупность взаимосвязанных действий по осуществлению пиара (*PR-кампания* = *ПР-кампания* = *пиар-кампания*);

конкретный вид пиар-действий (*ПР-влияние*, *ПР-сопровождение*, *ПР-услуга*).

Некоторые новообразования с исследуемыми аббревиатурными корнями не вписываются в эти ЛСГ, обозначая сферу действия пиара (*ПР-рынок*, *ПР-сфера*), его свойства (*ПР-функция*, *ПР-достаточность*) и иные проявления. В целом же семантика новых для русского языка слов с корнями *ПР* и *PR* достаточно разнообразна.

В-четвертых, подавляющее большинство рассматриваемых неологизмов представляет собой сложные слова, образованные способом чистого сложения иноязычного компонента *ПР/PR* и исконно русского или хорошо освоенного заимствованного слова (примеры см. выше). В таких композитах может изменяться функциональная нагрузка аббревиатуры: в качестве первой части сложного слова она начинает функционировать не как имя существительное, а как ана-

литическое прилагательное. Доказательством может служить возможность/невозможность истолкования композита через словосочетание с *ПР*-существительным и/или *ПР*-прилагательным. Так, *ПР-эксперт* — это «эксперт по ПР», но не «пиаровский эксперт, *ПР-субъект* — это «субъект ПР», но не «пиаровский субъект», значит, ПР в этих словах является субстантивным элементом; существительное *ПР-сопровождение* — это и «пиаровское сопровождение», и «сопровождение с помощью ПР», *ПР-центр* — это и «пиаровский центр», и «центр ПР» (*ПР* в этих словах является гибридным образованием, выполняя одновременно функцию и прилагательного, и существительного); *ПР-сообщество* — это «пиаровское сообщество», но не «сообщество ПР», *ПР-отдел* — это «пиаровский отдел», но не «отдел (отрасль) ПР», что позволяет интерпретировать их как аналитические прилагательные*.

Активное грамматическое, семантическое и словообразовательное освоение аббревиатуры *ПР* (она приобрела грамматическое значение существительного, употребляемого только во множественном числе, лексическое значение «деятельность по установлению и поддержанию связей с общественностью» и породила более 60 производных), ее зарождающаяся морфологическая полифункциональность и многочисленные гетерогенные производные свидетельствуют о том, что русская словообразовательная система вполне толерантна по отношению к данному заимствованию.

«**CD-неологизмы**». Английская номинативная единица *compact disk* породила в русском языке заимствования разных типов: аббревиатурные и неаббревиатурные.

К неаббревиатурным заимствованиям относятся сложное существительное *компакт-диск* в значении «записанный с помощью лазера диск небольшого диаметра, воспроизводящий оптическую и звуковую информацию в большом объеме; CD» [Словарь XX: 362—362]

* Аналогично ведет себя и аббревиатура VIP <вип>, образованная от англ. very important person: VIP функционирует как существительное со значением «особо важная персона — лицо из властных структур или управленческой номенклатуры, богатые люди, ведущие светскую жизнь и имеющие различные привилегии» или как первая часть сложных слов, вносящая значение «служащий, предназначенный для особо важных и богатых персон»: VIP-апартаменты, VIP-обслуживание, VIP-трибуна, VIP-ложа, VIP-мероприятие, «особо важный для деятельности кого-, чего-л.»: VIP-гость, VIP-клиент или «дающий особые привилегии»: VIP-карта, VIP-номер [Словарь XX: 135].

и его производные, объединившиеся в новое СГ (см. схему 3).

Схема 3.

Словообразовательное гнездо существительного *компакт-диск*

Компакт-диск → *компакт-диск-плеер* (-плеер/-плэйер)

→ компакт-диск-проигрыватель

→ компакт → компакт-дисковод

→ компакт-дисплейер

→ компакт-плеер

→ компаха → компашка

→ диск → дисковод

→ диск-жокей → дискач

→ дисковерт

→ дискодрайв

→ дискокрут

Композит *компакт-диск* мотивирует производные существительные *компакт* и *диск*, являющиеся стилистическими модификатами: первое имеет в словаре помету «разг.», второе — помету «информ.» [Словарь XX: 362, 225]. Рассматриваемые существительные целесообразно объединить в одно СГ, а не относить к разным гнездам (к СГ с вершинами *диск* и *компактный*), поскольку они имеют одно лексическое значение («запоминающее устройство компьютера, магнитный носитель информации»), приобретенное под влиянием исходного субстантива *компакт-диск*.

Каждое из трех существительных (*компакт-диск*, *диск* и *компакт*) мотивирует свои производные, легко объединяющиеся в следующие словообразовательные категории:

стилистические модификаты к *компакт-диску*: *диск* с пометой «информ.», *компакт* с пометой «разг.», *компах*, *компашка* с пометами «молодежн., шутл.» [БСЖ: 274];

«механизм, имеющий отношение к неологизму *компакт-диск*»: субстантив со значением вида механизма *компакт-диск-проигрыватель*, его разновидности *компакт-диск-плеер* (-плеер/-плэйер) = *компакт-плеер* (-плеер/-плэйер), *компакт-дисковод* = *дисковод* и стилистические модификаты последнего *дискодрайв* (комп.), *дис-*

кокрут (комп.), *дисковерт* (комп., шутл.) [БСЖ: 160];

«человек, имеющий отношение к компакт-дискам»: *диск-жокей* — «ведущий музыкальных программ (в баре, на радио, на телевидении)»: *Диск-жокей ведь не только текст в микрофон произносит, но и пультом управляет — ставит диски, нажимает кнопки* и т. д. [Словарь XX: 226] и его стилистический модификат дискач (молодежн.) [СЖ: 160].

Английское словосочетание *compact disk* способствовало появлению в русском языке и аббревиатурных заимствований CD, CD-ROM и т. п. Словообразовательное гнездо с вершиной CD состоит из 21 неологизма (см. схему 4). Почти все они зафиксированы в современных лексикографических изданиях.

Схема 4.

Словообразовательное гнездо существительного *CD*

Примечание. Звездочкой (*) отмечены слова, не включенные в современные словари. Эти неологизмы приведены в курсовой работе Ю. В. Лебедевой (2000).

- CD → CDшка
- CD-drive
- CD-диск
- CD-плеер (плейер / плэйер)
- CD-программа*
- CD-проигрыватель
- CD-чейнджер
- CD-ROM (CD-Rom) → CD-R
- CD-ROMный
- CDROM-издательства
- сидиром ? сиди-ромка
- си-ди
- сидил
- сидишка
- сидишник
- сидюшка
- сидюшник

→ сидюк

На современном этапе развития русского языка СГ возглавляет аббревиатура *CD*, хотя на статус вершины могли бы претендовать и такие неолексемы, как *CD-ROM*, *CD-R*, *CD-drive*, *си-ди*, *сидиром*. Но именно существительное *CD* обладает особенностями, позволяющими ему выполнять эту роль более эффективно: это слово стилистически нейтрально, формально и семантически менее сложное, но более частотное, чем субстантивы *CD-ROM*, *CD-R* и *си-ди*.

Существительное *CD-ROM* (вариант *CD-Rom*) образовано от англ. *compact disk (CD)* и *read only memory (ROM)*, обладает тремя значениями («устройство для считывания информации с компакт-дисков, дисковод», «компакт-диск, допускающий только чтение записанной на него информации», «компакт-диск») и имеет помету «информ.» [Словарь XX: 883]. Только третье, неосновное значение этого субстантива является достаточно широким для того, чтобы мотивировать все производные этого СГ.

Аббревиатура *CD-R*, сокращение от англ. *compact disk recordable* «диск записываемый», имеет ограниченное употребление, о чем свидетельствует помета «информ.», и более узкое, специализированное значение, чем *CD*; существительное *CD-drive* обладает более конкретным, специализированным лексическим значением, поскольку обозначает «компакт-диск, допускающий запись информации с помощью специального дисковода и многократное считывание ее компакт-дисководом» [Словарь XX: 883].

Существительные *CD-drive* и *сидиром* семантически тождественны *CD*, но стилистически маркированы: оба активно употребляются в разговорной речи и профессиональном жаргоне компьютерщиков.

С учетом всего сказанного выше, вершиной СГ было признано нейтральное однозначное существительное *CD*, основной семантической функцией которого является обозначение такого нового явления, как компакт-диск.

От аббревиатуры *CD* образуются семантически разнородные производные:

стилистические модификаты того, что н. м. с.: *CDшка*, *сидиром* с пометой «разг.»; *сидюк*, *сидишник*, *сидюшник*, *CD-R*, *CD-ROM*, *CD-диск*, *CD-drive* с пометой «комп.», *сидил* («мол.»), *сидишка*, *сидюшка*, *сидюк* («шутл. + мол.»), *сидиромка* («комп.», «шутл.»). Такие deriva-

ты чаще специализированы по сфере употребления (компьютерный или молодежный жаргон, разговорная речь), реже — по наличию оценочных коннотативных сем (шутливое) — 13 дериватов;

«механизм, имеющий отношение к тому, что н. м. с.»: нейтральные *CD-плеер*(*плейер/-плэйер*) «компакт-диск-плеер», *CD-проигрыватель* «компакт-диск-проигрыватель», *CD-чейнджер* «устройство для автоматической смены компакт-дисков в музыкальном центре, компакт-диск-проигрывателе и т. п.» [Словарь XX: 883]; *CD-drive* с пометой «информ.», *сидивертка* («комп.») — 5 производных;

«предмет, имеющий отношение к тому, что н. м. с.»: *CD-программа* — 1 дериват;

«организация, имеющая отношение к тому, что н. м. с.»: *CDROM-издательство* — 1 дериват;

«имеющий отношение к тому, что н. м. с.»: *CD-ROMный* — 1 производное.

Производные от *CD* семантически более разнообразны, чем дериваты, мотивированные композитом-синонимом *компакт-диск*: от аббревиатуры образуются и существительные, и прилагательные, от композита — только существительные; аббревиатура мотивирует производные пяти СЗ, композит — трех СЗ.

Анализ новообразований с корнем *CD* обнаруживает явную толерантность русских морфем по отношению к этому заимствованному элементу: он легко сочетается со словообразовательными морфемами, обладающими разнообразными модифицирующими (стилистическими, эмоционально-оценочными) значениями. Так, один и тот же денотат «компакт-диск» имеет 14 производных-модификатов: молодежное *сидил*, молодежно-шутливые *сидишка*, *сидюшка*, «компьютерно»-шутливые *сидиромка* и *сидюк*, «компьютерно»-жаргонные *сидишник*, *сидюшник*, *сидивертка*, *CD-R*, *CD-ROM*, разговорные *сидиром* и *CDшка* и т. п. Такая активная стилистическая модификация свойственна только частотным, ключевым для носителя языка словам.

Интересно отметить также тот факт, что модификаты, в значении которых наличествуют коннотативные семы оценки, эмоции, указания на использование в разговорной речи или вне сферы литературного языка, оформляются преимущественно средствами русской графики (*сидил*, *сидишка*, *сидюшка*, *сидиромка*, *сидюк* и т. п.), в то

время как нейтральные или официально-«компьютерные» лексемы имеют смешанное, русско-английское (*CD-диск, CD-плеер, CD-программа, CD-чейн-джер, CDшка, CD-ROMный* и т. п.), или чисто иноязычное оформление (*CD-ROM, CD-R*).

Активная игра языка с теми лексемами, которые обозначают новые для общества явления, разнообразное видоизменение их с помощью морфем, обладающих не только мутационными, но и модификационными СЗ, свидетельствуют об интенсивном освоении языком-рецепиентом этих иноязычных элементов.

Но, как и в случае с аббревиатурой *PR*, освоение субстантива *CD* еще не завершено. Об этом свидетельствует наличие значительного количества синонимов, обозначающих один и тот же денотат и имеющих примерно одинаковые коннотативные элементы значения (*компакт-диск, компакт, диск, CD, CD-ROM, CD-R, сидиром; компакт-дисковод, дисковод, CD-drive, дискодрайв*), а также неустоявшееся, варьирующееся написание иноязычного компонента *CD-ROM*: последний оформляется то русскими, то английскими буквами (*CD-ROM и сидиром*), то прописными, то строчными (*CD-ROM и CD-Rom*), имеет слитное (*CDшка, CDROM-издательство, сидиром*) или дефисное написание (*CD-ROMный*).

Таким образом, анализ аббревиатур *CD, PR* и их производных обнаружил, что они словообразовательно активны: в СГ существительного *PR* — 66 неолексем, в СГ субстантива *CD* — 22 неологизма. Деривационная активность аббревиатур свидетельствует о том, что они занимают важное место среди заимствований русского языка конца XX века. Активности употребления рассматриваемых лексем не препятствует их недостаточная освоенность русским языком, о чем свидетельствует неоднотипное графическое оформление заимствований: *CD / CD-ROM / CD-Rom / CD-R / сидиром; PR / PP / пиар*.

При этом явно расширился функциональный диапазон аббревиатур и мотивированных ими новообразований: аббревиатуры, традиционно относимые к именам существительным, в композитах начинают выполнять роль аналитических прилагательных; они становятся не только номинативным и компрессивным, но и экспрессивным средством русского языка.

Таким образом, русское отаббревиатурное словообразование конца XX века характеризуется ярко выраженным функциональным

динамизмом — активным использованием в русском литературном языке средств, ранее находившихся на его периферии или за его пределами (Е. А. Земская). Это качество — яркое проявление толерантности русского словообразования, творческие потенции которого активизируются в результате взаимодействия с системой другого языка. Способность русского языка усваивать и творчески перерабатывать лавинообразный поток заимствованных элементов, не раз наводнявших его, позволяет оптимистично прогнозировать его будущее: толерантность русского языка позволит ему успешно развиваться, расширяя за счет процессов заимствования систему мотивационных баз, словообразовательных моделей, типов и способов словообразования.

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ МЕТАЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ТОЛЕРАНТНОСТИ*

И. Т. Вепрева

Наметившийся интерес лингвистов к исследованию категории толерантности [Лингвокультурологические проблемы... 2001] позволил ученым сформулировать инвариантный смысл концепта «толерантность» в области коммуникативной и когнитивной лингвистики. Этот смысл не расходится с философским пониманием толерантности и заключается во взаимопонимании иных культур каждым участником толерантного диалога и их бесконфликтном речевом взаимодействии. В ходе истинного диалога культур путем усилий, направленных на постижение образа жизни и образа мыслей оппонента, могут быть сформированы коммуникативно-культурные конвенции толерантности в рамках данного социума.

Язык в плане формирования толерантных установок речевого взаимодействия выполняет две важные функции. Во-первых, язык

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-101-а).

© И. Т. Вепрева, 2003

является тем инструментом, с помощью которого реализуются нормы толерантного общения. Во-вторых, в основе самой речемыслительной деятельности изначально в качестве универсального заложен принцип толерантности. Речемыследействие может совершаться только с установкой на понимание. Доказательством последнего утверждения являются «следы» метаязыковой деятельности говорящего, которая протекает обычно на бессознательном уровне, выполняя контролирующую функцию при порождении речи, сличая речевой факт с эталоном, хранящимся в сознании индивида [Ейгер 1990: 10; Красиков 1990: 41], но на определенных, напряженных участках речевой деятельности может вербализоваться в виде некоего метаязыкового комментария, например: *Сейчас в большой России — я не люблю слово «провинция» — существует огромная жажда, тяга к прекрасному* (РТР, «Зеркало», 9.03.2002). Вербализованный метаязыковой комментарий коррелирует с имплицитным предикатом мнения, обращенным к потенциальному собеседнику: «Я выбираю словосочетание «большая Россия», потому что не люблю общепринятого слова «провинция», которое имеет для меня отрицательную коннотацию, поэтому я выбираю форму, которая, на мой взгляд, адекватно отражает коммуникативную задачу, хотя сомневаюсь, будет ли она понятна слушающему без моей метаязыковой подсказки». Таким образом, вербализованный рефлексив осуществляет посредническую функцию между разными «системами видения объекта» [Борисова 2001: 255]. Говорящий, включая рефлексив в свое дискурсивное пространство, ориентируется на слушающего, учитывая потенциальные возможности адресата понять смысл сказанного.

Прорыв в сознание бессознательной метаязыковой деятельности может обуславливаться разными причинами, но одним из факторов напряжения являются очаги, которые условно можно назвать конфликтными, интолерантными. Интолерантные очаги — это участки речепорождения, которые могут вызвать непонимание со стороны воспринимающего речь, собеседника, партнера по общению. Эти участки мобилизуют избыточность метаязыковой способности языковой личности, она прорывается в сознание в виде рефлексива, который выполняет функцию толерантной координации говорящего и слушающего, поскольку любое коммуникативное взаимодействие

речевых партнеров подчинено доминирующей коммуникативной цели — установлению обратной связи, пониманию между адресантом и адресатом.

Создавая текст, говорящий бессознательно связывает его создание с определенным ожиданием понимания, им руководит постоянный страх не быть понятым (о страхе как фоновой способности человека, проявляющейся в виде самозащитной и социально ориентирующей реакций, см.: [Красиков 2000: 328—362]). При этом вербализация метаязыкового сознания осознается как операция интерпретирующего типа [Демьянков 1989: 30], которая оптимизирует речевое общение в сторону снятия напряжения, снижения риска не быть понятым, выступает как речеповеденческая адаптационная технология, которая заложена в механизм речепорождения. Таким образом, мы имеем основание полагать, что принцип толерантности является универсальной категорией речевой деятельности.

Обратимся к выявлению очагов интолерантности, которые определяют типы маркеров напряжения.

Для определения очагов напряжения нами был взят достаточно репрезентативный корпус рефлексивов, который представляет собой выборку из публицистических текстов российских СМИ за последнее десятилетие, записи теле- и радиопередач, устных диалогов. Этот материал позволил нам определить те участки напряжения, которые стимулируют вербализацию языковой интуиции говорящего.

Мы полагаем, что выделение типов маркеров напряжения зависит от особенностей метаязыковых знаний, которые одновременно входят в языковое и когнитивное сознание индивида. Думается, что когнитивное состояние индивида и акт употребления лексической единицы в контексте связаны между собой, совместно работают для объяснения общего феномена понимания и порождения языковых высказываний говорящим «со всеми его интенциями, знаниями, установками, личностным опытом и всей его погруженностью в совершаемый им когнитивно-коммуникативный процесс» [Кубрякова 2000: 15]. Поэтому мы выделяем два типа маркеров: 1) рефлексивные маркеры, реагирующие на коммуникативное толерантное напряжение и осуществляющие контроль на речепорождающем уровне; 2) рефлексивные маркеры, реагирующие на ментальное толерантное напряжение в речемыслительной деятельности и возни-

кающие на уровне превербального этапа формирования речевого высказывания. Схема имеет измерение в глубину: на поверхностном уровне мы выделяем метаязыковые высказывания, на глубинном — метаконцептуальные, метаментальные. Можно говорить о двух достаточно автономных механизмах толерантного контроля, которые сопровождают два крупных этапа порождения: иницирующий этап развертывания смысловой единицы и следующий во времени за ним этап словного развертывания. Данная классификация может быть поддержана работами А. А. Залевской [1999], Ю. С. Степанова [1997], Р. М. Фрумкиной [1989], Г. В. Ейгера [1990] и других ученых, которые в том или ином аспекте развивали мысль о неразрывности процедур добывания знаний и операций с ними, о потенциальной коммуницируемости когнитивного опыта. Рефлексивы обоих типов фиксируют ««следы» деятельности мозга» [Кубрякова 1986: 143] на первоначальных этапах формирования речевых высказываний, а «без предположений о сути этих превербальных этапов реконструкция речевой деятельности представляется неполной» [Там же: 143].

Обычно языковая рефлексия выступает как опережающая реакция говорящего. Феномен «заглядывания вперед» или «экстраполяция будущего» [Бернштейн 1966: 280] был сформулирован в психолингвистической модели порождения речевого высказывания Н. А. Бернштейна, который опирался на идею опережающего отражения действительности П. К. Анохина. Образ потребного будущего Н. А. Бернштейна применительно к процессу порождения речи трансформировался в принцип вероятностного прогнозирования на основе прошлого опыта. Потенциальная сила напряжения заставляет говорящего мысленно прикидывать, моделировать последствия возможного сбоя, непонимания (в этом суть механизма вероятностного прогнозирования), при этом бессознательная метаязыковая способность выступает в виде проективной рефлексивной реакции. Так ведет себя дисциплинированное мышление, толерантная личность. Ослабление языкового контроля приводит к коммуникативным сбоям, и тогда метаязыковой комментарий как постреакция позволяет говорящему исправить ошибку. Отсутствие метаязыкового комментария в подобных ситуациях свидетельствует о несформированности навыка толерантного общения, о неразвитой языковой рефлексии.

Обратимся к выявлению очагов толерантного напряжения, кото-

рые определяются по линии связи метаязыкового сознания с мышлением, отражающим как языковую реальность, так и свойства самих объектов действительности. В основе автоматизма речевой деятельности лежит стандартность, соответствие норме. По образному выражению В. Леви, «речь автоматизируется наподобие ходьбы» [Леви 1967: 172], и сознательное, принудительное управление тем и другим с целью придания нужного направления наступает тогда, когда развертывающаяся ситуация создает подходящие моменты. Толерантность в данном контексте выступает «как норма устойчивости» [Асмолов 2000: 5]. При речемыслительной деятельности сигналом к растормаживанию автоматизма речи, к интолерантности является отступление от стандарта. Человек острее реагирует на те участки, где проявляется отход от языкового узуса, конвенции, нормы, где превалирует индивидуальное начало говорящего, когда предполагается неадекватное восприятие речи слушающим. В этом случае возникает толерантное напряжение.

Назовем выделенные нами маркеры толерантного напряжения. Это маркеры новизны, сложности, стилистической отмеченности, Я-позиции. Определим суть сформулированных показателей толерантного напряжения.

Маркер н о в и з н ы манифестируется в речевом дискурсивном пространстве при появлении новой, незнакомой лексической единицы. Возможное информативное рассогласование адресанта и адресата, нарушение стабильности лексической системы ликвидируется благодаря метаязыковому комментарию, который, выступая как механизм защиты, фиксирует внимание слушающего, создает эффект предсказуемости ввода в текст лексической инновации, например: *Подходя 19 января к тому подвалу на Катаяме, солдаты думали, что там сидят замаскированные боевики и боевички (появился такой неологизм во вторую войну)* (Новая газета, февр. 2000). Часто говорящий считает необходимым не только указать на новизну лексической единицы, но и дать ее толкование, чтобы быть понятым: *Внеочередное собрание акционеров ТВ-6 не состоялось из-за отсутствия кворума. Если по-русски — не пришли представители трех акционеров, в частности «ЛогоВАЗа»* (АИФ, янв. 2002).

Появление рефлексивного маркера с л о ж н о с т и обусловлено контекстом, в рамках которого необходимо разграничение много-

значного слова, особенно если контекст создает условия для того, чтобы оба значения становились одинаково доступными для понимания. В этом случае происходит вербализация речемыслительной деятельности в виде рефлексива: — *Вы знаете, как вас называют КВНщики? — Барин, что ли? Да, господа, это не они придумали. Это придумали мои сослуживцы. Они не могли решить какой-то вопрос, и кто-то сказал: «Ребята, давайте подождем Барина, он нас рассудит». Почему Барин? Может, потому, что я в какой-то степени диктатор и считаю, что в творческом коллективе должен быть диктат. Я думаю, это не в том смысле, что я на диване лежу и ничего не делаю, а в смысле — Босс, только по-русски. Да пускай!»* (МК-Урал, нояб. 2001).

Наиболее частотны рефлексивы, разграничивающие два близко связанных значения многозначного слова — прямое и переносное. Контекст не всегда позволяет различить эти семемы, и метаязыковой комментарий уточняет характер значения слова. Такие контекстные ситуации в речи возникают постоянно. Например: *По этому автографу город знал, на чьей стороне сила — в прямом смысле этого слова* (Комс. правда, нояб. 2001); *За этой жизнеутверждающей фразой — километры нервов, труда и денег. Километры в прямом смысле слова. Потому что из Правдинска до Нижнего — часа полтора езды»* (Комс. правда, февр. 2000); *А остальные президентские дни в буквальном смысле слова расчерчены на квадратики — на большом листе недельного плана, который в Кремле называют «простыней».* (МК-Урал, нояб. 2000); *Некурильщики добило отсутствие в помещении кондиционера и вентиляции. В общем, тусовка получилась в прямом и переносном смысле жаркой* (Наша газета, авг. 2000).

Напряжение создает и любая сложная, производная единица. Рефлексивные высказывания зачастую интерпретируют слово с точки зрения мотивировочного признака, лежащего в основе слова, причем данная интерпретация представляет образцы ложной, наивной этимологии. Процесс оживления внутренней формы вызван прежде всего принципом толерантности: при идентификации нового слова опора на внутреннюю форму слова облегчает запоминание и «присвоение нового слова» [Медведева 1992: 77], при функционировании узуального слова способствует «упрочению системных связей между словами» [Норман 1999: 211], а следовательно, их адекватному пониманию. Например: *А потом наступило время героев-болтунов.*

На трибуну высказывали люди и, сбивая друг друга с ног, начинали выкрикивать что попало. — Кто они? — Успешники. Те, кто успел. Слова «успех» и «успел» в русском языке очень красиво сочетаются. Вот я их и называю «успешники» — в двух смыслах» (АИФ, февр. 1991).

Рефлексивный показатель стилистической маркированности демонстрирует, что стилистически маркированная единица всегда в фокусе внимания говорящего и находится под особым контролем сознания. Игра стилистически маркированной единицей ориентирована на коммуникативного партнера, который должен понять, что адресант остается в общей для обоих социально-культурной общности, хотя и использует специфические элементы другого субъязыка и субкультуры. Например: *Говоря современным языком, который я не очень люблю, он ее подставил, а она ответила* (РТР, «Моя семья», 22.02.01); *Мы можем всей стране, извините, не от фонаря, а точно сказать, сколько стоит солдат-контрактник* (ОРТ, «Время», министр обороны И. Иванов, 5.03.02); *А ты молчи, или, как сейчас говорят, не возникай* (РТР, телесериал, 13.02.02); *Мы также не хотим грязных технологий на выборах, или, как модно сейчас говорить, черного пиара* (АИФ, янв. 2001). Если говорящий употребляет в публичной речи сниженную лексику, то маркерами толерантности становятся формулы извинения, модальные операторы *не люблю, не нравится (это слово)*, ссылки на общеупотребительность сниженной единицы (*как сейчас говорят, как принято говорить*). Подобные рефлексивы демонстрируют готовность говорящего усмотреть возможность разных взглядов людей на одну и ту же ситуацию, на одно и то же слово, подчеркивают свободу говорящего в стилистическом выборе и в то же время показывают непроизвольное подчинение языковой моде. Реплики-рефлексивы *как все говорят, как принято говорить* диалектичны по своей сути. С одной стороны, они свидетельствуют о взгляде на обычное, привычное как хорошее и правильное (см. отражение позитивного отношения к нормам «людей» в современном употреблении словосочетаний *как у людей, по-людски* или негативного отношения к людям, не вписывающимся в нормы группы, — *высочка, отщепенец, тот, кто высовывается, выпендривается*) [Васильева 2001: 85]). С другой стороны, в русском языке отражается и тенденция негативного отношения к стандарту, к моде, в основе которой лежит психологический механизм подражания

и эмоционального заражения.

Рефлексивный маркер Я-п о з и ц и и — самый частотный среди коммуникативных рефлексивов, поскольку перед говорящим основной задачей в процессе порождения речи является задача точности формулировки авторского замысла. В этом случае мы наблюдаем экспликацию процесса переживания соответствия/несоответствия актуального смысла, основанного на субъективном опыте носителя языка, и словарного значения, общего для всех, говорящих на одном языке. Например: *У сожителей отрицательные моменты возникают при общении и с другими людьми. Как представить этого близкого тебе человека в незнакомой компании? Сказать «муж» — неправда, сказать «сожитель» — неудобно, совестно. «Подруга», «друг» тоже не соответствуют действительности* (АИФ, февр. 1999); *От половых актов в эпическом полотне Германа (слово «секс» здесь не подходит) разит кислым потом* (АИФ, май 2000); *Нация... как бы побиднее сказать... наш этнос деградирует* (АИФ, июнь 2000); *Необходимо сломать полуфеодалный порядок, который олигархи пытаются законсервировать (слово «олигархи» здесь носит условный характер: к ним следует отнести всех, кто хочет сохранить в неприкосновенности ту модель, которая сформировалась в России к 1997 году)* (МК-Урал, февр. 2000).

В диалоговом режиме может возникнуть конфликтная ситуация, когда слушающий не согласен с лексическим выбором говорящего. Конфликт разрешается путем обсуждения точности словоупотребления, например: — *Как ни крути, семья Гомельских прочно заняла баскетбольную нишу. Что это — клан, династия, семейственность, мафия? — У нас теперь все стало модно называть мафией. Я не отказываюсь, что это клан, династия, если хотите, и в этом нет ничего плохого. У меня четыре сына. — Баскетбол стал для вас золотой жилой? — Слова какие вы подбираете — то мафия, то жила... Этой золотой жиле я отдаю свое здоровье, нервы, силы* (АИФ, сент. 2000); — *Вы очень напыщенный человек. — Не-а. Я не напыщенный, я умный. — А Бернард Шоу сказал, что умными себя считают дураки... — Он прав. Хорошо, я не умный. Я очень умный. «Напыщенный»! Это ж надо такое ляпнуть! В чем напыщенность?!* (АИФ, май 2000); — *Пришла группа под управлением М. Розовского. — Под руководством. Под управлением бывает пожарная команда* (НТВ, «В нашу гавань заходили корабли»,

18.12.1999); — *Вам не кажется, что в России существует заговор против науки — финансирование на «удушение»? — Слово «заговор» я убрал бы из вопроса. А так все правильно. Недопустимая ситуация* (МК-Урал, нояб. 1999); — *Как вы отбили Ладу у мужа? — Отбить — правильное слово?* (НТВ, «Женские истории», 20.12.1999). В диалоге может наблюдаться и поддержка собеседника в случае точного употребления слова: — *Как вы относитесь к перелопачиванию (если это правильное слово здесь) классики? — Хорошее слово* (НТВ, «Герой дня», 5.10.2000).

Кроме напряженных участков коммуникативного взаимодействия, в речемыслительной деятельности возникает также напряжение ментальной толерантности. Оно прежде всего проявляется в периоды высокодинамического развития когнитивного сознания, когда происходит перестройка мировоззренческих установок, отражающих переломные моменты общественно-экономической ситуации. Концептуализация новых знаний о преобразующемся мире при представлении их в языковой форме сопровождается ментальными маркерами толерантного напряжения, к которым можно отнести маркеры, определяющие мировоззренческую установку личности в социально неоднородном обществе. Это маркеры концептуальной новизны, сложности, Я-позиции и ксеноразличения. Ментальные маркеры новизны и сложности коррелируют с однотипными коммуникативными и фиксируют в дискурсивном пространстве появление новых концептов, а также переосмысление, переориентацию многих концептов прежде всего политической и экономической концептосферы, разрушение прежних ментальных стереотипов, стирание с многих нейтральных по сути понятий пейоративной окраски, появившейся в советское время, и шире — формирование новых коннотативных смыслов. Современное посттоталитарное сознание русского человека выступает как сложный конгломерат, представляющий собой сложение традиционного национального менталитета, остатков (определить эту часть достаточно трудно, но чрезвычайно интересно и необходимо) тоталитарного мышления и новых ментальных установок демократического типа, формирующихся на наших глазах. Исследуемый корпус ментальных рефлексивов представляет собой достоверный источник материала, способствующий постижению специфики рубежного сознания. Приведем

в качестве примера рефлексивы периода перестройки: *Заметьте, слово «коммерциализация», которое применительно к спорту было у нас таким же ругательным, как и «профессионалы», перекочевало из раздела «Их нравы» в рубрику «Наши достижения»* (Огонек, 1989, № 3); *Какой поистине мистический ужас вызвало поначалу слово «плюрализм». Сегодня мы учимся не только произносить его, но и признавать выражаемую им норму демократического бытия* (Правда, 16.04.1989); *Сегодня мы должны привыкнуть к нормальному политическому языку, который принят во всем мире. В нашей партии должны быть консерваторы — это нормально, и должны быть радикалы — это тоже нормально. В ней должно быть сочетание старого и нового* (Правда, 10.07.1990). При разнонаправленности оценочных смыслов данных слов в современной речи возможно непонимание партнеров по общению. Поэтому метаязыковой комментарий, возникающий по причине новизны или идеологической переориентации концептов (а потому и их сложности), помогает восстановить ментальную толерантность партнеров по общению.

Безусловную важность при установлении ментальной толерантности имеют рефлексивы, являющиеся маркерами ксеноразличения (социально-групповой оценки) и Я-позиции. Оценивая одни и те же факты, носители языка по-разному работают в рамках базовой системы координат «свой — чужой». Говорящий, постигая мировоззренческий мир партнера по общению, должен продемонстрировать слушающему и свой взгляд на мир. При этом часто личная оценка происходящего события или факта накладывается на социальную или подменяется ею, носит идеологизированный характер. Социальная оценка истолковывает мир не с целью объективного познания, «а с целью сублимирующего оправдания тех или иных групповых интересов» [Косиков 2001: 10]. Метаязыковые социально-оценочные высказывания в силу традиционной национальной ментальной черты русского человека к осуждению чужого и похвалы своего представляют собой в большей степени агрессивно оценочные рефлексивы. Степень агрессивности/толерантности зависит во многом не только от личной установки говорящего, но и от психологического состояния общества в целом на данный момент, определяется его социокультурными настроениями. Приведем примеры рефлексивов, демонстрирующих позицию говорящего в романтическую эпоху 80-х

годов, которая отражала искреннее стремление общества к демократизации, стимулировала усиление личностного начала. В этот период даже тревожные факты общественной жизни получали положительную оценку, поскольку впервые эвфемистические наименования получали прямую номинацию: *Не «перерыв» в работе, как стыдливо именовали мы прежде подобные происшествия, а именно забастовка — новое слово в нашем политическом словаре* (Известия, 23.07.1989); *Первое июля пополнило наш лексикон еще одним понятием, о котором недавно мы знали только то, что оно активно существует там, на Западе. Мы теперь в стране слишком развитого социализма имеем официальную, законом закрепленную «профессию» — безработный* (Смена, 04.07.1991); *Путч. Государственный переворот. Хунта. Слова из другого мира. Наконец-то и мы сподобились* (Моск. новости, 01.09.1991).

Переломная эпоха обостряет оценочную деятельность оппозиционно настроенной части общества, которая подвергает жесткой критике лексико-фразеологические доминанты нового времени и не включается в процесс усвоения новых стереотипов. Представители оппозиции не заинтересованы в понимании сущности нового концепта, отвергают новое как чужое, присваивая явлению сразу оценочный смысл негативного. Мы не наблюдаем динамики познания объекта, поскольку объект является чужим, и оценка его как чужого лежит в области усиления, углубления его отрицательной характеристики. При несовпадении мировоззренческих установок возникает когнитивный диссонанс, например: *Звучным словом «приватизация» прикрывают уничтожение государственной собственности* (Отечество, авг. 1992); *Прикрывают инородным словечком «ваучер» пустые бумажки, поэтому создается иллюзия участия в этом грабеже всего населения страны* (Отечество, сент. 1992); *И тогда, через некоторое время, в толковом словаре русского языка появится слово «интеллигент» со следующим пояснением: «Интеллигент — российское происхождение, бездуховный человек без чести, совести и чувства долга (устар.)», а на смену интеллигенции придет новый высокообразованный, православный и патриотически настроенный гражданин России* (Рус. вестник, 1996, № 2—4).

Подобная эмоционально-ценностная позиция авторов вызывает у коммуникативного партнера «не ассимилятивную установку по приятию этой информации, а позицию контрастной установки» [Петренко 2001: 45], изменение мнения партнера в нежелательном

направлении.

Несмотря на агрессивный характер оппозиционных концептуальных рефлексивов, нельзя не отметить положительный характер их появления. Во-первых, нельзя забывать о том, что проблема понимания и принятия другого связана с проблемой понимания самого себя. Процесс осмысления человеком самого себя предшествует формированию толерантных установок на допуск множественности мировоззренческих систем, дополняющих друг друга. Следующий шаг — «преодоление иллюзии очевидности, когда мы подменяем другого собой и ставим «зеркала вместо окон», в тысячный раз наблюдая свое отражение» [Глебкин 2000: 13]. Во-вторых, возможность открытого проявления своей позиции демонстрирует открытость современного российского общества, право говорящего на выражение собственной точки зрения. «В политическом плане толерантность интерпретируется как готовность власти допускать инакомыслие в обществе и даже в своих рядах» [Асмолов 2000: 6].

Интенсивность проявления концептуальной, оценочной и языковой свободы говорящего является реакцией на отторжение тоталитарных принципов мышления, одним из которых было единство семантической информации (принцип демократического централизма), инструментом этого единства была категория партийности, понимаемая как коллективная оценка, как «модальность речи и речевого поведения, жестко заданная партийным документом и исключающая поэтому любую другую модальность» [Романенко 2001:70]. Принцип демократического централизма укрупнял оппозицию «свой — чужой» до рамок национального противопоставления — *советский, социалистический мир — западный, капиталистический мир*, до вынесения врага за рамки социума, «его демонизацию в контексте мирового заговора» [Дзялошинский 2002: 8], подменяя собой частные оппозиции — личные и общественно-групповые. Подмена создавала ложное единство социально неоднородного общества, нивелировала разнонаправленность общественного мнения, формировала инфантилизм сознания. Поэтому открытое выражение личной позиции (пока пусть даже агрессивное) — это несомненный шаг к возможному толерантному общению в концептуальной сфере, ибо фундаменталистская, интолерантная идеология опирается прежде всего на философию безлич-

ности. Взамен внешнего партийного контроля над словом, внутренней партийной цензуры как обязательной социальной установки любой творческой личности в современной России появляются другие типы контроля, обусловленные психологическим устройством языковой личности и эксплицируемые в метаязыковой деятельности говорящего/пишущего.

Подводя итоги сделанным наблюдениям над вербализацией метаязыкового сознания в современной публицистической речи, мы утверждаем, что в основе речевой деятельности индивида изначально заложен механизм регулирования и согласования речевых и ментальных действий говорящего и слушающего. Этот механизм реализуется как метаязыковая способность человека, являющаяся сущностным компонентом общей языковой способности. Обычно метаязыковая деятельность индивида ограничивается тенденцией к невербализации языкового сознания как внутреннего качества, как подсознательной работы. Экспликация языковой рефлексии связана с разрушением языковых и концептуальных стереотипов, с формированием новых стереотипов. Рефлексивно-пристрастную помеченность получают языковые и ментальные единицы, релевантные для речевых и мыслительных процессов и вызывающие напряжение.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ОРФОГРАФИИ В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ

А. И. Дунев

Поиск лингвистами ключа к современной культуре определяет изучение привычного объекта — текста как с позиции субъекта создающего, так и с позиции субъекта воспринимающего, а следовательно, в аспекте толерантности.

Реклама может быть рассмотрена как специфический тип текста, основной целью которого является воздействие на читателя. Мате-

риалом для анализа интенциональности орфографических средств были выбраны тексты современной рекламы. Далее речь пойдет только о рекламных текстах, размещаемых в печатных средствах массовой информации (газетах, журналах, листовках, дайджестах и т. п.). В таком типе текста актуализируются функции подсистем, обеспечивающих восприятие письменного текста, — графики, орфографии и пунктуации.

Можно говорить об орфографическом потенциале печатной рекламы, который, в свою очередь, во многом определяется возможностями русской графики. Основной функцией орфографии в текстах воздействия является привлечение внимания. Игра с орфографией становится своеобразным раздражителем для адресата. Орфография реализует функцию воздействия, если составитель рекламного текста выходит за рамки привычного орфографического облика слова. Не всегда игра с орфографией в рекламном тексте связана с нарушением нормы.

Интенциональность, по верному замечанию Д. И. Руденко [Руденко 1992], понятие плюралистического рода, оно может использоваться в различных научных областях и направлениях. Возникнув в философии, этот термин прошел через многократные изменения и вошел почти во все науки, связанные с изучением различных структур человеческого сознания. В лингвистику термин «интенциональность» внесен теорией речевых актов. Особое переосмысление это понятие претерпело в работах Серля. Широкое распространение интенциональности, в том числе и как термина, получила в теории речевой деятельности, которая явилась истоком современной психолингвистики (см. работы А. А. Леонтьева, Л. В. Сахарного, А. А. Залевской и др.). В рамках различных наук и направлений интенциональность, как правило, имеет разнообразные и неоднозначные определения, тем не менее можно обобщить все имеющиеся определения и выявить общенаучное (междисциплинарное) понимание интенциональности. В структуре концепта «интенциональность» выделяются следующие компоненты: 1) отношение, связь между сознанием субъекта и предметом как частью мира; 2) направление сознания на предмет; 3) осознанность и мотивированность смысла; 4) включенность в замысел деятельности; 5) зависимость от пресуппозиции.

Интенциональность в области орфографии отражает связь графи-

ческого облика слова как средства плана выражения с прагматическими функциями — в данном случае с планом содержания (ср. опыт изучения интенциональности в грамматике [Бондарко 1996: 59—74; Дунев 2001]). Понятие «интенциональность орфографии» связывается прежде всего с обращенностью к орфографической норме. Под интенциональностью в данном случае понимается смысловая актуализация в рамках всего высказывания орфографической ненормативности. Интенциональность в данном случае предполагает отступление от современной орфографической нормы или имитацию ненормативности. Мы рассматриваем интенцию как свойство прагматической функции слова, проявляющееся в большей или меньшей степени.

Примером интенционального употребления орфографии может служить текст, рекламирующий жевательную резинку: *жевать не переживать* — в слове *переживать* демонстративно исправлена буква *и* на *е*. Слова, различающиеся одной буквой, сближаются на основе паронимической аттракции. Основной функцией такого приема является привлечение внимания читателей к неоднозначно интерпретируемому тексту. Изменение орфографического оформления слова приводит к смысловой актуализации написания. Имитация исправления орфографической ошибки — один из освоенных приемов современной печатной рекламы.

Оформление интенции в устойчивую типизированную структуру связано с формированием повторяющегося и варьирующегося жанрового приема. В жанре современной рекламы выделяется набор интенций, проявляющихся за счет орфографических и графических средств печатного текста. Не претендуя на полноту описания, представим набор основных интенций и способов их реализации в современной печатной рекламе.

Одной из тенденций использования орфографии в современной рекламе является актуализация связей наполовину искусственной орфографической системы с живыми языковыми процессами. Так, в рекламе аэрогриля используется дефисное написание слов *пищеварение*, *пище-тушение*, *пище-копчение*. Дефисное написание, подкрепленное потенциальными словами с аналогичным написанием, позволяет различить на письме омонимы. Слитное написание *пищеварение* предполагает «физиологический процесс живого организма», а слово, написанное через дефис, по замыслу авторов, обозна-

чает «способ приготовления пищи». Последнее значение слова обусловлено контекстом, а именно потенциальными словами *пище-тушение*, *пище-копчение* с однотипным дефисным написанием.

Другой пример — *Пол Франции в рулоне* (реклама линолеума). Раздельное написание Пол Франции представляет собой два самостоятельных слова, которые ассоциативно конкурируют с одним словом *Пол-Франции*, пишущимся через дефис. Противопоставленность раздельного и дефисного написаний оценивается как интенциональное употребление орфографического знака: *Топай по хорошему* — реклама ковролина. Там, где в устной речи появляется двусмысленность, в письменной речи средства графики и орфографии разграничивают смыслы.

Описанные выше примеры можно отнести к одному типу. Привлечение внимания и запоминание текста рекламы опирается на эффект постепенного осознания скрытого смысла слогана. Реклама подобного типа ориентирована, как правило, на человека, для которого раздельное/дефисное написание является неактуализированным. По нашим наблюдениям, носители языка не всегда при первой встрече с рекламой осознают смысловое различие, вносимое орфографией. Эффект воздействия приходится на момент осознания орфографической каверзы. Данный тип интенций, основанный на ассоциативной связи слов, различающихся одной буквой или орфографическим знаком, активно используется современной рекламой.

Как разновидность данного типа интенций могут быть рассмотрены случаи актуализации внутренней формы слова или своеобразное переосмысление внутренней формы слова путем изменения графического облика. *КОТовая добыча* — реклама корма для кошек. Изменение одной буквы в слове приводит к переосмыслению внутренней формы слова и появлению желательных для авторов рекламы ассоциаций.

Другой тип интенций — использование в рекламе орфографического знака как символа определенной культуры. Отметим два основных приема, реализующих данный тип интенций.

Архаизация орфографии служит не только средством привлечения внимания, но и используется с целью расширения значения слова. Например: *Масловъ* — *масло с твердым знаком*. Буква «ер», называемая авторами рекламного слогана «твердым знаком» по аналогии

с буквой современной графики, используется как символ традиций.

Другой прием построен на том, что в текстах печатной рекламы часто встречается смешение кириллицы и латиницы. Это позволяет создать новый, привлекательный (по мнению авторов рекламных текстов) облик слова. Ср. отмеченные в рекламных текстах написания, как правило, заимствованных слов: *Престиж*; *Залюзи*; *Maraffon*; *Na Невском*.

Новое орфографическое оформление слова приводит, как правило, к переосмыслению известной лексемы: ср. *Трактир* и *Трактиръ*; *Банк* и *Банкъ*; *Престиж* и *Престиж*.

Третий тип интенций связан с нетрадиционным, часто осознающимся как ненормативное или ошибочное, написанием слова.

Написания, соотносимые с произносительными вариантами слова, призваны настроить читателя на неформальное общение: *Щас спою* — реклама радио.

В рекламе могут использоваться внеалфавитные знаки, которые должны вызвать у потребителя продукции соответствующие ассоциации: *Под\$тавь ладони золотому дождю!*

Нетрадиционное оформление слова на письме может быть связано с созданием нового слова: *У Вас проблемы с жильем-жульем? Звоните!*

Нетрадиционные написания связаны с нестабильными случаями русской орфографии, являющимися дискуссионными вопросами современной науки. Так, использование прописной и строчной букв в сложносокращенных словах, созданных путем аббревиации, может оцениваться как ненормативное. В рекламных целях, чаще всего в названии фирм, организаций, прописная буква появляется не только в начале, но и в середине слова: *МегаПолис*; *ЮрИнформБюро*; *ПетерСтар*; *ЕвроСтройСтандарт*; *РосНеваМебель*. Прописная буква призвана выделить составные части аббревиатуры.

Интенциональность русской орфографии в текстах рекламы проявляется в теснейшем взаимодействии графического облика слова с параграфическими средствами (рисунком, фотографией, чередованием шрифтов, способом размещения текста на странице и т. п.).

Наряду с осознанным использованием возможностей русской орфографической системы в печатных рекламных текстах часто встречаются орфографические ошибки, не предусмотренные авторами рекламы. Перед исследователем встает вопрос об интенцио-

нальности орфограммы в рассматриваемом типе текстов. Так, в рекламе «Новой газеты» допущена показательная орфографическая ошибка: *Теже буквы, другие слова*. Здесь слитное написание, с нашей точки зрения, может быть интерпретировано только как случайная орфографическая ошибка. *Вы сами без посредников сможете быстро и бесхлопот реализовать свою сельхозпродукцию* — фраза из рекламы сельскохозяйственного рынка содержит ненормативное написание существительного с предлогом.

Неинтенциональные ненормативные написания соотносятся с орфографической ошибкой. Орфографическая ошибка или опечатка может привести к негативной оценке не только текста рекламы, но и создателя рекламы, а также производителя товара и самого товара или услуги. Напротив, интенциональное употребление ненормативных написаний оценивается не как орфографическая ошибка, а исключительно как находка, специфический прием в рекламных целях. Однако интенциональное использование средств русской орфографии в печатных текстах рекламы может быть сопряжено с орфографической ошибкой. Проанализируем рекламный слоган ресторана активного отдыха: *Самая вкусная рыба та, которую Вы поймали Сами!* Большинство опрашиваемых интерпретировали написание слова Сами с прописной буквы как сознательное со стороны авторов рекламы. По мнению интерпретаторов, такое написание призвано выразить уважение к читателю и потенциальному клиенту. В традициях русской орфографии употребление прописной буквы в личном местоимении второго лица и в соотносимом с ним притяжательном местоимении. Написание определительного местоимения с прописной буквы не регулируется современными правилами русской орфографии и является ненормативным.

С одной стороны, потенциал русской орфографии лишь в небольшой степени используется в современной рекламе. С другой — обнаруживаются разнообразные способы использования потенциала русской орфографии в формировании апеллативности печатного рекламного текста.

Таким образом, орфография в тексте печатной рекламы может выступать как средство воздействия на читателя. Кроме того, орфография вместе с графикой выступает как значимый фактор восприятия печатного текста. Однако чаще всего создатели рекламы не

учитывают потенциал русской орфографии.

Толерантность в отношении к интенциональному/неинтенциональному употреблению средств орфографии в текстах печатной рекламы может проявляться в нескольких моментах. Прежде всего толерантность как лингвокультурологическая категория предполагает корреляцию норм с целью устранения агрессии в речевой коммуникации. В данном случае речь идет о формировании новых орфографических норм, приспособляемых, во-первых, к новым социальным условиям жизни, во-вторых, к жанровым особенностям текста, в-третьих, к новым отношениям адресанта и адресата. На наш взгляд, именно третий фактор является определяющим в формировании орфографических норм нового тысячелетия.

Категория толерантности отражает плюралистический взгляд на норму и с точки зрения нормы. Отсюда следует потенциальная вариативность написания, пока жанрово ограниченная, и возможность для адресата интерпретировать использование орфографических средств (например, как уважительное отношение к клиенту). Агрессивный по своей природе жанр рекламы (так как ее основная цель — любыми средствами привлечь внимание и заставить приобрести предлагаемый товар) в языковом отношении адаптируется к новым, «мирным» условиям сосуществования производителя-продавца и потребителя-покупателя. Адаптируясь, реклама принимает более цивилизованные и привлекательные формы, и в первую очередь за счет речевого оформления.

Ориентация текста на адресата и актуализация интерпретационного содержания высказывания позволяют оценить степень толерантности в конкретном рекламном тексте. Сопряженность интенций, нашедших свое выражение в соответствующих формах, образует интенциональное содержание высказывания. Под интенциональным содержанием понимается тот аспект (элемент) смысла высказывания, который включает в себя все, что отражает замысел (намерения, цели, коммуникативную направленность и ориентацию говорящего и слушающего на общие / различные presupпозиции).

Предложенный взгляд на интенциональное/неинтенциональное использование орфографии как подсистемы, обладающей в потенции креативной функцией, снимает проблему нарочитого разделе-

ния орфографо- и текстоцентрического подходов.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ВЕКТОР АНТИНОМИЧЕСКОГО БЫТИЯ ЯЗЫКА

Н. Д. Голев

Исходным понятием, из которого выводится свойство языковой толерантности, на наш взгляд, является понятие языко-речевого к о н ф л и к т а. Последний рассматривается нами в широком смысле, как одно из важнейших функциональных проявлений языка и языкового сознания.

В сущности, любой акт использования языка в речи в той или иной мере конфликтен. «Конфликтуют» его онтологические составляющие: форма (с ее ограниченными возможностями) и содержание (с его неограниченными потребностями), замысел и его воплощение, разные интерпретации одного речевого произведения при его восприятии и понимании адресатом, тенденция к мотивированности единиц языка и речи и тенденция к их условности и т. п. В антропологическом срезе языка эти конфликты языкового функционирования проявляются прежде всего во взаимодействии создателя и потребителя речевых произведений — говорящего/пишущего, стремящегося к неограниченному самовыражению, и слушателя/читателя, желающего «потреблять» такую речевую продукцию, которая удобна (понятна) в коммуникативном плане и комфортна в плане морально-психологическом (ср. [Аспекты... 1996]). Такого рода конфликтность необходимо отражается в языковой системе (ее генезисе, структуре, развитии), прежде всего в антиномическом устройстве языка. Язык в этом плане устроен так, чтобы естественным образом, с минимальными потерями снимать речевые конфликты. Ключевое понятие для речевого функционирования — я з ы к о в а я н о р м а, обеспечивающая коммуникативную эффективность взаимодействия автора и адресата речевого произведения.

Онтологическое бытие языка и соответственно языко-речевая конфликтность неизбежно отражаются в его ментальном бытии. Это

касается и обыденного языкового сознания во всех его формах: и в форме собственно языкового сознания, обеспечивающего практическое (обычно спонтанное) использование языка, и в форме метаязыкового сознания, предполагающего в той или иной мере осознанную позицию носителей языка. Высшей формой такой позиции является теоретическое отношение к языку профессиональной лингвистики. Обыденное языковое сознание, несомненно, противоречно по самым разным линиям, например, оно одновременно прагматично и наивно-идеалистично, оно склонно видеть язык как явление рукотворное и как явление данное (природой, высшими силами) и т. п. Что касается конфликтности теоретического сознания лингвистов, то она вытекает из плюрализма научного познания и проявляется как конфликтность разных подходов к языку.

Однако не все конфликты в языке (речи), в языковом сознании и в лингвистике могут быть сняты безболезненно. И понятие толерантности, на наш взгляд, возникает именно по линии способов снятия конфликтности. Толерантный способ здесь противостоит «силовому» («волевому»)*. «Силовое» решение связано с теоретическим и/или практическим непризнанием одной стороной достоинств (и, как следствие, прав) противостоящей ей в конфликте стороны, причем первая находит в этом неприятии некое (часто самопровозглашенное) право на отрицание или уменьшение возможностей второй. Это, в свою очередь, также порождает и в практической деятельности стремление их «ограничить», «упразднить» и т. п. Толерантное же решение конфликта проявляется в теоретическом и практическом допущении тех или иных форм сосуществования с «противостоящей стороной», при этом последняя оценивается если не как желательная, то по крайней мере, необходимая или даже неизбежная; разнообразие же подходов и оценок с позиций толерантности квалифицируется как явление в целом (в тенденции, в перспективе) позитивное.

Онтологическая оппозиция двух типов снятия языко-речевой конфликтности находит отражение в гносеологической оппозиции, проявляющейся в ментальном отношении носителей языка к кон-

* Оппозиция «толерантное — силовое» близка к оппозиции «толерантное — агрессивное», предложенной О. А. Михайловой в качестве центрального противопоставления на культурологической оси, формирующей языковое пространство в параметре толерантности/нетолерантности [Михайлова 2001].

фликтным ситуациям в языке и речи. Это касается как обыденного сознания, на разных полюсах которого обнаруживается различное отношение, например, к нормам как способам регулирования конфликтных ситуаций (стихийный пуризм, безразличие или либерализм), к языковому строительству (представление о рукотворности/нерукотворности языка) и другим сторонам функционирования языка, так и сознания научного, так или иначе отражающего интересы и точки зрения носителей языка, стоящих в разных коммуникативных позициях, нередко противоположных.

С самого начала подчеркнем, что мы не считаем возможным априорно оценивать разные способы снятия ситуации конфликта знаками «плюс» или «минус». Оба способа снятия необходимы для нормальной жизнедеятельности языка (в разной мере в разных сферах), и их динамическое равновесие во многих случаях есть условие его стабильного функционирования и развития. Как излишняя толерантность может привести к анархии и остановке поступательного развития языка (и лингвистики), так и избыточность волевых решений также может стать причиной несбалансированности и/или застоя. Хотя, нужно еще раз подчеркнуть, есть сферы функционирования языка (например, сфера орфографических и пунктуационных норм), где достижение единообразия как формы стабильности в настоящее время обеспечивается преимущественно одним способом, а именно волевым, рукотворным, и такое нарушение динамического равновесия, на наш взгляд, далеко не однозначно позитивное и, по существу, далеко не всегда успешное — вспомним «непреодолимые» проблемы орфографической и особенно пунктуационной безграмотности почти всех слоев населения, включая и интеллигенцию.

Проиллюстрируем тезис о многоаспектности взаимодействия онтологического и ментально-гносеологического планов в ортологической сфере русского языка. С одной стороны, обыденная ментальность, оценивая как написания, сложившиеся в практике письменной речи, так и культурно-речевые рекомендации по написанию, исходящие из школы или прессы, принимая или не принимая их сначала чувством и умом, а затем фактом употребления или неупотребления, формирует онтологическую нормативность. Теоретическое отношение к ней определяет действия рекомендателя (кодификатора): либо «описательное отношение» к обыденным нормам

с дальнейшей кодификацией наиболее конкурентоспособного варианта, либо «независимую от узуса кодификацию», ориентирующуюся на «наиболее правильный» с той или иной точки зрения вариант или на вариант, наиболее легитимный, например, «освященный» авторитетным источником. С другой стороны, теоретическая ментальность отражает противоречия и конфликты языка и языковой ментальности, в том числе противоречие двух отношений к языко-речевым и лингвистическим противоречиям и конфликтам. С третьей стороны, несомненно взаимодействие двух сфер ментально-гносеологического плана: обыденного и научно-теоретического*.

Далее названные и кратко очерченные области и планы лингвистической конфликтологии рассмотрим на примере обыденной металингвистики.

Мы намерены рассмотреть в очерченном аспекте некоторые особенности параметра «толерантность/нетолерантность отношений к антиномиям и конфликтам» в двух фундаментальных аспектах лингвистики (в их взаимодействии): онтологическом и гносеологическом (в последнем аспекте — в обыденной и научной формах метаязыкового сознания). Взаимодействие здесь многоаспектное, и выделение его в качестве предмета обсуждения в нашей работе определяется прежде всего тем, что его характер во многом зависит именно от того, какое отношение задает научное сознание к тем или иным сферам языка и обыденного языкового сознания: рассматривает ли оно их как «низкие», как бы недостойные изучения, проявляя тем самым нетолерантное отношение к ним, или видит в них равноценный с прочими предмет исследования, проявляя к ним толерантное отношение. Собственно говоря, этот аспект определяет основной пафос обсуждения в настоящем разделе монографии.

Обыденное метаязыковое сознание, включающее в себя знания (представления) о языко-речевой действительности, являются частью наивной языковой картины мира, и в этом статусе они активно

* Ср. отношение к явлению, именуемому народной этимологией, в которой напрямую отражается противоречие научного и обыденного познания: для одних лингвистов это ложная, вульгарная этимология, псевдоэтимология, наивная (со знаком «минус»), для других — важный фактор функционирования, развития и устройства языка и проявление системообразующей работы языкового сознания и ментального субстрата саморегуляции лексической системы.

воздействуют как на сам язык (языковую семантику естественного языка и его единиц, прежде всего слов, значения которых во многом и есть обыденные понятия [Язык о языке 2000]; организацию смысловых полей, топики, фреймов), так и на мировоззрение вообще, где они входят в парадигму, образуемую другими сферами обыденного сознания, такими, например, как наивное литературоведение*, наивное право, наивная история, наивная политология, наивная медицина, наивная теософия, наивная философия и т. п. (см., например, о наивной лингвистике: [Голев 1973: 91—110; Лебедева 2001; Мечковская, Супрун 1991; Немец 1994; Норман 1996: 72; Носитель языка... 1992; Язык о языке 2000].

В аспекте толерантности/нетолерантности можно интерпретировать отношение ко многим «низким» сферам языка и лингвистики, например, к лингвистическим штудиям непрофессионалов, которые можно нетолерантно трактовать только как дилетантизм, примитивность, рефлексию мифологического мышления (для всех этих оценок есть очевидные основания) и тем самым как ненужные или даже вредные, но можно, проявляя толерантность, видеть в них «творчество масс», свежий взгляд на вещи, способный усмотреть в языке то, что профессионалу не всегда доступно.

Более высокую ступень между наивными сферами знания и собственно наукой составляет сфера деятельности, которую можно определить как *любительская наука***. Статус ее противоречив, и отношение к ней лингвистов соответственно неоднозначно. Ученые чаще всего не удостоивают любительские работы серьезного внимания, лишь изредка используя их как повод для постановки каких-то других проблем, в том числе и такой, как дилетантство и профанация в науке (см. раздел «Любительская лингвистика как орудие перекройки истории» в статье А. А. Зализняка, посвященной лингвистическим аспектам историографических построений А. Т. Фо-

* Предметом наивного литературоведения могут стать представления рядовых читателей о предназначении художественной литературы вообще и в соответствии с ними — оценка конкретных авторов и произведений.

** В филологии, например, большой интерес неспециалистов неизменно вызывает «Слово о полку Игореве» (см., напр.: Федоров В. Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. М., 1956; Сулейменов О. Аз и я. Алма-Ата, 1976; и др.). Некоторые из интерпретаций получили основательную критику в серьезной филологической литературе.

менко [Зализняк 2001], или лингвистический анализ этимологических штудий доктора экономических наук в работе [Лебедева 2000]).

Противоположный взгляд на научное творчество рядовых членов общества представляет нестандартная попытка Г. Д. Гачева утвердить право неспециалиста размышлять о специальных предметах [Гачев 1991]. Автор приводит многие резоны в пользу этого права: свежий взгляд, образное, целостное видение предмета («Дух изголодался по простодушно-наивному воззрению на мир — в целостности и гармонии элементов» [Там же: 5]), переживание научного знания его потребителем. Продолжая логику Г. Д. Гачева, позволим себе сказать, что не исключены, наверное, и прозрения непрофессионалов, которые при определенном внимании к ним ученых могут составить достояние «серьезной» науки. Мы не ставим здесь задачи обсуждать проблему любительства (дилетантизма?, графоманства?) в лингвистической науке. Однако, утверждая принцип гносеологической толерантности, выскажем мнение о том, что наивная наука представляет собой важный и довольно сложный предмет для изучения и в общей теории познания, и в специальных «метанауках», в том числе в лингвистике. Важнейший момент здесь, на наш взгляд, следующий: толерантное отношение к наивной науке не только орудийное, инструментальное — «для чего», но и «имманентное» — объект сам по себе имеет право на внимание ученых. Выскажем также несколько соображений об обыденной металингвистике.

Сфера проявления научно-любительского отношения рядовых членов общества к языку широка, она простирается от философских вопросов лингвистики до частных проблем произношения. На этом гносеологическом пространстве вполне представимо комплексное монографическое исследование с таким условно-гипотетическим названием, как **«Обыденная металингвистика русского языка»**. Можно предположить в нем следующие разделы.

Возможность постановки вопроса о русской наивной **семасиологии и лексикографии** как проявлении обыденного металингвистического сознания вытекает из того, что все носители русского языка неизбежно рефлектируют по поводу значений тех или иных слов и фразеологизмов и тем самым выступают в позиции толкователя (подробно об этом см.: [Березович 2000; Блинова 1984; Голев 1973, 1999а; Ростова 1983, 2000; Сахарный 1970]). И учет их рефлексий

в лексикографии принципиально значим. Здесь мы имеем в виду прежде всего то обстоятельство, что обычные толковые словари являются словарями нормативного (предписательного) типа, они дают значения, которые *д о л ж н ы б ы т ь* у данного слова. Однако *р е а л ь н ы е* значения слов, существующие в сознании рядовых носителей языка, могут существенно отличаться от «предписываемых» дефиниций, и их описание — важная задача обыденной лексической семасиологии и лексикографии русского языка [Голев 1973, 1999а; Ростова 2000]. К примеру, нормативное значение слова *ностальгия*, *п р е д п и с ы в а е м о е* толковыми словарями, «тоска по родине», но, как показывает наше обобщение анкет, большинство информантов-школьников определяет это слово несколько иначе — как «*тоска по прошлому*»*. И как бы ни поправляли носителей языка словари агнонимов** (о них далее), сдвиг значения — реальность, фиксирующая узусальную норму употребления, стремящуюся стать канонической нормой. Пример от обратного: словари дифференцируют значения слов *невежа* и *невежда*, но их употребление в обыденной речи стремится к нейтрализации, и вряд ли их различие будет отражено в большинстве метаязыковых рефлексий рядовых носителей языка. Думается, что в этом плане был бы интересен «Словарь обыденных значений русских слов», основанный на определениях слов рядовыми носителями русского языка. Практически значимым мог бы оказаться и «Толково-частотный словарь русских агнонимов». Выявление и лексикографическое описание реальных смыслов слов, употребляемых в естественной речи, и особенностей их функционирования, скажем так, приблизительно, — важная задача лингвистики обыденной речи.

Русская **мотивология и этимология** в сфере обыденного металингвистического сознания — предмет достаточно очевидный и хорошо известный лингвистам. Мы имеем в виду выявление и описание ре-

* Следует отметить, что в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой уже зафиксировано это более широкое значение как нормативное. Мы хотим этим фактом подчеркнуть, во-первых, креативную природу обыденного метаязыкового сознания по отношению к узусальным семасиологическим нормам и, во-вторых, необходимость для канонической нормативной лексикографии учитывать те реальные смысловые употребления слов, которые вырабатываются в естественном языке.

** Агнонимы — «слова родного языка, неизвестные, малопонятные или непонятные многим его носителям» [Морковкин, Морковкина 1997: 2].

флексии рядовых носителей языка по поводу внутренней формы слов и фразеологизмов. Гносеологический интерес многих «обычных» людей к смыслу внутренней формы слова проявляет себя не только в поверхностных толкованиях типа «село ЗАЙЦЕВО, потому что зайцев здесь раньше много было», «ГОРНОСТАЙ — в горах старыми живет», помогающих языковому сознанию гармонизировать план содержания и план выражения слова. Обыденная мотивология уже имеет хорошую теоретическую и лексикографическую базу, сформированную многими топонимическими и диалектологическими, а в последнее время и психолингвистическими исследованиями (см., например: [Березович 2000; Блинова 1984; Голев 1973; Лютикова 1999; Ростова 2000]). К этому следует добавить и исследования детской речи, нередко посвящаемые реакциям детского языкового сознания на внутреннюю форму слова (например: [Гарганеева 1999]). Тем не менее до серьезного словаря русских народных этимологий в отечественной лексикографии еще далеко.

В связи со словарем еще раз подчеркнем, что выявление и описание фактов народной этимологии и смежных с ней явлений — лишь поверхностный, бросающийся в глаза слой обыденной мотивологии; в сущности, любое слово является предметом мотивационно-этимологической рефлексии, и это дает возможность для составления особых мотивационных словарей, отражающих показания языкового сознания. Не имеет границ и макроуровень народной мотивологии. Осмысление общих проблем орфонимии осуществляется не только философами, лингвистами или паралингвистами (авторами популярных книг типа «Имя и характер», «Имя и судьба» «Тайны имени» и т. п., в большом количестве издающихся сейчас для массового читателя), но и простыми людьми, вольно или невольно обобщающими свои житейские наблюдения о роли имени в их жизни или жизни окружающих их людей. Будем последовательны в нашем отстаивании толерантного отношения к такой окололингвистической литературе. Даже если она представляет собой продукт лингвистического дилетантизма (см. анализ в этом ключе: [Матвеев 2001]), то это, во-первых, не исключает ее права быть предметом изучения лингвистами с разных точек зрения, в том числе права быть предметом лингвистической гносеологии — в конце концов, авторы упомянутых книг — такие же представители наив-

ной лингвистики (хотя в данном случае не совсем рядовые); во-вторых, важный объект изучения для лингвистической гносеологии — сам интерес больших масс носителей языка к орфонимическим проблемам; в-третьих, наивные представления об имени существенно влияют на его реальное функционирование в самых разных аспектах (см., например, мифопоэтический анализ имен русских писателей и поэтов в работе [Мароши 2000]).

Возникают принципиальные вопросы о сущности обыденного языкового сознания. В одной из наших предшествующих работ [Голев 1998] мы предлагали рассмотреть его качество в таких общих параметрах, как отнесенность к идеалистическому или материалистическому, романтическому или прагматическому, фидеистическому [Мечковская 1991] (мистическому) или реалистическому сознанию. Разное (полярное) отношение носителей языка к внутренней форме слова, которое мы определили как этимологическое доверие и этимологический скепсис, является одной из лакмусовых бумажек, по которой можно квалифицировать место метаязыкового сознания на шкалах перечисленных параметров. Позволим себе априори утверждать, что у языкового сознания на этих шкалах обнаружатся разные составляющие, разные полюсы по этим параметрам, разный удельный вес названных выше составляющих в разных типах имен, у разных социальных, психологических, возрастных и гендерных типов языковых личностей (не исключено, что проявит себя и национальный фактор), в разных коммуникативных ситуациях. Все это — серьезный предмет обыденной мотивологии и обыденной семиотики. Произвольность и мотивированность знака имеют не только онтологическое бытие, но и бытие ментальное (при этом последнее — прежде всего сфера обыденного сознания).

Подлежит серьезному изучению **обыденная ортология, аксиология, риторика** как совокупности метарефлексий народа. Представления носителей языка о том, что в языке правильно и неправильно, хорошо и плохо, красиво и некрасиво, формируют функционально-речевой план языка (прежде всего его нормы), а через них и системные отношения в языке. Многие из таких представлений выходят на уровень осознанных рефлексий.

Хорошо известен интерес, который проявляет к показаниям обыденного метаязыкового сознания диалектология. Носители язы-

ка нередко свое чувство «своего — чужого» и/или в связи с этим «правильного — неправильного» выводят на осознанный уровень и тем самым встают в метаязыковую позицию по отношению к услышанному и говоримому, нередко такие рефлексии имеют обобщающий характер [Березович 2000; Блинова 1984; Ростова 1983].

Риторическая проблематика в аспекте обыденного языкового сознания нередко рассматривается в паремиологии. Так, например, в диссертации А. Н. Сперанской обобщены представления русского народа о правильной, уместной, красивой речи, отраженные в пословицах [Сперанская 1999]. В сущности, в совокупности паремий народа находит отражение кодекс речевого поведения, представленный в виде емких, выкристаллизованных многовековым опытом рекомендаций, за которыми стоит определенная теория, по отношению к которой употреблять термин «наивная», может быть, слишком упрощенно.

Лингводидактика и социолингвистика в сфере обыденного металингвистического сознания неизбежно занимают сильные позиции, так как в их осмысление неизбежно втянуто множество людей, чьи интересы в данных сферах оказываются жизненно важными.

Отношение рядовых носителей языка к языковому образованию, к школьному курсу русского языка представлено разнообразным спектром рефлексий, оно весьма неоднозначно, и это серьезный предмет обыденной металингвистики. Вряд ли стоит доказывать, что метаязыковые представления детей и взрослых («паттерны», стереотипы, мифы*), детерминированные аналогичными представлениями общества в целом (родителей, старших коллег, учителей**), являются мощным фактором, способствующим или противодействующим решению лингводидактических задач в школе (см. вопросы и ответы, отражающие отношение учеников к предназначению русского языка и его отдельных дисциплин (орфографии, культуры ре-

* В качестве примера мифологии можно привести сакрализацию некоторых проблем в школе. Такую проблему, например, составляет отношение к орфографическому правилу как прямому следствию языка.

** В учительской среде некоторые теоретические постулаты доведены до уровня своеобразных «квазипаттернов». Характер такого постулата несет, например, отношение к морфемному статусу инфинитивной формы — окончание или суффикс. Этот вопрос регулярно поднимается на всех встречах с учителями, посвященных проблемам словообразования и морфологии.

чи) в школе [Богуславская 2000; Голев 1999б; Горелов, Седов 2001; Стернин 2000; и др.]). Один из главных мифов — миф о тождестве русского языка и орфографии. Даже справочник по орфографии нередко называется его авторами «Русский язык».

Вопросы языкового строительства и языковой политики особенно актуализировались в российском обществе в последние два десятилетия, когда статус русского языка в постсоветских независимых государствах изменился, что породило немало конфликтов, затронувших многих россиян, имеющих в странах СНГ родственников, друзей, коллег. Ситуация невольно актуализирует их метаязыковую позицию по отношению к различным социальным аспектам взаимоотношения языков и принципам языковой политики, делая рядовых граждан «обыденными социолингвистами». Особенно значимыми для массового сознания становятся такие теоретические лингво-юридические понятия, как государственный язык, официальный язык, язык межнационального общения. В качестве примера исследований обыденных представлений в социолингвистике назовем сборник тезисов и докладов международной конференции «Язык и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы» [2001]. В нем описываются конфликты, приводятся и обосновываются мнения о тех способах их разрешения, которые представляются докладчикам наиболее эффективными и правильными, в том числе и по такому признаку, как толерантность (например, статьи Е. П. Акимовой ««Свой» и «чужой» в языковом сознании литовцев и русских Литвы: есть ли коммуникативный конфликт?»; Л. П. Васикова «Языковые конфликты и их причины»; М. И. Исаева «Языковые проблемы в конфликтных ситуациях» и др.). Аспект толерантности здесь особенно принципиален как на уровне обыденного сознания (речь идет о терпимости самих носителей одного языка к языкам других народов, о признании их права на существование и развитие), так и на уровне научного метаязыкового сознания, когда встает вопрос о способах ведения дискуссий о языке и тем более осуществления реальной языковой политики.

Актуальным является **юрислингвистический подход к языковой конфликтности**.

Языковые нормы, формирующиеся в узусе, являются стихийным способом, вырабатываемым (в определенном аспекте — самим язы-

ком) для предотвращения конфликтов. Нормы как стихийная конвенциональность — это своеобразный консенсус создателя и получателя речевых произведений, позволяющий им достаточно легко и экономично взаимодействовать, не выходя за рамки коммуникативной прагматики. Определенные функциональные типы норм оказываются неподвластными стихийному нормотворчеству; здесь вступает в силу кодификация, доверяемая обществом «компетентным органам». Но их возможности ограничены. Ряд языко-речевых конфликтов, которые не предотвращены естественными способами, выработанными обыденной этикой и естественной ортологией (и/или ортологией, легитимизируемой кодификаторами-лингвистами), выходят на социальный уровень конфликтности, которая должна регулироваться официальным правом, например законом о защите чести и достоинства личности. Здесь языковые и культурно-этические нормы тесно и весьма своеобразно взаимодействуют с нормами права, но закономерности их взаимодействия — проблема, почти не изученная. Языковое право находится на низком уровне развития. Потребность в таком праве и его частичное наличие свидетельствуют, с одной стороны, о том, что существуют такие языковые феномены, к которым общество не желает быть толерантным и как бы объявляет их вне закона (например, сквернословие), но, с другой стороны, сама выработка легитимных форм решения конфликтов с помощью подобных средств является признанием объективности их конфликтного бытия в речевой практике и необходимости волевых усилий для обеспечения их «мирного сосуществования».

Строго говоря, «попадание» языка в правовое пространство говорит о том, что, во-первых, частичное силовое регулирование языко-речевых конфликтов есть жизненная необходимость, во-вторых, само это силовое регулирование должно быть достаточно толерантным в том смысле, что волевые решения должны признаваться противоположной стороной как справедливые (то есть законные, легитимные). Это обеспечивают правовые органы, предлагая обществу законы, на создание которых общество и дает им официальное право. В-третьих, в процессе легитимизации языковых норм право должно опираться на данные естественного языка и речи, в том числе на данные речи рядовых носителей языка [Голев 1999a].

Проиллюстрируем сказанное.

В юрислингвистической практике один из наиболее типичных конфликтов связан со взаимодействием автора публикаций в СМИ и персонажа этих публикаций, который считает себя обиженным, оскорбленным или оклеветанным в них. Чаще всего в этой ситуации автор публикаций отстаивает свое право на творческое использование языка и его единиц (в том числе сниженной лексики), на иронию и критику определенных лиц. Лицо, изображенное в таких публикациях, мало интересуют творческие права автора, он видит в них ущемление своих гражданских прав, неуважительное, оскорбительное отношение к себе и переводит творческий (художественный, публицистический) текст на юридический язык. Возможны разные подходы к этой проблеме: лингвистический, юрислингвистический, собственно юридический, культурно-этический. Юридический путь предполагает апелляцию к системе законов, в данном случае — к соответствующим статьям Гражданского и Уголовного кодексов РФ.

Правовая квалификация оскорбления порождает и такой аспект толерантности, как уважительное гносеологическое отношение к обыденной сфере ментального бытования языка. Рассмотрим это на примере понятия оскорбления.

Суть проблемы заключается в том, что в теории (как юридической, так и лингвистической) данное понятие («оскорбление») не разработано в достаточной мере, что предопределяет стихийно-субъективный характер юрислингвистической практики, то есть действий судей экспертов-лингвистов, равно как и судей, формулирующих вопросы для экспертов и далее выносящих окончательное решение по тем или иным делам. Анализ юридического понятия оскорбления в данных аспектах сделан в работах: [Понятие чести... 1997; Юрислингвистика-1 2000: 43—45; Юрислингвистика-3 2002: 16—20].

Остановимся подробнее на лингвистическом понятии «оскорбление». Картина, которую мы здесь обнаруживаем, парадоксальна. Инвективное функционирование языка достаточно очевидно как весьма значимая реальность языка. Любой язык содержит огромный массив специальных средств (лексических, фразеологических, интонационных), в любом языке выработаны инвективные модели поведения, тем не менее в лингвистике (по крайней мере в отечественной) не выделено инвективной функции языка, не существует строгого лингвистического понятия «инвектива» («оскорбление»).

Соответственно ведет себя и лингвистическая практика (в лексикографии, например, наиболее оскорбительная лексика большей частью фокусируется в изданиях, основная цель которых — получение прибыли с «запретного плода»). Главная причина такого отношения к языковой инвективе, по всей вероятности, пренебрежение ею как «низкой» темой, недостойной внимания настоящей лингвистики.

Отсюда и такая грань толерантности, как уважительное гносеологическое отношение к обыденному функционированию инвективных слов в языке. В настоящее время в юрислингвистической практике основным критерием квалификации оскорбления являются пометы в толковых словарях: «бранное», «пренебрежительное», «презрительное» и т. п. Однако филологические словари не предназначены для вынесения юридических вердиктов. Толковые словари часто не дают однозначной оценки словам-инвективам, нередко расходятся в стилистических характеристиках, а многие слова вообще не включают. К примеру, лексемы *козел* или *проститутка* зафиксированы толковыми словарями как бранные, хотя в действительности они обладают значительным оскорбительным потенциалом. Лексикографы руководствуются принципами, необходимыми для описания словарного состава л и т е р а т у р н о г о языка. Т. Г. Винокур выделяет следующие принципы, на которые опираются авторы при составлении толковых словарей: «...1) принцип нормативности: это ...словарь образцовый, а именно, большое внимание обращено в нем на нормативную сторону...; 2) принцип определения хронологических границ современного русского языка» [Винокур 1998]. При этом авторы словарей акцентируют внимание на том, что современный литературный язык — это книжная и разговорная речь образованных людей, а просторечную лексику и оскорбительные слова относят к периферии, достойной включения в словарь в последнюю очередь. Таким образом, в отношении к инвективной лексике мы видим проявления уже не раз отмечаемого «литературно-центризма», профессионально-лингвистической гносеологической нетолерантности.

Такое отношение способствует выработке «приблизительных» критериев в квалификации помет. Никак не дифференцированы спорадически употребляемые пометы типа «бранное», «грубое», «фамильярное», «презрительное». Довольно часто при рассмотре-

нии и сопоставлении толковых словарей современного русского языка встречается отсутствие единства в решении вопроса о такого рода пометах и об отборе тех принципов, исходя из которых слова сопровождаются пометами. Практика составления словарей указывает на то, что интуиция лексикографа (или коллектива лексикографов) не является достаточным основанием для словарных помет. Несовпадение мнений авторов словарей при расстановке помет может повлечь за собой несовпадение и самих стилистических оценок одного и того же слова в разных словарях. Это может свидетельствовать о различных теоретических установках словарей либо об объективных стилистических сдвигах, которые произошли за определенное время, отделяющее создание одного словаря от другого.

Последнее особенно важно для юрислингвистики, так как человек чувствует себя обиженным или оскорбленным не по нормативным пометам и рекомендациям словаря, а по тем узуальным оценкам, которые ассоциируются с данным словом в социуме. Это предполагает, что словарь, ориентированный на юрислингвистическую практику, должен отражать такие оценки, и, следовательно, лексикограф должен их извлекать не только из своей интуиции, но и из реального функционирования слова. Наши представления о таком словаре и методах его составления отчасти отражены в работах: [Голев 1973; 2000]. Квалификация слова в таком словаре как слова инвективного устанавливает официальную норму его употребления и юридическую ответственность за ее нарушение.

Во-вторых, ориентация на пометы традиционного словаря нередко делает неуязвимым оскорбителя. Если слово не отмечено как бранное, то это может рассматриваться как возможность безнаказанного его употребления. Данное обстоятельство рождает особую (социально значимую) ответственность составителя словаря за те или иные пометы. К этому можно добавить, что в сознании рядовых носителей языка (в число которых входят юристы, решающие подчас судьбы людей) бытует представление, что словарь авторитетен, поскольку вбирает в себя всю накопленную человечеством мудрость, наконец, он дает довольно определенный, часто однозначный ответ.

Мы представили очерк некоторых тесно взаимосвязанных проявлений вектора «толерантность/нетолерантность», обнаруживаю-

щихся в разных способах снятия языко-речевых конфликтов, показали достаточно широкий и глубокий характер проникновения названного вектора и названного параметра в сферу функционирования русского языка. Думается, что дальнейшая разработка понятия толерантности позволит рассчитывать на то, что оно преодолеет «метафорический этап» своего существования и встанет в ряд со многими другими, уже прочно устоявшимися в функциональной лингвистике понятиями, категориями и антиномиями.

ЛИТЕРАТУРА

Асмолов А. Г. Толерантность: от утопии — к реальности // На пути к толерантному сознанию. — М., 2000.

Аспекты речевой конфликтологии / Под ред С. Г. Ильенко. — СПб., 1996.

Бердяев Н. Судьба России. — М., 1990.

Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. — М., 1994.

Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. — Екатеринбург, 2000.

Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М., 1966.

Блинова О. И. Носители диалекта — о своем диалекте (об одном из источников лексикологического исследования) // Сибирские русские говоры. — Томск, 1984.

Богуславская Н. Е. Изучают ли школьники русский язык на уроках русского языка? // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000.

Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. — СПб., 1996.

Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. — М., 2001.

Борисова И. Н. Толерантность в разговорном диалоге // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Булгаков С. Н. Свет не вечерний. — М., 1994.

Васильев А. Д. Слово в телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления в российском телевидении. — Красноярск, 2000.

Васильева Е. В. Отражение взаимоотношений индивида и группы в рус-

ской языковой картине мира // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 9, Филология. — 2001. — № 4.

Винокур Т. Г. Нужна ли нормативному толковому словарю помета «просторечное» // Словарные категории. — М., 1988.

Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы). — М., 1997.

Гарганеева К. В. Явление мотивации слов в социовозрастном аспекте: Автореф. дис. .. канд. филол. наук. — Томск, 1999.

Гачев Г. Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. — М., 1991.

Глебкин В. В. Программа спецкурса «Толерантность и проблема понимания» // На пути к толерантному сознанию. — М., 2000.

Голев Н. Д. Об описании значения слов-денотативов // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. — Новосибирск, 1973.

Голев Н. Д. Антиномии русской орфографии. — Барнаул, 1997.

Голев Н. Д. Суггестивное функционирование внутренней формы слова в аспекте ее взаимоотношений с языковым сознанием // Языковые единицы в семантическом и лексикографическом аспектах. — Новосибирск, 1998.

Голев Н. Д. Когнитивный аспект русской орфографии: орфографоцентризм как принцип обыденного метаязыкового сознания // Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике. — Новосибирск, 1999а.

Голев Н. Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении // Юрислингвистика-1: проблемы и перспективы. — Барнаул, 1999б.

Голев Н. Д. Обыденное метаязыковое сознание и школьный курс русского языка // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000.

Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. — М., 2001.

Горянин А. Мифы о России и дух нации. — М., 2002.

Гусейнов А. А. Этика и философия ненасилия // Толерантность: Материалы школы молодых ученых «Россия — Запад: философские основания социокультурной толерантности». — Екатеринбург, 2001.

Дашкова П. Чувство реальности. — Кн. 2. — М., 2002.

Демьянков В. З. Ошибки продуцирования и понимания (интерпретирующий подход) // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. — М., 1989.

Дзялошинский И. Культура, журналистика, толерантность (О роли СМИ в формировании в российском обществе атмосферы толерантности и мультикультурализма) // Независимый институт коммуникативистики: Науч.-

практ. конф. «Пресса, государство, культура: мультикультурализм как новая философия взаимодействия». 11—12 февр. 2002 г. — М., 2002.

Дунев А. И. Интенциональность обобщенно-фактического значения русского глагола // Лингвистический семинар: Межвуз. сб. науч. ст. СПб. — Бирск, 2001. — Вып. 2.

Ейгер Г. В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания. — Харьков, 1990.

Жилина О. А. Лингвостилистическая норма в аспекте компьютерных технологий // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей рус. яз. (Москва, филол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 13—16 марта 2001 г.): Тр. и материалы / Под общ. ред. М. Л. Ремневой, А. А. Поликарпова. — М., 2001.

Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М., 1999.

Зализняк А. А. Лингвистика по А. Т. Фоменко // Вопр. языкознания. — 2000. — № 6.

Зализняк А. А., Шмелев А. Д. Введение в русскую аспектологию. — М., 2000.

Зализняк А. А., Шмелев А. Д. Типы видовой связи // Труды международного семинара «Диалог-2001» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. — Т. 1: Теоретические проблемы. — Аксаково, 2001.

Земская Е. А. Словообразование как деятельность. — М., 1992.

Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). — М., 1996а.

Земская Е. А. Введение // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). — М., 1996б.

Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». — СПб., 1999.

Косиков Г. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. S/Z. — М., 2001.

Красиков В. И. Этюды самосознания. — Кемерово, 2000.

Красиков Ю. В. Алгоритмы порождения речи. — Орджоникидзе, 1990.

Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). — М., 1996.

Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. — М., 1986.

Кубрякова Е. С. Словообразование и другие сферы языковой системы в структуре номинативного акта // Словообразование в его отношениях к другим сферам языка: Materialien der 3. Konf. der Kommission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee Innsbruck, 28.09—01.10.1999: Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения. Innsbruck, 2000.

Купина Н. А. Идеологическая толерантность // Лингвокультурологичес-

кие проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Лебедева Н. Б. О метаязыковом сознании юристов и предмете юрислингвистики (к постановке проблемы) // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. — Барнаул, 2000.

Лебедева Н. Б. «Письменное просторечие» и гносеологическая толерантность // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Леви В. Охота за мыслью. — М., 1967.

Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Лютикова В. Д. Языковая личность и идиолект. Разд.: Языковая рефлексия как форма проявления языкового сознания и лингвокреативного мышления носителя диалекта. — Тюмень, 1999.

Мароши В. В. Имя автора: Историко-типологические аспекты экспрессивности. — Новосибирск, 2000.

Матвеев А. К. Апология имени // Изв. Урал. гос. ун-та. — Екатеринбург, 2001. № 21 (Вып. 11: Проблемы образования, науки и культуры).

Медведева И. Л. Опора на внутреннюю форму слова при овладении иностранным языком // Слово и текст в психолингвистическом аспекте. — Тверь, 1992.

Мечковская Н. Б. Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий. — М., 1998.

Мечковская Н. Б., Супрун А. Е. Знания о языке в средневековой культуре южных и западных славян // История лингвистических учений: Позднее средневековье. — СПб., 1991.

Михайлова О. А. Толерантность как лингвокультурологическая категория // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем). — М., 1997.

Немец Г. Н. Метаязыковые основы речевой деятельности // Семантические и прагматические особенности языковых единиц в сопоставительной лингвистике. — Краснодар, 1994.

Норман Б. Ю. Основы языкознания. — Минск, 1996.

Норман Б. Ю. К понятию внутренней формы // Ветроградъ многоцветный. Festschrift für Helmut Jachnow. München: Verlag Otto Sagner, 1999.

Носитель языка и лингвистическая теория // Обществ. науки за рубежом. — Языкознание. — 1982. — № 6.

Перцев А. В. Размышления о ментальной толерантности // Толерант-

ность: Материалы школы молодых ученых «Россия — Запад: философские основания социокультурной толерантности». — Екатеринбург, 2001.

Петренко В. Ф. Психосемантический аспект массовых коммуникаций // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования: Тез. докл. междунар. науч. конф. Москва, филол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 25—27 окт. 2001 г. — М., 2001.

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. «Безумие» как лексикографическая проблема (к анализу прилагательных безумный и сумасшедший) // Логический анализ языка: Ментальные действия. — М., 1993.

Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. — М., 1997.

Романенко А. П. Советская словесная культура: образ риторы: Дис. ... д-ра филол. наук. — Саратов, 2001.

Ростова А. Н. Показания языкового сознания носителей диалекта как источник лексикологического исследования: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Томск, 1983.

Ростова А. Н. Метатекст как форма экспликации метаязыкового сознания. — Томск, 2000.

Руденко Д. И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // Вопр. языкознания. — 1992. — № 6.

РЯСО — Русский язык и советское общество: Словообразование современного русского литературного языка / Под ред. М. В. Панова. — М., 1968.

Сахарный Л. В. Осознание значения слова носителями языка и типы отражения этого сознания в речи // Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку. — М., 1970.

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. — Т. 1. — М., 1988.

Соловьев Э. Ю. Генезис прав человека и исторические истоки толерантности // Толерантность: Материалы школы молодых ученых «Россия — Запад: философские основания социокультурной толерантности». — Екатеринбург, 2001.

Сперанская А. Н. Правила речевого поведения в русских поговорках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Красноярск, 1999.

Стернин И. А. Можно ли культурно формировать культуру в современной России? // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000.

Стернин И. А. Толерантность: слово и концепт // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Стернин И. А., Шилихина К. М. Коммуникативные аспекты толерантности. — Воронеж, 2001.

Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М., 1996.

Толерантность: Материалы школы молодых ученых «Россия — Запад: философские основания социокультурной толерантности». — Екатеринбург, 2001.

Толстая С. М. Терпение и терпимость в зеркале языка // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. — Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток—Запад: Исслед. Переводы. Публикации. — М., 1989. — Вып. 4.

Уолцер М. О терпимости. — М., 2000.

Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. — Т. 1. — М., 1994.

Фрумкина Р. М. Проблема «язык и мышление» в свете ценностных ориентаций // Язык и когнитивная деятельность. — М., 1989.

Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб., 1997.

Хомяков М. Б. Проблема толерантности в христианской философии. — Екатеринбург, 2000.

Чуковский К. Мастерство Некрасова. — М., 1952.

Чумиков А. Н. Связи с общественностью. — М., 2001.

Шалина И. В. Коммуникативно-речевая дисгармония: ее причины и виды // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000.

Шапошников В. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. — М., 1998.

Шмелев А. Д. Парадоксы идентификации // Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997а.

Шмелев А. Д. Символические действия и их отражение в языке // Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997б.

Шмелев А. Д. Плюрализм этических систем в свете языковых данных // Логический анализ языка. Языки этики. — М., 2000.

Юрислингвистика-1: проблемы и перспективы. — Барнаул, 2000.

Юрислингвистика-3: проблемы юрислингвистической экспертизы. — Барнаул, 2002.

Язык и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы: Тез. докл. междунар. конф. — М., 2001.

Язык о языке. — М., 2000.

Wierzbicka A. Semantics, culture and cognition: universal human concepts in culture-specific configurations. N. Y., 1992.

СЛОВАРИ

Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. — 3-е изд. — М., 1971.

Алексеев Д. И., Гозман И. Г., Сахаров Г. В. Словарь сокращений русского языка. — М., 1977.

БАС (Большой академический словарь) — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. — М., 1950—1965.

БСЖ — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. — СПб., 2000.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М., 1994.

Елистратов В. С. Словарь русского арго. — М., 2000.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. — М., 2000.

Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. — М., 1999.

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2001.

Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. — СПб., 2001.

МАС (Малый академический словарь) — Словарь русского языка: В 4 т. — 2-е изд. — М., 1981—1984.

Новичков Н. Н. Словарь современных русских сокращений и аббревиатур. — Париж; М., 1995.

Словарь XX — Толковый словарь современного русского языка: Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г. Н. Складчиковой. — М., 2001.

Словарь синонимов / Ред. А. П. Евгеньева. — Л., 1975.

Современный словарь иностранных слов. — М., 1994.

СРНГ — словарь русских народных говоров. — Л., 1968. Вып. 3.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 1997.

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Ред. Д. Н. Ушаков. — М., 1935—1940.

РАЗДЕЛ 3

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ РУССКОЙ РЕЧИ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

О. А. Крылова

В современной лингвистической стилистике до последнего времени не находилось места стилю, функционирующему в сфере церковно-религиозной общественной деятельности. Обычно указывалось, что это сфера церковно-славянского языка. А между тем выступления священнослужителей звучат теперь не только в храмах, но и по радио, по телевидению, в Думе, а также при освящении больниц, школ, торговых центров и т. д. Все эти виды коммуникации осуществляются отнюдь не на церковно-славянском языке. Очевидно, пора поставить вопрос о наличии в составе современного русского литературного языка особого функционального стиля, который мы предлагаем назвать **церковно-религиозным**. Л. П. Крысин называет его религиозно-проповедническим, отмечая, что он должен занять подобающее ему место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка и получить соответствующее описание в литературе по стилистике [Крысин 1996: 138]. Термин «церковно-религиозный» кажется нам предпочтительнее по двум причинам: во-первых, он связывает этот стиль не только с религией как формой общественного сознания, но и со сферой общественной деятельности — церковной; а во-вторых, он не ограничивает этот стиль только жанром проповеди.

Мы опираемся на исследование жанров Рождественских и Пасхальных посланий [Со Ын Ён 2000; Крылова 2000, 2001]. Разумеется, только полное изучение всех жанров, в которых воплощается церковно-религиозный стиль, позволит дать его исчерпывающую характеристику, однако уже и сейчас можно выявить ряд специфических черт его языковой системы, а также ряд его экстралингвистических особенностей, позволяющих сопоставить этот стиль с другими функциональными стилями.

Остановимся на особенностях только **лексического** уровня языковой системы стиля, а также на связи этих особенностей с такой присущей ему **чертой образа автора**, как **толерантность**.

Прежде всего это особая, отличная от других стилей **шкала стилистических оценок лексических единиц**. Если для всех функциональных стилей точкой отсчета является стилистически нейтральная лексика, то здесь нейтральная лексика, в силу ее тематической неопределенности и, главное, малочисленности, роли такого «стилистического нуля» не играет: эту функцию принимает на себя **общекнижная** лексика. Например, стилистически нейтральные слова, употребленные в трех Рождественских и Пасхальных посланиях Митрополита Московского и всея Руси Алексия II: *жизнь, люди, всегда, каждый, тогда, молодежь, дети, столица, это, все, страна, молодежь* и др., — будучи взяты изолированно, не могут дать никакого представления о содержательной стороне текстов. Кроме того, их доля в лексическом составе посланий весьма невелика. Несравненно более существенную роль и в раскрытии содержания посланий, и с количественной стороны играет **общекнижная лексика**, включающая, в частности, абстрактные имена существительные, отглагольные имена, иноязычные заимствования. В качестве иллюстрации приведем только отглагольные существительные с **общекнижной функционально-стилевой окраской** и только из одного Пасхального послания (1994) Митрополита Московского и всея Руси Алексия II: *возрождение, восстановление, Воскресение, гибель, книгоиздательство, ниспослание, поддержка, переустройство, просвещение, понимание, пополнение, посещение, решение, расширение, распространение, развитие, совершенствование, служение, сотрудничество, опасение, творение (добра), укрепление, устройство, упрочение*.

Если взять приблизительно равные по объему Пасхальное послание Митрополита Московского и всея Руси Пимена (1900), Рожде-

ственное послание Митрополита Московского и всея Руси Алексия II (1966/1967) и Пасхальное послание Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (1988), то на 400—450 лексем, употребленных в каждом из этих трех текстов, приходится: в первом — около 70, во втором — около 100, в третьем — около 120 слов с обще-книжной функционально-стилевой окраской, что в процентном отношении составляет соответственно 16, 22 и 26 % от общего числа лексем, употребленных в каждом послании.

Именно на этом обще-книжном, фоне выделяется лексика, имеющая однозначно ориентированную функционально-стилевую окраску: с одной стороны, **церковно-религиозную**, и с другой — **газетно-публицистическую**.

Примеры первой: *Господь Вседержитель, Спаситель, святители, иерархи, архиереи, пастыри, великомученики, ветхозаветный, благовестие, таинства, молитва, освящение, крестные страдания* и мн. др.

Примеры второй также многочисленны (заметим, что это, как правило, стандартизованные словосочетания, связанные своей семантикой со сферой политико-идеологической общественной деятельности): *суверенные государства, социальное служение, преодолеть трудности, неустойчивая экономическая и социальная обстановка, проблемы беженцев, политические и вооруженные конфликты, насущные проблемы, гражданский долг, ознаменовать, процесс созидания, восстановление нормальной жизни мирного населения* и т. п.

Второй существенной особенностью лексической системы церковно-религиозного стиля является полное отсутствие в ее составе не только просторечных, жаргонных или арготических элементов, но даже и разговорных. Обе названные особенности стиля на лексическом уровне делают церковно-религиозный стиль подчеркнуто **книжным**.

Третья особенность состоит в том, что лексика здесь обладает, как правило, эмоционально-экспрессивной окраской; ее можно охарактеризовать как **архаически-торжественную, возвышенную** и эмоционально-оценочную, причем, как правило, **мелиоративно-оценочную**. Примеры (из трех Рождественских посланий Патриарха Московского и всея Руси Алексия II — 1995/1996, 1996/1997 и 1997/1998 годов): *с радостным светлым чувством, беспримерная преданность, вдохновение, теплое и радующее сердце молитвенное общение, ревностные усилия, возрадуемся, дивный праздник* и др.

Даже в тех случаях, когда речь идет о негативных явлениях, автор выражает чувства скорби, сожаления, но никак не презрения, негодования или ненависти, поэтому нет и лексических средств, которые характеризовались бы соответствующими пейоративными коннотациями.

В отмеченных стилистических особенностях лексики рассмотренных жанров мы видим проявление особого, **сложного характера образа автора**. Как известно, образ автора (наряду с характером адресата и другими составляющими портрета речевого жанра) играет существенную роль в отборе и организации языковых средств. Проанализированные тексты создают образ автора, с одной стороны, как одного из «чад Матери-Церкви», не отделяющего себя от всех остальных верующих, переживающего вместе со всеми чувство скорби или радости, а с другой — как предстоятеля Церкви, духовного пастыря, наставника, обязательной чертой которого является **толерантность**. То обстоятельство, что существуют негативные, с точки зрения автора, черты действительности, побуждает его **разъяснять** пастве сущность этих негативных явлений, но никак не выражать чувства возмущения, негодования и уж тем более никак не высмеивать кого-либо. К аналогичным выводам приходит Мария Войтак, анализировавшая архипастырские послания епископа Ежи Матулевича (1918—1925): «Подбор формул и соответствующие композиционные процедуры создают климат взаимоотношений, в которых преобладает доброжелательность и забота о благе паствы...» [Войтак 2001: 275]. И далее: «Предостережения и советы формулируются осторожно... Таким образом, взаимоотношения между отправителем и адресатом являются неравными, но дружественными» [Там же].

Приведем примеры из Пасхальных посланий Митрополита Московского и всея Руси Алексия II:

— *Апостол Павел возвестил нам, что Господь совершил Собою очищение грехов наших (Евр. 1, 3). Но мы сами — все ли делаем для того, чтобы грех не господствовал над нами и среди окружающих нас, чтобы добро не уходило из нашей жизни и не внедрялось в нее зло, чтобы не множились преступления и прекратились рознь и вражда? <...> В государствах, составляющих недавний Союз, мы, их граждане, переживаем не малые трудности, связанные с реформами в жизни общества. Дай нам*

Бог сохранить христианское терпение и мужество и нести наш крест с осознанием того, что без Креста и без Голгофы не бывает Воскресения. Будем укрепляться верой, надеждой, усердной молитвой и призывать к этому более слабых и немощных, колеблющихся и унывающих... (1993).

— *Братия мои и сестры! И я умоляю вас: неустанно совершайте дела добра и милосердия, взаимно прощайте обиды и оскорбления, думайте прежде всего не о себе, а о ближних своих!* (1992).

Обратим внимание на форму риторического вопроса, в которую облекается критическое замечание; благодаря этой форме и «мы» инклюзивному, критика оказывается очень смягченной и создается тот климат доброжелательности и толерантности, о котором шла речь.

Даже в ситуации, когда автор выражает негативное отношение всей патриархии к определенному событию (как, например, в поведении священнослужителя накануне показа по телевидению кинофильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе), он прибегает к речевому жанру не приказа и не категорического запрета, а просьбы и совета: *Этот фильм / который хотят показать по телевизору про Иисуса Христа/ этот фильм / он нехороший // это бесполезно // очень бесполезно... Там показывают страшное кощунство //... Там показывают то, чего не должно показано быть в принципе // Тем более это все смешано / для нас с дорогим Священным Писанием / и Преданием / о Господе нашем Иисусе Христе // Поэтому пожалуйста / отнеситесь к этому серьезно* (цит. по: [Розанова 2000]).

Если теперь сравнить с рассмотренным материалом тексты газетно-публицистического стиля, то можно отметить определенное сходство. Оно задано наличием функции воздействия, присущей обоим стилям, с одной стороны, и массовым характером адресата — с другой. Эта общность на уровне лексики проявляется в наличии большого количества слов с эмоционально-экспрессивной окраской, в частности оценочных. Однако различий между названными стилями оказывается значительно больше, чем сходства, и сами эти различия значительно более существенны. Во-первых, воздействие в обоих случаях имеет различную природу и различную направленность. А отсюда и иной характер эмоционально-экспрессивной окраски лексических единиц. В газетно-публицистических текстах это окраска, связанная с **экспрессией разговорности, сниженности и, как правило, отрицательной (пейоративной) оценочности.**

Это можно показать на примере газетных и журнальных публикаций, посвященных русской орфографии. Так, одна из них начинается следующим образом: *«А давайте я вам в суп плюну! Вы едите не совсем правильный суп, я вот тут приготовил поправильнее, так, чтобы вы ели мой, я в ваш плюну»*. О чем речь? О том, что на нашем с вами общем горизонте замаячила орфографическая реформа» (Эксперт. 2001. № 20).

Прежде — несколько слов о сути дела. Как хорошо известно, о реформе русской орфографии речь шла в 1964 году, когда предлагался ряд кардинальных изменений, направленных на более последовательное осуществление фонематического принципа в орфографии. Реформа тогда не осуществилась, и с 1956 года «Правила русской орфографии и пунктуации» (М.: Учпедгиз, 1956) не только не изменялись, но и не переиздавались. Многие учителя даже не держали их в руках, а вынуждены в своей практике руководствоваться различного рода пособиями, авторы которых *mutatis mutandis* следуют этим правилам. Естественно, что за прошедшие полвека произошли изменения в самом языке (он пополнился новыми словами, правописание которых действующими правилами никак не регламентируется). Кроме того, ученые Института русского языка РАН накопили большой материал, позволяющий изучать самую орфографическую практику, выявлять действующие здесь тенденции, в результате чего регулярно издаются словари-справочники типа «Слитно или раздельно», «Строчная или прописная» и др. В такой ситуации задача переиздать «Правила», безусловно, давно назрела. И работа над подготовкой их нового издания велась учеными ИРЯ РАН исключительно тщательно и отнюдь не келейно, а с привлечением совещательной Комиссии, куда были приглашены вузовские преподаватели, школьные учителя, ученые из других академических институтов, издательские работники, методисты. С самого начала ставилась задача **не реформировать** орфографию, а подготовить новую редакцию действующих правил, **с тем чтобы сделать их свод более полным, исчерпывающим, а сами правила — по возможности более последовательными и точно сформулированными**. Что же касается изменений, то авторы новой редакции отнеслись к ним очень взвешенно, осторожно, можно даже сказать, робко. Так, несмотря на предложение некоторых членов Комиссии устранить ничем не мотивированное написание *ы* вместо *и* после *ц* в четырех корнях (*цыган, цыц, цыпленок,*

на цыпочках), это исключение в проекте нового свода правил сохранения. Поэтому ни о какой реформе орфографии речи не идет.

Но еще до окончания работы над новой редакцией, еще до издания проекта новой редакции свода правил в печати начали появляться публикации на эту тему. Их количество увеличилось после того, как проект новой редакции был направлен в различные учреждения для обсуждения. Цитата из одной такой публикации была приведена выше. Такие материалы выдержаны в газетно-публицистическом стиле, и их сравнение с рассмотренными текстами церковно-религиозного стиля как нельзя более ярко демонстрирует **различия** этих стилей, наличие которых (различий) никак не позволяет считать церковно-религиозный стиль разновидностью (или подстилем) публицистического. Различия обнаруживаются по всем основным параметрам [Шмелева 1997], по которым проводилось исследование жанров церковно-религиозного стиля, а именно: 1) содержательная сторона; 2) характер адресата; 3) коммуникативная цель; 4) образ автора; 5) языковое воплощение.

Поскольку, говоря о жанрах церковно-религиозного стиля, мы коснулись их языкового воплощения на уровне лексики и связали его особенности с образом автора, то и материал газетно-публицистических статей об орфографии проанализируем не во всех аспектах, а только по этим же двум параметрам.

В отличие от приводившейся лексики из церковно-религиозных текстов, экспрессия лексики в газетно-публицистических текстах, как было сказано выше, обладает преимущественно негативными (пейоративными) стилистическими коннотациями, например: *...ке-лейно пройдет здесь «обсуждение»; ...беспроблемно получен будет возжеленный «одобрямс»; теперь все на мази; вся наша инфраструктура накроется медным тазом; не миновать школьникам некоторого раздвоения сознания, то есть, попросту сказать, шизофрении; навязываемый авторами; грубым образом продвигают в жизнь свое детище; интеллигенция развопилась; нечего ей... потакать; авторов «Свода», как бы они ни надрывались...; вакханалия безграмотности; про то, как мы будем писать, и думать неохота; в ходе сугубо внутригосударственной глупости мы отвечаем плюху; остановить это безобразие; хрен редьки не слаще; А черт его разберет!; узкоспециальные вопросы полоскались в массовых изданиях; нормальные русские люди отродясь не изъяснялись; не очень-то спрашивали и т. д. и т. п.*

Эти публикации на тему русской орфографии в полной мере отражают те процессы, характерные для современной газетной речи в целом, которые хорошо известны и описаны, в частности, в книге В. Г. Костомарова «Языковой вкус эпохи» [Костомаров 1999]. Это снятие всяческих барьеров, использование всей стихии национального языка, включая просторечия, жаргонизмы и т. д., стремление к экспрессии (как было отмечено, — отрицательно-оценочной) любой ценой. Мы бы добавили к этому пренебрежение нормами литературного кодифицированного языка. Достаточно вспомнить приведенные примеры: *грубым образом продвигают в жизнь или в ходе сугубо внутригосударственной глупости* — или, например, такой пассаж, где совершенно неправильно употребляется автором слово *аллергия*: *...кое в каких областях жизни и впрямь начались реформы. Но, с другой стороны, кое у кого случилась настоящая аллергия на это отовсюду звучащее слово. Попросту говоря — зуд. Зуд реформаторства, от которого, не дай Бог, и все мы скоро зачешемся.* («Аллергия на какое-то слово» означает его неприятие, отторжение, а ученых, работавших над новой редакцией правил, упрекают и в том, что у них якобы «случилась настоящая аллергия» на слово «реформы», и одновременно в желании во что бы то ни стало реформировать орфографию, что очевидно несовместимо; и это противоречие можно объяснить не чем иным, как тем, что автор явно нарушает литературные нормы словоупотребления.)

И здесь мы подходим к вопросу об **образе автора** — одной из составляющих стиля. Мы наблюдаем совершенно необычную для других стилей ситуацию, когда между образом автора, к созданию которого стремится пишущий, и образом автора, который объективно формируется текстом, возникает **несоответствие**. Авторы анализируемых статей всячески подчеркивают свое единство с читателем, пытаются создать образ автора как радетеля за интересы масс, блюстителя их прав и защитника от всяких посягательств на эти права. Этот образ народного защитника-демократа авторы анализируемых статей формируют, усиленно подчеркивая свою с читательскими массами общность: *на нас с вами обрушится; нас накроет парашУт; на нашем с вами горизонте*; и т. п.

Но при внимательном чтении этих газетных материалов выявляется совсем иной образ автора, а именно образ человека, менее всего интересующегося истиной, искажающего факты, часто некомпе-

тентного, агрессивного и неуважительно, даже издевательски относящегося к тем, о ком он пишет (а это люди высочайшей квалификации, исключительно ответственно относящиеся к своей работе); **такая черта, как толерантность, абсолютно чужда ему.** Подтвердим сказанное об этом втором — реальном — образе автора несколькими примерами:

— Искажение истины, пренебрежение фактами. Одна из статей называется «ЖЫ-ШЫ» (Эксперт. 2001. № 20) (написано с буквой ы), что явно вводит читателей в заблуждение относительно готовящихся изменений, полностью дезориентирует адресата; также не соответствуют истине утверждения ее автора о том, что готовится *реформа*, что эта реформа сразу сделает всех людей безграмотными, что потребуются срочное переиздание всех книг, учебников, словарей, без чего якобы прервется связь поколений, и т. д. и т. п.

— Лингвистическая некомпетентность. Журналисты, имеющие филологическое образование, пишут о «реформе языка», тем самым не различая язык и орфографию.

— Агрессивность: *...не только финансисты не знают, как писать правильно — офишор или офф-шор, но даже пользователи Интернета спорят, с заглавной или строчной буквы писать это слово ... Официальных норм нет, разные справочники дают разные правила — вот чем бы заняться лингвистам. Но ведь это скучная ежедневная текучка, а времена-то стоят на дворе великие! Хочется совершать — по примеру тех, кто не сходит с телеэкранов и первых газетных полос, что-то радикальное, хочется остаться в памяти людей не регистраторами мимотекущей реальности, а знаменитыми реформаторами. Чтобы еще несколько поколений помнили не только «чубайсовскую приватизацию», но и «лопатинскую орфографию».* Автора этого текста совсем не смущает, что в пылу агрессивных нападок на ученых он вступает в явное противоречие с самим собой: то называет работу ученых над новой редакцией правил «безобразием», то требует упорядочения, регламентации написания новых слов, относительно которых имеется разнобой, и при этом игнорирует тот факт, что именно эту задачу и решает новая редакция Свода правил. Внимательному читателю становится понятно, что цель пишущего — не разъяснить истинное положение дел, а лишь любой ценой привлечь внимание к своему материалу.

Толерантность, доброжелательность, свойственные авторам цер-

ковно-религиозных текстов, чужды авторам газетных материалов. И это не случайность. Мы видим прямую связь между отсутствием толерантности и коммуникативной направленностью газетных материалов: дух рыночной экономики, проникающий в сферу средств массовой коммуникации, влияет на современный газетно-публицистический стиль, побуждая пишущего любой ценой добиваться, чтобы его товар — его газетный материал — привлек внимание покупателя, то есть был продан.

Таким образом, **толерантность** как одна из характерных черт и авторов, и образа автора сравниваемых стилей, ее наличие/отсутствие оказывается существенным стилеобразующим качеством. И по этому признаку церковно-религиозный стиль современного русского языка **противопоставлен** газетно-публицистическому.

ИСТОЧНИКИ

Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II...

Эксперт. 2001. № 20 (статья «ЖЫ-ШЫ»).

Профиль. 2001. № 25 (247) (статья «Всех накроет парашУт...»).

Литературная газета. 2001. 4—10 июля (статья «Родная речь или новояз?»).

ПРОБЛЕМНОСТЬ И ВОПРОСИТЕЛЬНОСТЬ: ЖУРНАЛИСТСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Л. М. Майданова

Теория журналистики в СССР выделяла из общего числа журналистских текстов публицистику — «вид литературы, посвященный злободневным общественно-политическим вопросам современно-

сти» [ЭС 1964, т. 2: 270]. Учитывая, что публицистическими считались такие жанры, как статья, очерк, фельетон, можно сказать, что все журналистские тексты разделялись на два класса: информационные (заметка, корреспонденция, репортаж, интервью) и публицистические, включающие в себя аналитические (статья) и художественно-публицистические (очерк, фельетон) жанры.

Стройная эта картина, как и всегда в живой практике, осложнялась тем, что в классификацию вмешивалась тематика произведения. Так, портретный характер темы мог сделать интервью близким очерку или по крайней мере зарисовке, а качество темы, которое можно обозначить как проблемность, могло объединить статью, интервью, очерк, корреспонденцию. Умение находить в жизни и ставить проблему было мерилом журналистского мастерства. Событием в общественной жизни становились проблемные очерки А. Аграновского, Е. Богата, И. Руденко и многих других известнейших советских публицистов.

Начало XXI века в России вряд ли можно охарактеризовать как период, когда люди испытывают недостаток в проблемах. И журналисты, разумеется, посвящают свои выступления самым острым проблемам нашей жизни. Казалось бы, что за дело стилистике текста до того, о какой проблеме пишет автор? Тропы и фигуры, вступление, главная часть и заключение — эти понятия существовали задолго до наших проблем и будут долго существовать после того, как они, наши проблемы, тем или иным способом будут решены. Материал, однако, показывает, что проблемные публикации 70—80-х годов XX века и аналитические журналистские произведения наших дней — это разные миры, запечатлевшие в себе два разных мироощущения.

Значение слова «проблема» настолько размыто, что во избежание разночтений лучше воспользоваться услугами словаря. Под проблемой будет пониматься «в широком смысле — сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения» [НЭС 2002: 969]. Таким образом, проблемная журналистская публикация — это публикация, которая ставит перед читателем некий вопрос, который обществу необходимо решить. Этот вопрос отражает проблемную ситуацию, сложившуюся в общественной жизни. «Осознание проблемной ситуации, основанное на анализе связей между ее элементами, характера их взаимодействий, возможно точное оп-

ределение противоречий проблемной ситуации, постановка и формулировка проблемы» [Шумилин 1989: 48] — это творческий процесс, требующий от журналиста осведомленности в наблюдаемой сфере социальной практики.

Поскольку проблема — это вопрос, она часто и формулируется автором в виде вопроса, например: *«С чего начинается качество»* (А. Аграновский. Известия. 1972. 4 янв.); *«Хлеб — на стол. Почему этот важнейший продукт зачастую идет в отходы или скормливается скоту?»* (В. Сухачевский. Известия. 1983. 21 янв.); *«Почему рефрижераторы на приколе?»* (Известия. 1982. 16 сент.); *«Чисто заказное банкротство. Над предприятиями Верхне-Ленского пароходства нависла угроза искусственного банкротства. Кто стоит за этим? В областной администрации наверняка знают. Но молчат»* (К. Машков. Комс. правда. 2001. 10 июля).

Прямая формулировка проблемы не является обязательной. Заголовочный комплекс часто строится так, что суть проблемной ситуации читатель определяет сам. Например: *«Крен. В работе пароходства он появился задолго до кораблекрушения пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов»»* (В. Горлов, В. Юнисов. Комс. правда. 1986. 20 дек.) — читатель переводит заголовочный комплекс в вопрос: *«Каким образом работа пароходства привела к кораблекрушению?»*; *«Тень Бонапарта, или Хлестаков в качестве статс-секретаря Минобороны»* (П. Прянишников. Версия. 2001. 3—9 июля) — читатель переводит двойной заголовок в вопрос: *«Как обстоят дела с кадрами в Министерстве обороны?»*

Вопрос поставлен. Требуется и ответ на него. И вот здесь обнаруживается, что журналистские выступления двух временных срезов ставят кардинально разные по своему характеру проблемы и вынуждены давать на поставленные вопросы кардинально разные по характеру ответы. Коротко можно сказать, что в первый период журналисты пытаются проблему решить, а во второй период — только поставить.

70—80-е годы

Это время, когда общество имело какие-то, пусть и ложные, ориентиры. Публицистика — не наука. Она не призвана прозревать законы мироустройства и давать реалистичные прогнозы развития об-

щества. Журналист творит в основном в рамках тех представлений об обществе, которые тем или иным способом сложились в социуме. В коммунизм уже никто не верил, но вот в коллективный подряд, преобразование госаппарата, экономическую реформу вера еще была. Съезды и пленумы партии периодически «подкидывали» общественному сознанию новые идеи, которые, по крайней мере внешне, объясняли сложившееся положение дел и предлагали способы его улучшения. Журналисты обязаны были анализировать жизненные ситуации в этих заданных сверху рамках. Да, в исторических масштабах проблемы, которые ставились журналистами, в тех условиях решить было невозможно. Но журналисты в своих концепциях и не выходили на эти масштабы. Они анализировали локальную (хотя это могло касаться и всей страны) ситуацию, которая позволяла установить ближайшие причины сложившегося положения вещей. Журналист фиксировал эти причины и указывал, что именно должно быть изменено в данных обстоятельствах. Так создавалась видимость решения проблемы.

Если бы анализ был продолжен, оказалось бы, что предлагаемые изменения неосуществимы по причине тогдашнего устройства общества. Но до этого пункта никто не добирался — здесь на пути становились идеи, спущенные сверху. Они для аудитории и пишущего выступали в качестве гаранта позитивных перемен (значит, вот до этой точки и нужно было довести анализ), а объективно они перекрывали дорогу к дальнейшему разворачиванию исследования. Так появлялись добротные в логическом плане, часто блестяще написанные тексты, которые в тогдашнем герметичном духовном пространстве создавали вокруг журналиста ореол глубокой аналитичности и объективности.

Поэтому совершенно искренне звучат, например, такие слова Анатолия Аграновского: «Партийные документы последних лет отличаются глубиной, компетентностью, анализом. Вот и от нас, советских журналистов, ждут сегодня глубины, компетентности, анализа... Полагаю, что сегодня мы не только можем, но и обязаны вскрывать недостатки. Но одновременно видеть общую стратегию движения вперед... помнить о том, какие намечены меры, знать, что уже делается реально и что будет делаться завтра. Тогда критика наша будет конструктивной» [Уроки Аграновского 1986: 278—279].

Достигнутая глубина анализа требовала такого построения текста, чтобы ход мысли от посылок к выводам был продемонстрирован читателю. Отсюда внимание к средствам, фиксирующим развертывание концепции. Текст является воплощением концепции, которая представляет собой постановку и решение проблемы. Обратимся вначале к редкому случаю, когда есть журналистский текст (А. Аграновский. «С чего начинается качество») и авторский текст об этом тексте (статья А. Аграновского «С чего начинается качество», посвященная анализу работы над одноименным очерком и опубликованная в книге «Уроки Аграновского»).

Текст о тексте в данном случае — это демонстрация изучения проблемы, и картина эта может служить иллюстрацией к концепции Я. Хинтиikka и М. Хинтиikka, которую они обозначили как «дедукция и логика Шерлока Холмса». Суть этой «логики» заключается в том, что к выводу приводят посылки, добытые с помощью вопросов. Это две процедуры. «Выявление невербализованной информации с помощью вопросов можно рассматривать как одну из возможных процедур извлечения информации из памяти» [Хинтиikka Я., Хинтиikka М. 1987: 271]. Вторая процедура — это «вопросы, заданные природе в форме целенаправленных наблюдений. Разные фрагменты этого потенциального знания не обязательно хранятся где-то в подсознании. Это могут быть просто открытые для наблюдения, но до сих пор не замеченные факты» [Там же: 273].

Именно это рождение вопросов и нахождение с их помощью информации для решения проблемы (*Как добиться, чтобы в стране было больше высококачественной продукции?*) и показаны в статье. Сама проблема найдена не автором. Аграновский пишет: «Выбор темы. Тут все было просто: меня пригласил главный редактор Л. Н. Толкунов и сказал, что газете нужна статья на эту тему» [Уроки Аграновского 1986: 269]. Но исследование и решение проблемы целиком принадлежат журналисту. Например, вопрос. *Я давно обдумывал разнотык между Доской почета и ведомостью на зарплату* [Там же: 269—270] приводит автора на швейную фабрику, где он добывает важные для решения проблемы сведения о том, что выпуск продукции высокого качества «никак не стимулируется» [Там же: 271]; вопрос о роли стандарта в обеспечении высокого качества обусловил обращение автора в Комитет стандартов СССР и т. д.

Текст, построенный как поиск ответа на вопрос, заданный в заголовке, сам представляет цепочку вопросов, влекущих за собой информацию, обеспечивающую ответ на этот промежуточный вопрос. Например, посещение швейной фабрики дало подтвердивший предположение результат: «Из одиннадцати передовиков лишь пятеро шли впереди и по бухгалтерским данным. Остальные в ведомости не блистали. А которые блистали, тех не было на Красной доске. Почему?» [Аграновский 1980: 623]. «Кто тут ошибся? Откуда эта странная двойная бухгалтерия? — продолжает автор. — Присмотревшись к колонкам цифр, я увидел, что, скажем, в ноябре люди просто-напросто отработали разное количество смен: двадцать две, двадцать три, двадцать четыре. Вот от чего более всего зависел заработок. От рабочих суббот, от сверхурочных часов, от знаменитого „давай-давай!“, когда горит план» [Там же: 624]. Мысль о том, что высокое качество работы не стимулируется зарплатой, открыто не формулируется, но даже цитированные фрагменты показывают, что читатель к ней подведен и она не может не возникнуть у адресата. А далее в связи с вопросом, заданным в заголовке, рождается и другая мысль, ведущая уже к решению проблемы: «качественный труд нужно стимулировать». Так мы получаем основу проблемного журналистского выступления: проблема — промежуточный поисковый вопрос — ответ — вывод относительно способа решения проблемы (долженствование).

Как и в заголовке, промежуточный поисковый вопрос может не иметь открытой формулировки. Так, столкновение разных мнений об одном предмете — способ порождения вопроса о сути явления. Например, Аграновский пишет: «Начнем со стандартов, многие еще боятся этого слова: шаблон, стрижка под одну гребенку, одна спецовка на всех. Опасался и я, а после в Министерстве машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР узнал, как решалась «проблема утюга»... Вот уж где действительно не было шаблона! А были электроутюги сорока пяти типов, и все разные: спираль у каждого своя, ручка — своя, даже болты — свои. Одинаково было лишь то, что все утюги работали плохо» [Аграновский 1980: 626]. Если разнообразие не только хорошо, но может оказаться и плохо, то, вероятно, и стандарт не только плохо, но может оказаться и хорошо. Возникает, хотя и не формулируется

вопрос: что такое стандарт по отношению к качеству продукции? После рассказа о том, как унифицировались утюги, делается вывод: «Стандарт — это кирпич, из которого можно сложить любое здание... Стандарт — эталон, страж качества» [Аграновский 1980: 627]. Как видим, ответ по своей форме точно соответствует якобы отсутствующему в тексте промежуточному поисковому вопросу. А вместе с ответом устанавливается связь с поставленной в начале текста проблемой — «для достижения высокого качества продукции нужны стандарты и контроль за их соблюдением». (Автор показывает, что соблюдение стандартов предприятием также должно стимулироваться, а отклонение от стандарта должно наказываться.)

Так, шаг за шагом, автор подводит читателя к выводу о том, что для достижения высокого качества продукции нужна система мер (тут, кстати, срабатывает и указание выше): «Нужен порядок. Еще раз: партия и правительство разработали конкретные меры, которые, каждая в отдельности, чрезвычайно важны, а все вместе должны сложиться в систему. Дело теперь за тем, чтобы эти решения последовательно, неукоснительно четко проводились в жизнь. Очень нужен порядок» [Аграновский 1980: 634].

Таким образом, проблемный текст 70—80-х годов включает в себя проблемный вопрос, поисковые вопросы, ответы на них, промежуточные и общий выводы в модальности долженствования. Эта схема характеризует публикации разных жанров, и чем менее изощренным является стиль выступления, тем более явственно она выступает. Например, в заголовке «Почему рефрижераторы на приколе?» сформулирована проблема. Промежуточные вопросы: «Направляется вопрос: каким образом рефрижераторные секции попадают в такие составы? Спросите об этом движенцев и тотчас услышите встречный вопрос: а куда их ставить? В маршруты с углем, рудой, нефтепродуктами, в порожняки?.. К ним не то что секцию или поезд, один вагон не всегда прицепишь»; «А что происходит в местах выгрузки?»; «Так что же, нехватка или избыток вагонов?»; «Тогда почему они стоят тысячами, бесцельно затрачивается труд десятков тысяч людей, горючее?». Каждый вопрос влечет за собой порцию новой информации, которая раскрывает различные стороны анализируемой ситуации. Завершается все выводом, в модальности долженствования формулирующим решение проблемы: «Нет

слов, поставки новых рефрижераторных вагонов должны быть ускорены. Но сейчас главное — это совершенствование эксплуатационной работы...»

Поисковыми являются некоторые вопросы журналиста в проблемном интервью. Например, интервью «Выбор стратегии. С академиком Т. И. Заславской беседует спец. корр. „Известий“ Евгения Манучарова» ставит проблему: «Как перестроить управление народным хозяйством, чтобы обеспечить экономический прогресс?» Два первых вопроса журналиста позволяют к формулировке этой проблемы подвести: «Все чаще встречаются люди, которым работать, во-первых, лень, а во-вторых, некогда... Причина такого положения?»; «Значит, люди по доброй воле становятся детренированными, неспособными к напряженному труду?» (Известия. 1985. №№ 38, 39). Ответ Т. И. Заславской рисует положение дел: «Мы провели социологическое исследование в сельских районах. Опросили многих людей и можем уверенно сказать: подавляющее большинство людей (90 процентов руководителей и 84 процента рядовых работников) сознают, что при других экономических и организационных условиях они могли бы работать со значительно большей отдачей» (39). Понятно, что у адресата рождается вопрос «Что это за условия?», который и является пока неявной формулировкой проблемы. Никакой информации для ее решения текст пока не дает.

Поисковый вопрос «Нельзя ли пояснить вашу трактовку группового интереса?» вызывает ответ: «Назревшую задачу интенсификации экономики партия связывает с переходом к преимущественно экономическим методам управления. Это существенно более сложное дело, чем управление с помощью директив и приказов» (39—40). А этот ответ уже дает подходы к решению проблемы, хотя пока и не слишком конкретные. Конкретизация информации и составляет задачу последующих поисковых вопросов. В дальнейшем выясняется, что требуется сокращение среднего звена управленцев и передача управленческих функций предприятию, например за счет коллективного подряда. Таким образом, текст приводит читателя к решению проблемы — формулировке суждения с модальностью должностования (надо делать то-то и то-то).

Если представить проблемные тексты этого периода в виде некоего поля, то публикации описанного типа займут в нем центральное

положение. На периферии окажутся тексты, к которым данная схема неприложима. Рассмотрим две публикации.

Приведенная под рубрикой «Провинциальный анекдот» ироническая зарисовка Анатолия Рубинова «Как она разбежалась» (Лит. газета. 1979. 31 окт.) рассказывает, как некое властвующее лицо, городской чиновник, курирующий предприятия бытового обслуживания, был всячески унижен и оскорблен приемщицей в обувной мастерской:

«От негодования Борис Алексеевич не мог вздохнуть как следует и растерял все слова. Он стал говорить почему-то жалобно: „Я прошу вас прекратить...“ Потом голос окреп, но речь, которая так давалась ему в кабинете или на собрании, не шла: „Вы знаете, я вас вызову к себе...“ — „Так я к тебе и пошла! — овладев собой и переходя на дружескую ногу, воскликнула приемщица: — Прямо разбежалась...“ Она даже рассмеялась: „Ой, держите меня, а то упаду! Вот уморил“...»

И он вызвал-таки грубиянку на ковер: «Бедная приемщица рыдала, а секретарша начальника принесла ей воды в хрустальном казенном стакане».

Текст, опубликованный в газете, несомненно, не будет воспринят как частный случай. Напротив, любой читатель поймет, что поставлена, хотя открыто и не сформулирована, острейшая общественная проблема: почему работники сферы обслуживания к «обслуживанию» относятся по-хамски и что надо сделать, чтобы положение исправить? Никакого анализа ситуации нет, ничто не ведет читателя к решению проблемы, к столь желанному в данных обстоятельствах «надо сделать то-то и то-то». Конечно, некое решение предложено: начальственный нагоняй. Но за его живописанием следует такая концовка:

«Она решила раз и навсегда не набрасываться на солидных мужчин, даже на тех, кто выглядит еще молодо. Она сдержала слово. И набрасывается теперь только на женщин...»

И призрачность решения проблемы становится очевидной.

Таким образом, проблема здесь поставлена, но не решена. Хотелось написать, что она вообще неразрешима, но А. Черниченко в очерке «Кто уволил Калле Киркманна» (Лит. газета. 1986. 5 марта) предлагает ее решение, причем публикация полностью воплощает уже рассмотренную схему построения проблемного текста.

Грустный очерк Ольги Чайковской «На склоне наших лет» (Лит. газета. 1977. 3 авг.) затрагивает проблему жестокого отношения к старикам. Здесь, казалось бы, есть все — анализ причин жестокого отношения к старому человеку и даже ответ на вопрос «что делать?». Но что это за причины и что это за ответ?

Поисковый вопрос связан с конкретной ситуацией: сын и его жена везут старого отца в интернат для престарелых: «Но почему, собственно, деда увозят из родного дома (явно любимого), почему разлучают с родным внуком (несомненно, также любимым)? И почему он не бунтует, дед? Почему не ропщет, почему так растерян и сконфужен, в то время как его родственники не только ничем не стеснены, но сохраняют совершенное душевное равновесие?»

Ответ затрагивает уже общее положение дел: «А потому что у всех троих в голове одно и то же: отжил. Но постойте, как же отжил?! Вот он сидит — живой. Так ведь „отжил“ на их языке означает — перестал быть полезным. Перед нами не что иное, как та самая пресловутая „теория винтика“ (только в ее семейной трансформации), которая была стократ отвергнута и осмеяна и вот, оказывается, выжила и все еще гнездится в иных головах».

Это, конечно, правильный ответ, но он совсем не дает выхода в решение проблемы (что делать?). Тем не менее некое решение проблемы все-таки предлагается. Оно выражено в заголовке одной из главок «Пойдем в гости!» и выглядит пока (это середина публикации) как очень частное, локальное: «Честно говоря, я мечтаю о возрождении древней традиции. В России испокон веков это было принято — по праздникам идти в госпитали, больницы, во «вдовьи» и инвалидные дома, идти с цветами и гостинцами. Это было непременной (и едва ли не лучшей) частью праздника. Ну, а теперь, когда у людей так много свободного времени, неужели не могут они прийти сюда тоже с цветами и гостинцами, с веселыми разговорами, с ребяташками обязательно?»

Читателю это решение должно показаться не совсем основательным. И правда, текст продолжается. Следует рассказ то ли о несчастном случае, то ли о предумышленном убийстве старой женщины сыном, его женой и матерью жены. Сразу становится ясно, что хождением в гости делу не поможешь. Но как ему помочь, в тексте не говорится

ни слова. Конечно, призыв к доброте справедлив. Но действен ли? Таким образом, перед нами тоже текст с проблемой, решение которой по существу не предлагается, и все внешне похожие на поиски решения ходы ни к чему не ведут. Проблема поставлена, но не решена.

Наши дни

Это время, когда общество сверху донизу лишено каких бы то ни было ориентиров. Политику правительства чаще всего называют невнятной. Любой шаг властей, любое решение депутатов всех уровней немедленно получают в прессе прямо противоположные оценки. Приводимые ниже строки были опубликованы в середине 90-х годов XX века, в начале XXI века они остаются вполне справедливыми: «В деятельности политических лидеров трудно найти какие-либо рациональные системы аргументации и обоснования их собственных действий. Ценностный кризис глубоко переплетается с кризисом политическим, ибо вопрос о смысле тех или иных политических платформ и программ тесно связан с исходными мировоззренческими ориентациями, с символами веры идеологического характера. Переплетение экономического, политического и идеологического кризиса порождает ситуацию саморазрушения и хаоса... С точки зрения взаимодействия конфликтов на макро- и микроуровнях этот кризис означает прежде всего переход в ситуацию неопределенности для каждого отдельного человека и для его семьи... все более широкое распространение получает десоциализация личности, потеря жизненных ориентиров, формирование асоциальных способов личностной мотивации» [Здравомыслов 1995: 134].

Эта ситуация обозначается емким словом «беспредел», которое Ю. С. Степанов характеризует как новейшее и смысл которого формулирует так: «полное беззаконие; произвол; развал всякого общественного порядка и власти; непристойность» [Степанов 2001: 571]. Общество не имеет более или менее определенного представления ни о своем настоящем, ни о своем будущем. Декларируемый экономический рост как-то умудряется сосуществовать с гигантскими долгами всех перед всеми, программа народосбережения не мешает зимой оставлять без света и тепла целые регионы, обещание возрож-

дения России мирно уживается с сокращением ее населения на один миллион человек ежегодно. Традиционные российские вопросы «кто виноват?», «что делать?» и «с чего начать?» по-прежнему стоят перед обществом и не имеют ответов.

А журналистика — зеркало своего времени. Не будем трогать желтую прессу, которая, как умеет, развлекает или пугает аудиторию. Обратимся к прессе качественной, серьезной, которая информирует и комментирует. Поскольку речь идет об аналитических материалах, значит, в центре внимания будет именно комментирование.

Если снова представить аналитические публикации в виде пространства, поля, мы увидим, что картина изменилась: в центре сосредоточены тексты, отказывающиеся от решения анализируемой проблемы. А на периферии будут публикации, обращающиеся к локальным, частным проблемам, которые можно хоть как-то решить в сложившихся условиях.

Представим схематично, как выглядят тексты, занимающие сейчас центральное место среди аналитических публикаций. Автор поставил проблему. Основные типы проблем можно назвать так: «как и почему что-то произошло или происходит?»; «что будет с тем-то?»; «что делать, чтобы...». С помощью поисковых вопросов была найдена и сейчас представляется читателю новая информация. Она является неполной, противоречивой, а то и не совсем достоверной, о чем в изложении неукоснительно сообщается. Ответ на вопрос, следовательно, тоже получается не слишком уверенным, что тоже отмечает автор. И вот, бредя через все эти противоречия и сомнения, мы приближаемся к решению проблемы, которое снова оказывается не чем иным, как вопросом. Тексты — портреты проблемы сменились сегодня текстами-вопросами. Обусловлено это и общей дезориентацией социума, и качеством информации, доступной журналисту. Вначале пример относительно качества информации.

Всего за восемь месяцев до финансового краха августа 1998 года «Аргументы и факты» под рубрикой «За и против» помещают две публикации с общим заголовком «Что будет с нашими деньгами?». В подборку вошли статья Павла Бунича «Тонем, но в хорошей компании» и статья Сергея Дубинина «Я рубли на доллары не меняю» (АиФ. 1997. № 51). Сергей Дубинин — председатель Банка России, через восемь месяцев рухнет пирамида ГКО, испарятся (уже не

в первый раз) вклады населения, в несколько раз увеличится стоимость доллара, исчезнут многие банки, а один из ведущих банкиров страны говорит: «За первую неделю декабря около 700 млн. долларов иностранных капиталов вновь вернулись на рынок ГКО. Курс рубля стабилизирован... Я читал, что у нас рухнул валютный коридор. Это откровенное вранье... У нас есть все возможности для дальнейшего «зажима» доллара. Сегодня мы не видим признаков банкротства крупных банков. Верю, что ситуацию удалось нормализовать. Доверие к рублю будет расти в дальнейшем. Я сам рублю на доллары не меняю. И всем посоветую не торопиться с покупкой американской валюты... Убежден, что Новый год все же лучше встречать с рублями».

Представим, что такую информацию получил от С. Дубинина журналист, пишущий проблемную статью на тему финансов. Как он может эти сведения подать? Естественно, со многими оговорками и подчеркиванием их ненадежности. Даже здесь же, в «АиФ», в редакционной врезке, предваряющей статью, газетчики не удержались от такого замечания: «Что будет с нашими деньгами? В воздухе витают самые мрачные прогнозы. Некоторые специалисты считают, что окрепший было российский рубль ожидает неизбежное падение. За этим последует рост цен. Неужели бодрые заявления правительства, Банка России и Госкомстата о наступившей стабилизации не что иное, как циничное убаюкивание общественного мнения?» И это тоже вопрос без ответа. То ли «убаюкивает» нас банкир, то ли в обстановке плохо разобрался и, не запасшись долларами, погорел вместе с любимым народом. Бог весть. Важно, что сведения он дал ненадежные, и при их цитировании это обернется многочисленными оговорками, демонстрирующими авторскую неуверенность.

Какие же тексты создаются в условиях такого качества исходной информации? Статья Олега Мороза «Спектакль под названием «Реструктуризация»» (Лит. газета. 1999. 23—29 июня) посвящена проблеме «Что такое реструктуризация банков и как ее проводить?» Короткое вступление сразу вводит семантику неопределенности: «Слово «реструктуризация» мой компьютер неизменно подчеркивает красной волнистой чертой. Он не понимает, что это такое. Я тоже не понимаю. По-моему, толком не понимает никто. Но при этом все с уверенностью используют это слово и в устной, и в письменной ре-

чи». Итак, заголовок («спектакль») и зачин ставят вопрос: что же все-таки это такое — реструктуризация банков? В творческом процессе создания статьи, наверное, этот вопрос заставил автора обратиться к практике реструктуризации, в результате чего выяснилось, что это была довольно сомнительная кампания: «Сразу после августовского шока ЦБ, действуя скорее по наитию, конвульсивно, нежели руководствуясь логикой и здравым смыслом, принялся раздавать рухнувшим банкам стабилизационные кредиты». Какая была получена информация, такой следует и ответ на поисковый вопрос: «Чаще всего словосочетание «реструктуризация банков» употребляют в двух значениях: в первом случае под ним подразумевают реанимацию полуживых кредитных учреждений при помощи денежных инъекций, во втором — почетные похороны тех банков, оживлять которые признается нецелесообразным».

А далее анализируются перспективы реструктуризации. Снова появляются поисковые вопросы, например: «Поможет ли нам Запад?» Информация, которая «втягивается» в текст с помощью этого вопроса (рассуждение Егора Гайдара), сводится к характеристике двух вариантов развития событий: «Первый: скажем, западный Дойчебанк берет под контроль, допустим, наш системообразующий Инкомбанк и гарантирует сохранность долларовых вкладов хотя бы до пяти тысяч долларов. И второй вариант: мы твердо охраняем неприступность собственных банковских рубежей и предлагаем вкладчикам окончательно забыть о своих вкладах». Дополнительная информация подводит читателя к выводу, что наиболее вероятным является второй вариант. Уже знакомые ходы «поисковый вопрос — информация — ответ», казалось бы, должны подвести к ответу на главный вопрос-проблему. Концовка, однако, такова: «Пора перестать болтать о реструктуризации — надо ее организовывать. Причем в этом деле действительно требуется какой-то свежий взгляд, свежий подход. Беда в том, что у государства не хватает для этого воли». Хотя здесь вроде бы те же «надо» и «требуется», что в концовках текстов предыдущего периода, но вводят они в завершение разговора ту же неопределенность, которая была и в его начале: как проводить реструктуризацию — надо проводить, но как? Все, что между этими двумя вопросами, — описание сложной ситуации, из которой никто в обществе не видит выхода.

Рассмотрим еще одну публикацию из тех, которые сейчас стали очень популярными и которые анализируют будущую ситуацию, то есть ставят вопрос «что будет, если...», «что будет, когда...». Это статья Евгении Семеновой «День рождения министра» (Версия. 2001. 3—9 июля). Речь идет о перспективах деятельности нового министра энергетики Игоря Юсуфова. Анализ служебной карьеры Юсуфова и характеристика положения дел в отрасли проецируются на будущую работу главы Минэнерго. Снова используются поисковые вопросы, например: «Журналисты некоторых ежедневных изданий пытались ответить на вопрос, чья креатура Игорь Юсуфов?» Информация следует в высшей степени неопределенная: «Одни строили предположения, что в жизненно важное для страны министерство пришел еще один представитель спецслужб, лично завербованный Юрием Андроповым, другие искали связь с нефтяным лобби. Мы не располагаем подтверждающими эти версии данными». Поэтому и выхода ее в решение проблемы нет. Однако есть и многозначительные сведения. Например, имплицитный вопрос «Как работал Юсуфов на посту генерального директора Российского агентства по государственным резервам?» вводит очень интересный рассказ о том, что он не поддался на «фантастические планы» некоторых нефтяных олигархов, предлагавших поставлять нефть в хранилища резерва из своих отдаленных источников, вместо того чтобы брать ее с ближайших к хранилищам разработок, принадлежащих конкурентам. У читателя вполне может появиться несмелая мысль о том, что в Минэнерго пришел человек, который будет думать о деле, а не о собственном кармане.

Но кто же в наше время осмелится давать точный прогноз? Концовка вполне в духе времени. Сообщается о том, что Игорь Юсуфов, Михаил Касьянов и Анатолий Чубайс приняли ряд важных решений. Вначале следует оптимистичное известие: «Главным обнадеживающим решением можно считать то, что отключений энергии этой зимой не будет». А дальше — за упокой: «Возможно, благие намерения удастся осуществить на практике. Правда, это будет зависеть от многих факторов: смогут ли потребители своевременно и полностью платить за вновь полученную энергию, смогут ли они погашать реструктуризированную задолженность и кто будет правительственный чиновник, с кем Анатолий Чубайс будет в конце концов решать, до-

статочно ли ситуация критическая, чтобы отключить электроэнергию? Поживем — увидим, если, конечно, свет не отключат».

Как и в предыдущем случае, мы пришли к тому, от чего ушли: каковы перспективы деятельности нового министра? — поживем — увидим. Однако, несмотря на кажущийся логический круг, публикации эти не бессодержательны. Постановка проблемы сама по себе является познавательной ценностью. Ее анализ, привлекаемая, хоть и не на сто процентов надежная, но интересная информация — все это создает полноценное газетное выступление.

Разновидностью текстов-вопросов можно считать публикации специалистов. Информация, вводимая здесь поисковыми вопросами, расценивается автором как вполне надежная и точная, поэтому на протяжении изложения почти нет сигналов неуверенности. Однако вся эта солидная конструкция, детально анализирующая проблемную ситуацию, венчается опять-таки вопросом, поскольку, наверное, ни одна серьезная проблема современного российского общества никакого другого ответа получить пока не может. Вот публикация ученого-демографа Виктора Переведенцева «Нынешних невест ждет одинокая старость. Где оно, поколение «next»?» (Лит. газета. 1999. 23—29 июля). В статье рассматриваются опасные стороны демографической ситуации, сложившейся сегодня в России. Проблема можно сформулировать так: «Почему в России существует суженное воспроизводство населения и старение общества и можно ли эту тенденцию преодолеть?» Заголовок первой главки «Причина не в реформах» содержит ответ на поисковый вопрос о причинах сложившегося положения. Ответ возникает из приводимой весьма любопытной информации, которая показывает, что суженное воспроизводство населения началось еще в середине 60-х годов, когда о реформах 90-х годов никто и не помышлял. Никаких показателей модальности неуверенности в главке нет. Следующая главка имеет в заголовке поисковый вопрос «Что ждет нас дальше?». Снова никаких намеков на сомнения. Приводятся данные Госкомстата России, и на их основе делается заключение: «Одинокая старость ждет большинство уже «при жизни нынешнего поколения» тех, кто нынче в расцвете лет и сил». Последняя, третья главка, в заголовке содержит вторую часть формулировки проблемы: «Есть ли выход?» Еще раз показав, что проблема родилась не сегодня,

а в 50—60-е годы, что корни ее в политике советского государства (вовлечение женщин в общественное производство, институт прописки и др.), автор заключает: «Как бы там ни было, нынешнее демографическое положение России — хуже некуда. И света в конце тоннеля пока не видно. Нужно менять демографическую политику (если таковая у страны есть). Главной ее целью должно быть возвращение к простому воспроизводству населения. Это означает достижение такого уровня рождаемости, при котором детские поколения будут численно равны родительским. Для этого нужна массовая среднететная (с тремя-четырьмя детьми) семья. Как этого достичь? Ответ на вопрос — если этот ответ возможен — может дать только наука». В статье оговорен период, на который дается прогноз, — 25—30 лет. И вот вывод: на этот период решение проблемы невозможно. Сакраментальный вопрос «что делать?» и здесь остается без ответа.

По определению, текстом-вопросом является версия. А. А. Тертычный считает, что «цель создания и публикации версии заключается в том, чтобы познакомить аудиторию с «промежуточными» результатами изучения какого-либо события, явления, представить на суд читателей, зрителей, слушателей авторское толкование (комментарий) происходящего. Версия показывает направление размышлений автора публикации, «вооружает» аудиторию информацией о возможных причинно-следственных связях отображаемых событий, дает варианты прогноза их дальнейшего развития» [Тертычный 1998: 236].

В версии, безусловно, говорится о том, как, возможно, произошло событие или что, возможно, произойдет. Но вряд ли в психологическом отношении это промежуточный этап работы над материалом. Качество добываемой информации, сами условия ее получения в целом таковы, что никакого окончательного варианта журналист может никогда не написать. Версия — жанр, который дает автору возможность создавать произведение в условиях неполной, противоречивой, а часто просто лживой информации. И вот в этих условиях автор и говорит читателю: «Может быть, это было так?» или «Может быть, нас ждет такое событие?».

Например, публикация Михаила Деягина «Планы БАБа» (Версия. 2001. № 7) имеет подзаголовок «Одна из версий развития событий». Невозможно себе представить, что, даже если события пойдут по описанному сценарию, мы когда-нибудь узнаем что-нибудь точ-

ное о планах Березовского. Все написанное в газете по этому поводу обречено всегда быть только версией. Текст версии насыщен показателями модальности неуверенности/возможности, поскольку сама проблемная ситуация является лишь вероятной. Редакционная врезка сразу называет ситуацию и вводит показатель возможности: «В осведомленных кругах идут разговоры о том, что в списке кандидатов на пост президента России, который рассматривает Борис Абрамович Березовский, фигурирует губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов, в недавнем прошлом боевой генерал, получивший известность в ходе чеченских кампаний как сторонник „жестких зачисток“ и войны до полного уничтожения боевиков. Естественно, возникает вопрос: а как же Путин? Против Путина якобы планируется организовать „стихийный гнев трудящихся“. Для этого Березовскому ничего не нужно делать, поскольку за него все уже делают Греф и Чубайс. Отсюда естествен переход к анализу социальных и экономических реформ, позитивный смысл которых сомнителен и которые могут привести к дестабилизации общества. Модальность неуверенности является основной в изложении данного материала: «Насколько можно понять по содержанию разрабатываемых ими реформ, они считают, что Путин возьмет на себя последствия решения всех проблем экономики за счет населения и приватизации наиболее лакомых частей естественных монополий вместо обеспечения их надежности»; «Это предопределяет возникновение хаоса и „мутной воды“, в которой так любят ловить рыбку наши либералы-реформаторы»; «Схожие ощущения вызывает пенсионная реформа: не ясно, откуда возьмутся деньги на ее реализацию и где они будут с должной надежностью и прибыльностью размещаться». Заканчивается текст констатацией того, что возможен внутривнутриполитический кризис, в котором Путину не будет оказана поддержка Запада.

Таким образом, газетные жанры очень чутко реагируют на социально-политические перемены. Появление текста-вопроса — это отклик на идеологическую сумятицу, массовое недоверие к властям, недостоверность часто даже официальной информации. Безвозвратно прошли времена, когда незнание было лишь временным состоянием общественного сознания и заканчивалось, когда удавалось рассмотреть проблемную ситуацию «в свете идей марксизма-ленинизма». Найденная цитата сразу становилась ответом на все вопро-

сы. Наступило время, когда у общества есть лишь вопросы, разрешить которые может только сама жизнь, причем не обязательно в лучшую сторону. Это состояние общественного сознания и фиксирует журналистика своими аналитическими материалами, в которых главной ценностью является сама постановка серьезной общественной проблемы.

Репертуар проблемных вопросов, формы их предъявления, модели разворотов, способы аргументации, специализированные текстотипы и речевые жанры — все это помогает осуществить процедуру диагностики социальной и идеологической толерантности.

ОППОЗИЦИЯ «ПРОВИНЦИЯ — СТОЛИЦА» В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТЕКСТЕ*

Л. В. Енина

Понимая толерантность как социально-психологическую характеристику индивидов и социальных групп, проявляющуюся в их взаимодействии с другими индивидами или социальными группами [Дзялошинский 2002: 1], важно осмыслить отражение социальных стереотипов в языке средств массовой информации. Такое осмысление требует, как минимум, решения двух задач: 1) выявить болезненные точки, стереотипные установки, вызывающие напряженность во взаимодействии членов общества, и 2) предложить вариативные способы речевого выражения социальных стереотипов, снижающие психологическую напряженность.

Многоплановая социальная стратификация общества (богатые и бедные, здоровые и больные, люди с гетеросексуальной и гомосексуальной ориентацией и др.) находит свое отражение в языке. Каждая из этих групп имеет набор языковых стереотипных формул, выражающих толерантную или интолерантную позицию по отношению к ним. В настоящей работе мы обратимся к языковому

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-101-а).

© Л. В. Енина, 2003

представлению социальных отношений, основанных на территориально-административных различиях.

Региональное устройство России — актуальный предмет изучения многих научных дисциплин. Можно говорить об административно-правовых, институционально-политических и социокультурных аспектах внутрироссийской региональной структуры. Социокультурный аспект данной проблематики проявляется и в целом ряде лингвистических работ, в которых на первый план выходит региональный аспект изучения языка [Ерофеева 1979; Живая речь... 1988; Сиротинина 1988; Языковой облик уральского города 1990; Шалина 1998; Китайгородская, Розанова 1999; и др]. Интересна в этом аспекте и литературоведческая работа С. Б. Ходова «Эстетическая позиция российского регионального журнала «Урал»(1958—1998)». Сам факт обращения ученых к особенностям регионального языкового существования показывает актуальность и востребованность культурологического осмысления оппозиции «центр — периферия», «столица — провинция».

По нашим наблюдениям, характеристика по территориальному происхождению или территориальной принадлежности оказывает неизбежное влияние на статусную характеристику партнера по коммуникации. Функционирование стереотипов *житель столицы* и *житель провинции* мы проследим на материале современной прессы, поскольку именно СМИ являются, с одной стороны, зеркалом массового сознания, а с другой — пропагандистами определенных ценностных установок.

Будем исходить из следующего определения: **языковой стереотип** понимается как суждение (или несколько суждений), относящееся к определенному объекту внеязыкового мира как «субъективно детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое является результатом истолкования действительности в рамках социально выработанных познавательных моделей» [Прохоров 1997: 72]. Если стереотип — это ментальное представление, образ, то в речи, тексте он получает свое воплощение в идеологеме. В данной работе мы будем придерживаться бахтинского понимания идеологии [Бахтин 1993] (ср. разграничение понятий идеологемы и культуры в работе: [Купина 1998]). Также мы воспользуемся термином **категория точки зре-**

ния в понимании Б. А. Успенского: «Точка зрения как самый общий уровень, на котором может проявляться различие авторских позиций, уровень, который условно можно обозначить как идеологический или оценочный, понимая под оценкой общую систему идейного мировосприятия» [Успенский 2000: 22].

Толковый словарь отмечает, что понятие «провинция» прежде всего географическое: *провинция* — «(устар.) отдаленная от столицы, центра местность; периферия» [МАС, т. 3: 471]. В словарной статье *столица* — «главный город, административно-политический центр государства // какой-либо город, село, являющееся центром чего-либо»; *столичный* — «прил. к *столица* // свойственный столице, такой, как в столице» [МАС, т. 4: 272]. Подчеркнем фиксацию в словаре сравнительного оборота по отношению к лексеме *столичный*: **такой, как в столице**, то есть столица выступает своего рода мерилем, эталоном.

Признание некоего города столицей влечет за собой большие экономические и культурные дивиденды. В соответствии с концепцией социальных пространств, разработанной П. Бурдьё, «социальное пространство — не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно. Физическое пространство есть проекция социального пространства. Реализованное физически социальное пространство представляет собой распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг... Распределения в физическом пространстве благ и услуг, соответствующих различным полям или различным объективированным физически социальным пространствам, стремятся наложиться друг на друга: следствием этого является концентрация наиболее дефицитных благ и их собственников в определенных местах физического пространства (Пятая авеню или гетто)» [Бурдьё 1993: 247—248]. Получается, что провинция от столицы отличается не столько географической удаленностью, сколько социальной ущербностью, меньшей концентрацией разного рода капиталов. Социально заданные роли столицы и провинции привычны для европейской культуры: «Столица, которая — по меньшей мере во Франции — является местом капитала, то есть местом в физическом пространстве, где сконцентрированы высшие позиции всех полей и большая часть агентов, занимающих эти домини-

рующие позиции. Следовательно, столица не может осмысливаться иначе, как в отношении с провинцией, которая не располагает ничем иным, кроме лишения (относительного) и столичности, и капитала» [Там же].

Стереотип проявляется в конкретных идеологемах, причем идеологема не всегда содержит исчерпывающее представление об объекте, а часто высвечивает какую-либо одну сторону существующего образа. В монографии «Язык социального статуса» В. И. Карасик выделяет следующие критерии стереотипизации: 1) внешний вид, 2) привычки и традиции, 3) степень цивилизованности, 4) способности, 5) моральные качества [Карасик 1992]. Последовательно рассмотрим проявление этих критериев в идеологемах «провинция» и «столица». Конечно, эти критерии часто пересекаются в конкретных идеологемах, поэтому в ходе анализа деление на критерии достаточно условно.

Известно, что внешний вид — первый знак, по которому проводится статусная, социальная идентификация. Одной из сфер проявления социального статуса является понятие «индексация стиля жизни», которое рассматривается прежде всего на уровне языка вещей и отношений к ним. Названный критерий в газетных текстах представлен весьма подробным описанием быта провинции. Рассмотрим яркое описание внешних черт образа жизни провинциального города: *Мы сидим за длинным столом, накрытым липкой клеенкой в цветочек. Гнутой алюминиевой ложкой Илья ест гречку с печенкой (комкообразная пища — говорится о ней ниже. — Л. Е.). Илья Хаит кусает пирожок с капустой, запивает его компотом и продолжает развивать свою мысль...* (Эксперт. 2001. № 17(277): 21—25). Приметы вещного мира: *липкая клеенка в цветочек, алюминиевая ложка*, наименования простой пищи (*гречка, печенка*) несут на себе печать небеспеченности и неприязнательности.

В статье под названием «Неделя моды на Урале. Взгляд обывателя» (МК-Урал. 2001. 29 нояб.—6 дек.) журналист подробно описывает показ мод в Екатеринбурге. В приводимом ниже фрагменте оппозиция задана подзаголовком (*Екатеринбург опять сподобился организовать мероприятие, носящее столичный привкус*), в котором на лексическом уровне (*сподобился* — шутл., ирон.; *столичный привкус* — перен., уничижит.) выражено пренебрежение

к местному показу мод и подчеркнуто несоответствие показа моды высоким столичным стандартам: *Когда идешь на дефиле, поневоле ожидаешь увидеть в зале определенный бомонд, околomodную тусовку, снисходительно взирающую вокруг и небрежно роняющую какие-то свои термины... Но — нет! В зале лишь отдельные личности бросаются в глаза своим невообразимым видом, и они выглядят нелепо среди всеобщей скромности.* Фиксируется ожидание определенного рода публики (столичного типа) — *снисходительной* и социально закрытой, однако публика отличается от ожидаемого всеобщей скромностью, а *невообразимый вид* оценивается отрицательно (*выглядят нелепо*). Присутствует ценностная оппозиция *снисходительный — скромный*. В тексте отражается двойственная позиция автора: с одной стороны, в подзаголовке событие оценивается как второсортное, а в речевой ткани текста, словно в компенсацию, наблюдаем противоположную оценку публики. Таким образом, журналист одновременно оценивает событие с разных мировоззренческих позиций — с точки зрения столичного жителя и с точки зрения жителя провинции.

Критерий привычки и традиции относительно провинции часто сводится к образу ничегонеделания: *Едешь-едешь, а вокруг обычная полная жопа, — вспоминает сейчас этот эпизод художник Полисский.... — Внезапно в 60 километрах от города Калуги, в 35 километрах от города Кондрово, крупнейшего производителя туалетной бумаги, взорам творческих людей открылся девственный рай. Он состоял из заброшенного коровника и бугра примерно в семистах метрах от него. Оказавшись на бугре, интеллигенция увидела ширь, даль и простор. Имелись луг, деревья, травы, источавшие истому, и излучина русской реки Угры, делавшей в этом месте изящный поворот направо...» Художник Полисский сейчас же решил купить один из заброшенных домов и остаться в раю навсегда, чтобы тоже лениво просыпаться, вдыхать истому, созерцать до потери сознания, на нетвердых ногах идти потом на бугор, глядеть, как река Угра посреди леса делает свой немислимый поворот направо. Обоснование покупки дома дается через перечисление желаемых действий, связанных с пассивным образом жизни: лениво просыпаться, вдыхать истому, созерцать до потери сознания, глядеть, как река делает поворот направо. При этом в тексте, помимо красоты природы, автор указывает на нежилую местность: дважды*

ды повторяется определение *заброшенный*. Да и семантика райской жизни подчеркивает удаленность от привычного местожительства автора. Заметим, что в тексте присутствуют одновременно два противоположных отношения: провинция предстает и *райским местом*, и *последней дырой*, и как *райская жизнь*, и как *полная жопа*. Мы видим, что провинция мыслится как отклонение от стандарта и в сторону плюса, и в сторону минуса. Решение художника (жителя столицы) воспринимается как чудачество.

В другом тексте, посвященном молодым менеджерам, взявшим-ся за реконструкцию мотостроительного завода в Ирбите, это их решение называется героическим и абсурдным, то есть и в данном случае имеет место отклонение от стандартов столичного мышления. Имплицитно фиксируется стереотип устремленности из провинции в столицу: *Эта история интересна не только решениями, которые собираются принимать менеджеры. Важен их поступок сам по себе. Похоже, он свидетельствует о весьма важной тенденции: наемные управленцы в России бросают свои спокойные столичные офисы и отправляются в глубинку, чтобы там, рискуя деньгами и репутацией, воплощать в жизнь свои профессиональные амбиции...* «Господин Бендукидзе решил продать предприятие. Дураков не нашлось. Остатки завода в городе, о существовании которого не подозревала страна, никому были не нужны. Но случилось невероятное: руководству предприятия, два года возившемуся с ИМЗ (Ирбитский мотостроительный завод. — Л. Е.), стало жалко мотоциклы «Урал». Люди решили совершить героический и абсурдный поступок (Эксперт. 2001. № 17(277): 21—25).

Отметим также, что идеологема «провинция» получает в контексте семантическую добавку «игнорирование»: город Ирбит, о существовании которого не подозревала страна. Показательным является тот факт, что снисходительное отношение к провинции влечет за собой грубые фактические ошибки. В этой же статье журналисты ничтоже сумняшеся называют город Ирбит (Свердловская область) сибирским городом: *Серьезно пока то, что 12 октября прошлого года на заводе отключили электричество. Это было самое яркое впечатление директора по развитию за все время умственной революции, которую он собирается совершить в далеком сибирском городке* (выделено мной. — Л. Е.). Какова причина подобной ошибки? Непрофессио-

нализм журналистов или въевшийся в сознание стереотип: *все, что за Москвой, — Сибирь?*

Обозначим точку зрения провинции по отношению к жизни столицы и по отношению к собственной жизни. Точка зрения жителя провинции широко представлена в региональной прессе. Например, газета «Провинциальная хроника» (Пилотный выпуск. 2000. Март) пишет: *Что такое провинция? Все, что не Москва. Не только. Это образ жизни. Неторопливый, патриархально-размеренный, консервативный. Пусть сколь угодно смеется столица над нашим консерватизмом, но это устойчивость быта, близость почвы, удаленность от новомодных и всегда преходящих веяний, это ощущение дома, родины. Все то, на чем Русь всегда держалась. ... Только в провинции, вдали от столичной суеты, можно по-настоящему задуматься. ... Трудно, голодно и холодно живет сегодня провинция в отличие от зажиревшей и потерявшей всякий стыд столицы. Но как сказал один крестьянин в Государственной думе: «Кто-то должен жить и в Чухломе». И не просто жить, а жить достойно. И столицу заставить себя уважать. А столице, кажется, не следует задирать нос, а понять, наконец, что провинция — ее «берегиня», «охранительный пояс», «охранная грамота». Актуален идеологический смысл неактивного действия: *Только в провинции, вдали от столичной суеты, можно по-настоящему задуматься.* В тексте находит воплощение оценочная оппозиция: провинция — хорошо, столица — плохо. Столица воспринимается зажиревшей и потерявшей всякий стыд. Внешний вид и одновременно тип поведения столичного жителя метонимически передан фразеологизмом *задирать нос*. Отметим также, что, говоря о провинции, автор использует маркированную лексику, например: *берегиня, охранная грамота, Русь*. Взаимоотношения провинции и столицы видятся автору как интолерантные, не исключающие применения вербального или невербального насилия: *заставить себя уважать*.*

Степень цивилизованности — этот критерий выделяется только по отношению к провинции и всегда со знаком «минус». Начиная с отсутствия горячей воды (*городок с населением в 48 тыс. человек, живущим в домах без горячей воды*) и заканчивая современными средствами связи (*для них Интернет не понятнее Талмуда; дремучесть местных кадров*). Однако, с точки зрения жите-

ля провинции, этот критерий оборачивается противоположной стороной: *дремучесть* трансформируется в *консерватизм* (см. выше текст из газеты «Провинциальная хроника»). Отметим, что одно и то же явление получает противоположный оценочный смысл в зависимости от ценностной позиции, сформированной на фоне территориальной принадлежности, географического положения. Вспоминаются первые годы советской власти при чтении следующего фрагмента: *У окна кабинета Тряпичкина стоит печка-буржуйка на ножках, рядом аккуратной пирамидкой сложены дрова. За окном идет пушистый снег, температура воздуха — 5 градусов (в Москве +17)*. Для автора точкой отсчета даже для погоды становится столица.

Критерий цивилизованности в стереотипном представлении о столице становится неважным, а территориальная принадлежность к столице становится показателем высокой степени цивилизованности.

Критерий человеческой одаренности нечасто проявляется в идеологемах «провинция», «столица» и противоположных оценочных суждений не имеет. Чаще авторы газетных публикаций стремятся подчеркнуть, что провинция является «поставщицей» талантов, прежде всего литературных. Именно в провинции созревают люди творческих профессий: *Подавляющее число гениев, составляющих и прошлую, и настоящую мировую славу России, вышли именно из глубинки... Именно в глубинке формируется величайший творческий потенциал, которым поражают мир наши люди искусства и науки*. (Деловой вторник. 2001. 11 дек.).

Критерий нравственности реализуется в двух противоположных направлениях. Оппозиция «провинция — столица» вскрывает моральный облик провинциалов и столичных жителей. Используем в качестве примера статью под названием «Боря и борцы за нравственность» (МК-Урал. 2002. 18—25 апр.). В статье идет речь о митинге, устроенном в Иркутске депутатами гордумы, в связи с концертами Бориса Моисеева. Комментарий журналистов: *Похоже, иркутские протесты родились из несокрушимой сибирской целомудренности*. Выражение *несокрушимая сибирская целомудренность* подразумевает патриархально-размеренный образ жизни» (см. выше текст из газеты «Провинциальная хроника»). Локальный указа-

тель *Иркутск* вступает в оппозицию со словосочетанием *столичные гости*. Эта статья поддерживается отсылкой к подобному событию в Екатеринбурге: *В общем, в Екатеринбурге подошли к вопросу моссеевских гастролей более реально. Прощупав аудиторию, определили, что «не пущать» не получится, ибо Екатеринбург — не провинциальный город, где легко прошел бы запрет, да еще в такой пикантной форме*. Стереотип провинциального города подразумевает господство патриархальных взглядов, несовместимых с толерантным отношением к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Екатеринбург тоже нестоличный город, но «постоличнее» Иркутска, поэтому используются не прямые формы запрета: *надо действовать исподволь...*

Надо сказать, что образ столицы нередко наделяется бездуховностью: *Люди столицы, те, у которых осталась душа, не обкусанная Гарри Поттером и Покемонами* (Лит. газета. 2002. 11 июня).

На страницах общероссийской прессы нередко замечания о недоверии к информации из провинции: *А есть ли уверенность, что эти невероятные подробности не плод выдумки моих коллег, тем более из не очень крупного провинциального города, где повседневная жизнь не так богата примечательными событиями?* (МК-Урал. 2002. 10—17 янв.). Журналист прямо упрекает коллег в недобросовестности, неправдивости, аргументируя это положение территориальной удаленностью провинциального города от Москвы. Другой пример: *Центр Москвы. Холл пятизвездочной гостиницы. Респектабельные бизнесмены чинно читают газеты и пьют кофе. В сторонке от важных господ русская тусовка: наши провинциальные барышни от 16 и старше расселись в кружок и стреляют по сторонам глазами... Правда, москвичек на этих сборищах почти не встретишь, в основном они рассчитаны на жительниц маленьких провинциальных городков и подмосковной глубинки, ведь оттуда особенно сильно хочется попасть за кордон* (МК-Урал. 2002. 10—17 янв.). В тексте рассказывается о девушках, мечтающих о браке с иностранцами. Прямая оппозиция, выраженная на лексическом уровне, *провинциальные барышни — москвички* реализует скрытое противопоставление девушек по моральным качествам: провинциалки, в отличие от столичных девушек (своего рода нравственного образца), корыстолюбивы, охотчивы до легкой жизни и мечтают о замужестве.

Обратимся еще раз к словарю: *провинциал* — «устар. житель провинции, местности, отдаленной от столицы, центра // человек с привычками, особенностями, свойственными жителям провинции, а также человек с ограниченными интересами, с узким кругозором и т. п.» [МАС, т. 3: 470]. По данным современных газетных текстов, оттенок значения лексемы *провинциал* «тот, кто имеет ограниченные интересы», зафиксированный словарем, и основное словарное значение соединяются. Более того, в контекстах слова *провинциал*, *провинциальный* приобретают устойчивую отрицательную коннотацию.

Таким образом, с точки зрения системы ценностей столицы, провинция внешне выглядит нелепо, ей свойственны созерцательность, низкая степень цивилизованности; провинциалы нередко обладают большими способностями, невысокими моральными качествами и мечтают о жизни в столице. Взгляд изнутри иной: провинция воплощает скромность, вдумчивость, талант, нравственность при низкой степени цивилизованности.

С точки зрения провинции, столица предстает погрязшей в достатке и обеспеченности, зажившей и потерявшей всякий стыд, высокомерной, поверхностной, падкой на новомодные веяния, безнравственной. Характерные для текстов региональных газет яркие метафоры, передающие отрицательный внешний и внутренний облик столицы, использование жаргонных выражений в качестве речевого кода жителей столицы и текстовые оценочные оппозиции работают на тиражирование интолерантного отношения к столице. Надо отметить, что нам встретилось крайне мало текстов, в которых была бы представлена точка зрения столицы изнутри.

Отталкиваясь от социологического понятия рессантимента, которое, на наш взгляд, применимо к анализируемым социальным стереотипам, можно сказать, что в обществах, где «преобладает достижительный статус, а не приписанный, враждебность в отношениях между стратами смешивается с сильным позитивным влечением к тем, кто стоит выше в социальной иерархии и задает модели поведения... Рессантимент — это не прямое отрицание ценностей или групп, на которые обращены негативные эмоции; это скорее злоба, соединенная с завистью: то, что открыто отрица-

ется и осуждается, является предметом тайного вожеления» [Козер 2000: 56]. Маркеры агрессии, характерные для языкового выражения стереотипа столицы в региональной прессе, могут быть объяснены стремлением стать столичным жителем, встать на одну ступень со столицей, преодолеть социальное и физическое (территориальное) разделение (ср., например, высказывание В. Кальпиди: «Любой провинциальный художник мечтает пройти инициацию в Москве. Ну, почти любой. Процентное соотношение в данном случае не принципиально, ибо мало настолько, насколько оно мало» (Урал. новь. 2000. № 6: 166)).

В газетных текстах стереотипы, воплощенные в идеологемах «провинция» и «столица», противопоставлены друг другу, но все же не формируют образ врага. Скорее это стереотипы предубеждения, которые маркируют позиции вышестоящих и нижестоящих. Отрицательная коннотация здесь не является условием изгнания «чужого».

Другая ситуация в текстах на политические темы. С точки зрения столицы, идеологема «провинция» нередко подается с коннотацией незначительности, уничижительности. Например, в телевизионном комментарии о составе Государственной думы: *Никому не известные региональные политики и тяжеловесы федерального масштаба* (ТВ-6. 2002. 20 янв.). На лексическом уровне оппозиция «провинция — столица» трансформируется в оппозицию «регионы — центр». Стремление журналистов снять коннотации, «прилипшие» к словам *провинция, столица*, можно расценивать как проявление языковой толерантности. Отсюда идет поиск лексических заменителей: *регион, округ, глубинка*, с одной стороны, и *центр, Москва, федералы* — с другой. Эти единицы, однако, приобретают исходные коннотации, что свидетельствует об укорененности оценочных оппозиций данных идеологем в массовом сознании.

Оппозиция «провинция — столица» развивается под влиянием политической речи, находящей отражение в газетном тексте: *Выступая в Госдуме от имени Совета Федерации, Федоров (президент Чувашии. — Л. Е.) говорил о двойных стандартах: если строптивым регионам жестко указывают на место и загоняют «в рамки делегированных центром полномочий», то федеральный центр, в свою очередь, считает вполне возможным вторгаться «в исключительную компетенцию субъ-*

ектов Федерации» и регулировать не только «общие принципы» организации власти в субъектах, как это предусмотрено Конституцией, но и решать вопрос о пребывании у власти избранного президента или губернатора...» (Эксперт. 2000. № 43 (255): 65). В статье излагается мнение президента Чувашии, который приписывает столице роль завоевателя. Смысл завоевания передается глаголом *вторгаться*, а также обилием слов с социально ориентированными значениями [Крысин 89: 147], маркирующими жесткую иерархию отношений регионов и столицы: *указать, регулировать, решать вопрос*. В следующем контексте ярко подчеркивается агрессивность столицы: *Добавим сюда политику федеральных властей, которые применяют к регионам испытанную тактику «разделяй и властвуй»* (Веч. ведомости. 1999. 29 дек.).

Нельзя не заметить, что в политическом дискурсе идеологемы «провинция», «столица» эксплуатируются самым нещадным образом в ходе избирательных кампаний в целях манипуляции. Например: *В областную законодательную власть рвутся пришлые политические силы... Для этих варягов Областная Дума лишь средство в политической игре* (Народ. воля. 2002. 10—12 апр.); *Я обращаюсь к губахинцам: голосуйте за коренных жителей Губахи, не нужны нам пришлые варяги, мы сами хозяева своего родного города* (Урал. шахтер. 2000. 18 нояб.); *Если бы Центр завтра рассчитался бы с нами по своим долгам, послезавтра область не имела бы задолженности по зарплате. ... Эти цифры дают понять, что не регионы списывают на Центр свои огрехи. Дело обстоит с точностью до наоборот. Именно отдельные силы в Первопрестольной «переводят стрелки» социального напряжения на края и области России»*. (Преображение Урала. 1999. 12 апр.). В последнем примере использовано жаргонное выражение, которое выполняет функцию социальной оценки и косвенно указывает на криминальность столичных властей.

Провинциал, равно как и житель столицы, — это социально-культурный феномен, сложившийся социальный тип. Журналистский текст фиксирует, отражает мировоззрение социальных групп. Задача СМИ как инструмента культурной политики не стремиться к нивелировке провинциального и столичного, а учиться говорить об этих различиях без раздражения и агрессивности.

НАУЧНАЯ ПОЛЕМИКА КАК ЭТАЛОН ТОЛЕРАНТНОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

М. Ю. Федосюк

Но посмотрите внимательнее на это резюмирование самим Богдановым его пресловутого «эмпириомонизма» и «подстановки». Физический мир оказывается опытом людей и объявляется, что физический мир «выше» в цепи развития, чем психический. Да ведь это же вопиющая бессмыслица! И бессмыслица эта как раз такая, какая свойственна всей и всякой идеалистической философии. Это прямо комизм, если подобную «систему» Богданов подводит тоже под материализм: и у меня-де природа первичное, дух вторичное.

*В. И. Ленин. Материализм
и эмпириокритицизм*

Начнем наши рассуждения от противного. Совершенно очевидно, что цитата, вынесенная нами в эпиграф, не соответствует современным нормам ведения научных дискуссий. С точки зрения содержания приведенному здесь высказыванию В. И. Ленина не хватает аргументации, которая бы логически, а не эмоционально демонстрировала ошибочность осуждаемой точки зрения А. А. Богданова, а с точки зрения формы — уважительного отношения к научному оппоненту и его мнению. Использованные формулировки свидетельствуют об отсутствии в речевом поведении автора толерантности, то есть «терпимости к иного рода взглядам, нравам, привычкам» [Краткая философская энциклопедия 1994: 457] (ср.: [Михайлова 2001; Ищенко 1993]). Между тем толерантная форма выражения критических замечаний является нормой современной научной коммуникации, и отступления от нее, как правило, не увеличивают доказательную силу рассуждений ученого, а, напротив, ставят справедливость этих рассуждений под сомнение.

Традиция толерантности научных дискуссий имеет достаточно давнюю историю. В написанной более 80 лет назад, но до сих пор не утратившей своей актуальности популярной книге о теории и практике спора известный российский логик С. И. Поварнин среди основных видов спора называет: 1) спор, целью которого является проверка истины, 2) спор, направленный на убеждение противника, и 3) спор, который ведется исключительно ради победы над оппонентом [Поварнин 1994: 26—31]. Эти же важнейшие виды спора упоминает в своей «Теории риторики» Ю. В. Рождественский. Опираясь на античную традицию, он называет принципы ведения спора ради постижения истины *диалектический*; принципы, на которых строится спор, направленный на убеждение противника, — *софистический*, наконец, принципы спора, ведущегося исключительно для достижения победы, — *эристический* [Рождественский 1999: 85—89].

Вот как характеризует первую из только что упомянутых разновидностей спора, то есть спор диалектический, С. И. Поварнин: «В чистом, выдержанном до конца виде этот тип спора встречается редко, только между очень интеллигентными и спокойными людьми. Если сойдутся два таких человека, и для обоих их данная мысль не кажется уже совершенно готовой и припечатанной истиной, и оба они смотрят на спор как на средство проверки, то спор иногда получает особый характер какой-то красоты. Он доставляет, кроме несомненной пользы, истинное наслаждение и удовлетворение; является поистине «умственным пиром»». И далее: «Такой спор есть по существу совместное расследование истины. Это высшая форма спора, самая благородная и самая прекрасная» [Поварнин 1994: 27].

Если попытаться установить хотя бы приблизительные соответствия между типами спора и сферами общения, то достаточно легко прийти к выводу о том, что диалектические споры в большей степени характерны для общения в сфере науки, тогда как софистические и эристические споры — в сферах политики [Жельвис 1999], а также в быту. Очевидно, что, будучи диалектическим по своему содержанию, научный спор должен быть толерантным по форме. Среди причин такого положения следует назвать, во-первых, осознание любым добросовестным ученым того, что всякая научная истина отно-

сительна и с течением времени может быть уточнена или даже опровергнута [Котюрова 2001], во-вторых, ориентацию на совместный с другими исследователями (в том числе и с оппонентами) поиск этой истины и, наконец, в-третьих, органически присущую научной речи установку на объективность изложения и соответственно стремление избегать категоричных утверждений и оценок. Все это дает основания рассматривать научную полемику если как не эталон, то, во всяком случае, как наиболее полное воплощение принципов толерантного речевого общения.

Благодаря перечисленным обстоятельствам современная научная речь располагает богатым арсеналом средств, предназначенных для того, чтобы сдержанно и корректно по отношению к оппоненту выражать критические замечания в его адрес. Упомянутые средства достаточно хорошо известны любому опытному ученому, однако, во-первых (и это может подтвердить любой преподаватель, руководящий курсовыми и дипломными работами или даже кандидатскими диссертациями), эти средства не всегда умело используются начинающими исследователями, а во-вторых, насколько мы можем судить, они пока еще не систематизированы и не описаны.

Ниже, опираясь преимущественно на материал современных научных монографий, диссертаций и учебников лингвистической тематики, мы попытаемся охарактеризовать систему толерантных способов выражения критических замечаний, существующую в русской научной речи. Хотелось бы подчеркнуть, что нас интересует исключительно форма выражения тех замечаний, которые приводятся в качестве примеров. Поэтому следует иметь в виду, что использование тех или иных лингвистических исследований в качестве источника материала совсем не означает нашей солидарности с излагаемыми в них точками зрения и что в задачи данного исследования ни в коей мере не входит оценка степени аргументированности или справедливости тех критических замечаний, форма которых была подвергнута анализу.

Исходя из априорных соображений, можно утверждать, что, в принципе, отрицательная оценка того или иного компонента научного исследования способна быть оформлена с большей или меньшей степенью направленности на автора этого исследования. Она может быть выражена, во-первых, как оценка деятельности

упомянутого автора (например: *В своем исследовании Х. нечетко определил понятие «система»*), во-вторых, как оценка самого научного исследования (*В работе Х. нечетко определено понятие «система»*) и, наконец, в-третьих, как оценка восприятия этого исследования адресатом (*Не совсем понятно, какое содержание Х. вкладывает в понятие «система»*). Несмотря на то, что по своей сути три упомянутых типа оценочных высказываний могут полностью совпадать, они отличаются друг от друга степенью толерантности по отношению к автору исследования и потому с разной степенью частоты встречаются в научных текстах.

1. В наименьшей степени ущемляют достоинство критикуемого автора высказывания, оценивающие его научное исследование через восприятие содержания этого исследования научным оппонентом. Очевидно, именно поэтому высказывания подобного типа встречаются в научных текстах гораздо чаще, чем те, которые критически оценивают научную деятельность автора. При этом, как показывают наблюдения, высказывания рассматриваемого типа могут быть построены по следующим типовым схемам:

1.1. Сообщение о непонятности для оппонента тех или иных содержащихся в критикуемом тексте утверждений, например: «Чувствуя необходимость разграничения категорий изобразительности, выразительности, образности и средств языка и речи каждой категории, С. И. Львова в пособии «Уроки русской словесности: 5—9 классы» формально делает такую попытку. Однако содержательно и здесь разграничение названных категорий отсутствует. <... > Таким образом ... непонятно, являются ли все перечисленные ресурсы (образные, изобразительные, выразительные) до синтаксического уровня богатством или им является только синтаксис» (Пекарская 2001: 44—45)*;

«В статье, кроме тоталитарного, советского, антисоветского, большевистского грузинского и националистического украинского русскоязычных дискурсов, есть еще антитезисный и альтернативные дискурс-универсумы, идиодискурс, язык-дискурс, макродис-

* Ссылки на источники материала даны в круглых скобках (см. список источников в конце статьи).

курс и дискурс-доминанта. Речь, между тем, идет лишь об одном тексте — речи Сталина по поводу киноповести А. П. Довженко «Украина в огне» на заседании Политбюро ВКП(б) 31 января 1944 г. *В результате понять, что такое дискурс в трактовке автора, и, следовательно, понять интерпретацию материала затруднительно»* (Романенко 2001: 24);

«Из приведенных определений никак нельзя понять, в чем же разница между нормой и узусом и почему эти термины сосуществуют в языке» (Пекарская 2001: 100).

1.2. Сообщение о сомнениях, удивлении и тому подобных чувствах, которые вызывают у оппонента некоторые из утверждений автора. Например:

«В связи с этим сужение понятия образности до употребления слова в переносном значении в некоторых работах вызывает сомнение в его целесообразности» (Пекарская 2001: 62);

«Вызывает удивление почти полное отсутствие работ по систематическому сопоставлению НК <непрямой коммуникации> и ИК <имплицитной коммуникации>. Исследователями имплицитных конструкций ИК и НК нередко рассматриваются вместе, при этом многие разновидности НК понимаются как периферийные проявления ИК» (Дементьев 2001: 104);

«Очевидно, на эти вопросы должно было бы ответить содержание самих глав. Однако в них мы не только не находим ответа, а, напротив, в ходе прочтения книги (очень содержательной и интересной, к слову сказать, и в плане описания наиболее значимых «богатств» языка, и в плане приводимых языковых примеров) растет недоумение от «смещения» различных категорий» (Пекарская 2001: 45).

1.3. Сообщение о несогласии оппонента с некоторыми из содержащихся в критикуемом тексте утверждений, например:

«Когнитивные аспекты цвета среди других аспектов семантики предметных имен затрагиваются Е. В. Рахилиной в монографии «Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость». <...> Не со всеми положениями, выдвигаемыми Е. В. Рахилиной, мы, однако, можем согласиться» (Кульпина 2001: 52);

«Вместе с тем трудно согласиться с тезисом Н. В. Серова о возможности единого для всего человечества мира перцептивного цве-

тового пространства, что, по его мнению, „дает возможность подойти к формулировке задачи единого естественно-органического языка (кода образных сублиматов) для любых языковых групп“...» (там же: 55—56);

«Более убедительным противопоставлением ей <Е. Г. Ковалевской> представляется первое, т. к. любая речь нормирована, хотя степень и характер нормированности у различных тропов не совпадают. *Позволим себе не согласиться с данным замечанием о «большей убедительности» первого противопоставления и отметить, что как раз противопоставление второе и требует особо пристального внимания, т. к. сами понятия «узус» и «норма» зачастую употребляются как дублетные»* (Пекарская 2001: 100).

2. Весьма частотны в научных текстах и высказывания, построенные как оценка тех или иных компонентов анализируемой работы. Наблюдения показывают, что такие высказывания могут строиться по следующим схемам:

2.1. Сообщение о некорректности, нецелесообразности, уязвимости для критики и тому подобных недостатках каких-либо из содержащихся в критикуемом тексте положений, например:

«Важно также отметить, что простая форма сравнительной степени прилагательных на -ее оказывается омонимичной простой форме сравнительной степени наречий; различия обнаруживаются только в их синтаксическом употреблении. <...> Это дает основания некоторым лингвистам делать вывод о синкретичности данной формы. <...> *С нашей точки зрения, такое классификационное объединение форм сравнительной степени прилагательных и наречий себя не оправдывает»* (Норман 2001: 394);

«*Рассмотренная классификация уязвима, т. к., как и целый ряд других, она ставит в один ряд собственно фигуры и принципы их построения»* (Пекарская 2001: 116);

«*Вместе с тем подход П. Серю в определенной степени и ограничен. Он сугубо синхроничен и не описывает развитие, динамику явления (материал к тому же представляет только послесталинскую словесность и только в жанре доклада»* (Романенко 2001: 23).

2.2. Сообщение об отсутствии в работе тех или иных необходимых, по мнению критикующего эту работу, компонентов или качеств, например:

«Наиболее четко выстроенной является, на наш взгляд, классификация Т. Г. Хазагеров, Л. С. Шириной. Однако и в ней *не до конца прослеживается соблюдение единства оснований для классификации*» (Пекарская 2001: 119);

«*Нет четкости в употреблении термина «конвергенция», например, в статье Ю. Н. Пугачевой, посвященной „симметрично-асимметричным синтаксическим фигурам“...*» (Там же: 145—146);

«К сожалению, вывод П. Серио не всегда учитывается: в интересной статье К. Э. Штайн «идеологический дискурс» трактуется как *заумь при практическом отсутствии сколько-нибудь представительного материала...*» (Романенко 2001: 23);

«Появилось в это время и систематическое нормативное руководство по советской ораторике... Правда, в нем содержались рекомендации общего характера, и *советская риторическая практика отражения в нем почти не получила*» (Там же: 49).

2.3. Сообщение о том, что та или иная особенность работы препятствует решению определенных вопросов, например:

«Таким образом, гипертропом называется «совокупность» («скопление», по М. Риффатеру) тропов. Подобный подход *не дает возможности выявить характер возможных взаимодействий избразительных средств (тропов и фигур) в тексте*» (Пекарская 2001: 154);

«Слишком широкая трактовка понятия конвергенции М. Риффатером *сделала возможным очень разноречивое его толкование*» (Пекарская 2001: 159);

«В современной истории языкознания установилось мнение, что советская философия языка («марксистское языкознание», «марксизм в языкознании»), принципы которого дискутировались с 20-х по 50-е годы, принадлежит не столько науке, сколько культуре в целом, то есть взаимоотношениям между наукой, идеологией, политикой. <...> Это справедливо, *однако не дает более или менее удовлетворительного объяснения причин влиятельности этого феномена в советском языкознании*» (Романенко 2001: 214—215);

«Напомним, что Т. В. Шмелева включает в «анкету речевого жанра» лишь такой параметр, как «языковое воплощение РЖ». <...> Изучение одного только «языкового воплощения РЖ» в современной речи *значительно обеднило бы понимание РЖ*, поскольку такое

изучение, по сути, ориентировано на искусственный язык, модель языка» (Дементьев 2001: 296—297).

2.4. Сообщение о принципиальном согласии с теми или иными утверждениями критикуемого автора, однако при условии их существенных дополнений или уточнений (в работе [Булыгина, Шмелев 1997: 305—315, 464—467] такой прием ведения спора назван «возражением под видом согласия»). Например:

«Из разбора и обобщения подобных фактов В. Паперный делает вывод о «незнаковом характере слова» в К<ультуре>. *Но, во-первых, нужно говорить не о слове, а, как это видно из примеров, о знаке. Во-вторых, то, что понимает В. Паперный под «незнаковостью», является именно мотивированной, а не условной конструкцией знака...*» (Романенко 2001: 203);

«Интересный факт: Р. М. Фрумкина полагает, что относительное прилагательное «вишневый» вызывает одинаковые представления о цвете. Процитируем: «...можно подумать, что о цвете вишни (соответственно малины) все носители языка имеют одинаковое представление». <...> *В рамках полемики нам хотелось бы подчеркнуть, что эта констатация касается только восприятия данного цвета носителями русского языка.* Однако если мы сравним русский и польский языки, то окажется, что вишневый цвет по-русски и по-польски — это разные цвета: русский вишневый — сродни бордовому цвету. А польское *wisniowy* «вишневый» — это ярко-красный цвет» (Кульпина 2001: 46);

«Белый и красный — это цвета польского флага. И, например, такой известный исследователь польского цвета, как М. Ампель-Рудольф, полагает, что применительно к термину цвета *bialoczerwony* «бело-красный» мы имеем дело с равнозначностью обеих морфем. <...> *Вместе с тем, если учесть фактор экстралингвистический, то тот цвет, который в данном «тандеме» всегда называют первым — белый, он и есть в данном случае самый важный* — ибо это цвет главного элемента польского герба — белого орла» (Там же: 29);

«Можно ли их [причины высокой идеологизированности советского языкознания] свести к авторитарности власти, или они глубже? Подобный вопрос по отношению к марризму поставил В. М. Алпатов и дал ответ: это влияние мифа, а не науки. Он

охарактеризовал и обстоятельства, способствовавшие утверждению и победе этого мифа. <...> *Соглашаясь с этим, нельзя не заметить и некоторой недостаточности такого ответа для истории лингвистики, в которой рассматриваются не только научные теории языка и которая изучает не только имманентную историю лингвистических учений, но и их связь с общественной практикой*» (Романенко 2001: 215).

3. Наконец, наиболее редко встречаются в научных текстах высказывания, в которых в качестве объекта оценки выступает сам автор критикуемого исследования. Среди подобных высказываний можно выделить следующие два подтипа:

3.1. Сообщение о том, что автор критикуемого исследования чего-то не делает или не сделал (не конкретизирует, не доказывает, не замечает), например:

«Г. О. Винокур был прав, критикуя подобным образом советскую ораторику. *Но он не увидел, как увидел А. М. Селищев, тотальности шаблонизации советской словесности, ее канцеляризации*, в результате которой советская ораторика становилась документом, теряя свою стилистику» (Романенко 2001: 40);

«Так, в известном пособии по риторике высказывается мысль, что в современной России не получили большого распространения формы косвенного воздействия, поскольку имплицитные смыслы обычно ассоциируются с некой опасностью, в них подозревают «камень за пазухой». Несмотря на это, автор пособия Е. В. Ключев утверждает, что косвенное воздействие *более эффективно и воздейственно*, чем прямое (*хотя не доказывает этого на речевом материале*)» (Дементьев 2001: 253);

«Таким образом, для В. В. Виноградова предикативность есть не что иное, как комплекс (совокупность) именно тех грамматических категорий, которые опять-таки, по его собственному признанию, «непосредственно, наглядно, морфологически» выражены в глагольных формах или «базируются» на них, хотя и «далеко выходят за их пределы» (*последнее, однако, не конкретизировано В. В. Виноградовым и не вполне ясно*)» (Распопов 1981: 434).

3.2. Сообщение о непоследовательности или недостаточной последовательности критикуемого автора. Например:

«И. А. Стернин в своей „Практической риторике“ непоследователен в терминологии орнаментальных средств: „Немалую роль играют в речи так называемые риторические фигуры — особые приемы речи, повышающие ее убедительность и силу воздействия“. Из данного определения следует, что фигуры — это и есть приемы» (Пекарская 2001: 76);

«Анализируя попытку Л. Г. Барласа разграничить категории изобразительности и выразительности, а значит и изобразительных и выразительных средств, отмечаем, что *автор не всегда последователен в своих рассуждениях*» (Там же: 39—40).

4. Ко всему сказанному следует добавить, что критические замечания любого из перечисленных типов нередко сопровождаются различными языковыми приемами смягчения критики. Перечислим основные их разновидности:

4.1. Оформление критических замечаний как субъективных, являющихся лишь частным мнением пишущего. Рассматриваемый способ смягчения критики базируется на использовании таких оборотов, как *по нашему мнению, представляется, что...*, *как представляется* и т. п. Например:

«О магии, мифологичности, мистичности слова в советской культуре, о власти слова и о страхе перед ним написано много. Это заставляет думать, что имело место реальное явление. Поэтому *представляется* не совсем удачной попытка П. Серио разрешить эту проблему: если понимать «советский язык» не как язык, а как дискурс, то магия исчезает, как и положено фантому. <...> Переход на другую понятийно-терминологическую систему в данном случае, *по нашему мнению*, мало что дает» (Романенко 2001: 200);

«Не со всеми положениями, выдвигаемыми Е. В. Рахилиной, мы, однако, можем согласиться. Так, весьма спорным *представляется нам*, что «семантическое определение цветových прилагательных» ... может быть осуществлено „только отдельно для каждого языка...“» (Кульпина 2001: 52);

«*В нашем понимании*, в подобной характеристике указанных фигур смешиваются (ставятся в один ряд) названия принципов построения фигур (прибавление, перестановка) и названия самих фигур (антитеза, параномасия). *Как представляется*, подобного рода смешение не является целесообразным» (Пекарская 2001: 165).

4.2. Включение в оценочные высказывания различных показателей неуверенности в их достоверности: модальных слов *по-видимому, вероятно, возможно, частиц едва ли, вряд ли* и т. п., например:

«А вот обратную ситуацию, когда выделяются такие качества, как образность, эмоциональность, художественность, а не выделяется специально выразительность, *вряд ли можно считать оправданной* по тем причинам, которые описывались ранее. Подобная ситуация присутствует у М. М. Михайлова» (Пекарская 2001: 63);

«*По-видимому*, С. Ю. Данилов недостаточно корректно выбрал материал для исследования: как видно из его работы, это художественная литература, источник для изучения проработки вторичный» (Романенко 2001: 265).

4.3. Добавление к оценочным предикатам ослабляющих их семантику квалификаторов типа *не совсем, недостаточно, не самый*. Например:

«Оба они [Е. Д. Поливанов и Н. Я. Марр] знали массы (хотя и по-разному, в силу разного социального происхождения), так как активно и профессионально работали с информантами. Поэтому представляется *не совсем корректным* считать их марксистскую ориентацию заблуждением, неким неизбежным для того времени идеологическим пленом, как об этом, например, говорит Л. Р. Концевич по отношению к Е. Д. Поливанову. <...> *Не совсем точным* представляется и мнение Л. Л. Томаса о марксизме Н. Я. Марра как о механическом идеологическом добавлении к уже разработанной лингвистической теории...» (Романенко 2001: 216);

«Интерпретация нормирования советской речевой деятельности как результата только волюнтаризма власти ... представляется *недостаточно корректной* теоретически и неадекватной материалу (речи и речедателям прозы, а не поэзии)» (Там же: 105);

«Что же касается конструирования гигантских определений и изобретения описательных машин, на что ушли десятилетия упорной работы нескольких наших выдающихся лингвистов, то, при всем уважении к их авторам и к достигнутым ими результатам, такая работа сегодня не кажется мне *ни самой интересной, ни самой перспективной*» (Тестелец 2001: 17).

4.4. Снижение коммуникативной значимости оценочных высказываний путем их оформления как вставных конструкций или соединительных придаточных частей. Например:

«Вместе с тем подход П. Серио в определенной степени и ограничен. Он сугубо синхроничен и не описывает развитие, динамику явления (*материал, к тому же, представляет только послесталинскую словесность и только в жанре доклада*)» (Романенко 2001: 23);

«Несмотря на это, автор пособия Е. В. Ключев утверждает, что косвенное воздействие более эффективно и воздейственно, чем прямое (*хотя не доказывает этого на речевом материале*)» (Дементьев 2001: 253);

«И. В. Арнольд, приводя пример конвергенции — однородного ряда на уровне предложения, «уравнивает» понятие фигуры с понятием «тип выдвижения», *что не является целесообразным*» (Пекарская 2001: 161);

«Вообще надо заметить, что в подавляющем большинстве современных отечественных работ речеведческого характера термин «дискурс» употребляется хаотично и в разнообразных значениях <...> В итоге этот русский термин десемантизировался и стал обозначать речь во всех аспектах (а часто и язык), что приблизило его к исконному французскому значению термина, но *не прибавило смысла его русскому употреблению*» (Романенко 2001: 24).

4.5. Сопровождение критических замечаний высказываниями, содержащими похвалу каким-либо другим компонентам или свойствам рассматриваемой работы, например:

«К сожалению, вывод П. Серио не всегда учитывается: *в интересной статье К. Э. Штайн «идеологический дискурс» трактуется как заумь при практическом отсутствии сколько-нибудь представительного материала...*» (Романенко 2001: 23);

«Но работа по изучению темы продолжалась, хотя во многом и утратила аналитизм и критичность. Так, монография И. Ф. Протченко ... *содержавшая интересный фактический материал*, по своей методологии была апологетична, избегала критического анализа фактов, старалась придать их интерпретации пропагандистский характер и потому как источник для описания словесной культуры оказалась малозначимой» (Там же: 49);

«Таким образом, классификация Ю. М. Скребнева *плодотворна в том смысле*, что разграничила усилители изобразительности («парадигматические фигуры») и усилители выразительности («синтагматические фигуры»). Однако, по нашему убеждению, она недостаточно корректна в плане выбора оснований классификации» (Пеккарская 2001: 118).

4.6. Сопутствующие критическим указания на объективные причины, которые обусловили ошибки автора, например:

«Несколько странным представляется стремление С. Ю. Данилова, изучающего жанр проработки, описать функции в нем молчания. <...> Можно говорить о запрете молчания (документ требует ответа), а не о его функциях. *По-видимому, С. Ю. Данилов недостаточно корректно выбрал материал для исследования*: как видно из его работы, это художественная литература, источник для изучения проработки вторичный» (Романенко 2001: 265);

«Ф. Озхан в статье «Лексико-семантические группы прилагательных со значением цвета в русском и турецком языках (лингвокультурологический аспект)» ... предпринимает сопоставительный анализ цветообозначений в турецком и русском языках на примере красного, белого <и> черного цветов. <...> Отметим, что классификация черных цветов не является той, которая, по умолчанию, существует в сознании носителей русского языка. <...> *Факт классификационных различий наводит на мысль об эвентуальных различиях цветового лингвоэтновидения цветового спектра, о дивергенциях в его членении*» (Кульпина 2001: 38).

Таким образом, подводя итоги всему сказанному, можно говорить о существовании специфического для научной речи набора средств, позволяющих строить критические замечания, которые в максимальной степени отвечают принципам толерантности речевого общения. Этот набор имеет достаточно ограниченный и стереотипный характер, хотя, несомненно, могут представить интерес и наблюдения над индивидуально-авторскими особенностями в использовании способов выражения критических замечаний в научной речи. С набором упомянутых средств и закономерностями их использования, безусловно, следует знакомить студентов любых специальностей при изучении курса «Русский язык и культура речи».

ИСТОЧНИКИ

Дементьев В. В. Основы теории непрямой коммуникации: Дис. ... д-ра филол. наук. — Саратов, 2001.

Кульпина В. Г. Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском языках. — М., 2001.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т. 18. — М., 1968.

Норман Б. Градация в русском языке // *Quantität und Gradierung als kognitiv-semantische Kategorien*. Wiesbaden, 2001.

Пекарская И. В. Контаминация в контексте проблемы системности стилистических фигур русского языка: Дис. ... д-ра филол. наук. — Абакан, 2001.

Распопов И. П. Синтаксис // Современный русский литературный язык / Под ред. Н. М. Шанского. — Л., 1981.

Романенко А. П. Советская словесная культура: образ риторика: Дис. ... д-ра филол. наук. — Саратов, 2001.

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. — М., 2001.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА КАК ИСТОЧНИК ФРУСТРАЦИИ*

Ю. Б. Пикулева

Толерантность может проявляться в разных формах: компромисс, ненасилие, непротивление, неосуждение, нейтралитет, равнодушие. В проблемное поле толерантности входят также и понятия противоположные: неприятие, нетерпимость, одержимость, фанатизм [Емельянов 2001: 2—3]. Нетолерантное поведение, типичное для современной России, становится реакцией на продолжающиеся изменения социальной структуры, такие, как разрушение традиционных отношений, резкое изменение в моделях ориентации, возрастающая сложность экономических и социальных структур, увеличивающаяся скорость обмена информацией. Эти

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-101-а).

© Ю. Б. Пикулева, 2003

изменения в обществе способствуют росту конфронтации между различными жизненными стратегиями, мнениями, отношениями [Перцев 2001: 4].

Стремительное развитие рекламного бизнеса в России, связанное с появлением рыночной экономики и необходимостью выживать в условиях конкуренции, привело к тому, что реклама стала очень значимым феноменом российской жизни, одним из ключевых жанров современности. Будучи текстом влияния, реклама претендует на выработку культурно-этических, коммуникативных и речевых стандартов [Гудков и др. 1997; Музыкант 1998; Чередниченко 1999; Шапошников 1998]. Однако, демонстрируя «нетолерантную» модель манипулятивных (субъектно-объектных) отношений с массовым адресатом, воспринимающим такие тексты, реклама неизменно сталкивается с неприятием, что постоянно находит отражение в высказываниях, фиксируемых в разговорной речи и в СМИ. В обыденном сознании сложилось резко отрицательное представление об этом культурном феномене. Поверхностное прочтение материалов, посвященных рекламе, показывает, что при описании рекламы используется лексика оценок и эмоций, лексика с эмоционально-оценочным потенциалом, экспрессивные языковые средства, которые формируют внутри этих высказываний разные оттенки негативной тональности. Так, например, всего лишь одна страница интернетовского сайта [<http://www.lovehate.ru/opinions.cqi/4729/6>], на которой люди могут выразить свое отношение к рекламе, содержит поток отрицательных эпитетов: *раздражающая, простая до отвращения, некорректная, глупая, надоедливая, тупая, уродливая, дурацкая, дебильная, идиотская, тупорылая*. Конкретные рекламные ролики определяются как *шедевр тупости, убожество, гадость, дешевка, рассчитанная на дебилов*. Рекламу «не любят», «ненавидят», она «уже поперек горла», «бесит», «вымораживает», от нее «возникает отвращение к рекламируемому продукту», от нее «блюют» и «фигеют». Почти во всех случаях содержащаяся в данных высказываниях агрессия имплицитна, не связана с конкретной ситуацией употребления лексической единицы.

Образ рекламы, формируемый газетами, не слишком отличается от ее образа, созданного в Интернете: *Меня от рекламы тошнит,*

когда по 10 раз на дню по всем каналам показывают пиво (АиФ. 2001. № 46). *Эти бесконечные повторы бьют по мозгам* (Теленеделя. 2001. 14 нояб.). Можно констатировать, что в средствах массовой информации, которые, по Декларации принципов толерантности, «способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространению ценностей толерантности», эта идея переворачивается. Свободное обсуждение феномена рекламы в целом и отдельных рекламных текстов в частности сводится к цинично-ироничному стебу, который становится не только стилевой манерой исподволь навязывать агрессивнo-нигилистическое отношение ко всем явлениям — как отрицательным, так и положительным, — но и определенным мировоззрением, при котором высмеивается всё и вся [Солганик 2000: 16]. Общая тенденция прямого и открытого высказывания своей точки зрения воспринята как призыв к использованию просторечно-жаргонно-сниженного слоя языка. Либерализацию (в худшем смысле слова) языка СМИ, его арготизацию и варваризацию — процессы, отражающие механизм взаимодействия языка и культуры, можно считать предпосылками проявления нетолерантности по отношению к рекламе в современном публицистическом и разговорном тексте.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что изначально реклама, становящаяся источником напряжения, представляет собой текст, который должен снимать фрустрацию. Функцию рекламного дискурса в самом общем виде можно определить как «влияние через информирование для создания мотивации к действию: такой подход охватывает как коммерческую рекламу (цель которой — формирование потребности совершить покупку), так и некоммерческую (политическую, социальную) рекламу, направленную на регуляцию ценностных отношений в социуме» [Шейгал 2000: 27]. Таким образом, информация, содержащаяся в рекламном тексте, по замыслу рекламодателей, должна помочь человеку решить проблемную ситуацию.

Как правило, реклама строится по модели: 1) описание фрустрирующей ситуации; 2) представление рекламируемого объекта как дающего возможность разрешения фрустрирующей ситуации. Каждой части модели в рекламном тексте обычно соответствует одно-

два предложения: (1) *Каждый раз во время еды вы подвергаете свои зубы воздействию бактерий, вырабатывающих кислоту.* (2) *Не содержащая сахара жевательная резинка «Дирол» с ксилитом защищает ваши зубы с утра до вечера* (федеральные каналы, 1997); (1) *При использовании обычного средства ваши деньги утекают сквозь пальцы.* (2) *Остановитесь. Используйте «Фэйри». Он так эффективно удаляет жир, что одна бутылка «Фэйри» заменяет две бутылки обычного средства* (федеральные каналы, 1999). Частотны сложные предложения с придаточными условия, содержащими описание фрустрирующей ситуации: *Если вы потеряли голос, попробуйте новый «Викс». Созданный на основе натурального эвкалиптового экстракта, «Викс» быстро поможет вашему раздраженному горлу* (федеральные каналы, 1996); *Когда на улице холод и дождь, англичане пьют горячий шоколад «Кэдберри». Именно это и нужно, чтобы почувствовать уют и тепло* (федеральные каналы, 1996); *Когда вы сталкиваетесь нос к носу с насморком и жизнь становится не в радость, не вешайте носа. «Отривин». Вот что вам поможет* (федеральные каналы, 2000). Типовой рекламный текст, представляющий названную синтаксическую структуру, часто оформляется с помощью вопросно-ответного хода — формы, пришедшей из разговорного синтаксиса: *Лишний вес? Налегай на хлебцы «Finn Crisp»* (региональный канал «Студия 41», 2001).

Телевизионная реклама располагает возможностью разыграть проблемную ситуацию и подключить к представлению фрустрирующей ситуации невербальные средства воздействия. Бытовые трудности в таких рекламных роликах предьявляются от лица рядового потребителя; предложение воспользоваться рекламируемым продуктом исходит от ролевого героя: замещая автора рекламного текста, он создает запоминающийся образ, привлекающий внимание, вызывающий интерес телезрителя. Рекламодатель стремится также очертить образ адресата, выявить его ценностную парадигму и вывести на экран соответствующую ролевым ожиданиям и ролевым предписаниям советчика личность, которая часто отражает стереотипное представление о типичном исполнении определенной социальной роли: матери, соседки, специалиста в данной области и др. Часто именно образ помощника, указывающего путь разрешения фрустрирующей ситуации, становится более узнаваемым и популяр-

ным (вспомним «просто Марию» из реклам АО «МММ», доктора Марию из рекламы «Панадола», тетю Асю из рекламы стирального порошка «Ас»). Один из самых известных образов помощников создан артисткой Инной Ульяновой.

Молодой человек (оглядывает грязную кухню): — *О боже! А раковина!*

И. Ульянова: — *Что за шум, а драки нет?*

Молодой человек: — *Будет, вот хозяйка придет.*

И. Ульянова: — *Такой шустрый — и не отчистит?*

Молодой человек: — *Да чем я только ни чистил, а чище не становится.*

И. Ульянова: — *Молодо-зелено. «Комет» — самое современное средство.*

При следующей встрече

И. Ульянова: — *Ну? Как?*

Молодой человек: — *Здорово. Да мне за такую чистоту квартплату должны снизить* (федеральные каналы, 1998).

В подобных рекламных роликах также условно можно выделить две части: в первой проблема, с которой главный герой обращается к помощнику, кажется неразрешимой; во второй, отстоящей во времени от первой, проявляются все достоинства рекламируемого товара, помогшего исправить ситуацию. Так складывается примитивная рекламная серия.

Казалось бы, рекламные тексты, демонстрирующие телезрителю пути разрешения фрустрирующих ситуаций разного типа, должны снимать напряжение, возникающее в процессе жизнедеятельности. Однако сама реклама становится сильным раздражителем. Мы попытались выявить основные источники фрустрации, проведя анализ высказываний о рекламе, извлеченных из газетных и журнальных материалов, а также из живой речи людей разного возраста. Как показало исследование данных контекстов, очаги напряжения могут содержаться внутри конкретного рекламного текста (назовем их *т е к с т о в ы м и*), а также могут характеризовать сам рекламный коммуникативный акт в целом (назовем их *с и т у а т и в н ы м и*).

Перечисление ситуативных факторов фрустрации целесообразно предварить описанием рекламного коммуникативного акта, сделан-

ным на основе работ отечественных и зарубежных исследователей в области рекламы [Гермогенова 1994; Картер 1991; Кохтев 1991; Музыкант 1998; Розенталь, Кохтев 1981; Сэндидж и др. 1989; Тарасов 1974; Шнейдер 1994]. С точки зрения модели коммуникативного воздействия реклама интерпретируется как прагматический речевой акт, составляющими которого являются предмет рекламного сообщения, его цели, коммуникатор, адресат и коммуникативные средства. Целью рекламной деятельности является воздействие, на сознание людей. Основная специфика этого воздействия заключается в том, чтобы результатом делегирования рекламного сообщения было добровольное принятие потребителем представляемого содержания и, как следствие этого, выполнение некоторых действий или принятие некоторой точки зрения. Рекламный текст должен решать следующие задачи: привлечь внимание, заинтересовать, возбудить желание иметь рекламируемый товар, побудить к действию. Для восприятия рекламного текста характерен дефицит времени, наличие помех, отсутствие прямой установки на восприятие. Условия возникновения коммуникативного контакта на уровне каждого отдельного субъекта характеризуются отношениями добровольности, спонтанности и неизбирательности. Вероятность контакта минимизируется потоком конкурирующей информации. Вследствие этого любая реклама ориентирована прежде всего на непроизвольное внимание, которое возникает тогда, когда сознание сосредоточивается на тексте рекламы в силу особенности этого объекта как раздражителя.

Телевидение предоставляет широкие возможности для использования разнообразных средств коммуникативного воздействия. Как показывают опросы, из всех средств массовой информации самым популярным является именно телевидение. Так, телевизор каждый день смотрят около 86 % процентов опрошиваемых, тогда как читают газеты и слушают радио 61 и 59 % соответственно [Музыкант 1998: 139]. Воздействие в телевизионной рекламе осуществляется с помощью аудиальных и визуальных знаков, причем посредством звука может быть представлена не только речь, но и музыка, а посредством изображения — не только статическая, но и динамическая картинка. Данные средства, влияющие на чувственное восприятие рекламного сообщения, должны быть такими,

чтобы рекламный ролик выделялся в ряду других. Если говорить о визуальной стороне телерекламы, то привлечение внимания является следствием общей зрелищности и необычности изображения, резкой смены изображения, особенностей ракурса съемки. Звуковыми элементами привлечения внимания являются человеческий голос (тембр, интонация, громкость и т. д.), музыкальное сопровождение и некоторые другие фоны (например, шум улицы или двигателя рекламируемого автомобиля и др.), а также любые контрасты звука и тишины.

Ситуативные факторы фрустрации возникают вследствие чрезмерного желания рекламодателя оказать мощное чувственно-эмоциональное воздействие на аудиторию.

1. Реклама появляется в эфире очень часто, и эта частотность раздражает и возмущает телезрителей. Например, с января по сентябрь 2001 года на общероссийских каналах 24 948 раз (9 727 минут) транслировались рекламные ролики жевательной резинки «Orbit», 16 765 раз (7 185 минут) — реклама кофе «Nescafe», 15 367 раз (5 828 минут) — реклама жевательной резинки «Dirol», 15 116 раз (5 561 минута) — ролики йогуртов «Danon», 10 944 раза (5 413 минут) — реклама пива «Клинское» (АиФ. 2001. № 48). Одно из основных правил функционирования рекламных роликов — их повторяемость вызывает негативную реакцию. Поправки к Закону о рекламе пытаются снять этот очаг напряжения, устанавливая лимит: реклама не должна превышать 20 % эфирного времени в течение суток. Однако и эта планка для российского телезрителя представляется слишком высокой: *В новой сетке шестого канала спорту отводится немного места: 12 % времени вместе с образовательным, просветительским и музыкальным вещанием (для сравнения — на рекламу уйдет уже 20 % эфира!). 18 % времени займет информационно-аналитический блок... 10 % общественно-политические программы* (АиФ. 2002. № 14). Восклицательное предложение, оформляющее сообщение о рекламе, играет роль своеобразного сигнала, призывающего к действию, которое может изменить сложившуюся проблемную ситуацию.

2. Реклама мешает культурному досугу: рекламные ролики постоянно прерывают телепередачи; звуковой ряд в рекламе значительно резче, чем в транслируемой передаче. Ситуация фрустрации

описывается примерно следующим образом: *Намедни показывали «Твин Пикс» по РТР — хороший страшный фильм Дэвида Линча. Вдруг телевизор заорал: «Мои губы мягкие и шелковистые!» Бабушки облились чаем, и заплакали детишки. Куда там линчевским страшилищам! Дальше — больше: три минуты фильма, пять минут громоподобной рекламы. Все ролики как один шли с усилением звука процентов на 25—30, даже уши закладывает. Помучались «дорогие телезрители» над любимым фильмом минут 20, да и выключили* (Моск. комсомолец. 2001. 29 нояб.). Экспрессивные лексические и синтаксические средства, используемые журналистом для передачи сложившейся напряженной ситуации, отражают определенный негативный набор эмоций, которые «проживаются» человеком за небольшой промежуток времени: раздражение, гнев, отчаяние. Старое законодательство никак не регламентировало звук во время рекламных пауз, однако по новому закону во время рекламы звук не может быть громче звука транслируемой программы. Таким образом рекламодатели лишаются одного из способов привлечения внимания — резкого звукового контраста. Однако звук — это лишь внешний раздражающий фактор. Неприятие вызывает и то, что реклама прерывает эстетически целостные произведения: *Фильм воспринимать оказалось совершенно невозможно. Такое впечатление, что он прерывался рекламой каждые 5 минут... В общем, ничего от качественной профессиональной картины не осталось* (АиФ. 2001. № 40). Эта ситуация иронично описана с помощью прецедентного высказывания, извлеченного из рекламного текста, в следующем заголовке — *Кино и зубной порошок в одном флаконе* (АиФ. 2001. № 41). Стилистика и содержание рекламного ролика и транслируемой программы резко контрастируют, и потому массовой аудитории сложно перестроиться с эстетического кода на коммерческий: *Бывает, герой лежит на смертном одре и после его последнего «прости» в рекламе под песню «Хорошо, что может быть лучше!» по забору скачет петух* (Комс. правда. 2001. 20 окт.). Новым законом вводится запрет на прерывание художественных фильмов рекламой, если, конечно, люди, обладающие авторскими правами на данное произведение, не дали согласие на рекламные паузы. Введение в силу данных поправок отмечено появлением торжествующих заголовков в СМИ: *Тете Асе заткнули рот тампаксом* (Комс. правда. 2001. 20 окт.); *Просто пра-*

здник какой-то! (Теленеделя. 2002. 20 марта); *Тетя Ася, go home!* (Там же. 2001. 14 нояб.).

3. Отечественная реклама изначально воспринимается как «низкий» жанр, поэтому отрицательное отношение к ней уже заложено в массовом сознании. Исключение из общего правила — зарубежная реклама, показываемая на специальных фестивалях: *Бывает, показывают фрагменты реклам с разных фестивалей, загляденье! А нам пихают всякую дешевку, рассчитанную на дебилов. Обидно. Граждане капиталисты, вы что там, совсем? Или это наши такое снимают? Так не уважать население!; Вы видели когда-нить фестивали рекламы на западе? Произведения искусства!* [сохранена авторская орфография; <http://www.lovehate.ru/opinions.cqi/4729/6>]. Оппозиция «свое — чужое» решается здесь необычно: «свое», маркируемое традиционно как положительное, ценное, родное, оказывается столь низкого качества, что вызывает отторжение, становится «чужим». До недавнего времени единственным в России телевизионным каналом, не транслирующим «чуждые» для отечественной аудитории рекламные ролики, был канал «Культура». Однако финансовые проблемы вынудили руководителей канала пойти на уступки и опробовать рекламное вещание. Изменение сложившегося статус-кво (реклама покусилась на «Культуру») вызвало возмущение прежде всего носителей элитарной культуры (известный артист Кирилл Лавров даже обратился по этому поводу с письмом к президенту). Для снятия напряжения потребовалось объяснение министра культуры М. Швыдкого: *«...отважились на чисто рекламную кампанию, но она была цивилизованно сделана и никого не раздражала»*. Министр подчеркнул, что реклама на канале «Культура» будет «особого типа», «ненавязчивой» и не «лобовой» (Теленеделя. 2001. 7 нояб.).

4. Реклама, по сложившемуся в массовом сознании стереотипу, негативно влияет на формы поведения. Данное представление аргументируется и подкрепляется газетами: *Детей губит пиво. 80 % детей от 12 до 17 лет регулярно употребляют пиво... неумной тяге к спиртному способствует агрессивная реклама пива* (АиФ 2001. № 26). Формируется представление о рекламе как источнике зла: *Всем нам так необходимы сегодня доброе слово, сочувствие, а не секс, насилие и реклама. От этого можно озвереть!* (из интервью поэта Ан-

дрия Дементьева; АиФ. 2001. № 38). Нередко особым достижением социализма признается *телевидение без порнографии, насилия и рекламы* (см., например: АиФ 2001. № 45). Установка на отвержение многих явлений, ставших возможными в России в последнее десятилетие, ярко демонстрирует развитие универсальной оппозиции «свой — чужой». Все новое автоматически относится к разряду «чужого», все, что связано с народными и советскими традициями, маркируется как «свое». Реклама в коллективном сознании российского общества относится к первой группе.

5. Ощущаемая телевизионной аудиторией манипулятивная природа рекламных текстов вызывает настороженность адресата. «Автор рекламного текста стремится добиться практической рекламной цели (продать товар), которая хорошо осознается адресатом и оценивается им негативно» [Попова 2001: 279]. Практическая цель рекламного сообщения в анализируемых нами материалах может описываться с помощью как нейтральных глаголов (продавать, продвигать), так и глаголов, содержащих в значении эмоционально-оценочный компонент (*нихать, втюхивать, впаривать* и др.). При этом частотность второго типа глаголов свидетельствует о том, что при восприятии рекламного текста телезритель ощущает себя объектом негативного воздействия, направленного на «вытягивание» денег у населения. Давление, осуществляемое манипулятивной стратегией рекламы, вступает в конфликт с создаваемым текстом образом своего рода «путеводителя в мире товаров и услуг» и порождает нетолерантное отношение к рекламному коммуникативному акту.

Говоря о **текстовых источниках фрустрации**, следует сказать, что конкретная реклама представляет собой текст массовой культуры, выделяющий из массового адресата в целях воздействия субъекта определенной социальной группы. Восприятие рекламы основано на социопсихологических факторах, поэтому для каждой социальной группы будут актуальны свои причины неприятия.

Так, например, источником фрустрации для людей пожилого возраста становится недоступный из-за скромных финансовых возможностей объект рекламирования: *Обидно до слез бывает / что / берут же люди / берут же люди // так что / раньше, как говорится, ничего такого не было // мы жили / переживали // а щас все*

есть / и не укусишь // показывают по телевизору / и вроде все такое, наверное, вкусное / хорошее там // пойдешь в магазины / а оно куку / кусается //... а то / что там рекламируют такое / показывают // сейчас такие запакованные / мясо там / че-то еще / какой-то фабрики / это самое / что очень вкусно / очень это самое // а зайдешь в магазин / глянешь // так недоступно / не по карману // и они рекламируют то / что дорого //... а ты же не знаешь этого всего / пойдешь в магазин / посмотришь / мама родная (нервный смех, продолжающийся до конца фразы) / глаза смотрят / а зубы не берут / вот так //. Записанный нами монолог 70-летней пенсионерки демонстрирует, что реклама формирует у людей данной социальной группы сознание внутренней ущербности, которое подкрепляется нестабильным положением пожилых людей. Картина мира, создаваемая рекламой, входит в противоречие с реальной бытовой ситуацией. Это и порождает напряжение.

Источником фрустрации для специалистов в конкретной области может служить неправдивая информация, содержащаяся в рекламном ролике. Они призывают критически относиться к рекламе: *Я хотела бы попросить родителей верить не рекламе, а все-таки врачам* (из интервью профессора кафедры детских инфекций; АиФ. 2001. № 44). А также: *Но зачем пудрить мозги миллионм мечтающих похудеть, рассказывая про чудо-таблетки или супердиету? Или нахваливать волшебный крем, который непременно увеличит вашу грудь, при этом топорща под кофточкой свою свежесоставленную силиконовую?* (АиФ. 2001. № 42). *Изменить наследственность и предотвратить поседение нельзя. Реклама, которая преподносит некоторые препараты как якобы препятствующие процессу поседения, мягко говоря, преувеличивает* (АиФ. 2002. № 16).

Немало критических замечаний по отношению к рекламе звучит со стороны лингвистов, которые уже, кажется, отчаялись увидеть грамотно составленный рекламный текст. При этом грамотность понимается как соответствие нормам современного русского языка, а не как продуманность прагматического эффекта: *Господи, то, что нам говорят с экранов телевизоров, — это не просто ужас, это прямое измывательство над родным языком. Подумать только, русские люди каждый день в каждом доме с утра до вечера слышат: «Жиллетт — лучше для мужчины нет»! Ну нельзя так сказать, недопустимо, это не*

по-русски! Можно сказать: «Для мужчины нет лучше бритвы, чем „Жилетт“». На худой конец, с некоторой натяжкой можно позволить себе: «Для мужчины нет ничего лучше, чем „Жилетт“». Но так, как твердят нам, говорить нельзя! (из интервью сотрудника справочной службы русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Моск. комсомолец. 2001. 30 нояб.). Регулярное нарушение языковых норм в рекламе как тексте влияния может, по мнению лингвистов, привести к расшатыванию нормы, к разрушению национальных традиций речевого поведения.

Отметим, что не всегда текстовые источники фрустрации вызывают неприятие у людей определенной социальной группы. В рекламе можно выделить раздражители «универсальные». Так, практически всегда будет негативным отношение адресата к рекламным текстам из-за использования в них неприкрытых манипулятивных приемов.

Один из самых распространенных манипулятивных приемов — привлечение к участию в рекламных акциях известных людей: артистов, режиссеров, певцов, спортсменов. За последние пять лет на общероссийских и екатеринбургских телеканалах нами было зафиксировано более 250 таких роликов. Популярность этого приема объясняется тем, что известная личность привлекает непроизвольное внимание к рекламе и рекламируемому товару и помогает перевести аргументацию из плоскости логической в плоскость эмоциональную. Кроме того, по данным ВЦИОМ, в России около 69 % населения считают артистов честными людьми (для сравнения — в США этот показатель равен 17 %), а значит, россияне склонны доверять людям творческих профессий. Вместе с тем использование образа популярного человека в рекламе служит поводом для возникновения очага эмоционального напряжения.

Под сомнение ставится правомерность участия артиста (артистки) в рекламе: *Кристина Орбакайте вместо того, чтобы петь или молчать (как советовала ее мама в детстве), без устали жует жвачку и других к этому склоняет. Юлия Меньшова тоже жует, а кроме того, всю пользуется своей «косметикой». Спрашивается, зачем они все это делают, рекламируют то есть?* (Комс. правда. 2001. 18 мая). Человек, снявшийся в рекламе, автоматически понижает свой статус: *Явление кинорежиссера Андрея Кончаловского в телерекламе аме-*

риканских чудо-таблеток озадачило российского зрителя. Сын автора Государственного гимна, создатель «Сибириады» и «Аси Клячиной», единственный отечественный кинорежиссер, сделавший карьеру в Голливуде, отдался в руки рекламщиков (Там же). В подобных высказываниях категорически отрицается право свободного выбора. Это нарушает принципы толерантности, которые состоят в уважении прав человека. В средствах массовой информации акцентируется внимание на снижении профессиональных качеств человека, снявшегося в рекламе: *Злые спонсоры потребовали от Анны Курниковой, получившей от рекламных контрактов 11,4 миллиона долларов, выиграть хоть один из теннисных турниров: сотый двадцатилетняя теннисистка проиграла на прошлой неделе* (АиФ. 2002. № 15). Фактором фрустрации становятся высокие гонорары: *Сколько стоит Кончаловский? Во сколько оценили фигуру Долиной* (АиФ. 2001. № 22). *Почем звезда? Андрей Кончаловский стоит 20000 долларов?* (Комс. правда. 2001. 18 мая). Сознательно используемые публицистами метонимические конструкции (не «во сколько оценили участие в рекламе Кончаловского-звезды», а «сколько стоит Кончаловский-звезда») являются калькой с английского языка, что еще больше акцентирует внимание на чуждости нашей традиции такого феномена, как «продажа» имени. Называемые суммы приводятся исключительно в долларах, что характеризует снявшегося в рекламе артиста как «чужого», «не такого, как все»: *Кристина Орбакайте обойдется заказчику — вне зависимости от количества съемочных дней — в сумму не менее 10 тысяч долларов* (Комс. правда. 2001. 18 мая). Ироническими оценками сопровождаются комментарии к появлению в рекламе человека, популярного среди представителей определенной субкультуры: *У вас, в Москве, этот даун, может быть, и является примером «нового поколения», но не у нас, в России* (об участии в рекламе «Пепси» Децла; Комс. правда. 2000. 11 июля). Критически оцениваются звезды, снявшиеся в рекламах шампуней против перхоти, средств от импотенции, что позволяет констатировать: темы, связанные с личной гигиеной, сексуальным здоровьем, в современной речевой практике воспринимаются как нежелательные для публичного обсуждения и становятся источниками фрустрации.

Подобные критические характеристики и оценки способствуют вытеснению снявшихся в рекламных роликах артистов, музыкантов,

спортсменов из круга «наших» кумиров. Механизм отчуждения, как нам кажется, связан с нарушением социостереотипов, которые оформляют представления о людях из определенной социальной группы. Популярная личность для простых людей — человек, исполняющий заданную социальную роль, состоящую в комплексе стандартных общепринятых ожиданий [Беликов, Крысин 2001: 183]. В ролевой набор, соответствующий статусу звезды, может входить, например, позиция критика современной политической ситуации, но позиция советчика, помощника в повседневных делах, который на себе испытал положительное действие рекламируемого товара, действует по принципу эффекта обманутого ожидания [Арнольд 1973: 49]. Обман ролевых ожиданий аудитории в этом случае становится источником фрустрации.

Пытаясь вывести обыденное сознание из автоматизма восприятия и привлечь таким образом внимание к рекламе, рекламные агентства создают ролики, в которых «играют» не только языковыми, но и поведенческими нормами. Реклама моделирует различные жизненные ситуации таким образом, что эффект обманутого ожидания становится основным, доминирующим приемом. Сформированные представления о том, как следует поступать человеку в тех или иных обстоятельствах, проще говоря, принципы поведения, в рекламе деформируются, подчиняясь установке на занимательность, неожиданность, непредсказуемость. Смещение ценностей, идеалов, оценок, происходящее в этом случае, становится источником раздражения носителя массового сознания: *«Апофеозом подмены (между понятиями «молодежь» и «идиотизм». — Ю. П.) решительно объявляю молодого человека, плюющего пивом в понравившуюся ему девушку. А всего-то — бедная девушка первой задала ему вопрос, который тот долго, вдохновенно и дебилно-упорно репетировал перед зеркалом: «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?» Мало того, что молодой человек на протяжении всей рекламы смотрится придурковатым Маугли, впервые решившим выйти в свет и не знающим, как там себя вести... Беда в том, что после его слоновьего фонтана не знаю, как вы, а я решусь попробовать пиво «Столичное», только если от этого будет зависеть моя жизнь... Типичный случай антирекламы»* [http://www.russ.ru/culture/vystavka/20010824_bar.html].

Авторы данного рекламного ролика, выросшие в условиях определенной культуры, нарушают правила повседневного поведения, сознательно и хорошо предвидят последствия, к которым это приведет. Поведение в рамках правил не сообщает ничего нового, тогда как нарушением обычного поведения передается определенная информация. Несовпадение культурной базы человека, смотрящего ролик, и культурной базы героев рекламы порождает состояние культурного шока, который проявляется в негативной вербальной реакции. Это еще раз подтверждает мысль о том, что любое отклонение от нормы обеспечивает произвольное внимание гораздо лучше, чем просто информирование или формирование «сладкого», благополучно-сентиментального образа. Знаменательно, что артист, сыгравший главную роль в этом рекламном ролике, получил на Международном фестивале рекламы приз «Рекламный образ года». Очевидно, что в отечественном рекламном деле наметилась явная тенденция к увеличению количества шоковых и парадоксальных рекламных роликов, трансформирующих представление о норме. При этом «различные этические стандарты и ценности противостоят друг другу и увеличивают тем самым потенциал конфликтности в обществе» [Перцев 2001: 4].

Общество осознает разрушительное воздействие рекламы на инертные слои массового сознания, включающие стереотипы, традиции, ценности, а потому выстраивает защитные механизмы отчуждения, которые могут быть реализованы, например, в вербальном сопротивлении. В этой связи можно вспомнить о скандале, разразившемся в Екатеринбурге. Недовольство представителей духовенства вызвала реклама пива «1-е Уральское» (региональный канал «Студия 41», 2001), в которой поп пьет пиво и вместе с посетителями бара поет: «Со времен потопа лучше пива в мире нет, пива из Европы». Использование в данном рекламном ролике культурных знаков, имеющих религиозные корни (изображение священнослужителя и отсылка к библейскому сюжету о всемирном потопе), привело к тому, что священнослужители подали в суд на изготовителей рекламы. Скандал получил общественный резонанс: *Представителей духовенства особо возмущает то, что экранный поп совершенно вульгарно рекламирует страсть к горячительному напитку. Особенно кощунственно это выглядит в рождественский пост* (АиФ-Урал.

2001. № 51). Очевидно, что использование средств такой сакральной сферы культуры, как религия, с целью продвижения на рынок товаров требует от рекламодателя особой осторожности. Один неверный шаг может привести к взрыву негодования значительной части общества.

Полагаем, что современная реклама как источник фрустрации должна стать объектом пристального внимания социологов, культурологов, педагогов, лингвистов. Представление о рекламе как о средстве, помогающем ориентироваться в огромном количестве товаров и услуг, абсолютно не типично. Собранные нами негативные контексты, посвященные рекламе, демонстрируют, что с помощью СМИ постепенно формируется представление о рекламе как явлении, чуждом российскому обществу.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА

О. П. Жданова

Использование компьютера к 90-м годам прошлого, XX века, в дополнение к традиционной инструментальной ориентации на выполнение разного рода счетных операций было удачно обогащено принципиально новым подходом — текстовым, гуманитарным. И сегодня компьютер в общественном сознании — это уже не столько счетная машина, сколько удобное средство для создания, оформления, хранения и передачи различных текстов как носителей информации.

Меньше десяти лет России понадобилось для того, чтобы сегодня сведения о толерантности можно было найти не только в традиционных для филологической науки книжных источниках, но и в русскоязычном пространстве Интернета как мощной электронной медиа-среде, доступной для всех технически грамотных и обеспеченных современными информационными средствами

пользователей. Открывая быстрый и удобный доступ к огромным массивам электронных текстов, эта глобальная сфера и сама оказывается отзывчивой на самые разные коммуникативные инициативы и интересы человека. В частности, уже самим фактом своего существования данная среда побуждает пользователей Интернета к практически удобному и быстрому обследованию текстов в электронной форме, к дальнейшему уточнению смыслов и функций того или иного слова.

Уже с первых электронных визитов в Интернет воочию убеждаешься, что он имеет в своей сложной внутренней структуре множество рубрик (сайтов и порталов), тематически специализированных на толерантности, множество возможностей для познания толерантности как слова, понятия и явления. Это множество значительно превосходит ресурсы, предоставляемые традиционными коммуникативными сферами и средствами (книгами, радио, телевидением). Так, например, привлечший наше внимание сайт под названием «Толерантность в России: свои и чужие» с подзаголовком «Толерантность в Интернете», дает возможность пользователю оперативно получать информацию о гражданских акциях, организованных и организуемых по толерантности как в нашей стране, так и за рубежом, об имеющихся документах и литературе по толерантности, а также разнообразные сведения о правозащитниках, которые представляются сегодня обществу как активные носители и защитники толерантных взглядов и убеждений. Названный сайт содержит, кроме того, множество ссылок на другие сайты и порталы, содержательно или проблемно связанные с толерантностью, в частности на портал «Права человека в России», на русифицированные сайты Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии против расизма, Верховного комиссара ООН по правам человека.

В основу данной работы положены общие наблюдения за массивом электронных текстов, выдаваемых в Интернете поисковыми системами APORT, JANDEX и RAMBLER по информативному запросу на слово *толерантность* как искомый знак. Цель наблюдений — дать на основе этого массива текстов общую коммуникативно-речевую характеристику слову, понятию и явлению *толерантность*, что в рамках данной главы предполагает выявление, с одной стороны,

количественных (общестатистических и сравнительных) характеристик употребительности, представленности данного слова в электронной текстовой среде, с другой — выявление и описание таких его качественных признаков, как способность быть носителем информации о значимых в контексте толерантности фактах и явлениях. Путь нашего следования — двусторонний, двунаправленный: от слова *толерантность* к соответствующему ему электронному речевому массиву и обратно — от выделенного массива к данному слову. Ясно, что как достаточно новый для науки объект выделенное нами множество электронных текстов может быть наделено самыми разными характеристиками. Однако в рамках данной работы мы сосредоточиваем основное внимание именно на коммуникативно-речевых функциях и характеристиках массива, что соответствует доминирующим позициям коммуникаций в современной культуре и гуманитарологии. Следует изначально подчеркнуть, что по своим формальным, функциональным, семантическим и информативным характеристикам данный массив, формально центрируемый лексемой *толерантность*, актуален, богат, разнообразен и интересен.

Формальные особенности электронного речевого массива и ключевого слова

Во-первых, выделенный массив с точки зрения многообразия способов своей экранной актуализации, появления является удобным искусственным образованием, сделанным, что называется, «на все речевые вкусы». В целях удовлетворения самых разных информационных нужд и потребностей здесь технологически изначально предусмотрена возможность обращения к нему как множеству самых разных письменных коммуникативных вариантов. Первый — это опосредованная компьютером и весьма удобная для пользователя как участника коммуникативно-речевого акта возможность быстро просмотреть громадное множество небольших, всего в несколько строк, речевых фрагментов, включающих слово *толерантность*. Это своего рода «нарезка» из отдельных письменных текстов, формируемая специально созданными для этого программами в единый свертхтекст. Уточним, что понятие свертхтекста здесь используется на-

ми в трактовке, близкой к той, что представлена в работах Н. А. Купиной [Купина, Битенская 1994: 214—233; Купина 1995: 52—77; и др.]. Представим для наглядности один из фрагментов такой «нарезки»:

*Концепция подпрограммы «Толерантность». Отражает установку на равноправное партнерство различных государственных и общественных... для российского общества механизмов; речь идет о таком ресурсе для развития **толерантности** в обществе, как институциональный и образовательный уровни. <http://www.dspace.ru/html/1302.index.html> — 11К — 27.11.2001 — строгое соответствие. Еще сервера не менее 134 док.*

*Грантовый конкурс. Всероссийский открытый конкурс проектов «Школа **толерантности**»... финансирование проектов, направленных на практическую реализацию положений Конвенции ООН о правах ребенка и Декларации принципов **толерантности** ЮНЕСКО. <http://osi.psc.ru/competitions/151/> — 16К — строгое соответствие. Еще сервера не менее двух док.*

*РДА /Питание/Хром как фактор толерантности к глюкозе. Хром как фактор **толерантности** к глюкозе... овса; а с ними и белка глиадина, среди детского населения очень часто возникает целиакия с нарушениями **толерантности** к глюкозе и сахарный диабет 1 типа... — строгое соответствие. Еще сервера не менее одного док.*

Уточним, что в этой форме исследуемый массив напоминает своего рода гибрид материалов библиотечного каталога и обычной, традиционной для филологов картотеки фразовых материалов. Однако от них он отличается тремя особенностями: англоязычностью и зашифрованностью отсылочной информации об источнике фразового материала, внушительным количеством кратко картографируемых материалов (в нашем случае это 55 224 «электронные карточки» — факты употребления лексемы *толерантность*) и семантической пестротой, неоднородностью содержания, сопряженностью с разными науками и деятельностными практиками. Эту семантическую неоднородность компьютер дифференцировать пока еще не может. Однако заметим, что оперирование таким ог-

ромным количеством фразовых материалов под силу именно компьютеру. И к названной выше цифре (55 224 употребления!) не приближаются даже самые употребительные имена существительные (см.: [Частотный словарь 1977]). Так, для самого частотного по данным этого словаря имени существительного — слова *год* указывается показатель 2 167.

Следующая предусмотренная компьютерными технологиями форма — это непосредственное экранное представление одного из выбранных пользователем фрагментов уже в полном объеме, его развернутая версия, куда включаются все имеющиеся в тексте рисунки, схемы, эмблемы и иллюстрации. Такой текст может быть развернут компьютером по каждому из элементов «текстовой нарезки». Третья форма — представление собственно вербального текста, того же самого, но уже без рисунков и иллюстраций. Это значительно сокращает время актуализации текста на экране, что удобно и важно для пользователя. Уточним, что существуют и другие целерациональные возможности предъявления и формирования речевого массива. Например, можно сформировать отдельно массив по толерантности в медицине, фармакологии, в педагогике, в международной практике. Такое разнообразие формальных возможностей по преобразованию и представлению речевого массива (и его элементов) позволяет нам в целом охарактеризовать его как виртуально-оказиональный. Для пользователя данный массив легко и просто (нажатием клавиш) развертывается на экране, организуется и многократно переорганизуется согласно задуманной цели. Это, по сути, своего рода «речевой трансформер», собираемый каждый раз по воле пользователя из доступной для компьютера информационной базы данных. Подчеркнем, что «сборка» и представление такого трансформера на экране осуществляются именно «по случаю», по человеческой воле, по вызову отдельного (случайного, «случившегося у компьютера») пользователя (или пользователей). Отметим, что такой вызов может быть сделан в Интернете в зависимости от коммуникативных навыков, потребностей и предпочтений человека, на самые разные вербальные объекты, как на толерантность, так и на все близкие ей и на все другие понятия. Кроме того, вызов может быть оформлен и выполнен средствами разных языков. Примечательно, что и адресовать такой вызов пользователь

может разным поисковым системам. Наш компьютерный массив, подчеркиваем еще раз, это прежде всего множество коммуникативно-речевых вариантов, в том числе и иноязычных. Интересно заметить, что отклик Интернета на слово *толерантность*, написанное по-русски и по-английски, в количественном отношении очень сильно отличается. Если при запросе на англоязычное слово *tolerance* в мае 2002 года нами было получено 2 434 749 результатов (сведений о фактах употребленности), то на русский вариант *толерантность* (в то же время) — только 50 843, что почти в 50 раз (!) меньше. Кстати, несколько более сильным является и русскоязычный отклик поисковых систем на слово *терпимость* (74 897 словоупотреблений).

Второе. Исследуемый нами электронный массив как относительно целостное образование имеет формально иной темпоральный вектор. Он внутренне организуется не по историческому, а по информационному принципу: фрагменты и тексты в нем представляются не от прошлого к настоящему, как это делается в традиционной культуре (например, в библиотечных каталогах), опирающейся на историю, опыт, память прошлого как ценность, а от настоящего к прошлому, что, безусловно, важно для современного человека, вынужденного действовать в условиях быстро меняющейся действительности и поэтому заинтересованного и нуждающегося прежде всего в последних сведениях, а не в исторической информации. Именно эта особенность делает данный массив для пользователя принципиально незаконченным, открытым, изначально устремленным на речевое продолжение, что постоянно побуждает пользователя включать компьютер снова и снова с целью найти о толерантности «что-нибудь новенькое».

В-третьих, в своем конкретном экранном представлении это очень динамичный, гибкий, удобный, но все же весьма «хрупкий и маложивущий» (чтобы не сказать не очень надежный) коммуникативно-речевой массив. Он быстро актуализируется, постоянно обновляется, пополняется новыми материалами, легко трансформируется из одной формы в другую. Однако то, что в Интернете о толерантности легко и быстро бывает найдено поисковой системой по запросу с первого раза, со второго раза по точно такому же запросу, как показывает наш опыт, поисковая система может и не

найти. И не только в силу старения информации и каких-то особых социокультурных обстоятельств, но чаще всего в силу технологических условий, а именно из-за профилактического, аварийного или карающего отключения тех или иных коммуникационных компьютерных сетей и серверов, из-за ставшего банальным в последнее время отключения электричества. Поэтому частотная и иная статистика здесь отражает скорее тенденции, чем реальные количественные соотношения между фиксируемыми вербальными фактами. Она динамична, подвижна. И количество фиксируемых компьютером результатов поиска фраз, текстов, включающих слово *толерантность*, каждый раз оказывается разным. Однако разница эта непринципиальна, она не мешает получать общее представление об употребительности исследуемого нами слова и тенденциях его функционирования.

Функционально-содержательные особенности электронного речевого массива и слова толерантность

Функция — это рабочее, исполнительское отношение одного объекта к целям, задачам, действиям другого (более емкого и значимого). В этом контексте выделенный нами массив интересно рассмотреть прежде всего как средство удовлетворения коммуникативно-речевых нужд, потребностей и интересов человека, группы и общества. Обратим сначала свое внимание на то, чьи и какие коммуникативные интересы отражаются в содержании нашего массива.

Так, уже с первого взгляда на получаемые по информационному запросу русскоязычные электронные материалы становится ясно, что их разработчиком (уточним, что здесь мы имеем в виду не технических специалистов, программистов и операторов электронных сетей, поддерживающих технические механизмы коммуникации и соответствующую им виртуальную речевую среду, а тех, кто заинтересован в материалах данного массива, и прежде всего авторов циркулирующих по этим сетям текстов, их составителей и инициаторов) является достаточно специализированный субъективный тип. Доминируют здесь прежде всего те круги, исходно

связанные с целенаправленной и планомерной коммуникативной активностью таких известных международных организаций, как ООН, УНИСЕФ, Юнеско, Совет Европы. Электронные документы и тексты по толерантности, выставляемые по инициативе данных организаций, их московских офисов, а также по инициативе региональных представительств этих организаций в других республиках, условно называемых сегодня ближним зарубежьем, и прежде всего в Казахстане, Белоруссии, Украине, оказываются в данном речевом массиве явно доминирующими. Для них создаются специальные сайты и порталы, на них делается больше внутренних рубрик и ссылок. Здесь представлены, например, постановления о Дне толерантности, который в разных странах отмечается по решению Юнеско 16 ноября, декларации (в частности, принципов толерантности в бизнесе), разрабатываемые и утверждаемые различными организациями проекты, программы и планы мероприятий. Так, речевое содержание масштабного проекта «Уроки Холокоста и современная Россия» практически полностью выстраивается на принципах толерантности. Из 50 843 зафиксированных 17 ноября 2001 года поисковыми системами по нашему запросу электронных словоупотреблений 327 текстов отсылается непосредственно к Декларации принципов толерантности, разработанной Юнеско, 261 текст — к Федеральной программе толерантности, и только 4 документа подаются как непосредственно закрепленные за разделом «Культура и искусство». Все эти документы отражают, с одной стороны, официально декларируемые ориентации современной международной и государственной политики на культуру мира, с другой стороны, свидетельствуют о глубокой заинтересованности международных и государственных структур в толерантном общественном сознании и поведении как благах цивилизации.

К таким текстам как основному ядру близко примыкают информационные документы и материалы, поставляемые российским Межведомственным аналитическим центром социальных инноваций, Фондом Сороса, а также отдельными нашими вузами, школами, центрами, все активнее включающимися в процесс целенаправленного продвижения, освоения и изучения этого понятия в русскоязычной культурно-речевой среде.

Подчеркнем, что в отношении к исследуемому нами речевому массиву не только мировое сообщество, не только его различные международные организации, но и отдельный человек наделяется правом на прямую коммуникацию (на передачу информации). Он имеет не только реальные права пользователя, то есть право свободного доступа к имеющейся в нем разноязычной информации о толерантности, право на ее использование по своему усмотрению, но и право на прямую речь, право на активную коммуникацию, то есть на передачу и размещение в Интернете своих представлений о толерантности. По своей инициативе, по принципу «здесь и сейчас». Пользователь в Интернете является не только «добытчиком» официальных и чужих информационных материалов. Он всегда имеет право на «свой голос» (который, правда, на фоне общего «официально-коммуникативного хора» может оказаться «меньше писка»). Именно в электронной среде традиционные функционально-речевые оппозиции коммуницирующих субъектов (пишущий/читающий, говорящий/слушающий) потенциально являются как никогда ослабленными. Это наше замечание оказывается справедливым как для потенциальной информационно-ролевой характеристики коммуникантов (передавать — получать информацию), так и для способа, канала передачи информации. Так, в Интернете уже существуют трансляторы для передачи текста в форме не только письменной, но и устной речи). Кроме того, как показывают наши наблюдения, вступать в коммуникации по поводу толерантности уравнивающим правом голоса в Интернете как глобальной коммуникативной среде обладают сегодня не только разные специалисты по данной междисциплинарной категории (специалисты разного профиля — это традиционно), но и неспециалисты в данной области. По нашим материалам, это прежде всего журналисты и студенты. Правда, преимущественно московские, столичные.

Функционально все представленные поисковыми системами тексты четко распадаются на две группы. Первая объединяет в своем составе большой массив текстов, фиксирующих различные технологии целенаправленного внедрения понятия «толерантность» в сознание людей, принципы официального регулирования их жизнедеятельности, устанавливаемые в соответствии с толерантностью

как официально признаваемой и декларируемой культурной ценностью. За этими текстами в роли их автора, составителя стоит, как правило, деперсонализированный субъект, а именно влиятельная организация, коллектив, группа как единое целое.

Вторая группа функционально соответствует отражению собственно личностных коммуникативно-речевых процессов, оформляющихся тем или иным образом в связи с реализацией официально декларируемых ориентаций и интересов и протекающих уже как заинтересованная или адаптивная речевая реакция на уровне индивидуального сознания. Следует отметить, что эта группа первоначально была немногочисленной. Однако (по ходу наших двухлетних наблюдений) она становилась все более многочисленной, коммуникативно сильной. В целом эта группа не менее культурно знаковая, чем первая, поскольку является как бы коммуникативным результатом, следствием тех организационных «коммуникативных атак», о которых речь шла выше. Это речевые отклики на данные «атаки». И они, безусловно, интересны, поскольку фактическим носителем, объектом и субъектом всех коммуникативно-речевых процессов в конечном счете всегда остается человек как личность. Именно личность всегда оказывается в ситуации сложного выбора, осознанного или неосознанного, между толерантным и интолерантным решением и поведением. В текстах этой группы человек выступает прежде всего как активный интерпретатор понятия «толерантность», а также как потенциальный «реализатор» стоящих за этим понятием принципов активности. Характерно, что в качестве доминирующего коммуникативного обстоятельства и на этом персональном уровне остается официально-организационный, определяющий официальный способ представленности коммуницирующего в Интернете человека, что делается через название занимаемой им должности.

Обобщая материалы обеих групп, подчеркнем, что основное предназначение толерантности как категории в людском видении — открывать стране, социуму и человеку доступ к удовлетворению большего объема нужд, потребностей, интересов.

По своему содержанию исследуемый нами массив является открытым, безграничным, включающим как разнообразные фактуально-событийные сведения о толерантности (например, о состояв-

шихся и готовящихся акциях, в том числе о конференциях, выставках, круглых столах, принятых программах и планах), так и энциклопедические, аналитические, диагностические, нормативно-регламентирующие и рефлексийные текстовые материалы.

Следует подчеркнуть, что ставшие нам доступными аналитические материалы по толерантности в предметно-семантическом отношении также отличаются своей открытостью. Исходным положением для такой открытости является общее представление о сложной и целостной природе человека, обитающего и действующего как субъект и как объект не только в естественном, но и в культурном мире и мирах. Множественность миров оборачивается множеством взаимодействий и взаимоотношений человека с его окружением. Отсюда широко наблюдаемая преемственность и востребованность понятия «толерантность» в разных науках, в познании отдельных миров. Как слово и понятие «толерантность», согласно нашим наблюдениям, активно бытует сегодня в международных, общественно-политических, коммуникативных, медицинских, экологических, лингвокультурологических, религиоведческих, философских, психологических, образовательных, спортивных и многих других сферах и коммуникативных практиках. В качестве примера сошлемся здесь только на названия отдельных электронных текстов (располагая их в алфавитном порядке):

— *Бизнес, **толерантность** и культура мира — путь к диалогу в обществе и становлению репутации отечественного предпринимательства;*

— *Декларация принципов **толерантности**, утвержденная ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г.;*

— *Международная программа ЮНЕСКО «Толерантность»;*

— *Опрос общественного мнения «Толерантность и нетерпимость в России»;*

— *План мероприятий Межведомственной программы «Толерантность»;*

— *Политическое сознание россиян: традиции, настоящее, будущее;*

— *Программа «Психологический тренинг этнической **толерантности**», представленная Европейским университетом в Санкт-Петербурге;*

— *Толерантность и ежики — вещи, конечно, совместимые, но разные;*

— *Социально-психологическое отношение толерантности к неопределенности.*

Сегодня, на наш взгляд, возможно говорить о практически уже наметившемся, согласно нашим материалам, «коммуникативном ажиотаже» вокруг «толерантности» как слова и понятия. Для доказательства сошлемся на помещаемую ниже таблицу, которая наглядно обобщает результаты проведенного нами двунаправленного сравнения частотности слова *толерантность*: с самим собой на разных временных срезах и с другими понятийно близкими словами. Ни одно из включенных в таблицу слов не обладает таким мощным количественным ростом своей частотности, как *толерантность*. Даже слово *свобода* по темпам своего электронного роста отстает, согласно выявленным нами показателям, от *толерантности*.

Таблица

**Частотность слова толерантность в сопоставлении
с другими лексемами**

Лексемы	Частность по данным поисковых систем	Частотность по данным словаря Л. Н. Засориной
Толерантность	Нет данных	52 341
Терпимость	3	74 897
Свобода	178	3 129 259
Вежливость	7	81 366
Культурность	20	3 450
Терпение	17	319 325

Толерантность как культурная универсалия, отражающая характер отношений между взаимодействующими сторонами, осознается не только социополитическими, не только идеологически нагруженными сферами бытия, но и неидеологическими, далекими от политики. Так, в Интернете регулярно (но не частотно) появляются

материалы о толерантности в биологическом, медицинском, экологическом смыслах, в частности о толерантности различных живых организмов к тому или иному внешнему воздействию, например, медикаментозному. Однако такие материалы явно «не на электронном виду», хотя, безусловно, интересны, и прежде всего контрастностью передаваемых в них мироощущений (в сравнении с доминирующими в Интернете социополитическими и социокультурными публикациями). Так, если толерантность/интолерантность в биологии, медицине, экологии — это, согласно нашим наблюдениям, проблемный естественный научный факт, своего рода «один из исследуемых вопросов», то по социокультурным и политическим материалам толерантность представляется Интернетом скорее всего как престижный, весьма модный коммуникативный феномен. О ней сегодня много говорят, спорят, ее изучают, о ней заботятся, ее культивируют, на нее надеются, в нее верят, за ней наблюдают специальные мониторинговые службы, ее измеряют и оценивают. Так, на Федеральную целевую программу «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» (2001—2002 годы) правительством выделено 397,65 млн рублей. Вокруг этого понятия как коммуникативной доминанты (во всяком случае, одной из доминант) развертывают сегодня свою деятельность и правительственные структуры, и детские сады. И все структуры в своих электронных материалах убеждают, что россиянам нужно учиться толерантности в различных ее социокультурных формах, на различных уровнях — от международного до межличностного. И делать это предполагается последовательно, плановым образом и, согласно электронным материалам, в самых различных сферах культуры, в том числе в политической, предпринимательской, педагогической, семейно-бытовой и др.

Что касается широко наблюдаемого употребления лексемы *толерантность* как научного термина, то в основе этого факта лежит, на наш взгляд, несколько причин. Во-первых, этому способствовала объективная логика развития самой науки, активно пытающейся рассмотреть суть повсеместно наблюдаемого сегодня резкого обострения проблем интра- и интеркультурного взаимодействия, выяснить своеобразие отношений к своей и чужой культуре. Следует подчеркнуть, что интерес к познанию в науке «своего» и «чу-

жого» явно возрос. Иллюстрацией данного суждения может быть, например, тематика докладов и сообщений, представленных на конференции «Лингвокультурологические проблемы толерантности», проведенной в Екатеринбурге осенью 2001 года. Немаловажную роль играет здесь, видимо, и такой субъективный фактор, как научная и публицистическая конъюнктура. Человек науки не может быть свободен от доминантно существующих в обществе, прессе «вербальных приоритетов», поэтому часто он просто не может устоять перед искушением приобщиться к познанию толерантности как ставшего «модным» в последние годы слова, понятия и явления. Кроме того, свою лепту в названное обстоятельство внесло и активное проникновение в Россию в последние годы большого количества переводной англоязычной литературы, наиболее мощным потоком попадающей к нам из США. Итак, отсутствие в общественной жизни России, в русском языке и русской научной практике прочных традиций проявления и обозначения толерантности [Стернин, Шилихина 2001] зачастую, видимо, просто вынуждает переводчиков пользоваться этим удобным и, по существу, интернациональным словом *толерантность*. К тому же семантически близкое ему русское слово *терпимость* не только не является интернациональным, но и удерживает, на наш взгляд, в себе многовековой опыт употребления в сфере религиозных отношений и взаимодействий, связанных с принципиальным различием в мировой культуре разных доктрин веры и вероисповедания, отчетливо воспринимаемых через оппозицию «своего» как правильного «чужому», «иному».

Следует подчеркнуть, что толерантность, с точки зрения пользователей Интернета, видится всем преимущественно в позитивном свете. Сомнения в ее ценности в наших материалах представлены единичными случаями, прежде всего философскими мнениями, согласно которым толерантность как принцип не поддерживает культуру, не охраняет ее разнообразие и богатство, а нивелирует культурное многообразие, «убивает живую плоть культуры». Как отмечает Михаил Ремизов в своей представляемой в Интернете в «Русском журнале» за 2000 год рецензии на большую переводную работу Уолцера «О терпимости», потенциал толерантности в конечном счете сводится к получению при ее содействии культуры как «хорошо

бальзамированного трупа». Культурная жизнь человека, ее истонное реальное многообразие, по мнению данного философа, несоместно с толерантноостью.

Однако как чужое, а значит, необычное, данное слово и понятие регулярно наделяются в индивидуальном сознании русскоязычного человека, по нашим материалам, «чудесными, чудодейственными смыслами» (аналогично восприятию массовым сознанием импортных лекарств). *Понятие толерантности — это синоним благополучия в нашей стране.* Любопытно, что спектр российских проблем и болезней, нуждающихся в толерантности как своего рода чудесном культурном лекарстве, при этом видится людям довольно широко (что полностью соответствует природе чудесного как категории). В качестве иллюстрации представим этот спектр в свободном перечислении «социально-психологических недугов», упоминаемых в специальной подборке электронных ответов на выставленный в Интернете вопрос: *Что должно, по Вашему мнению, нести в себе понятие толерантности для России?* По мнению пользователей Интернета, *толерантность* — это верное лекарство от войны и военных конфликтов, от терроризма, от нецивилизованной конкуренции в бизнесе, от изоляции нашей страны в мировом пространстве, от ее неблагополучия, от проблем с беженцами, от человеческого бесправия, лжи, от беспокойной старости российских граждан, от негарантированности гражданских прав и свобод и даже от загрязнения планеты.

В продолжение позволим себе ненадолго остановиться и на ответах, представленных в экранных материалах по вполне закономерному в таком случае вопросу об известных опрашиваемым фактах толерантного поведения. Подчеркнем, что этот вопрос сформулирован в плоскости изучения многообразия и устойчивости поведенческого опыта, демонстрирующего проявление толерантности в реальной жизни. Подчеркнем, что формат этого вопроса был задан логикой факта (уже бывшего, опыта): *Можете ли Вы привести яркий пример толерантного поведения в Вашей жизни?* Однако, как показывает материал ответов, последние порой даются в иной логике, поскольку человеку сегодня кажется важным подчеркнуть не столько сам факт толерантного поведения, сколько свое понимание потенциальных границ, условий, среды, способствующих воз-

никовению и реализации толерантных отношений, выразить неизменно высокую оценку толерантным отношениям и принципам поведения того или иного конкретного человека (или определенной группы людей). См.:

С. В. Козаченко (Международный центр развития предпринимательства и менеджмента, Украина): *Совместная работа делает людей толерантнее. Работа в команде.*

О. И. Хлынин (ТПП РФ): *Это предприниматель, который понимает свою ответственность перед обществом. Один из них — Зрелов Петр Семенович, президент совместного предприятия «Диалог».*

Н. И. Давыдова (благотворительный фонд «Меценат»): *Директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Бусыгин В. М., который много делает для внедрения принципов толерантности у себя на предприятии.*

И. А. Сонникова (студентка МГИМО): *Это некоторые преподаватели нашего института, которые толерантны по отношению ко всем студентам.*

Л. В. Клепикова (ООО «Мосаэро»): *Наш директор «Мосаэро» Воронин Александр Иванович — пример толерантного отношения к трудящимся в нашем коллективе.*

Итак, о толерантности в Интернете есть все — даже рубрика товаров, связанных с толерантностью. Конечно, как рекламируемые товары в обследованных нами материалах упоминаются только книги о толерантности, распространяемые электронными магазинами. Заметим, что таких книг пока в Интернете предлагается немного. Так, в одном из электронных текстов-трансформеров их было всего три (тогда как документальные и газетно-журнальные материалы фиксируются тысячами):

Джерелиевская М. А. Установки коммуникативного поведения: диагностика и прогноз в конкретных ситуациях. 1-е изд. М., 2000. 191 с.;

Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости / В. Ф. Петренко, О. В. Митина, К. В. Бердников, А. Р. Кравцова, В. С. Осипова. 1-е изд. М., 2000. 73 с.;

На пути к толерантному сознанию / Отв. ред. А. Г. Асмолов. 1-е изд. М., 2000. 255 с.

Перейдем к выводам.

Рассмотрев в общем обзоре обозначенные материалы, можно сделать вывод о том, что слово *толерантность* в Интернете как виртуальной речевой среде является достаточно частотным, многозначным и коммуникативно многофункциональным феноменом.

Во-первых, в официальных текстах оно обозначает и называет инструментальный концепт. Это своего рода универсальная идеология, обозначение принципа совместности, максима культуры мира, вербальный ориентир глобалистики. Активно продвигаемая прежде всего различными международными организациями и тесно взаимодействующими с ними российскими структурами (правительственными, информационными, образовательными), толерантность в России сегодня практически всеми признается и декларируется как культурная ценность. Иногда высказывается опасение по поводу того, что толерантность в отношении иных взглядов, убеждений, иного образа жизни приведет к ослаблению идентификационных потребностей человека, личности, общества, утрате культурного разнообразия.

Во-вторых, на уровне обыденного сознания толерантность наделяется свойствами чудесного как категории и выступает в роли мифологемы, фиксирующей неутраченность русским человеком веры в лучшее, надежд на счастье.

В-третьих, в качестве научного термина «толерантность» характеризуется широким междисциплинарным употреблением.

В-четвертых, как явление толерантность наблюдается пока еще в ограниченных обстоятельствах, специализированных средах.

И последнее. Одним из внешних условий широкой актуализации данного слова, понятия и явления изначально стало, согласно нашим обобщениям информационных материалов Интернета, четкое и целенаправленное осознание международными организациями и мировой общественностью того, что межгосударственные и межэтнические конфликты, терроризм, различного рода экстремистские и агрессивные проявления враждебности невозможно преодолеть сегодня без смены долго господствующей в культуре, в общественном, групповом и личностном сознании идеи борьбы, войны и врага на идею сотрудничества, мира и партнерства, идею принятия человеком и обществом иного взгляда, иного образа мыс-

ледействия, чем собственное. Общим выразителем этих новых идей, подходов к общественной практике, их кодовым обозначением и стало сегодня в мировой культуре иноязычное слово *толерантность* как вербальный символ общественных перемен. Отметим, что эта смена идей, как и другие перемены в общественном сознании, наиболее оптимальным образом улавливается, удерживается именно в содержании электронных речевых материалов Интернета, принципиально отличающихся в своем конкретном экранном предъявлении многочисленностью и множественностью формальных вариантов, предельной семантической открытостью, быстрой распространяемостью и удобством практического использования, что порой оборачивается и ненадежностью, потерей однажды найденных текстов.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Н. Б. Лебедева

Можно говорить о двух видах толерантности в области рече-языковых явлений — **собственно языковой и метаязыковой**. К первому виду отнесем толерантное поведение говорящих: их терпимость друг к другу как к участникам речевого акта, выбор ими речевых средств с учетом специфики «противной» стороны, стремление избегать конфликтных речевых ситуаций и умение выходить из них и т. д. В этом виде речевого либерализма проявляется субъективный фактор, обусловленный психологическим самочувствием — комфортным и некомфортным — коммуникантов в процессе общения. Именно такой вид толерантности имеют в виду, когда, например, пишут: «Толерантность с позиций лингвопрагматики рассматривается как тип речевого взаимодействия, противопоставленный вербальной агрессии» [Михайлова 2001: 261]. Исходным пунктом здесь выступает учет говорящим позиции адресата. Второй, «метаязыко-

вой», тип — терпимое отношение людей и общества к речевым средствам и речевому поведению разных видов, так сказать, оценка «со стороны» и «сверху»: носители языка оценивают факты языка, не будучи непосредственными участниками речевого акта. В этом проявляется объективный фактор речевой деятельности — «надличностная оценка» с точки зрения интересов общества и общественно установленных норм. Исходный пункт этого направления — учет интересов общества (национальных, культурных, лингвистических и др.). Ясно, что одно и то же лицо в процессе коммуникативного акта может совмещать обе позиции. **Метаязыковая толерантность** может быть **обыденной и профессионально-лингвистической**; в последнем случае можно выделить **гносеологический, лексикографический, нормализаторский** и другие аспекты. Обыденный вид метаязыковой толерантности (при оценке рече-языковых характеристик различных компонентов речевого акта по шкалам «хорошо / плохо», «уместно / неуместно», «можно/нельзя», «по-русски/не по-русски» и т. д.) проявляется в принципиальной терпимости рядовых носителей языка, отдельных групп общества (интеллигенции, филологов и др.) и в целом общества к особенностям коммуникативно-речевого поведения других людей, к наличию в языке тех или иных разновидностей норм. Профессионально-лингвистический гносеологический вид метаязыковой толерантности обнаруживается в расширении объекта описания и теоретического исследования со стороны исследователей по отношению к «низким» сферам бытования речевой деятельности.

Далее мы будем говорить именно об этом, втором, типе толерантности в области рече-языковых явлений — метаязыковом, — менее обсуждаемом варианте в настоящее время, чем первый.

Начнем с того, что в системе стилиевой дифференциации русского языка отсутствует понятие «письменное просторечие», проявляющееся в таких видах письменных текстов, как граффити, стихийные объявления на столбах, частная переписка, рукописные альбомы, хозяйственные записи и т. д., и тому можно найти, среди прочих, такое объяснение, как недостаток толерантности к некоторым, «неканоническим», разновидностям речевой деятельности и ее продукции. Как пишет В. Е. Гольдин, «современная русистика, к сожалению, в значительной мере продолжает оставаться односто-

ронне «литературноцентричной»: литературный язык рассматривается как безусловно высшая форма существования языка, ему приписывается свойство универсальности, якобы делающее ненужными другие варианты русской речи (прежде всего диалекты и жаргоны) ... городская культура образованных людей объявляется самодостаточной, а незнание богатств народной речи не считается сейчас недостатком общей культуры человека» [Гольдин 2001: 185]. Такое положение наблюдается не только по отношению к устной форме бытования речи, но и к письменной. К тому же «литературноцентризм» как бы более органичен именно по отношению к письменной речи, поскольку как в обыденном сознании, так и в сознании ученых **письменность** ассоциируется с образованностью, культурой, наконец, элитарностью. Но при этом филологическая традиция признавала (и фактически признает до сих пор) достойными уважения в качестве объекта исследования только «книжную» письменность, только авторитетные тексты: когда-то только сакрализованные, затем — тексты художественной литературы авторитетных авторов, официально-деловые, научные, газетно-публицистические и др. Другими словами, только к ним была проявлена метаязыковая гносеологическая толерантность. Из всех жанров **естественной** письменной речи (то есть текстов, написанных спонтанно и непрофессионально), как правило, только письма и мемуарные записки вызывали интерес филологов, но главным образом источниковедческий. Другие же, «неканонизованные виды письменного языка» [Ларин 1977а: 176], «остались за кадром», вне специального внимания лингвистов, и все еще актуальным остается утверждение Б. А. Ларина, сделанное в 1928 году: «В лингвистике надо еще обосновать законность этой темы, доказать необходимость и важность включения такого нового материала, а для упорных староверов, пожалуй, даже еще показать наличие нового объекта языковедения» [Там же].

Еще И. А. Бодуэн де Куртенэ, заглядывая в наступавший XX век, прогнозировал движение языкознания в сторону большей демократизации, считая такое направление генеральным на протяжении всего существования науки о языке: от исключительного изучения классических языков — к национальным языкам, от исследования только древних письменных источников — к живой речи. Действи-

тельно, с конца XVIII века, в русле нарождающихся сентиментальной и романтической традиций, с распространением идей Гердера и Гумбольдта пробуждается интерес к народному искусству, фольклору и речи; и в XIX веке возникает диалектология, признающая речь сельского населения объектом исследования, заслуживающим внимания ученых. При этом мы не можем сказать, что в нашем языковом обществе к диалектной речи относятся с уважением. Скорее следует говорить о «языковой и речевой ксенофобии» [Гольдин 2001: 184]. В данном случае гносеологическая толерантность ученых опережает обыденную метаязыковую терпимость.

Постепенно и речь малообразованного городского населения — просторечие, а затем и устно-разговорная речь образованных слоев начинают записываться и изучаться. Как известно, в русистике еще в 1928 году была поставлена проблема исследования «языкового быта города», «городских диалектов» Б. А. Лариным, отметившим парадоксальность создавшегося положения вещей: «Если картографически представить лингвистическую разработку, например, современной Европы, то самыми поразительными пробелами на ней оказались бы не отдаленные и неприступные уголки, а именно большие города» [Ларин 1977а: 175]. Б. А. Ларин расширил представления об объекте лингвистики, предложив рассматривать «разговорные и письменные городские аргы» как «третий основной круг языковых явлений», наряду с литературным и диалектным языком.

Н. И. Толстой выделял просторечие как языковое соответствие промежуточной, «третьей культуре». Если оттолкнуться от предложенной Н. И. Толстым схемы соотношения культуры и языка, то «письменное просторечие», или естественная письменная речь, относится к «третьей культуре», промежуточной между элитарной культурой, обслуживаемой литературным языком, и крестьянской культурой, соотносящейся с диалектами. Актуальны его слова: «В нашей стране интерес к третьей культуре еще слабо выражен» [Толстой 1995: 16—17].

В настоящее время появились активно работающие центры исследования живой разговорной речи городского населения — в Москве, Саратове, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Перми. Обыденная устная речь, то есть «непринужденная устная речь город-

ского населения», как «речевое проявление неофициального общения горожан» [Живая речь... 1995: 4] завоевала признание в качестве самостоятельного объекта исследования. В наши дни даже обесцененная речь подвергается разным формам изучения, начиная от сбора и публикаций словарей бранных слов и энциклопедий русского мата и кончая серьезными теоретическими работами. Другими словами, по отношению к устной разговорной речи проявилась профессионально-лингвистическая толерантность. Заметим, что обыденное сознание в гораздо меньшей мере, чем научное, склонно рассматривать устную бытовую речь как культурную ценность — обыденная метаязыковая толерантность по отношению к этому виду речи отстает от профессионально-лингвистической метаязыковой толерантности. В этом, видимо, проявляется такая специфика российского метаязыкового сознания, как «литературноцентризм», вписывающийся в преобладающий в нашем обществе нормативный и «запретительный» подход к рече-языковой деятельности. Но и профессионально-лингвистический подход ко многим «неканонизованным» сферам русского языка далеко не всегда гносеологически толерантен. Так, например, лексикографическая метаязыковая ментальность многих лингвистов с большим напряжением допускает введение в обычные толковые словари «сниженных» вариантов русского языка, признавая их допустимость лишь в специальных лексикографических изданиях.

К **письменному** же варианту разговорной стихии в силу устоявшегося представления о «культурности» всего написанного, а тем более напечатанного, лингвисты обращались мало, спорадически. Как представляется, слабо осознается специфика, отличающая ее от устной разговорной речи. Видимо, еще иногда бытует представление о письменной речи как простой фиксации устной речи, что подвергал сомнению еще И. А. Бодуэн де Куртенэ. Современные психолингвистические исследования подтверждают его взгляды. Признаемся, что «в языковом сознании грамотного человека существуют два стандарта, своего рода две языковые системы — устная (звуковая) и письменная (буквенная)», «письменная речь как разновидность речевой деятельности резко отличается от речи устной рядом психологических особенностей» [Горелов, Седов 2001: 321—322]. Различия эти проявляются во всех аспектах письменной ре-

чи — как в деятельностном, так и в «результативном» (текстовом) измерениях.

Таким образом, естественная письменная речь (обыденная письменность, наивное письмо, разговорные письменные тексты и пр.) не получила еще признанного статуса в качестве отдельного объекта лингвистики. Обычно она описывается как часть разговорного языка в целом, и поэтому специфика ее не осознается в достаточной мере. В гносеологическом плане в объекте лингвистического исследования обнаруживается своего рода лакуна — между письменной канонической речью (признаваемой правильной, литературной, иногда лишь допускающей вкрапления отдельных проявлений *устной, разговорной* стихии — диалектизмы, жаргонизмы, «разговоризмы», сейчас уже и «матизмы») и устной разговорной речью, в том числе и просторечием. Эту лакуну, по нашему мнению, составляет естественная письменная речь. Настало время признать, что «все сказанное и написанное рядовыми носителями языка заслуживает внимания, уважения и беспристрастного учета со стороны лингвиста» [Голев 2001: 40], то есть требует проявления метаязыковой гносеологической толерантности.

Под термином **«естественная письменная речь»** (ЕПР) понимается письменный вариант «народной» речи. Этот вид речевой деятельности (и ее результат — тексты) обладает следующими характеристиками: письменная форма, спонтанность и непрофессиональность исполнения. Две последние характеристики отличают ЕПР от таких видов письменной деятельности, как художественная, газетно-публицистическая, деловая, рекламная и другие виды подготовленной и профессиональной («искусной») речи. В отличие от них, ЕПР характеризуется непринужденностью, непосредственностью, вписанностью в конситуацию, короткой временной дистанцией между замыслом и реализацией, отсутствием промежуточных лиц и инстанций как между ними, так и между отправителем и реципиентом текста. Все эти характеристики объединяют ЕПР с естественной устной речью, но их различие (устная / письменная форма) позволяет считать их разными видами мыслительно-речевой деятельности, требующими и разного подхода. Спонтанность и непрофессиональность — два признака ЕПР, во многом пересекающихся, но не покрывающих друг друга полностью, эти признаки находятся в отно-

шении дополнительности, а сами тексты ЕПР имеют черты фамильного сходства, по Витгенштейну: предметное поле текстов ЕПР на одном полюсе может содержать в качестве основного признак спонтанности при нерелевантности признака профессиональности (детские каракули, спонтанно-рефлекторные записи и рисунки взрослых, например, скучающих на совещании), на другом — признак непрофессиональности, при ослабленности признака спонтанности (поздравительный альбом, письмо, рукописное объявление). Основной же массив текстов ЕПР содержит оба эти признака. Возможно представление всего корпуса текстов как полевой структуры: ядро составляют тексты собственно ЕПР, включающие ярко выраженные типологические — спонтанность и непрофессиональность — признаки (записки, граффити, «чат»); периферия представлена переходными, смежными с ЕПР текстами — с художественной литературой (альбомы-поздравления, дневники), обиходно-деловым стилем (автобиография, заявление), газетно-публицистическим стилем (письмо в редакцию) и т. д.

В настоящее время в качестве одной из первоочередных задач формулируется задача выявления и описания разновидностей ЕПР — жанров и поджанров. Жанроведческий аспект поставлен на первом этапе разработки проблемы в центр исследовательской программы, поскольку он позволяет описать и систематизировать разнородный материал, увидеть в нем естественную структурность, иерархизированность, в конечном счете — осмыслить его как набор специфических форм коммуникации, выработанных русской народной культурой, так как под жанром понимается «вербальное оформление типических ситуаций социального взаимодействия людей» [Ларин 1977а: 108]. В Лаборатории русской речи филологического факультета Барнаульского госпедуниверситета развернута работа по собиранию и описанию различных жанров естественной письменной речи. Сейчас идет эмпирический сбор материала, который еще предстоит осмыслить в жанроведческом аспекте: *объявление, открытка, письмо, записка, компьютерная переписка «чат», телеконференции Фидонет; современные граффити (настенные, аудиторные, подъездные, лифтовые, сортирные, «на- скальные»); рукописная родословная, рукописный журнал, рукописные альбомы (поздравительный, памятный, девичий, «дембельский»,*

песенник, анкеты); разные виды поздравлений (формы: коллаж, «стенгазета», рукописные виды открыток, гравировка и надписи на подарочных вещах, на фотографиях и пр.), мемуары, дневник, автобиографические записки; автобиография, заявление, объяснительная, записи на доске, шпатель, разные виды конспектов, контрольные работы, сочинения, изложения, черновики, вахтовый журнал, журналы дежурств, книги отзывов и предложений, записная книжка, перекидной календарь с записями, еженедельник, хозяйственные расходные записи, планы, тетради рецептов, заговоры, молитвы, спонтанно-рефлекторные записи, детские «каракули» и другие жанровые разновидности, которые могут стать предметом обыденной грамматики.

Письменное творчество может быть рассмотрено не только в собственно лингвистическом, но и в лингвокультурологическом отношении. Подразумевается, что все жанры общения, и письменного в том числе, являются достижением и достоянием народной культуры, исследование которой также требует толерантного отношения. Народную культуру можно понимать в оппозиции к элитарной (канонизированной, официальной, профессиональной) культуре, таким образом объединяя и собственно народную (традиционную, крестьянскую) культуру, и так называемую «третью культуру» [Толстой 1995: 16—17], и более того — любую неэлитарную и непрофессиональную, включая и культуру образованных слоев населения, не имеющую признаков профессиональности и официальности (это «городской фольклор, неканонизованные виды письменного языка, разговорная речь разных групп городского населения...» [Ларин 1977а: 176]). В частности, городская народная культура выработала особую форму *объявлений* — с настриженными внизу полосками бумаги, на которых написан номер телефона. Это особое проявление коммуникативности: учет интересов и удобства адресата, предусмотрительное обеспечение обратной связи. В этом, кстати, проявляется толерантность первого типа — собственно речевая, прагматическая, являющаяся формой взаимодействия между участниками письменно-речевого акта общения.

Большое распространение получили различные виды личных тетрадей, отличающиеся интимным, а порой исповедальным содержанием: личный дневник, непрофессиональные любовные сти-

хи, армейские письма (их особый поджанр — тюремные письма), рукописные альбомы, среди которых особо выделяются девичьи, мальчишеские и «дембельские» альбомы, песенники, анкеты, развешанные по стенам рукописные плакаты с прецедентными и шуточными высказываниями, с заданиями себе на следующий день и на всю жизнь и т. д. Альбомные виды ЕПР, выделяющиеся очень личным характером, вызывают интерес в антропоцентристском отношении. Являясь, по-видимому, своеобразным продолжением альбомного увлечения барышень позапрошлого века, они ярко проявляют индивидуальность пишущих. Нередко эти альбомы носят черты креализованного текста, в котором сочетаются не только вербальные и паравербальные начертательные приемы, но и более объемные элементы в виде различных «секретов» в форме кармашка и треугольника, «загибов» и «перегибов» страниц, в которых «спрятаны» советы, кокетливые вопросы, пожелания — все это особым образом выработанные альбомной культурой приемы интимности, доверительности, стыдливо прикрытые призывы к общению.

Народная культурная традиция выработала этикетные формы письма, из которых особо надо выделить разные виды поздравлений (формы: коллаж, альбом, рукописные виды открыток, гравировка и надписи на подарочных вещах, на фотографиях и пр.). В этих креализованных текстах много традиционной символики, фольклорной красочности, прецедентных текстов. Особенно любят делать рукописные альбомы и открытки женщины. Мужчины занимаются этим редко, в особых условиях, таких, как места заключения (реже — армейская казарма). В письмах из тюрьмы бросается в глаза и требует специального объяснения (возможно, психологического) исключительная старательность, тщательность в выписывании и раскрашивании букв, и при этом параграфемика не обязательно связана с вербальным текстом — она носит самодовлеющий характер. Простодушие, сентиментальность, традиционная народная символика — розы, банты, гитары, свечи — все эти «красивости» не должны отталкивать исследователя («дурновкусие», «мещанство»), воспитанного на лучших образцах русской элитарной культуры, к ним неприменимы привычные требования, характерные для профессиональной культуры. Только гносеологическая толерантность может

обеспечить адекватный подход к подобным проявлениям письменно-художественно-речевого творчества. Заметим, что культурологи интересуются данными видами народной культуры как областью наивного искусства.

Одной из наиболее ярких разновидностей ЕПР, в которой бытует «письменное просторечие», является граффити, и одним из аспектов описания естественной письменной речи является изучение отправителя и получателя, а в сфере последнего — адресата и читателя (близкие, но функционально различные понятия), в частности, исследование обыденной разновидности гносеологической толерантности по отношению к некоторым видам граффити (настенные и «подъездные»). Специальный опрос вывил, что большинство информантов (от 18 до 50 лет, интеллигентного слоя населения) разграничивает культурно-эстетический и коммуникативно-экспрессивный аспекты этого вида письменно-речевой деятельности. Многих не устраивают культурно-эстетические характеристики этих письменных знаков (*бескультурие, надо становиться культурной нацией*); отмечено безусловное неприятие общенной лексики и соответствующих рисунков (*от таких надписей портится настроение, возникает желание немедленно стереть или закрасить*). Но при этом большинство опрошенных склонно с пониманием относиться к потребности молодежи в самовыражении и общении даже таким образом (*это особый прием человеческого самовыражения; они хотят показать то, чем они довольны или недовольны, что им нравится или не нравится; некоторые таким образом хотят с кем-нибудь познакомиться и завести друзей; если это пишут, значит, это кому-нибудь нужно*). Таким образом, имеет место не только профессионально-лингвистический вид гносеологической толерантности к таким маргинальным явлениям, как настенные и «подъездные» граффити, но и ее обыденная разновидность, проявляющаяся в оценках языковых фактов рядовыми носителями языка.

Особый аспект в исследовании обыденной письменности представляет изучение стихийной (естественной) орфографии и пунктуации. В текстах ЕПР, находящихся вне пространства официального контроля и оценки, проявляется естественная орфографическая и пунктуационная ментальность и реальная нормативность. Необходимое условие осмысления основ наивной орфографии —

гносеологическая толерантность по отношению к естественному проявлению орфографической и пунктуационной свободы письма, хотя в филологической среде (в нефилологической же — тем более) такой аспект вызывает недоумение и неприятие, поскольку нормативный, предписывающий подход кажется единственно возможным по отношению к такой стороне письменного текста. Н. Д. Голев считает такой «орфографоцентризм» частью российского менталитета [Голев 1997: 71 и след.], мы же в данный момент констатируем отсутствие гносеологической толерантности к этому предмету.

Изучение низких жанров естественной письменной речи позволит подойти к проблеме толерантности в аспекте оперирования культурными ценностями.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ЖАНРА АНЕКДОТА*

Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев

Встретились две толерантности: одна российская, другая — американская. Похоже на начало анекдота, правда?

Новая газета. 2002. 28 февр.

Речь о толерантности в связи с рассказыванием анекдотов заходит не так уж редко, но выводы, которые при этом делаются, часто оказываются излишне прямолинейными: на основании наличия анекдотов, «высмеивающих» какие-то этнические, религиозные или сексуальные меньшинства, делается вывод о недостаточной терпимости, обнаруживаемой по отношению к этим меньшинствам. Но специфика речевого жанра рассказывания анекдота состо-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 02-04-00188-а).

© Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев, 2003

ит, в частности, в том, что анекдот всегда подается как услышанный от других людей: рассказчик не претендует на авторство анекдота. Поэтому анекдоты, которые рассказывает человек, не обязаны отражать его собственные воззрения. Конечно, косвенными свидетельствами того, что в обществе бытуют те или иные предрассудки, анекдоты служить могут. Но видеть в наличии тех или иных анекдотов симптомы национализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, сексизма, гомофобии и т. п. едва ли в большей степени оправдано, чем усматривать в распространенности анекдотов на тему «Вернулся муж из командировки, а у жены любовник...» признаки «кризиса семьи»*.

Конечно, бывают анекдоты, в которых в неблагоприятном свете представлены черты характера и особенности поведения представителей каких-то национальных или сексуальных меньшинств, социальных групп, конфессий или политических партий. Если кто-то из слушателей себя ассоциирует с какой-либо из указанных групп или по какой-то иной причине болезненно реагирует на упоминание этих черт, анекдот, возможно, покажется ему обидным или оскорбительным. Не случайно в газетной статье «Будем взаимно толерантны» (Труд. 2000. 1 авг.) речь шла о школьных уроках толерантности, на которых детям объясняли, что не следует рассказывать *обидные анекдоты* и «дразнилки» о представителях тех или иных социальных или этнических групп. Не подвергая сомнению это последнее положение, следует все же отметить, что в данном случае скорее следует говорить о воспитании не толерантности, а тактичности, умения ладить с другими людьми, способности поставить себя на место ближнего.

Кроме того, полезно обратить внимание на существенное различие между анекдотами и «дразнилками». Если «дразнилки» в своем обычном функционировании бывают направлены на то, чтобы вывести адресата речи из душевного равновесия, то целью речевого жанра рассказывания анекдота является установление или поддержание со слушателями дружеских, неформальных отношений: рассказ-

* Это не выдумка. По свидетельству газеты «Известия» (2000. 15 апр.), социолог Ольга Лебедь действительно занималась изучением семейных отношений в России через призму русских анекдотов и написала кандидатскую диссертацию на тему «Анекдот как отражение кризиса семьи».

чик хочет развлечь слушателей, понравиться аудитории [Attardo, Chabanne 1992]. Если же рассказчик вместо этого восстановит против себя слушателей, произойдет коммуникативный провал. Поэтому «дразнилки» имеют в качестве мишени адресата речи, а анекдоты в нормальном случае в адресата речи не «целят».

Сделаем специальное замечание. Здесь речь идет о стандартных случаях использования анекдотов и «дразнилок». Как анекдоты, так и «дразнилки» могут использоваться нестандартным образом. Так, для анекдота стандартным способом использования является речевой жанр рассказывания анекдота. Наряду с этим, анекдоты (или их фрагменты) могут использоваться в составе иных речевых жанров — в частности, в жанрах цитирования анекдота и напоминания анекдота. Эти жанры отличаются от рассказывания анекдота по целому ряду признаков. Уже условия успешности у них иные: если для рассказывания анекдота в число условий успешности входит предположение рассказчика, что анекдот слушателям неизвестен, то для цитирования анекдота это безразлично, а для напоминания анекдота предполагается, что слушатели анекдот уже могли слышать раньше. Полностью различны при рассказывании анекдота и при его цитировании и напоминании как метатекстовые вводы, так и языковое оформление самого текста анекдота. На это следует обратить внимание потому, что цитирование и напоминание могут преследовать иные цели, нежели чисто развлекательные, и в них анекдот может использоваться для иллюстрации самых разных положений, в том числе быть инструментом вербальной агрессии (*Не зря говорят, что евреи — трусы, вот помните, как в том анекдоте...*). Напротив, при цитировании «дразнилки» говорящий может вовсе не стремиться к тому, чтобы как-то задеть адресата речи, а преследовать чисто информационные цели (*вот какую дурацкую «дразнилку» я слышал*).

При этом следует иметь в виду, что, когда говорят, что тот или иной анекдот был (или является) обидным или оскорбительным, это может означать только то, что обидным или оскорбительным оказался (или может оказаться) конкретный акт рассказывания анекдота. Один и тот же анекдот может восприниматься различным образом в зависимости от коммуникативной ситуации, от представ-

лений аудитории о взглядах и коммуникативных намерениях рассказчика. На круглом столе «Юмор и политкорректность», проведенном в Интернете в 1997 году, рассматривался следующий американский анекдот (joke): *Как называется негр, получивший ученую степень? — Ниггер* (не просто «неполиткорректное», но чрезвычайно оскорбительное наименование чернокожих американцев). Этот анекдот может восприниматься как «расистский», имеющий в качестве мишени негров; смысл анекдота в этом случае прочитывается примерно следующим образом: «какие бы дипломы ни получил негр, он все равно остается для нас «ниггером»». Но возможно и иное прочтение анекдота, когда он воспринимается как высмеивание расистов, которые считают негров «низшей расой» и используют по отношению к ним презрительные клички, несмотря на то, что негры могут превосходить их по культурному и образовательному уровню.

Можно привести сходные примеры различного прочтения и для русских анекдотов. Так, по свидетельству наших информантов, в 60-е годы в школьной среде рассказывался следующий анекдот:

Идет демонстрация, все поют: «Смело мы в бой пойдем...» Стоят два еврея и подхватывают: «И мы за вами!» Поющие продолжают: «И как один умрем...» Один еврей говорит другому: «Абрам, мы не туда попали».

Отмечается, что анекдот воспринимался как антисемитский («евреи способны только к показной смелости, а когда речь идет о реальной опасности, уходят в кусты»). Но современные носители языка, которых мы просили интерпретировать этот анекдот, воспринимали его как еврейский анекдот, относящийся к типу self-glorifying («самовосхваляющих») и имеющий примерно следующий смысл: «евреи, первоначально склонные активно поддерживать власть Советов, раньше других поняли, что она несет лишь бедствия и смерть».

С другой стороны, едва ли не всякий анекдот может кому-то показаться обидным или оскорбительным, и это касается не только анекдотов о представителях тех или иных этнических, религиозных или социальных групп, с которыми могут солидаризоваться слушатели. Многих коробят циничные анекдоты о сексуальных отношениях (так называемые «пошлые» или «похабные» анекдоты), а также

анекдоты, в которых используется непристойная лексика. Религиозным людям часто неприятны анекдоты, в которых святыни представлены в неподобающем контексте. Анекдоты об исторических деятелях или литературных персонажах иногда вызывают неприятие у людей, которым эти деятели или персонажи чем-либо дороги, — так, анекдоты о Чапаеве в советское время считались искажающими облик «героя гражданской войны». Анекдоты об обманутых мужьях или о муже, пропивающем получку, могут казаться каким-то слушателям намеком на их собственные семейные проблемы. Даже казалось бы «безобидные» анекдоты о животных могут восприниматься как иносказание, затрагивающее нечто такое, с чем слушатели себя ассоциируют. Показателен следующий отрывок из сочинения И. Р. Шафаревича «Русофобия»:

В кино мы видим фильмы, в которых наше прошлое представляется то беспросветным мраком и ужасом, то балаганом и опереткой. Да и на каждом шагу можно натолкнуться на эту идеологию. Например ... в забавном анекдоте о том, как два червя — новорожденный и его мама — вылезли из навозной кучи на белый свет. Новорожденному так понравилась трава, солнце, что он говорит: «Мама, зачем же мы копались в навозе? Поползем туда!» — «Тсс, — отвечает мама, — ведь это наша Родина!» Сами такие анекдоты не рождаются, кто-то и зачем-то их придумывает!

Вообще говоря, ни из чего не следует, что червяки из анекдота символизируют именно русских, а навозная куча — Россию. Тем не менее именно таким образом понимали этот анекдот многие, не только Шафаревич.

Таким образом, если считать недопустимыми для рассказывания все анекдоты, которые могут кого-то задеть, то окажется, что лучше вообще не рассказывать анекдоты. Именно к такому выводу пришли некоторые участники уже упоминавшегося круглого стола «Юмор и политкорректность»: поскольку шутки и анекдоты, как правило, могут кого-то из слушателей обидеть, а кому-то показаться оскорбительными, лучше не рассказывать анекдоты, по крайней мере в публичной речи. Впрочем, другие участники возражали им, что шутки и анекдоты сами по себе безобидны, и их даже желательно использовать в общении для снятия напряжения, создания теплой дружеской атмосферы.

Но можно подойти к делу и с несколько другой стороны. Поскольку, как мы видели, «политкорректность» того или иного анекдота определяется степенью толерантности аудитории, задача рассказчика состоит в том, чтобы правильно оценить эту толерантность, решить, можно ли рассказать данный анекдот в данной аудитории, и если да, то не следует ли его тем или иным образом модифицировать, чтобы приспособить к аудитории. Тем самым проблема толерантности при рассказывании анекдота оборачивается иной стороной: существенной оказывается не толерантность рассказчика, а толерантность слушателей и способность рассказчика оценить возможную реакцию слушателей.

Сказанное не означает, что отрицательная реакция слушателей всегда полностью субъективна, лишь свидетельствует об их недостаточной толерантности и не может быть предсказана. Как раз наоборот. По большей части опытный рассказчик заранее предвидит возможность того, что анекдот вместо смеха вызовет недоумение, обиду, возмущение, и избегает рассказывания таких анекдотов (или видоизменяет анекдот так, чтобы никого не обидеть)*.

В современной русской социокультурной ситуации особо «опасными» являются анекдоты трех типов: этнические анекдоты («об инородцах»), «кошунственные» анекдоты и «неприличные» анекдоты. Рассмотрим кратко для каждого из названных типов стратегии рассказчика, направленные на предотвращение коммуникативного провала.

* Мы сознательно оставляем здесь за скобками случаи, когда рассказчик игнорирует мнение аудитории, считая, что ему все позволено, или сознательно шокирует слушателей. Так, знаменитый боксер Мохаммед Али на презентации фильма, снятого по его биографии, «публично рассказал два анекдота, которые могли показаться обидными сразу четырём народам. Первый построен на каламбуре и поэтому непереводим, но звучит он так: „В чем разница между евреем и байдаркой?“ Ответ: „Байдарка tips“. То tips значит „переворачиваться“, но также „давать на чай“. То есть идея в том, что от евреев якобы чаевых не дождешься. Второй анекдот, рассказанный чемпионом, звучал так: „В машине негр, пуэрториканец и мексиканец. Кто за рулем?“ Ответ: „Полицейский“. (Поля американских стадионов, фигурально выражаясь, усеяны могилами белых спортивных деятелей и журналистов, которых сжили со свету за куда менее рискованные высказывания...) „Это не новые анекдоты, — заявила представительница боксера Сю Карлс. — Мохаммед все время их рассказывает, потому что он любит смешить людей и шокировать их, чтобы донести до них свою мысль“» (Время новостей. 2001. 25 дек.).

Прежде всего рассказчик проводит мониторинг аудитории, чтобы определить, насколько «опасен» в данной аудитории анекдот, который он собирается рассказать. Так, анекдоты о чукчах достаточно «безопасны» в любой аудитории*. Напротив, рассказывая анекдот о евреях или украинцах («хохлах»), говорящий должен быть уверен, что его не заподозрят в антисемитизме или великорусском шовинизме.

Если нет уверенности в том, что анекдот будет встречен благосклонно, то остается либо вообще отказаться от рассказывания анекдота, либо адаптировать его к требованиям аудитории. Иногда бывает достаточно отказаться от использования речевой маски: нередко имитация еврейского акцента воспринимается как проявление антисемитизма, а при отказе от такой имитации анекдот не вызывает у слушателей никаких неприятных чувств. В этом случае, проигрывая в изобразительности, анекдот существенно выигрывает в «безопасности». Другой прием может состоять в смене персонажа. Например, анекдот про Абрама и Сару может быть рассказан как анекдот о *муже и жене*; анекдот о *хохлах*, который несколько дней ехал в купе, ни разу не переодевшись, рассказывается как анекдот о поручике Ржевском**.

Иногда такая замена становится достаточно устойчивой и ведет к появлению равноправных вариантов анекдота или даже к тому, что «эвфемистический» вариант вытесняет исконный. Ср. два варианта анекдота, в одном из которых фигурирует Рабинович, а в другом — Василий Иванович и Петька:

— *Рабинович, почему вы дома сидите в галстуке?* — *Ну, знаете, а вдруг кто-нибудь придет?..* — *Почему же вы тогда сидите в одном галстуке?* — *Ай, ну кто придет к бедному еврею?..*

Приходит Петька к Василию Ивановичу и видит: тот сидит без штанов, но в галстуке. «Василий Иванович, почему вы без штанов?» — «Так никого же нет». — «Тогда почему в галстуке?» — «А вдруг кто-нибудь зайдет».

* По некоторым свидетельствам, эти анекдоты свободно рассказывались в присутствии писателя Юрия Рытхэу.

** Впрочем, следует иметь в виду, что меню персонажа допускают далеко не все анекдоты (см. об этом: [Шмелев, Шмелева 1999]).

Когда этот анекдот в исконной («еврейской») версии был рассказан президентом России Путиным на открытии еврейского центра в Марьиной роще, в газете «Иностранец» (2000. 28 сент.) появился следующий комментарий: *Путин... зачем-то рассказал всем старый анекдот про Чапаева, заменив Чапаева на еврея.*

Наконец, рассказчик может прибегнуть к особому метатекстовому вводу (например: *Знаете, есть такой антисемитский анекдот...*), сняв с себя ответственность за содержание того, что будет рассказываться.

Для «неприличных» анекдотов стратегии в чем-то сходны. Такие анекдоты могут свободно рассказываться в мужской компании или в компании старых друзей. Если же нет уверенности в том, что анекдот будет уместен, осуществляется «прощупывание» аудитории, причем для этого может использоваться метатекстовый ввод (Могу рассказать анекдот — только в нем есть неприличные слова; Можно, я расскажу неприличный анекдот?). Если говорящий видит, что идея «неприличного» анекдота не вызывает у слушателей протеста, он может рассказывать анекдот. Иногда при этом осуществляется адаптация текста анекдота. Например, «неприличные» слова пропускаются или заменяются эвфемизмами, причем степень прозрачности эвфемизма зависит от предполагаемой толерантности аудитории.

С «кошунственными» анекдотами дело обстоит несколько иначе. Здесь адаптация, как правило, оказывается невозможной, и, если говорящий осознает неприемлемость анекдота для данной аудитории, он должен просто отказаться от идеи его рассказывать. Так, например, многие анекдоты о Ленине абсолютно не подходят для рассказывания в обществе убежденных коммунистов, и попытка их рассказать может привести к коммуникативному провалу*.

Следует учитывать, что толерантность аудитории не всегда может быть предсказана однозначно: например, один и тот же анекдот в одном случае воспринимается с юмором, а в другом случае, будучи

* О разнообразных причинах коммуникативных неудач при рассказывании политических анекдотов, к которым, среди прочего, может быть причислено различие в политических взглядах рассказчика и слушателей, см.: [Шмелева, Шмелев 2001].

рассказан в сходной аудитории, может вызвать резкое неприятие слушателей. При этом нужно учитывать, что некоторые люди считают неприличным обижаться на анекдоты, поэтому они вежливо улыбаются даже в ответ на те анекдоты, которые на самом деле кажутся им оскорбительными. Выше мы привели сообщение корреспондента газеты «Время новостей» Владимира Козловского о «неполиткорректных» анекдотах, которые Мохаммед Али рассказал на презентации своей книги. Козловский прокомментировал это следующим образом: «Чернокожему боксеру, известному как The Greatest (Величайший), такие вещи сходят с рук. Политически корректная аудитория отнеслась к его анекдотам как к шумному выпуску кишечных газов, но вежливо, хотя и несколько натянуто, а сейчас, наверное, по секрету пересказывает их знакомым» (Время новостей. 2001. 25 дек.).

Освоение стратегий рассказывания/восприятия анекдота — важное условие коммуникативного комфорта.

БЫТОВАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО*

Н. А. Купина, К. В. Муратова

Владимир Семенович Высоцкий (1938—1980) вошел в российскую культуру прежде всего как автор и исполнитель песен, не вписывающихся в официальный литературный и тем более эстрадный ландшафт. Достаточно сказать, что в «Литературном энциклопедическом словаре» 1987 года все еще нет имени опального поэта, хотя к тому времени уже вышел первый посмертный поэтический сборник «Нерв» (1981). В мощном массиве массовых песен советского времени была своя иерархия: «На вершине официальности расположены тексты власти. <...> У подножья неофициальности живут «не-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-101-а).

© Н. А. Купина, К. В. Муратова, 2003

печатные тексты свободы» [Чередниченко 1994: 24]. Высоцкий даже как автор патриотических песен о войне так и не переступил черты неофициальности. Его песенное творчество — яркая страница языкового сопротивления [Купина 1999] послесталинского периода. Песни Высоцкого взрывали привычные стереотипы, задевали болевые точки жизни советских людей, высмеивали нелепость идеологической лжи.

Языковое существование россиян воспроизводится поэтом в широком лингвистическом окружении. С одной стороны, это язык тоталитарных предписаний, оснащенный идеологическими стереотипами; с другой стороны, это фольклор, «неканонизированные виды языка», социальные жаргоны, «разговорная речь разных групп населения» [Ларин 1977: 175]. «Полиглотность обеспечивается механизмом кодовых переключений, который вырабатывается у человека в процессе его социализации в культурной речевой среде» [Крысин 2001: 100]. Переключения с языка идеологического на субязык или общелитературный язык, то есть на коды, элементы которых лишены идеологических добавок, используются Высоцким как конструктивный прием, способствующий, в частности, изображению толерантности идеологической и бытовой. Отсутствие пуризма при оценке полиглотности, приятие полиглотности горожан и сельских жителей как факта культуры, мастерское проецирование маркированной лексики в плоскость общекультурных, общементальных предпочтений — база идиостилевой лингвокультурологической толерантности Высоцкого. Легко переключаясь на идеологический код, человек получает своего рода пропуск в общее коммуникативное пространство. Вербальные предписания исполняются по общей конвенции, обеспечивая предсказуемость коммуникативного взаимодействия. Так, спортсмен заранее подбирает нужные слова, заготавливает ожидаемый ответ корреспондентам на случай установления рекорда:

«Мне помогли, — им отвечаю я, —
Подняться по крутой спортивной лестнице
Мой коллектив, мой тренер и семья».

*(Песенка метателя молота)**

* Тексты цитируются по источнику: Высоцкий В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Песни. Екатеринбург, 1994.

Трудящиеся составляют коллективные открытые письма «в свете решений» ЦК, пестрящие отсылками к партийным авторитетам и документам:

Бойтесь вы, что — реваншисты в Бонне,
 Что — Вашингтон грозитя перегнуть, —
 Но сам Хрущев сказал еще в ООНе,
 Что мы покажем Кузькину им мать!
 Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды,
 Не раздувайте вы войны пожар, —
 Мы нанесем им, если будет надо,
 Ответный термоядерный удар.
 <...>
 Так наш ЦК писал в письме открытом, —
 Мы одобряем мнение его.

*(Письмо рабочих Тамбовского завода
 китайским руководителям)*

Идеологический «отпор» в духе установок дня встречаем и в межличностных диалогах:

Я сперва-то был не пьян,
 Возразил два раза я —
 Говорю: «Моше Даян —
 Сука одноглазая, —
 Агрессивный, бестия,
 Чистый фараон, —
 Ну а где агрессия —
 Там нам не резон».

(Мишка Шифман)

В то же время задетые чувство «спрятанного» патриотизма и чувство собственного достоинства порождают протест:

Потеряю истинную веру —
 Больно мне за наш СССР:
 Отберите орден у Насеру —
 Не подходит к ордену Насер!
 Можно даже крыть с трибуны матом,
 Раздавать подарки вкривь и вкось,

Называть Насера нашим братом, —
Но давать Героя — это брось!

(Потерю истинную веру...)

В то же время идеологическое взаимопонимание оказывается фальшивым, а идеологические декларации — лживыми, оторванными от действительности. Тропы Высоцкого воспроизводят мир в его грубой реальности, вступающей в противоречие с мифами о счастливой жизни:

Казалось мне — кругом сплошная ночь,
Тем более, что так оно и было.

(Песня про стукача)

В данном случае метафора преодолевает узкие границы частной ситуации, обозначая мрачную атмосферу, царящую в стране. Утверждение, усиленное модальностью достоверности, контрастирует с идеологемами всенародного счастья, светлого настоящего, лучезарного будущего, стандартными метафорами солнца, утра, дня, которые эксплуатировала песня власти.

Персонажи Высоцкого живут в суровом мире — разобщенном, зловещем:

Разбрелись все от бед — в стороны...
Певчих птиц больше нет — вороны!

(Аист)

Ментальная мотивированность метафор создается с помощью фольклорных мотивов. Мысли о бесперспективности пути, избранного идеологами коммунизма, пагубности этого пути, человеческом отчаянии стоят за многими фольклорными образами:

Прямо нету пути —
Никуда не прийти...
(Лежит камень в степи...)

Вдоль дороги лес густой
С бабами-ягами,
А в конце дороги той
Плаха с топорами.

(Моя цыганская)

Дух революционного оптимизма, ставший основой воспитания советских людей, входит в противоречие с самой тональностью этих строк. Молодая страна, искоряющая «тяжелое наследие» прошлого, предстает в песнях Высоцкого хронически больной:

Ведь вся история страны —
История болезни.

(История болезни)

Метафора болезни конкретизируется образом сумасшедшего дома — яркого «диагностирующего пятна» [Николаева 1991: 73], зафиксированного поэтом:

Куда там Достоевскому
с «Записками» известными, —
Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы!
И рассказал бы Гоголю
про нашу жизнь убогую, —
Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы.

(Песня о сумасшедшем доме)

Собственные имена, выступающие в функции прецедентных знаков, гиперболизируют образ (ретроспективное сравнение с русской классикой: «Записки из мертвого дома», «Записки сумасшедшего»), усиливают впечатление патологического. Образ сумасшедшего дома развивается параллельно с образами тюрьмы/лагеря. Персонажи Высоцкого живут в ожидании неотвратимого ареста: сцены насильственного задержания (*за мной идут; нагрянула ЧК; явились они, бросили в черный воронок*; и др.) проходят через весь песенный свертхтекст. Задерживают, как правило, они, обладающие силой: *И вот уж слышу я: за мной идут...* («Все позади — и КПЗ, и суд...»); *Двое в синем, двое в штатском, черный воронок...* («Правда ведь, обидно»); *На нас двоих нагрянула ЧК, И вот теперь мы оба с ним зэка — Зэка Васильев и Петров зэка* («Зэка Васильев и Петров зэка»); *И вот явились к нам они — сказали: «Здрасьте!» Мы их не ждали, а они уже пришли* («У нас вчера с позавчера Шла спокойная игра»). Источники угрозы в соответствии с нормами тоталитарно-

го языка обозначаются и неопределенно-личными конструкция-ми: *Я знал, что мной интересуются, Но все равно пренебрегал* («Я был душой дурного общества»). Те, которые задерживают, исключаются из круга «своих». Официальный образ «моей», «нашей» милиции разрушается. Более того, человек, выбравший для себя воровскую жизнь, доставляющий милиции много хлопот (*И гражданин начальник Токарев / Из-за меня не спал ночей*), легко деформирует формульность идеологемы единения. Идеологические акценты смещаются:

...И я, начальник, спал спокойненько
И весь ваш МУР видал в гробу!
(*Я был душой дурного общества*)

Свою чуждость понимают и милицейские работники. Так, один из персонажей, лейтенант милиции, предлагает нетрадиционный тост:

Давайте выпьем за тех, кто в МУРе.
За тех, кто в МУРе, никто не пьет.
(*День рождения лейтенанта милиции
в ресторане «Берлин»*)

Сема исключения деформирует стереотипное идеологическое представление о монолитном единстве советского общества. Поляризуются те, которые ждут ареста/находятся под следствием/в заключении, и те, которые задерживают/допрашивают/вершат суд/охраняют. Сострадание вызывают первые — деклассированные. Именно их Высоцкий наделяет интуитивной социальной проницательностью. Волею поэта бывшие зэки поднимаются к вершинам вербальных обобщений. Средством выражения народных чаяний служит несобственно авторская речь:

Пьем за то, чтоб не осталось
по России больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей!
(*Эй, шофер, вези — Бутырский хутор...*)

В границах образа тюрьмы происходит деидеологизация ряда фундаментальных концептов. Так, обнажается истинное содержание идеологемы бескорыстного труда на благо народа:

Теперь я жду, — теперь я жду —
Куда, куда меня пошлют,
Куда, куда пошлют меня работать за бесплатно.

(Все позади — и КПЗ, и суд...)

Государство, страна присваивают себе плоды рабского труда. Ср.:

Государство будет с золотишком,
А старатель будет с трудоднем!
(Старательская);
А меня в товарный — и на восток,
И на прииски в Бодайбо.
<...>
Ну а мне плевать — я здесь добывать
Буду золото для страны.

(Бодайбо)

Как видим, образ подневольного труда укрупняется, переносится на советскую систему с ее трудовой повинностью. Результаты этого труда не принадлежат человеку, всегда озабоченному проблемой питания, *еды* вообще:

А люди все роптали и роптали,
А люди справедливости хотят...
<...>
«Мы в очереди первыми стояли, —
А те, кто сзади нас, уже едят!»
Им объяснили, чтобы не ругались:
«Мы просим вас, уйдите, дорогие!..
<...>
Те, кто едят, — ведь это иностранцы,
А вы, прошу прощенья, кто такие?..
<...>
Те, кто едят, — ведь это ж делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?..»

(А люди все роптали и роптали...)

Очередь становится привычной для советского человека формой ожидания возможности купить что-либо на средства, полученные в качестве вознаграждения за труд. Однако даже *еда* превращается в роскошь для немногих — *делегатов* (тех, кто уполномочен работать на власть) и *иностранцев*. Голодный народ обманут: честность, истинность, справедливость, законность существуют не для него. Страна оказывается тюрьмой, люди превращаются в каторжников. Двуплановость иронии Высоцкого не требует специальных разъяснений:

За хлеб и воду и за свободу —
 Спасибо нашему советскому народу!
 За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе —
 Спасибо нашей городской прокуратуре!
 (*Мы вместе грабили одну и ту же хату...*)

Стереотипы, образованные по модели спасибо — кому (*товарищу Сталину, лично товарищу Хрущеву, дорогому Леониду Ильичу/чему (партии, государству, родному профсоюзу)*), соединяясь с объектами, семантика которых включает сему «элементарное», разрушаются. Идеологическая энергия, создающая эффект толерантности, рассепляется. Взрыв раскалывает гармоническое единство государства, власти и народа; власть — виновница народных бед; человек и власть оказываются по разные стороны оппозиции:

И если б наша власть была
 Для нас для всех понятная,
 То счастье б она нашла, —
 А нынче жизнь — проклятая!..
 (*Она на двор — он со двора...*)

Народная власть предстает как антинародная, репрессивная. Все стандартные словосочетания с местоимением *наша* + *существительное с семей «организация»* приобретают ироническое звучание. Прием стилизации блатной речи обнажает неуместность притяжательного смысла и связанного с ним смысла преданности государству, властям, как, например, в монологе зэка-картежника, ждущего исполнения сурового приговора:

Возьмите мне один билет до Монте-Карло —
Я потревожу ихних шулеров!
Я привезу с собою массу впечатлений:
Попью коктейль, послушаю джаз-банд, —
Я привезу с собою кучу денег —
И всю валюту сдам в советский банк.

Я говорю про это без ухарства —
Шутить мне некогда: мне «вышка» на носу, —
Но пользу нашему родному государству
Наверняка я этим принесу!

*(Передо мной любой факир —
ну просто карлик...)*

Игра местоименными смыслами создает образ поляризованного, разобщенного общества, состоящего из *наших* и *чужих* — *ненаших* (*ваших, ихних*). Человек живет надеждой обретения толерантности, ощущения себя своим среди *своих, близких, принимающих и понимающих* его. Драма равнодушия и отчужденности изображается как общечеловеческая проблема:

Бродят толпы людей, на людей не похожих,
Равнодушных, слепых, —
Я заглядывал в черные лица прохожих —
Ни своих, ни чужих.

(Так оно и есть)

Идентификация себя как *своего, нашего* часто оказывается невозможной:

И хотя во все светлое верил —
Например, в наш советский народ, —
Не поставят мне памятник в сквере
Где-нибудь у Петровских ворот.
Но я не жалею!

(У меня было сорок фамилий...)

Массовое предстает как вынужденное, убивающее индивидуальное, ограничивающее право выбора:

И перекрыты выходы и входы,
И путь один — туда, куда толпа.

*(Мосты старели, углубились
броды...)*

Наперекор общим идеологическим установкам, Высоцкий поэтизирует не коллективные разум и действия, а личностно значимые поступки:

Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял...
И взвод отлично выполнил приказ, —
Но был один, который не стрелял.
Судьба моя лихая
Давно наперекос:
Однажды языка я
Добыл, да не донес, —
И особист Суэтин,
Неутомимый наш,
Еще тогда приметил
И взял на карандаш.
Он выволок на свет и приволок
Подколотый, подшитый матерьял...
Никто поделать ничего не смог.
Нет — смог один, который не стрелял.

(Тот, который не стрелял)

Формула *один вопреки всем* открывает возможность свободного выбора — неперемennого условия толерантности.

Стереотипы *наше/общее/свое* существуют в песенном свертке в нескольких вариантах. Это прежде всего Отчизна, попавшая в беду. В этом случае выбор личный совпадает с общим добровольным выбором:

Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности —
Значит, всем идти на фронт.

(Все ушли на фронт)

Нашим, своим персонажи Высоцкого считают дом, двор, где тебя принимают таким, какой ты есть, где нет жесткой социальной иерархии:

За пьянками, гулянками.
За банками, полбанками,
За спорами, за ссорами, раздорами
Ты стой на том,
Что этот дом —
Пусть ночью, днем —
Всегда твой дом,
И здесь не смотрят на тебя с укорами.

*(В этом доме большом раньше
пьянка была...)*

Устаревшее *укора* (то же, что *укор*, то есть «упрек, порицание, выражение неодобрения, осуждения»), употребленное в отрицательной конструкции, и есть знак толерантного отношения к человеку [Шмелев 2002: 113—117].

Высоцкий-бытописатель выявляет факторы, препятствующие установлению толерантности в российском быту. К ним относятся пьянство, рукоприкладство, необузданность характера, зависть, предательство, этнические предрассудки, социально-интеллектуальные и другие контрасты, усугубляющиеся бытовыми трудностями.

Инвариантный мотив пьянства, задающий цепочку факторов интолерантности, воплощается с помощью комических гипербол:

Считай по-нашему, мы выпили не много —
Не вру, ей-богу, — скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То че б нам было с пяти бутылок?

(Милицейский протокол)

Глагол *пить*, его приставочные производные и глаголы соответствующей лексико-семантической группы обладают высокой частотностью. «Я»-конструкции в границах реальной модальности подчеркивают восприятие пьянства как бытовой нормы мужской жизни:

Я один пропиваю получку —
И плюс премию в каждый квартал!
(Я был слесарь шестого разряда)

Ой, где был я вчера — не пойму, хоть убей!
Только помню, что стены — с обоями...
(Ой, где был я вчера...)

Пьянство в песнях Высоцкого — общая мужская примета (вне зависимости от жизненного опыта и возраста). Пристрастие к спиртному в частных случаях осуждается. Вместе с тем, человек, выпивая, получает возможность эмоциональной разрядки и эмоционального коммуникативного взаимодействия. Ему трудно отказаться от спиртного, снимающего «коммуникативный эгоцентризм» [Гловинская 1998: 18].

Он [капитан] ругался и пил, он спросил про отца,
И кричал он, уставясь на блюдо:
«Я полжизни отдал за тебя, подлеца, —
А ты жизнь прожигаешь, Иуда!»
Он все больше хмелел, я — за ним по пятам, —
Только в самом конце разговора
Я увидел его — я сказал: «Капитан,
Никогда ты не будешь майором!»
(Случай в ресторане)

Укореняют пьянство стереотипы *не о чем жалеть, все равно мы пить не бросим, нет смысла бросать* и др.:

Говорят, что на место все встанет.
Бросить пить?.. Видно, мне не судьба, —
Все равно меня не отчеканят
На монетах вместо герба.
Но я не жалею!

(У меня было сорок фамилий...)

Жизнь собутыльников капсулируется, становится однолинейной, замыкается на стакане. Поэт создает афористический образ оскудения интеллекта:

У ребят серьезный разговор —
Например, о том, кто пьет сильнее.
У ребят широкий кругозор —
От ларька до нашей бакалеи.
(Ну о чем с тобою говорить!)

Пьянство, по Высоцкому, — причина бытовых конфликтов. Самая частотная причинно-следственная связь — *пьянка — драка*:

А потом кончил пить —
Потому что устал, —
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь...

И никто мне не мог даже слова сказать.
Но потом потихоньку оправились,
Навалились гурьбой, стали руки вязать,
И в конце уже — все позабавились.

Кто — плевал мне в лицо,
А кто — воду лил в рот,
А какой-то танцор
Бил ногами в живот...
(Ой, где был я вчера...)

Гротескное представление безобразного как смешного укрупняет изображение разрушительных последствий пьянства для общего жизненного устройства.

Насилие — объективный фактор интолерантности — предстает в сценах рукоприкладства смешным и трагическим:

Я однажды гулял по столице — и
Двух прохожих случайно зашиб...
(Городской романс)

Мордобой становится обыденным эпизодом городской жизни:

В Ленинграде-городе
у Пяти углов
Получил по морде
Саня Соколов.
(Зарисовка о Ленинграде)

Неистовство пьяной драки влечет за собой смерть:

Вот такая смерть шальная
Всех нас ждет потом.

(Нам вчера прислали...)

Драка, увечья и смерть по пьянке интерпретируются как лингвокультурологические факты, то есть «осознанные представителями этноса и превращенные посредством лингвокультурологического содержания языка как системы в достояние сознания предмета и явления окружающего мира. Познать предметы и явления означает сказать что-либо о них, высказать их, что, в свою очередь, означает констатацию лингвокультурных фактов» [Шаклеин 2002: 30].

Анализируя лингвокультурологическую природу толерантности, О. А. Михайлова отмечает, что «сам тип речевого взаимодействия оказывается фактором мотивационного психического состояния субъектов общения и источником соответствующего поведения» [Михайлова 2001: 26]. Агрессивное (вербальное и невербальное) поведение делает человека невменяемым и служит источником ответной агрессии и насилия.

Фактор толерантного отношения к другому — зависть («жгучее чувство досады, вызванное благополучием этого другого»). Зависть, по Высоцкому, обуславливается не психологически. Ее корни — в бедности, отсутствии среднего материального достатка. Вечный дефицит ожесточает, оупляет. В песнях находим перечислительные ряды вожделенных товаров и продуктов:

Чтобы я привез снохе
с ейным мужем по дохе,
Чтобы брату с бабой — кофе растворимый.
Двум невесткам по коври,
Зятю — черную икру,
Тестю — что-нибудь армянского разлива.

(Поездка в город)

Объектом зависти становятся элементарные вещи (в текстах — обозначения предметов одежды, тканей, аксессуаров):

У него на окнах — плюш и шелк,
Баба его шастает в халате...

(Песня завистника)

Объект зависти — сытая жизнь по контрасту с собственной — голодной, неустроенной:

Там у соседа — пир горой,
И гость — солидный, налитой.
Ну а хозяйка — хвост трубой —
Идет к подвалам...
Там у соседа — мясо в щах —
На всю деревню хруст в хрящах...
<...>
А у меня — сплошные передраги:
То в огороде недород, то скот падет,
То печь чадит от нехорошей тяги.
А то щеку на сторону сведет.

(Смотрины)

Особый объект зависти — автомобиль, пусть даже самый заурядный. Бытовая зависть прикрывается идеологическими стереотипами, надевает на себя маску революционной справедливости. Оксюморон лежит в основе комического эффекта, углубляющего диагностическую социально-психологическую процедуру:

Произошел необъяснимый катаклизм:
Я шел домой по тихой улице своей —
Глядь, мне навстречу нагло прет капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей»!
Я по подземным переходам не пойду:
Визг тормозов мне — как романс о трех рублях, —
За то ль я гиб и мер в семнадцатом году,
Чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»!

(Песня автозавистника)

Страстное желание иметь машину порождает зависть, которая трансформируется в ненависть к владельцам автотранспорта и заодно — к интеллигентам:

Он мне не друг и не родственник,
Он мне — заклятый враг, —
Очкастый частный собственник
В зеленых, серых, белых «Жигулях».

(Песня автозавистника)

Как видим, «энергия клише» [Кронгауз 1998: 185] — идеологических и обыденных — питает вербальную агрессию.

Зависть, как и другие факторы интолерантности, связана с пьянством:

У них денег куры не клюют,
А у нас на водку не хватает.

(Песня автозавистника)

Фактор интолерантности — социально поощряемое предательство. Жена предает мужа, сосед — соседа, товарищ — товарища. Предательство облачается в доносы, жалобы, анонимки:

Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Да я же их читал!

(Диалог у телевизора);

Но был донос и был навет —
Кругом пятьсот, и наших нет...

(Дорожная история);

А товарищ продал, падла, и за все сказал...

(Правда ведь, обидно...)

Важнейшим фактором интолерантности является «инаковость». Оппозиция *свой* — *чужой* с маркированным правым членом порождает непонимание, разжигает агрессию, вражду. Высоцкий выделяет разные грани «инаковости». В их числе: происхождение, этническая принадлежность, интеллект, круг интересов, внешность, поведенческая манера и др.

У ней отец — полковником,
А у него — пожарником...

(Она на двор — он со двора)

Характерно, что «инаковость» выступает как нечто независимое от человека. Например, в песне «Летела жизнь» парадоксальной является самоидентификация героя:

Я сам с Ростова, я вообще подкидыш —
Я мог бы быть с каких угодно мест.
<...>
Из детства помню детский дом в ауле
В республике чечено-ингушей.
<...>
Пока меня с пути не завернуло,
Писался я чечено-ингушом.

Обозначение этнической принадлежности (*чечено-ингуш*) противоречит здравому смыслу. Глагол *писаться* здесь употребляется в значении «получить запись, отметку в паспорте» — отметку, не соответствующую ни истинной национальности ростовского парнишки, ни вообще конкретной национальности (ср.: «*Чеченцы* (самоназв. — *нохчий*), народ в Чечне и Ингушетии (745, 5 т. ч.) и Дагестане (59 т. ч.). Всего в России 899 т. ч. (1995). Общая числ. 957 т. ч. Язык чеченский. Ингуши — (самоназв. *галган*), народ в России. Живут в осн. в Ингушетии» [НЭС 2001]; «*Чечено-Ингушская автономная социалистическая республика (Чечено-Ингушетия)* — в составе РСФСР. Образована 5 дек. 1936. Осн. население — чеченцы, ингуши и русские» [МСЭ 1958]. Лингвосоциокультурный оксюморон *чечено-ингуш* трансформируется в этнографический факт, влияющий на жизненную ориентацию, формирующий тип агрессивного поведения:

Вспоминанье только потревожь я —
Всегда одно: «На помощь! Караул!..»
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья.
А место битвы — город Барнаул.

Когда дошло почти до самосуда,
Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя, —
Те и другие были не отсюда,
Но воевали — словно за себя.

Насилие на этнической почве на самом деле вызвано не биологическими различиями. *Горой за горцев* встает не горец, а тот, кого горцы приютили в трудное время. *Чечены* и *немцы* оказались в Барнауле

не по своей воле: этнические чистки и переселения проводили не отдельные люди, а государство.

Националистический экстремизм всегда опирается на стереотипы, мифы и слухи, позволяет «выпустить пар», переключить агрессию на «чужого», найти оправдание насилию:

Зачем мне считаться шпаной и бандитом —
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне, хоть и нету законов,
Поддержка и энтузиазм миллионов.
<...>
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они бога распяли,
По Курско-Казанской железной дороге
Построили дачи — живут там, как боги...
На все я готов — на разбой и насилие, —
И бью я жидов — и спасаю Россию.

(Антисемиты)

«Инонациональность», хоть снисходительно, но все же принимается:

В Ленинграде-городе —
тишь да благодать!
Где шпана и воры где?
Просто не видать!
Не сравнить с Афинами —
прохладно,
Правда — шведы с финнами, —
Ну и ладно!

(Зарисовка о Ленинграде)

Обсуждение расовых проблем проявляет расовую неприязнь, прикрытую удобными догмами о благополучии человечества:

Есть на земле предостаточно рас —
Просто цветная палитра, —
Воздуху каждый вдыхает зараз
Два с половиною литра.

Если так дальше, то — полный привет —
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!
(*Есть на земле...*)

Высоцкий обращает внимание на социально-ролевые контрасты. Ролевая иерархия, искаженная коммунистической идеологией, изображается то гротесково-комически, то выпукло-реально, но всегда узнаваемо:

Товарищи ученые, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях.
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
<...>
Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится, — ну, там, не тот аффект, —
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами,
Денечек покумекаем — и выправим дефект.
(*Товарищи ученые*)

Социороловой конфликт осложняется странным распределением прав и обязанностей, произвольная мена которых в реальной жизни может быть только однонаправленной.

Поэт пытается разрешить оппозицию *свой* — *чужой* не только средствами юмора. В некоторых случаях развитие песенного сюжета должно убедить адресата песни в неправильном понимании категории «свой круг», в несправедливом отношении к «не своим». Так, в песенке «Про Сережку Фомина» развивается динамическая оппозиция, отражающая реальные взаимоотношения молодых людей: *мы* (простые парни) — *он* (интеллигент) ? *я* (один из тех простых парней, кто добровольно пошел на фронт) — *он* (профессорский сынок, которому папаша-профессор сделал бронь) ? *я* (демобилизовавшийся рядовой участник войны) — *он* (герой войны):

Я рос как вся дворовая шпана —
Мы пили водку, пели песни ночью, —
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что был всегда сосредоточен.

Сидим раз у Сережки Фомина —
Мы у него справляли наши встречи, —
И вот о том, что началась война,
Сказал нам Молотов в своей известной речи.

В военкомате мне сказали: «Старина,
Тебе броню дает родной завод «Компрессор»!
Я отказался, а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.

Кровь лью ли за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью ли за Сережку Фомина,
А он сидит и в ус себе не дует.

Теперь небось он ходит по кинам —
Там хроника про нас перед сеансом, —
Сюда б сейчас Сережку Фомина —
Чтоб побыл он на фронте на германском.

...Но наконец закончилась война —
С плеч сбросили мы словно тонны груза, —
Встречаю я Сережку Фомина —
А он Герой Советского Союза.

Конфликт часто загоняется вглубь, но социально-психологическое напряжение сохраняется. В песне «Ленинградская блокада» конфликт погружается в драматическую ситуацию осажденного города. Праведный гнев, чувство презрения, жажда справедливого возмездия обнаруживают не только оппозицию *сытый голодного не разумеет*, но и демифологизируют демагогические утверждения о равенстве советских людей — независимо от занимаемого положения. Наивность ролевого героя обостряет оппозицию, акцентирует бессмысленность обличительного пафоса:

Я вырос в ленинградскую блокаду...
В очередях за хлебушком стоял.
<...>
Граждане смелые, а что же тогда вы делали,
Когда наш город счет не вел смертям?
Ели хлеб с икоркою, —
А я считал махоркою
Окурки с-под платформы черт-те с чем напополам.

Так зачем проклинал свою горькую долю?
Видно, зря, видно, зря!
Так зачем я так долго стремился на волю
В лагеря, в лагеря?

(Так оно и есть)

Неумение оперировать ценностями приводит к внутреннему идеологическому конфликту. Герой Высоцкого признается в том, что не испытывает счастья свободы, «вызываемого отсутствием какого-то давления, какого-то «сжатия», каких-то тесных, сдавливающих оков» [Вежицкая 2001: 235]. Он не знает, как распорядиться свободой:

Лили на землю воду —
Нет колосков, — чудо!
Мне вчера дали свободу —
Что я с ней делать буду?

(Дайте собаке мяса)

Живя в условиях несвободы, мечтая о воле, человек утрачивает навыки раскованности в поведении, мыслях, действиях:

Вам вольничать нельзя в чужих портах,
А я забыл, как вольничать в своих.

(Когда я спотыкаюсь на стихах...)

В заключение попытаемся определить набор содержательных компонентов понятия «толерантность», извлеченных из песенного свертхтекста Владимира Высоцкого: принятие «инаковости»; принятие языка и культуры «другого»; соответствие речеповеденческих партий естественной иерархии социально-коммуникативных ролей; право на свободу личного выбора и уважение выбора «другого»; ненасилие во всех формах; самоконтроль, умение регламентировать страсти и желания, оперировать ментально значимыми ценностями.

ЛИТЕРАТУРА

Аграновский А. А. Избранное: Очерки, фельетоны, статьи. — М., 1980.

Арнольд И. В. Стилистика декодирования. — Л., 1973.

Бахтин М. М. Под маской. Маска третья // Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М., 1993.

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. — М., 2001.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997.

Бурдые П. Социология политики. — М., 1993.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. — М., 2001.

Войтак М. Стилистика архипастырских посланий: к вопросу о стиле бытовых текстов // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. М. П. Котюрова. — Пермь, 2001.

Высоцкий В. С. Сочинения: В 2 т. — Т. 1: Песни. — Екатеринбург, 1994.

Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России: Практика и рекомендации. — М., 1994.

Гловинская М. Я. Типовые механизмы искажения смысла при передаче чужой речи // Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской / Отв. ред. М. Я. Гловинская. — М., 1998.

Голев Н. Д. Антиномии русской орфографии. — Барнаул, 1997.

Голев Н. Д. Конфликтность и толерантность как универсальные лингвистические категории // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Гольдин В. Е. Толерантность и проблемы современной культуры русской речи // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. — М., 2001.

Гудков Д. Б., Красных В. В., Захаренко И. В., Багаева Д. В. Некоторые особенности функционирования прецедентных высказываний // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 9, Филология. — 1997. — № 4.

Дзялошинский И. М. Культура, журналистика, толерантность (о роли СМИ в формировании в российском обществе атмосферы толе-

рантности и мультикультурализма) // Пресса, государство, культура: мультикультурализм как новая философия взаимодействия. — М., 2002.

Емельянов Б. В. Толерантность как проблема русской философии: Докл. на Междунар. конф. молодых ученых и преподавателей «Толерантность в современной цивилизации». — Екатеринбург, 2001. — Отд. оттиск.

Ерофеева Т. И. Локальная окрашенность литературной разговорной речи. — Пермь, 1979.

Жельвис В. И. Инвектива в политической речи // Русский язык в контексте культуры. — Екатеринбург, 1999.

Живая речь уральского города. — Свердловск, 1988.

Живая речь уральского города: Тексты / Под ред. Т. В. Матвеевой. — Екатеринбург, 1995.

Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. — М., 1995.

Известия-85. — М., 1985.

Ищенко Ю. А. Толерантність як вартощ ненасильственої комунікації // Collegium (Киев). — 1993. — № 2.

Карасик В. И. Язык социального статуса. — М., 1992.

Картер Г. Эффективная реклама. — М., 1991.

Китайгородская, Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. — М., 1999.

Козер Д. Социология конфликта. — М., 2000.

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. — СПб., 1999.

Котюрова М. П. Толерантность в научной коммуникации // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Кохтев Н. Н. Язык рекламы // Рус. речь. — 1991. — № 3—6.

Краткая философская энциклопедия. — М., 1994.

Кронгауз М. А. Речевые клише: энергия разрыва // Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской / Отв. ред. М. Я. Гловинская. — М., 1998.

Крылова О. А. Существует ли церковно-религиозный функциональный стиль в современном русском литературном языке? // Культурно-речевая ситуация в современной России / Отв. ред. Н. А. Купина. — Екатеринбург, 2000.

Крылова О. А. Можно ли считать церковно-религиозный стиль современного русского литературного языка разновидностью газетно-публицистического? // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. М. П. Котюрова. — Пермь, 2001.

Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. — М., 1989.

Крысин Л. П. Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Сб. памяти Т. Г. Винокур. — М., 1996.

Крысин Л. П. Современный русский интеллигент: Попытки речевого портрета // Рус. яз. в науч. освещ. — 2001. — № 1.

Культурно-речевая ситуация в современной России / Отв. ред. Н. А. Купина. — Екатеринбург, 2000.

Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. — Екатеринбург; Пермь, 1995.

Купина Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык в его функционировании: Тез. докл. междунар. конф. — М., 1998. — С. 61—63.

Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. — Екатеринбург, 1999.

Купина Н. А., Битенская Г. В. Сверхтекст и его разновидности // Человек. Текст. Культура / Под ред. Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой. — Екатеринбург, 1994.

Ларин Б. А. О лингвистическом изучении города // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание: Избр. тр. — М., 1977а.

Ларин Б. А. К лингвистической характеристике города: (Несколько предпосылок) // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание: Избр. тр. — М., 1977б.

Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание: Избр. тр. — М., 1977.

Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Михайлова О. А. Толерантность как лингвокультурологическая категория // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы: В 2 ч. — М., 1998.

Николаева Т. М. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Докл. всесоюз. науч. конф. — Ч. 2. — М., 1991.

Перцев А. В. Познание как война, или Проблема ментального разоружения: Докл. Междунар. конф. молодых ученых и преподавателей «Толерантность в современной цивилизации». — Екатеринбург, 2001. — Отд. оттиск.

Поварнин С. И. Спор: О теории и практике спора. — Псков, 1994.

Попова Е. С. Манипуляция в аспекте толерантности // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. — Екатеринбург, 2001.

Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. — М., 1997.

Рождественский Ю. В. Теория риторики. — М., 1999.

Розанова Н. Н. Коммуникативно-жанровые особенности храмовой проповеди // И. А. Бодуэн де Куртенэ: Ученый. Учитель. Личность: Докл. науч.-практ. конф. «Лингвистическое наследие И. А. Бодуэна де Куртенэ на исходе XX столетия» / Под ред. Т. М. Григорьевой. — Красноярск, 2000.

Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных сообщений. — М., 1981.

Сиротинина О. Б. Языковой облик г. Саратова // Разновидности городской устной речи. — М., 1988.

Со Ын Ён. Речевой жанр современного церковно-религиозного послания: Дис. ... канд. филол. наук. — М., 2000.

Солганик Г. Я. Современная публицистическая картина мира // Публицистика и информация в современном обществе. — М., 2000.

Стернин И. А., Шилихина К. М. Коммуникативные аспекты толерантности. — Воронеж, 2001.

Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. — М., 1989.

Тарасов Е. Ф. Психолингвистические особенности языка рекламы // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. — М., 1974.

Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: познавательльно-психологический подход. — М., 1998.

Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М., 1995.

Уроки Аграновского. — М., 1986.

Успенский Б. А. Поэтика композиции. — СПб., 2000.

Хинтиikka Я., Хинтиikka М. Шерлок Холмс против современной логики: к теории поиска информации с помощью вопросов // Язык и моделирование социального взаимодействия. — М., 1987.

Ходов С. Б. Эстетическая позиция российского регионального журнала «Урал» (1958—1998): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Екатеринбург, 2000.

Чердниченко Т. Типология советской массовой культуры: Между «Брежневым» и «Пугачевой». — М., 1987.

Чердниченко Т. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах // Актуальный лексикон истории культуры. — М., 1999.

Шаклеин В. М. Лингвокультурный факт и лингвокультурное содержание языка // Русистика и современность: Лингвокультурология и межкультурная коммуникация / Отв. ред. И. П. Лысакова. — СПб., 2002.

Шапошников В. Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. — М., 1998.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. — М.; Волгоград, 2000.

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. — М., 2002.

Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Речевые жанры. — Саратов, 1997.

Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Рассказывание анекдота как жанр современной русской речи: проблемы вариативности // Жанры речи-2. — Саратов, 1999.

Шмелева Е., Шмелев А. Политический анекдот: типы коммуникативных неудач // Тр. Междунар. семинара «Диалог-2001» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. — Т. 1. — Аксаково, 2001.

Шнейдер В. Б. Планирование актов прагматического текстообразования. — Екатеринбург, 1994.

Шумилин А. Т. Проблемы теории творчества. — М., 1989.

Языковой облик уральского города. — Свердловск, 1990.

Attardo S., Chabanne J.-Ch. Jokes as a text type // Humor. 1992. 5—1/2.

СЛОВАРИ

ЛЭС — Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. — М., 1987.

МЭС — Малая советская энциклопедия / Гл. ред. П. А. Введенский: В 10 т. — М., 1958. — Т. 10.

МАС (малый академический словарь) — Словарь русского языка: В 4 т. — 2-е изд. — М., 1981—1984.

НЭС 2000 — Новый энциклопедический словарь. — М., 2000.

НЭС 2001 — Новый энциклопедический словарь / Гл. ред. А. П. Горкин. — М., 2001.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 2001.

Частотный словарь русского языка / Под ред. Л. Н. Засориной. — М., 1977.

ЭС — Энциклопедический словарь: В 2 т. — М., 1964.

РАЗДЕЛ 4

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ

И. А. Стернин

Проблема формирования в обществе установок толерантного сознания предполагает решение ряда теоретических задач, которые принципиально важны для практического формирования толерантности в этом обществе. К этим задачам в первую очередь относится формулирование *определения* толерантности, которое могло бы удовлетворить российское общество, а во-вторых, разработка *методики формирования* толерантного сознания и поведения.

В данной работе мы предлагаем определить толерантность как *положительное нравственное качество человека, заключающееся в ценностной ментальной установке на терпимость к мнениям, убеждениям и формам поведения другого человека.*

Толерантность — категория прежде всего межличностного поведения. Она действует на уровне отношений людей и только через отношения людей становится общественным явлением. Толерантность в обществе возможна только в условиях повседневной толерантности отдельных личностей, что делает бытовую и в широком плане — повседневную толерантность основой формирования установок толерантного общественного сознания.

Основой бытовой повседневной толерантности является толерантность в общении (коммуникативная толерантность).

Толерантность повседневного поведения и общения людей обусловлена наличием в их сознании *толерантной установки*, правил толерантного поведения и общения. Базой такой установки является

сформированность концепта толерантность в сознании человека и прежде всего — в его коммуникативном сознании.

Рассмотрим концепт *толерантность* в современном русском коммуникативном сознании. Лингвокогнитивный анализ позволяет представить модель концепта как элемента личной, групповой и национальной концептосферы [Попова, Стернин 2001: 57—59]. Любой концепт может включать несколько когнитивных слоев, различающихся по уровню абстракции, отражаемому ими [Там же: 63—64].

По данным когнитивной лингвистики, базовый когнитивный слой концепта отражает некоторый чувственный образ (*автобус* — желтый, тесно, трясет; *искусство* — картины; *религия* — церковь, молящиеся люди). Этот образ представляет собой единицу универсального предметного кода, кодирующую данный концепт для мыслительных операций. Если представить концепт как некий плод, базовый образный слой будет косточкой этого плода.

Для концепта *толерантность*, как показывают экспериментальные исследования, это чувственный образ *спокойного, вежливого, невозмутимого человека*. Другие когнитивные слои наслаиваются на первый — от более конкретного к более абстрактному — и образуют мякоть плода. Их может быть несколько. Для исследуемого концепта эти слои — повседневная терпимость (бытовая, педагогико-воспитательная, деловая, административная), религиозная терпимость, этническая терпимость, интеллектуальная терпимость.

Когнитивные слои состоят из когнитивных признаков. Когнитивные слои и образующие их концептуальные признаки определяют структуру и объем ядра концепта.

Кроме ядра, концепт имеет объемную интерпретационную часть — совокупность слабо структурированных предикаций, представляющих собой принятую в данной культуре, в данном социуме интерпретацию отдельных концептуальных признаков в их сочетании в виде утверждений, стереотипов, дискретных представлений о мире, вытекающих из содержания концепта.

Например, в интерпретационное поле концепта толерантность на современном этапе развития этого концепта в российском сознании входят такие установки, как: *в быту надо быть терпимым, надо*

идти навстречу людям, в мелочах лучше уступать. И вместе с тем: компромиссы, уступки — это отсутствие характера, принципов, мягкотелость, на уступчивых людей нельзя положиться, на переговорах надо быть жестким, плюрализм вреден, затрудняет жизнь и нам он не нужен. Противоречивость установок объясняется именно принадлежностью их не к ядру концепта, а к интерпретационному полю концепта, которое содержит «выводы» общественного сознания из разных когнитивных признаков. Интерпретационное поле слабо структурировано.

В языке когнитивным слоям обычно соответствуют семемы. В значении слова *толерантность* могут быть выявлены следующие семемы:

повседневная терпимость — «терпимость к поведению и высказываниям окружающих людей, умение прощать им слабости и отклонения от норм поведения»;

религиозная терпимость — «уважительное отношение к представителям других конфессий; признание их равными себе»;

этническая терпимость — «уважительное, невраждебное отношение к представителям других этнических групп, находящихся в контакте или взаимодействии с «моей» этнической группой, признание их равными себе»;

интеллектуальная терпимость — «признание возможности плюрализма мнений по любому политическому, общественному или научному вопросу, отсутствие враждебности к чужому мнению».

Экспериментальное исследование русского коммуникативного идеала [Стернин 2001: 9—14], проведенное нами (*идеальный собеседник — какой?*), однозначно показало, что налицо толерантность как *ведущая черта русского коммуникативного идеала*. Русское коммуникативное сознание ищет идеал в толерантном собеседнике, в таком, который выполнял бы роль внимательного, вежливого слушателя. Это, по-видимому, обусловлено такими национальными чертами коммуникативного поведения русского человека, как высокая общительность, высокая коммуникативная активность, бескомпромиссность в споре, эмоциональность и искренность, стремление увеличить свой речевой вклад в общение, завладеть коммуникативным вниманием, коммуникативный центризм. В силу этого идеальным собеседником выступает тот, кто внимательно и доброжела-

тельно слушает, то есть помогает говорящему реализовать его коммуникативную интенцию.

Концепт *толерантность* в настоящее время формируется в русском языковом сознании, русская концептосфера в принципе готова его воспринять, но этот концепт еще находится в процессе становления и поэтому не имеет очерченной структуры, не может считаться общеизвестным и тем более общенациональным.

Формированию концепта *толерантность* в русской концептосфере способствует употребление заимствованного слова, вошедшего в русский язык, однако на данном этапе это слово еще вызывает неприятие у многих носителей русского языка, особенно у лиц среднего и пожилого возраста.

Пока концепт *толерантность* адекватно воспринимается лишь незначительным слоем образованного населения, большинство же носителей русского языка относится к нему негативно или отождествляет его с *терпением*, необходимым для перенесения боли, тягот и т. д.

Концепт *толерантность* в русской концептосфере испытывает давление сближающихся с ним в русском сознании концептов, имеющих явный или слабо выраженный неодобрительный оценочный знак (*терпимость*, *беспринципность*, *непринципиальность* и др.).

Наиболее яркий и очевидный аспект проявления толерантности в поведении индивида — коммуникативный. Важным понятием при анализе концепта *толерантность* является понятие коммуникативной категории. Это понятие требует некоторых пояснений.

Применительно к отражению в сознании норм и правил коммуникации важно разграничить речевое мышление и коммуникативное сознание.

Речевое мышление — это механизмы порождения, восприятия и понимания речи. Речевое мышление исследуют психология, психолингвистика, нейролингвистика, логопедия, в какой-то степени — методика обучения языку.

Коммуникативное сознание — это совокупность механизмов сознания человека, которые обеспечивают его коммуникативную деятельность. Это коммуникативные установки сознания, совокупность ментальных коммуникативных категорий, определяющих принятые в обществе нормы и правила коммуникации.

Под *коммуникативными категориями* понимаются самые общие коммуникативные понятия, упорядочивающие в сознании народа (и отдельно человека) знания об общении и нормах его осуществления. Некоторые из коммуникативных категорий отражают общие представления человека об общении, некоторые — о его речи. Так, для русского коммуникативного сознания могут быть выделены в качестве релевантных такие коммуникативные категории, как собственно категория *общение*, категории *вежливость/грубость*, *коммуникабельность*, *коммуникативная ответственность*, *эмоциональность*, *коммуникативная оценочность*, *коммуникативное давление*, *коммуникативная серьезность*, *реквестивность*, *коммуникативный оптимизм/пессимизм*, категория *коммуникативного идеала* и др. Коммуникативные категории, отражающие отношение человека к речи, — *родной язык*, *иностраный язык*, *неофициальная речь*, *публичная речь*, *слушание*, *говорение*.

Та или иная категория становится «наблюдаемой» и вычленяется как таковая в коммуникативном сознании народа по ее проявлениям в общении — именно из анализа практики общения выявляются категории и определяется их содержание.

Коммуникативные категории, как и любые мыслительные категории, тем или иным образом упорядочивают ментальные представления нации о нормах и правилах коммуникации. Это упорядочение осуществляется нежестко, вероятно, многие категории взаимно накладываются друг на друга и пересекаются друг с другом — явление, характерное для всех когнитивных категорий. Назначение коммуникативных категорий — упорядочение в сознании сведений о нормах и правилах общения и обеспечение речевого общения индивида в обществе по принятым в данном обществе правилам.

Содержание коммуникативной категории представляет собой некоторую упорядоченную (не очень жестко) совокупность суждений, установок, ментальных стереотипов, правил, касающихся языкового общения.

По-видимому, в рамках коммуникативных категорий образующая их информация (концепты, установки, правила) упорядочивается, структурируется по яркости, актуальности для сознания, то есть по полювому принципу. Категория содержит определенное

концептуальное знание о коммуникации (информационный аспект, информационная составляющая категория), а также прескрипции, предписания по осуществлению коммуникативного процесса (то есть определенные правила общения); этот аспект может быть назван прескрипционным.

Прескрипционная составляющая коммуникативной категории включает прескрипции разных видов: прескрипции, которые носят предписывающий характер (что и как надо делать в общении), запретиельные прескрипции (что нельзя делать в общении) и интерпретирующие (объяснительные) (как надо понимать в процессе общения те или иные коммуникативные факты и действия).

Некоторые из таких установок отражены в пословицах, поговорках и присловьях народа (*яйца курицу не учат, смех без причины — признак дурачины, коротко и ясно, брань на воротах не виснет* и др.); другие выявляются только из анализа коммуникативной практики народа (*через порог не разговаривают, прикосновение повышает убедительность, длительное совместное пребывание в одном месте с незнакомым человеком предполагает вступление с ним в общение, слабое рукопожатие свидетельствует о нерешительности, идя в гости, надо немного опоздать, за столом надо участвовать в общем разговоре* и др.).

Информационная и прескрипционная составляющие коммуникативной категории дополняют друг друга и существуют в неразрывном единстве, но в интересах систематического описания информационное и прескрипционное содержания коммуникативной категории могут быть вычленены и описаны по отдельности.

Некоторые коммуникативные категории могут быть эндемичными, или лакунарными, для того или иного этноса. Например, коммуникативные категории англоязычного западного мира — *small talk, privacy, political correctness*, японская коммуникативная категория *sabi*, что значит «уединенное молчание на природе, сопровождаемое слушанием какого-либо одного звука», категории японского и западного мышления *сохранение своего лица, сохранение лица собеседника* — все эти категории для русского коммуникативного сознания лакунарны.

Описание коммуникативных категорий, установок и концептов может быть осуществлено на двух уровнях — рефлексивном и бы-

тийном, для некоторых категорий возможен еще духовный уровень описания [Зинченко 1991].

Рефлексивный анализ предполагает выявление структуры категории как элемента концептосферы, ее связей с другими категориями в сознании человека.

Бытийный анализ предполагает изучение отношения национального сознания к концепту и реальной роли концепта в обусловленном данным концептом поведении людей. Концепт может содержательно присутствовать в концептосфере народа, люди же могут совсем не руководствоваться им в практическом поведении, хотя и правильно его понимают и осознают необходимость его реализации на практике. Например, концепты *свобода* и *демократия* есть в русском сознании, но эти концепты практически не обуславливают реальное поведение людей в духе свободы и демократии в повседневной жизни.

Люди могут хорошо знать некоторые правила, но знание этих правил может совсем не сопровождаться их выполнением, что особенно характерно для русского менталитета (например, *рефлексивно* все взрослые понимают, что перебивать собеседника нехорошо, они делают замечания детям, которые их перебивают, но мало кто эту коммуникативную прескрипцию *бытийно* соблюдает сам).

Бытийный уровень описания — это уровень практического исполнения правил и предписаний, уровень коммуникативной практики — не «как надо», а «как на самом деле делают».

Духовный уровень — это роль категории в духовной культуре нации, степень «вписанности» категории в духовную культуру народа, важность категории для духовной культуры народа, принадлежность этой категории к национальным ценностям.

К примеру, категория *общения* важна для русской духовной культуры, занимает в ней одно из центральных мест, является ценностью для русского человека, чего нельзя сказать о категориях *толерантность*, *вежливость*, *коммуникативная неприкосновенность*: русскому сознанию в духовном плане более важной представляется такая категория, как *искренность*.

Коммуникативные категории как элементы коммуникативного сознания практически не исследованы. Вместе с тем их исследова-

ние и описание имеет и теоретическую, и прикладную значимость. С теоретической точки зрения, изучение коммуникативных категорий позволит понять как саму структуру коммуникативного сознания человека, так и механизм реализации коммуникативных категорий в процессе общения. При этом подчеркнем, что коммуникативное сознание может быть описано не только для определенного народа, этнического коллектива, но и для отдельных социальных, возрастных, гендерных групп, а также для отдельной личности.

Коммуникативная категория *толерантности* объединяет совокупность более частных концептов и категорий — таких, как *вежливость*, *сохранение лица собеседника*, *коммуникативная неприкосновенность*, *коммуникативная доминантность* и др.

У разных народов коммуникативная категория *толерантности* сформирована в разной степени.

Изучение английского коммуникативного поведения в целом свидетельствует, что для него характерны, как минимум, следующие черты, способствующие формированию категории коммуникативной толерантности:

- стремление к достижению компромисса — высокое;
- публичное обсуждение разногласий — только в официальных ситуациях (например, в парламенте);
- ориентация на сохранение лица собеседника — ярко выраженная;
- допустимость эмоционального спора — низкая;
- категоричность выражения несогласия — отсутствует;
- любовь к критике — невыраженная;
- антиконфликтная тематика общения — очень широко используется;
- настаивание на своей позиции — редко используется;
- категоричность формулирования проблемы — не используется;
- перебивание собеседника — недопустимо;
- допустимость инакомыслия — допускается, считается нормальной;
- уровень самоконтроля в общении — высокий;
- уровень коммуникативной ответственности — высокий;
- коммуникативная неприкосновенность — выраженная;

объем общения — немногословие, высокая доля молчания в структуре общения;

эмоциональность — сдержанная, высокий уровень вежливости;

тематическая регламентация общения — жесткая;

уровень тематической табуированности — высокий;

роль светского (фатического) общения — высокая;

дистанция общения — большая.

Таким образом, английское коммуникативное поведение свидетельствует о сформированности категории толерантности, которая поддерживается большинством релевантных черт английского коммуникативного поведения.

Перечислим основные черты американского коммуникативного поведения, поддерживающие категорию толерантности:

настойчивость при вступлении в контакт — низкая;

допустимость высокоэмоционального разговора — пониженная;

невмешательство в общение других — соблюдается;

возможность перебивания собеседника — отсутствует;

стремление к достижению компромисса — высокое;

коммуникативная доминантность — пониженная;

роль светского общения — высокая;

вежливость к незнакомым — повышенная;

стремление к модификации поведения собеседника — низкое;

допустимость вмешательства в общение других — повышенная;

допустимость эмоционального спора — пониженная;

оценочность общения — невысокая;

коммуникативный контроль — заметный;

категоричность выражения несогласия — низкая;

любовь к критике собеседника — невыраженная;

антиконфликтная тематика общения — достаточно широко используется;

степень табуированности общения — заметная;

частота использования комплиментов — высокая;

настаивание на своей позиции — редко используется;

перебивание собеседника — недопустимо;

допустимость инакомыслия — приветствуется;

физический контакт — мало распространен;

дистанция общения — большая.

Некоторые черты американского коммуникативного поведения противоречат принципу толерантности:

- публичное обсуждение разногласий — допустимо;
- стремление к быстрому упрощению коммуникативных отношений — заметное;
- вежливость к старшим — пониженная;
- вежливость к учителям, преподавателям — допускает исключения;
- ориентация на сохранение лица собеседника — пониженная;
- громкость общения — высокая.

Однако, как можно заметить, в американском коммуникативном поведении коммуникативные признаки, поддерживающие реализацию категории толерантности в общении, значительно превосходят нетолерантные, что свидетельствует о сформированности в американском сознании коммуникативной категории толерантности.

Способствуют формированию коммуникативной категории толерантности следующие параметры русского коммуникативного поведения:

- стремление к общению — высокое;
- свобода вступления в контакт — повышенная;
- допустимость длительных пауз в общении — недопустимы;
- приоритетность установления дружеских отношений с окружающими — повышенная;
- самоподача личности — диффузная;
- самопрезентация — скромная;
- вежливость к знакомым — высокая;
- вежливость к незнакомым женщинам — обязательна;
- обсуждаемая проблематика — очень широкая;
- коммуникативный идеал — стремление быть выслушанным.

В то же время препятствуют формированию категории коммуникативной толерантности следующие параметры:

- настойчивость при вступлении в контакт — высокая;
- стремление к эмоциональной оценке — повышенное;
- необходимость демонстрации положительных эмоций в общении — отсутствует;
- возможность эмоциональной реакции на реплику собеседника — повышенная;

внимательное слушание — обычно не соблюдается;
доброжелательность приветствия — слабо выраженная;
бытовая улыбочность — отсутствует;
частотность использования комплиментов — низкая;
роль светского общения — низкая;
стремление к неформальному общению — повышенное;
эффективность официального общения — невысокая;
вежливость к незнакомым — пониженная;
вежливость к детям — не обязательна;
допустимость грубости в отношении собеседника — заметная;
допустимость эмоционального спора — повышенная;
вежливость к учащимся — допускает исключения;
стремление к модификации поведения собеседника — заметное;
стремление к модификации картины мира собеседника — заметное;
допустимость вмешательства в общение и поведение других — повышенная;
внимание к собственной речи — невыраженное;
внимание к содержанию речи собеседника — заметное;
прогнозирование результатов своей коммуникативной деятельности — низкое;
проблемность повседневного общения — высокая;
степень табуированности — невысокая;
эвфемистичность общения — невысокая;
стремление к достижению компромисса — низкое;
публичное обсуждение разногласий — допустимо;
ориентация на сохранение лица собеседника — отсутствует;
допустимость эмоционального спора — повышенная;
стремление к победе в споре — повышенное;
сосредоточенность на решении проблемы — низкая;
возможность перебивания собеседника — высокая;
отношение к инакомыслию — осуждается.

Из данного перечня ясно, что формирование коммуникативной категории толерантности в русском общении, начавшееся в последнее время, будет происходить медленно и с трудом, поскольку достаточно большое количество русских коммуникативных норм и традиций не поддерживает эту категорию.

Причина данного обстоятельства, видимо, кроется в историческом развитии России: страна всегда испытывала многочисленные нашествия, что вызывало формирование высокого доверия к «своим» и настороженное отношение ко всякого рода «чужим», «не нашим» (*кто не с нами, тот против нас; и нашим, и вашим* — это плохо). Суровые климатические условия, тяжелый труд, возможность выжить только совместно сформировали соборность жизненного уклада и менталитета русского человека, что обусловило простоту и искренность отношений и общения со «своими» и недостаточное внимание к характеру общения с «чужими», незнакомыми. Данная проблема требует, разумеется, серьезного изучения, но трудности формирования толерантного сознания в российском обществе представляются в свете вышесказанного очевидными.

В России толерантное поведение в настоящее время пока в большей степени декларируемая норма, которая в официальной обстановке еще более или менее соблюдается (хотя тоже не всегда), а в межличностных отношениях, при инициативном общении, очень часто нарушается. Отсутствует педагогическая толерантность в отношении детей в семье.

Для современного российского мышления в целом установки толерантности ослаблены, российское мышление более привычно к бескомпромиссности, непримиримости, спору, столкновению взглядов и т. д. Это нередко ведет к открытым конфликтам и скандалам, неумению пойти на компромисс, достичь сотрудничества, что в общественном плане зачастую вызывает раскол в обществе (политическая нетолерантность), порождает служебные и бытовые конфликты, ссоры в общественных местах, бытовую агрессию (так, в России, по данным СМИ (Экспертиза. РМР 2002. 17 янв.), 14 тысяч женщин в год погибает от рук мужей и партнеров, то есть одна женщина — каждые 40 минут), способствует формированию зависти и нетерпимости к отдельным социальным группам в обществе (к предпринимателям, бомжам, беженцам) и т. д. Все эти негативные явления наблюдаются на фоне высокой общительности, эмоциональности, коммуникативной контактности и душевности русского человека.

У большинства цивилизованных народов толерантное поведение — обязательная коммуникативная норма, предъявляемая об-

ществом, и не соблюдающие ее подвергаются общественному осуждению, вплоть до официальных замечаний со стороны руководителей, официальных лиц государства и даже полиции.

Категория толерантности в русском сознании только начинает формироваться, и необходимы специальные меры учебного, пропагандистского, культурно-образовательного характера для социального продвижения данного концепта в русской концептосфере. Это представляется важной задачей для современной России, поскольку принцип толерантности является одним из основополагающих ментальных принципов цивилизованного демократического общества.

Необходима целенаправленная работа по формированию толерантности в российском обществе.

Формирование толерантного поведения личности, общественной группы и народа в целом — актуальная задача сегодняшнего дня для российского общества. Формы и методы формирования толерантного сознания нуждаются в тщательном изучении.

Толерантность детей в значительной степени формируется толерантным поведением взрослых. Однако, как уже отмечалось, для взрослого населения нашей страны в целом толерантное поведение пока не характерно. Именно на формирование установок толерантности у взрослых ориентированы принимаемые правительством меры по выработке установок толерантного сознания в обществе.

Перед обществом стоит задача формирования деятельностной и коммуникативной толерантности, а также задача формирования категории толерантности в национальном сознании.

Наши исследования позволяют утверждать, что условием появления установок толерантного сознания является прежде всего формирование *коммуникативной толерантности*, через которую можно выйти на поведенческую толерантность и сформировать собственно ментальную категорию толерантности [Стернин, Шилихина 2001].

Коммуникативная (межличностная) толерантность является базой, эмпирической основой формирования всех видов толерантности. Межличностная толерантность/нетолерантность рядовых граждан хорошо поддается эмпирическому наблюдению, в ней присут-

ствуется прагматический мотив к ее формированию, поэтому она в наибольшей степени поддается целенаправленному педагогическому воздействию, в том числе в форме тренингов, направленных на формирование коммуникативной толерантности и разрешение конфликтных ситуаций.

Необходима разработка методик и обучающих программ по практическому формированию повседневной толерантности в дошкольных, средних и высших учебных заведениях, в системе подготовки и переподготовки кадров. Это заложит базу формирования установок толерантного сознания и позволит перейти к формированию более высоких уровней толерантности — конфессиональной, этнической, политической и др.

Обучение толерантному коммуникативному поведению — вполне реальная задача, связанная с формированием вежливости, навыков речевого этикета и культуры общения. Таким образом, формирование толерантности как ментальной структуры приобретает вполне реальные, осязаемые формы — обучение нормам и правилам коммуникативного поведения, формулам вежливого общения и т. д. Данный путь формирования толерантности в российском обществе представляется нам наиболее естественным, реальным и практически выполнимым.

РИТУАЛЫ ВЕЖЛИВОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Н. И. Формановская

Заканчивая свою книгу «Язык и межкультурная коммуникация», С. Г. Тер-Минасова пишет: «Три «Т» — Терпение, Терпимость, Толерантность — вот формула межкультурной коммуникации» [2000: 260]. Как будет показано, эти же требования в полной мере относятся и к внутрикультурному общению.

Прежде всего попробуем ответить на вопрос, каковы различия в каждом из названных «Т» и есть ли они. Если опираться на данные толковых словарей, *толерантность* истолковывается как терпимость, *терпимость* же изначально связывается с *терпением*. Ясно, что *терпение* и *терпимость* сильно разнятся в своих значениях. *Терпение* — это способность стойко, терпеливо и безропотно переносить что-либо, а также способность долго, настойчиво, упорно делать что-либо. Видимо, русский человек, закаляясь в своем суровом климате, осваивая большие пространства, выработал, в силу необходимости, как в практической жизни, так и в менталитете способность терпеть. Наделен ли он в достаточной мере терпимостью? Слова *терпимость* и *толерантность* в своем значении, по данным толковых словарей, совпадают. Латинский по происхождению термин *толерантность*, обладая стилистическим свойством книжности, в других отношениях как бы не отличается от слова *терпимость*. См. в «Новой философской энциклопедии»: «Толерантность — качество, характеризующее отношение к другому человеку как равнодстойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т. п.)» [НФЭ 2001]. Далее пространно развиваются эти положения. Слово *терпимость* в основе своего значения также содержит компонент «сознательное подавление неприятия».

Однако обращение к психологическим словарям может внести существенные уточнения. Мнение психологов опирается на второе словарное значение лексемы *толерантность*, связанное с медицинским термином и означающее, грубо говоря, ослабление чувствительности, приспособляемость, способность организма принимать чужое без отторжения. Словарь-справочник «Психология» сообщает: «Толерантность ... отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию; толерантность способствует повышению устойчивости к некоторому неблагоприятному фактору» [Дьяченко, Кандыбович 1998]. Это, так сказать, естественно-научный взгляд психологов. А далее авторы словаря-справочника уточняют, что существует понимание толерантности, ко-

торое связывается с терпимостью к различным мнениям, непредубежденностью в оценке людей и событий. Это уже социальный взгляд. В том же словаре-справочнике толкуется и *терпимость*: «...социально-психологическая черта человека, выражающего уважительное и доброжелательное отношение к взглядам, убеждениям, верованиям, мнениям, традициям, привычкам и поведению других людей. *Терпимость* способствует достижению взаимопонимания и согласованности в действиях без применения давления, принуждения, угроз». *Терпение* же здесь поясняется так: «Социально-психологическая черта человека — показатель мужества, внутренней силы, условие такта в общении» (в этом последнем — «ниточка» к терпимости). Следовательно, способность терпеть трудности связывается психологами с внутренней силой человека, его мужеством.

Если обобщить то, что усматривают в отмеченных понятиях психологи и философы, то получаются действительно три «Т», названные С. Г. Тер-Минасовой: *Терпение* как качество терпеливости, внутренней силы и упорства; *Терпимость* как социально-психологическое отношение уважительности и доброжелательности к убеждениям другого и подавление неприятия необычного в чужом; *Толерантность* как прежде всего физиологическая, а вследствие этого и психологическая способность ослабленно реагировать на какой-либо неблагоприятный фактор (каковым в общении чаще всего выступает отличающийся — «другой», «иной», «чужой»). Возникает соблазн представить *толерантность* как более высокое морально-психологическое, социализированное качество человека, с вошедшим в плоть и кровь неагрессивным отношением к необычному (будь то лилипут, азиат или африканец), с привычной ослабленной чувствительностью к «иному», в отличие от *терпимости*, которая все же требует сознательного подавления негативных реакций. С этой точки зрения *толерантность* можно отнести: а) к явлениям индивидуальной психики; б) к чертам кооперативного коммуникативного поведения языковой личности; в) к особенностям культуры общения социума. Подчеркнем еще раз, что и *терпение*, и *терпимость*, и *толерантность* актуальны как в межкультурной, так и во внутрикультурной коммуникации.

Проблемы межкультурной коммуникации, соотношение языков и культур изучают лингвострановедение, лингвокультуроведение — как в научном плане, так и в преподавании иностранных языков, русского языка как иностранного [Верещагин, Костомаров 1973; Томахин 1993; Воробьев 1997; Прохоров 1995, 1996; Мамонтов 2000; Тер-Минасова 2000; и др.]. Работы этих авторов учат понимать и уважать языковую и поведенческую специфику народов других стран, а также использовать полученные сведения об особенностях коммуникативного поведения носителей других языков, изучать эти особенности вместе с изучением собственно языка для адекватного осуществления межкультурной коммуникации. Приведем лишь два примера поведенческих несходств. Профессор В. В. Преображенский свидетельствует, что, будучи студентом 4-го курса на практике в Японии, он сконструировал на японском языке фразу, которую адресовал к пассажиру автобуса: — *Вы выходите на следующей остановке?* Ответом была гневная отповедь: — *Какое вам дело? Хочу выхожу, а хочу не выхожу.* Высказывание было воспринято как вторжение в интимную сферу, так как такого транспортного стереотипа в Японии нет. Второй пример касается пребывания автора этих строк в Китае. В обеденном зале, где был «шведский» стол, показалось целесообразным начать обед с аппетитного супа, что и было сделано. Тут же подошла коллега и огорченно спросила: — *Почему вы ничего не хотите есть?* — *Как не хочу? Вот я ем суп.* — *Да, но суп у нас едят потом, когда уже сыты.* Во всех случаях социокультурных расхождений от фрустрации, культурного шока спасают и знания, и толерантность. Напротив, отсутствие толерантности, нетерпимость приводят к агрессивности и в бытовом, и в политическом контексте, что опасно для людей, так как грозит локальными, региональными, межнациональными, религиозными и другими конфликтами.

Рассматривая приятие/неприятие «другого» и в межкультурной, и во внутрикультурной коммуникации, полезно коснуться оппозиции «я — другой» и «свой — чужой». Коммуникативные отношения между «я» и «другим» чрезвычайно важны. «Другой» — это и некто третий, о ком сообщается, и, главное, адресат речевого посыла от «я» (воздействия и взаимодействия). «Я», конечно, хоро-

ший и правильный, а вот «другой» — это другой. Еще Сервантес устами Санчо Пансы заметил: *Я говорю ему разумно и скромно: — Закопай канаву. А он мне глупо и грубо: — Закопай сам.*

Общение как социально-речевая деятельность по обмену различного рода информацией для организации, согласования, регулирования внекоммуникативных и коммуникативных практических и ментальных действий и для достижения результатов возможно лишь при соприкосновении «я» и «другого» — *ты / Вы / вы*. Взаимодействие «я» и «ты» широко изучается, в прагматике постулируются принципы сотрудничества (П. Грайс) и вежливости (Дж. Лич), многократно описанные; исследуются функциональные и категориальные сущности адресатности [Полонский 1999]; на основе теории социальных ролей говорящих и прагматических постулатов общения разрабатывается кодекс поведения адресата [Азнабаева 1998]. Прагматика коммуникативного поведения сводится к элементарным житейским требованиям: уважай другого, будь тактичен и вежлив, великодушно одобряй другого, проявляй скромность в самооценках, выражай побольше согласия с партнером и симпатии к нему, то есть уменьшай разногласия и антипатию и т. п. [Leech 1983; Формановская 1998; и мн. др.]. Таким образом, правила коммуникативного поведения предписывают говорящему не наносить своей речью и поведением ущерба другому, а, напротив, всячески его поддерживать и создавать тем самым благоприятный климат общения. Адресат, в свою очередь, обязан следовать определенным конвенциям относительно партнера: отдавать предпочтение слушанию перед другими видами деятельности; терпеливо выслушивать, не перебивая; постоянно подавать сигналы внимания, понимания, эмоционального и этического контакта с помощью невербальных средств, междометий и др.; ставить в центр коммуникативного внимания говорящего; умело входить во взаимодействие, своевременно беря на себя инициативу и вступая в общение со своей репликой, при этом не переходя без нужды от роли слушателя к роли говорящего — и т. д. и т. п.

«Я» и принятый «другой» образуют «мы» — это совместность, взаимопомощь, сочувствие, эмпатия, это свойственный русскому менталитету коллективизм (ср. «мы» солидарности, сочувствия: — *Как мы себя чувствуем?* — врач пациенту; — *Мы уже готовы отве-*

чать? — преподаватель студенту; — *Сейчас помоемся, покушаем и пойдем спать*, — мать ребенку).

«Другой» может ассоциироваться со «своим» и «чужим». «Свой» входит в личную сферу «я», это «мой» как принадлежащий «мне», или важный для «меня», или находящийся в сфере «моих» интересов и т. п. Ср.: *У меня внук двойку схватил; Мой вторую неделю не пьет; Дочка мне на голове такое принесла — ирокез зеленый!; У меня у дочки зуб вырвали* и т. п. Как видим, структуры разговорной речи здесь мудро распорядились местоимениями. Это все сфера жгучих личных интересов. Это же предупреждает о том, что в общении со «своим» нужно и терпение, и терпимость как сознательное подавление неприятия неприятного (зеленого ирокеза и др.). Ведь именно с близкими вспышки неприятия особенно часты и остры. Таковы семейные ссоры, взрывы гнева у влюбленных, конфликты в замкнутых малых группах казалось бы специально подобранных по совместимости людей (экспедиции, космические полеты и др.). Здесь быстрее всего «лопается» терпение, здесь меньше думают о сдерживающих приличиях.

С точки зрения «я» можно воспринимать «другого» следующим образом:

свой	близкий
далекий	
другой	
чужой	далекий
чуждый, странный, непонятный,	
непринятый, враждебный	

Концепт «свой — чужой» пронизывает всю культуру; на этой оппозиции основана привязанность к своему народу и Родине [Степанов 1997].

Неприятие чуждого в «чужом», да и в «своем», отрицание права на особенное, иное приводит к конфликту, будь то собственный сын с серьгой или лицо «кавказской национальности».

Сегодня в нашей коммуникации много инвектив, нетерпимости, непримиримости, агрессивности. Возникшая в теории коммуникации конфликтология [Жельвис 1992; Крысин 1996; Седов 1996; и др.] исследует неблагоприятные ситуации и эпизоды, конфликтотенные факторы, типы языковых личностей, склонных к кон-

фликтам. На стыке социологии, психологии, теории коммуникации и лингвистики исследователи пытаются найти пути преодоления конфликтности.

Казалось бы, современный цивилизованный человек, при всей его разумности, мог бы вести себя так, чтобы избегать конфликтов. Однако в жизни этого не получается. Л. П. Крысин пишет: «Вообще, если пользоваться не строго лингвистическими терминами, а оценочными, в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в речевом поведении людей. Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные образные средства негативной оценки поведения и личности адресата — от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного словоупотребления, до грубо просторечной и обшечной лексики.

Все эти особенности современной устной, а отчасти и книжно-письменной речи — следствие негативных процессов, происходящих во внеязыковой действительности; они тесно связаны с общими деструктивными явлениями в области культуры и нравственности» [Крысин 1996: 385—386].

На вопрос о том, что такое агрессивность и как она преодолевается в природе, дает ответ биолог, лауреат Нобелевской премии в области этологии (науки о поведении животных) Конрад Лоренц, исповедующий единство и взаимосвязь всего живого на Земле*. В 1963 году в Мюнхене вышла его книга «Так называемое зло. (К естественно-научной истории агрессии)», которая переводилась на русский язык (последнее издание — с искажающим идею автора названием «Агрессия (Так называемое «зло»)», 2001). Исследуя поведение животных разных видов (от рыб, птиц и выше), автор приходит к выводу, что инстинкт межвидовой агрессии полезен, так как позволяет завоевать территорию, достаточную для выкармливания потомства. Сложнее с внутривидовой агрессией. Там, где она становится опасной для выживания вида, природа, эволюция, изменчивость и отбор вырабатывают за-

* Вспомним, что еще И. А. Бодуэн де Куртенэ говорил о том, что смежными с языкознанием науками оказываются и психология, и биология. Лингвистическая теория общения, видимо, должна обратить самое серьезное внимание на данные этологии.

щитные механизмы. К. Лоренц говорит о возникновении ритуалов из привычек и обычаев, передаваемых филогенетически и подавляющих агрессивное поведение путем принятия позы покорности, позы умиротворения более сильного, вышестоящего, достойного, «уважаемого», победившего в ритуальном брачном сражении и т. п. А далее исследователь утверждает, что в человеческих ритуалах вежливости очень много от позы покорности (sic! — *Н. Ф.*). Ритуалы возникли как «загадочный эволюционный процесс, создающий поистине нерушимые законы, которым поведение многих высших животных подчиняется так же, как поступки цивилизованного человека — самым священным обычаям и традициям» [Лоренц 2001: 79]. При этом К. Лоренц говорит, что Дж. Хаксли «без колебаний отождествлял культурно-исторические процессы, ведущие к возникновению человеческих ритуалов, с процессами эволюционными, породившими столь удивительные церемонии животных» [Там же: 20]. К. Лоренц видит задачи своей книги в том, чтобы «выявить поразительные аналогии между ритуалами, возникшими филогенетически и культурно-исторически, и показать, каким образом они находят свое объяснение именно в тождественности их функций» [Там же: 80]. Таких основных функций ритуала автор выделяет три: а) снятие агрессии; б) объединение круга своих; в) отторжение чужих. Когда волк поворачивает к победившему шею, где проходит яремная вена, или олень опускает рога и встает на колени — это табу на убийство, и животное-победитель не может переступить неписанный запретительный закон. Позы покорности — знаки признания иерархически выше стоящего, сильного как умиротворение агрессора.

А далее (на примере церемоний у серых гусей) К. Лоренц показывает, что возникающая личная привязанность, дружба и любовь, как более высокие по уровню охранные механизмы, служат защите близких. И здесь также проводятся аналогии с человеком. К. Лоренц утверждает: «Существование любой группы людей, превосходящей по своим размерам такое сообщество, члены которого могут быть связаны личной любовью и дружбой, основывается на этих трех функциях культурно-ритуализованного поведения. Общественное поведение людей пронизано культурной

ритуализацией до такой степени, что именно из-за ее вездесущности это почти не доходит до нашего сознания» [Лоренц 2001: 107]. И далее: «В повседневной жизни мы не осознаем, что их [хороших манер] назначение состоит в торможении агрессии и в создании социального союза»; «Функция манер как средства постоянного взаимного умиротворения членов группы становится ясной сразу же, когда мы наблюдаем выпадение этой функции. Я имею в виду не грубое нарушение обычаев, а всего лишь отсутствие таких маленьких проявлений учтивости, как взгляды и жесты, которыми обычно человек реагирует, например, на присутствие своего ближнего, входя в какое-либо помещение» [Там же]. Автор приводит примеры вежливого поведения, высоко оценивая его роль.

Если мы обратимся к прагматингвистическому исследованию вежливости и речевого этикета, то обнаружим массу выражений, демонстрирующих «позу покорности»: *Нижайше кланяюсь; Покорно благодарю; Не откажите в любезности; Ваш покорный слуга; Ваш преданный раб; Христа ради прошу; Бью челом; Милости прошу; Чем могу служить* и многие другие, к сожалению вышедшие из употребления. Но и весь современный речевой этикет — это безусловная демонстрация заинтересованного и чаще всего уважительного отношения к адресату.

Вежливость как принцип коммуникативного поведения, выросшая, по Лоренцу, из ритуалов покорности и умиротворения, естественно превратилась в широкую систему человеческих коммуникативных взаимодействий, своеобразный «язык отношений». Она определяется в словаре по этике как «моральное качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом общения с окружающими». Вежливости противопоставлены грубость, беспардонность, чванливость, панибратство, хамство и т. д., также достойные пристального изучения, что, надо думать, и делается в конфликтологии. Человек, проявляющий к другому уважительное отношение, показывает и вторую сторону медали — собственное достоинство. Напротив, используя грубые, конфликтные способы общения, говорящий свое достоинство теряет.

Выступая как этическая категория, вежливость может демонстрировать внешние нормы общения или знаменовать доброжелательное личное отношение к адресату. Вежливое поведение может проявляться как искренность, а может быть и маской.

Как прагмалингвистическая категория вежливость изучается с точки зрения экстралингвистических правил общения (максимы вежливости) и как функционально-семантическое поле языковых/речевых единиц. Множество сфер и ситуаций общения, разные статусные и ролевые позиции коммуникантов придают вежливости разные «лики». В дипломатической или официально-деловой сфере действует один набор форм и средств, обиходно-деловое общение располагает другим набором, обиходно-бытовая сфера характеризуется особыми качествами вежливости. Кажется, что с близкими людьми в дружеском и семейном кругу мы и не пользуемся вежливостью, потому что здесь действуют такие механизмы защиты ближнего, которые определяются любовью и дружбой, по Лоренцу. Однако и здесь есть свои правила и единицы, которые еще предстоит исследовать (защищена диссертация об обращениях в семейной сфере: [Нестерова 1999]). Вежливость проявляется как *приветливость* (продавца, например), *обходительность* (работника сферы обслуживания), *корректность* (делового человека), *учтивость* (интеллигента), *почтительность* (младшего к старшему), *тактичность* (как ориентировка в адресате и в ситуации в целом), *деликатность* (собственная скромность с учетом нежелательных для адресата тем), *любезность* (как предупредительность и склонность к комплиментам), *галантность* (как изысканная готовность к услугам, особенно по отношению к дамам) и т. д. [Балакай 2002].

Вежливость связана с этикетом, который в этике трактуется как совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (см. также: [Формановская 1998]). Вербализованная вежливость и этикет предстают как **речевой этикет**. Понятия вежливости и речевого этикета не покрывают друг друга, их отношение можно понимать так: *Не все, что этикетно, вежливо, но все, что неэтикетно, невежливо*. Так, например, существует множество обращений, приветствий и т. д., производимых

в социостилистическом ключе, например, фамильярной грубоватости (*Эй, парень!; Здорово!;* и мн. др.), которые не отличаются особой вежливостью, однако выполняют этикетную роль контактоустановления со стороны определенных партнеров в определенных условиях.

Речевой этикет (РЭ) можно определить как социально заданные и национально специфичные ритуализованные регулирующие правила речевого поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусом и ролями, ролевыми и личностными отношениями, в официальной и неофициальной обстановке общения. Ситуативно-тематические группы выражения речевого этикета многократно описаны и широко известны. Это обращение (к незнакомому и знакомому) и привлечение внимания адресата; представление при знакомстве (через посредника и без него); приветствие, осведомление о жизни, делах, здоровье; прощание; извинение; благодарность; поздравление, пожелание; сочувствие, соболезнование; одобрение, комплимент и др.; среди директивных речевых актов — просьба, приглашение, предложение, совет.

В каждом из тематических объединений выражения речевого этикета представлены в коммуникативно-семантических группах (КСГ) функциональных эквивалентов, объединенных интенциональным значением [Формановская 1984, 1998; и др.]. РЭ диалогичен, поэтому ответная реплика партнера также в поле зрения (ср. в ответ на просьбу — согласие или отказ и т. д.). Речевой этикет пронизывает все сферы коммуникативной деятельности, ему подвластны все социальные страты в обществе. Речевые ритуалы РЭ могут отражать и гамму дружелюбности, уважительности, и формальности официальной процедуры общения. Кроме специализированных единиц, этикетную функцию поддержания контакта в дискурсе несут все средства авторизации и адресации, все метакоммуникативные единицы как модус отношений партнеров по общению, вся фатика, назначение которой — создание общности, взаимопонимания и эмпатии. В широком смысле — здесь все разрешения и запреты на ситуативное коммуникативное поведение.

Подчеркнем некоторые сущностные признаки речевого этикета. Как компонент **культуры РЭ** представляет ее важную часть — **культуру общения, речевого поведения**. В этом смысле речевой этикет применяется в самых разных ипостасях: при мимолетной встрече; при «шапочном» знакомстве; как сокрытие за благожелательными выражениями истинного негативного отношения; как соблюдение формальной процедуры; как собственно ролевое (продавец — покупатель, врач — пациент и др.) или личностное речевое взаимодействие и т. д. Когда адресат — «далекий», «чужой», вступает в силу вежливость как демонстрация уважения. Когда же адресат — «близкий», «свой», действуют, как упоминалось, дружба и любовь. Именно поэтому мало учтивых фраз мы применяем в семье и в узком кругу друзей — было бы нелепо выразить просьбу, например, так: — *Могу я попросить тебя сходить за хлебом?* Вполне достаточно сказать: — *Зайчик, сбегай за хлебом!* — и все нюансы «уважительности» соблюдены. Однако, как видно из предыдущего, замкнутая малая группа, связанная близкими отношениями (в том числе и семья), именно в силу «ограниченного» пространства и «безграничного» времени общения испытывает психологическое напряжение и взрыв нетерпимости, когда все раздражает в партнере (показательны примеры К. Лоренца). Выход — отдых друг от друга, а в речевом этикете — слова любви, понимания и прощения. Однако собственно этикетных куртуазных, галантных выражений здесь не требуется. То же и в малой молодежной группе. Но и здесь свои этикетные закономерности, которые, как упоминалось, требуют пристального изучения, так же, как диалектные и жаргонные способы контактоустановления и поддержания желаемой тональности общения.

Напротив, с «далеким», вышестоящим, незнакомым, потребен набор учтивости, вежливости в полной мере. Здесь и молодые носители языка, которым этикетное общение представляется не таким уж важным, с неотвратимостью исполняют этот ритуал. Так, например, в кабинет профессора вошел аспирант и сказал буквально следующее: *Иван Иванович, если вам не трудно, будьте так добры, пожалуйста, прочитайте мою статью*. Три актуализатора

вежливости в императивной Вы-просьбе в устах молодого человека прозвучали естественно. Другой аспирант оставил записку: *Уважаемая Анна Ивановна! Приношу свои глубочайшие извинения за то, что не смог явиться в назначенное время.* Как видим, коммуникативная и прагматическая компетенция носителя языка позволяет четко ориентироваться в ситуации общения, в партнере и выбирать оптимальное средство, демонстрируя культуру собственного коммуникативного поведения с помощью владения многослойным, разветвленным аппаратом этикетного приспособления к адресату. «Многие инстинктивные ритуалы, многие культурные церемонии, даже слова всех человеческих языков обязаны своей нынешней формой этому процессу взаимного приспособления передатчика и приемника» [Лоренц 2001: 105]. Ср. пример из произведения Ч. Айтматова «Плаха». Герой повествования, молодой интеллигент, должен вступить в деловые (а сначала в речевые) отношения с главарем «гонцов» за анашой. Известно, что этот персонаж работает носильщиком на вокзале. Текст таков: *Я подождал в стороне, пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Этаким рыжеватый детина, этаким кот с бегающими глазами. Я чуть было не допустил оплошность — едва не обратился к нему на «вы», да еще чуть не извинился за беспокойство.*

— Привет, Утюг, как дела? — сказал я ему.

— Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, — бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.

Как видим, партнер по общению принят как «свой». Понимание важности точного использования РЭ демонстрирует пример из Б. Акунина: *Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение речевого этикета применительно к окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса («Алтын-толобас»).*

Лексико-фразеологический массив знаков представлен в «Словаре русского речевого этикета» [Балакай 2000], где описано

6 000 единиц. Автор поставил задачу собрать речевые ценностные культуры народа, в том числе устаревшие, диалектные, жаргонные, просторечные. Так, если современный человек может использовать до 40 выражений приветствия, то в Словаре Балакая их 383! Поражает это культурное богатство и наполняет гордостью за народ-языкотворец, создавший тонкую систему благопожеланий, в том числе и занятому трудом человеку. Так, при встрече со стирающей белье можно было сказать: «Мыло в корыто!» или «Бело тебе!» и мн. др.

Национально-культурная специфика речевого этикета и вежливости выявляется в сопоставительных работах с монгольскими, польскими, китайскими, венгерскими, чешскими, английскими, немецкими, французскими, итальянскими, испанскими, португальскими и другими этикетными способами речевого поведения. Подобные исследования должны быть углублены и расширены.

Речевой этикет как **речевой акт** в своем перформативном выражении (речь равна действию в координатах «я — ты — здесь — сейчас») также требует «прецизионного» исполнения. Слушая лекцию о корейской категории вежливости, автор этих строк поначалу не смог понять следующего: корейская категория вежливости ориентирована дважды — на адресата (это ясно) и на то, о чем говорят. Второе положение заставило задуматься. Оказалось, что русский речевой этикет ориентирован на весомость, силу, интенсивность того речевого действия, которое совершается с помощью этикетного высказывания. Так, за малую услугу не приходит в голову поблагодарить, например, так: *«Позвольте мне от всей души вас поблагодарить»* — пробившему талончик пассажиру это показалось бы крайне странным. Напротив, за большую услугу мало сказать просто *«Спасибо»*. То же в ситуациях извинения, просьбы, сочувствия и многих других. Аспирант, попросивший профессора прочесть его статью (см. пример выше), ориентировался не только на статус адресата, но и на важность, весомость совершаемого речевого акта, поэтому ритуал вежливости был соблюден по полной программе.

Речевой этикет представляет собой зону **благопожеланий**, по-

этому воспринимается как «социальное поглаживание» (по Э. Берну), действует, как упоминалось, в кооперативных речевых контактах, позволяет снижать конфликтность ситуации, снимать агрессивность. Лишь один пример. Как-то, еще в советское время, автор этих строк встретила с коллегой в достаточно престижном кафе, чтобы обсудить профессиональные вопросы, а заодно и пообедать. Официантка приняла заказ, а через некоторое время принесла блюда — сразу все: и холодные закуски, и горячее, и даже чай с пирожными. Мы немного поели и принялись за свое дело. Минут через 20 официантка подошла и сказала: *«Знаете чего, я со столиком работаю, а вы тут разложили свои бумаги. Давайте ешьте и уходите»*. Я ответила, что это странно, и придется выяснить у руководства, надо ли нам уходить. Официантка скрылась за плюшевой портьерой, а вскоре за ней вошла и я. Там стояли три женщины в белых халатах, и глаза их буквально «расстреливали» меня. Однако я разрушила у моих адресатов ожидание упреков и порицаний и сказала: *«Здравствуйте, друзья!»*, что произвело эффект полной неожиданности. А я продолжала действовать с помощью речевого этикета: *«Вы меня извините, пожалуйста, может быть, я не права. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Я была бы вам очень благодарна. Мы с коллегой, доктором наук, выбрали ваше кафе, как пользующееся хорошей репутацией...»* — и объяснила, в чем суть претензий официантки. В ответ «начальники» отругали официантку, потребовали унести остывшее, а нам предложили сидеть до закрытия и приходить почаще. Агрессивность была снята. Подобных случаев можно приводить множество.

В зависимости от социальных признаков говорящего и адресата, ориентировки в обстановке общения и ситуации в целом говорящий выбирает необходимое средство из богатейшего арсенала выработанных в культуре социостилистически дифференцированных стереотипов общения, тем самым реализуя сочленение стереотипности и творчества (еще раз сошлемся на Словарь А. Г. Балакая).

Из сказанного ясно, что неотвратимость исполнения ритуалов вежливости и речевого этикета заложена в нас природой и культу-

рой. К. Лоренц пишет: «Так не будем же глумиться над рабом привычки, сидящим в человеке, который возбудил в нем привязанность к ритуалу и заставляет держаться за этот ритуал с упорством, достойным, казалось бы, лучшего применения. *Мало* вещей более достойных! Если бы привычное не закреплялось и не обособлялось, как описано выше, если бы оно не превращалось в священную самоцель — не было бы ни достоверного сообщения, ни надежного взаимопонимания, ни верности, ни закона. Клятвы никого не связывают и договоры ничего не стоят, если у партнеров, заключающих договор, нет общей основы — нерушимых, превратившихся в обряды обычаев» [Лоренц 2001: 114].

Вежливость, ритуализованное выражение в поведении уважения к другому, как упоминалось, шире речевого этикета, в зоне коммуникативного взаимодействия она обладает огромным арсеналом как невербальных средств коммуникации, так и собственно поведенческих, в широком смысле слова. Сюда, например, относится улыбка [Стернин 1992; Тер-Минасова 2000; и др.]. Авторы отмечают, что у русских улыбка — только реакция на положительные эмоции, а не формальный знак культуры, как на Западе. Думается, что это положение требует уточнения с точки зрения этикетного поведения: при реализации речевого этикета улыбка, как правило, присутствует. Интереснейшие рассуждения на этот счет относительно улыбки и смеха как (первоначально) церемонии умиротворения встречаем у К. Лоренца: «Понаблюдав за собой, я могу с уверенностью утверждать, что общий смех не только действует как чрезвычайно сильное средство отведения агрессии, но и доставляет осязаемое чувство социального единения» [Лоренц 2001: 232—234]. Другие невербальные средства выражения вежливости также играют важную роль как «умиротворяющие» знаки в общении.

Кажется, можно провести некоторые аналогии между толерантностью и вежливостью. И то, и другое определяется как моральное качество человека, уважительно относящегося к другому, при этом толерантность предполагает уважительное отношение к «непохожестям» другого, а вежливость — поведенческое проявление уважения к статусным, ролевым и личным качествам

другого. И толерантность, и вежливость, интериоризованные личностью в ее социализации, становятся привычкой, обычаем, ритуалом, автоматизированным коммуникативным поведением. Но *толерантность*, на наш взгляд, это отношение к иному в другом, которое скорее всего проявляется как «неделание»: не любопытствуй, не «глазей», не обижай, не оскорбляй, не унижай, не бей и т. п.

У К. Лоренца и об этом есть интересное замечание: «...для особых случаев, где его [инстинкта] проявление было бы вредно, вводится специально созданный механизм торможения. И здесь снова культурно-историческое развитие народов происходит аналогичным образом; именно поэтому важнейшие требования Моисеевых и всех прочих скрижалей — это не предписания, а **з а п р е т ы**» [Лоренц 2001: 145] (ср.: *не убий, не укради*). Следовательно, толерантность входит в сознание и в обычай человека как запрет делать другому плохо.

Вежливость же как выраженное в поведении уважительное отношение к другому должна быть проявлена в коммуникации в зоне добра с помощью невербальных и вербальных средств общения, и прежде всего речевого этикета. Основной ее постулат — делай другому хорошее. Таким образом, толерантность и вежливость — как бы две стороны одной медали: «в общении не делай плохого другому, делай ему хорошее».

Сказанное, повторим, касается как внутрикультурной, так и межкультурной коммуникации. Еще В. фон Гумбольдт учил «уважать свои и чужие морали и культуры, никогда не наносить им ущерба, но при всякой возможности очищать и возвышать их» [Гумбольдт 1985: 321].

Перед исследователями встают насущные задачи углубленного изучения проблем вокруг концептов «толерантность» и «вежливость». Не менее насущна педагогическая проблема воспитания как толерантности, так и вежливости. Работы последних лет в области преподавания иностранных языков, русского языка как иностранного в рамках межкультурной коммуникации служат разрешению практической задачи воспитания в растущем поколении познания, понимания и приятия культур народов изучаемых языков [Гудков

Д. и др. 1997; Вербицкая 2001; Милославская 2001; Тер-Минасова 2000; Пассов 2001; и др.].

Проблемы внутрикультурной коммуникации касаются многочисленных исследовательских и педагогических работы по культуре речи и риторике, все публикации по культуре общения и речевому этикету. Однако толерантность в коммуникативном поведении — предмет особого внимания сегодня и в изучении, и в обучении. В житейских (бытовых и деловых) ситуациях нормального существования повседневная агрессивность, безусловно, снижается с помощью и толерантности, и вежливости. Но, если говорить о прямой агрессии, разбое, бандитском нападении, то ни толерантность, ни вежливость, естественно, не смогут этому противостоять — здесь речь о самой жизни, и необходимы другие способы защиты.

В заключение скажем следующее.

Опасность человеческой агрессии кроется, по мнению К. Лоренца, в глубоких законах природы. Ученый сообщает нам, что в эволюции самые жестокие хищники получили самые жесткие ритуализованные запреты на убийство своего сородича. Не хищникам такие природные запреты ни к чему, эволюция их не создала. Человек, существо не хищное, всеядное, не имеет природных средств уничтожения — клыков, когтей и т. п., следовательно, природа не выработала у него биологического механизма запрета на убийство представителей своего вида. Не имея естественного оружия, человек изобрел с помощью разума жесточайшие орудия уничтожения. Значит, пользуясь тем же разумом и ответственностью, ритуализованными формами снятия агрессивности, он обязан усиливать защиту себе подобного.

Полезно прислушаться к тревоге, высказанной К. Лоренцем: «Вновь возникшие сегодня условия жизни человечества категорически требуют появления такого тормозящего механизма, который запрещал бы проявления агрессии не только по отношению к нашим личным друзьям, но и по отношению ко всем людям вообще» [Лоренц 2001: 348]. Со временем, считает К. Лоренц, человечество станет таким, каким оно должно быть. Мы же лишь переходный этап от животного к совершенному человеку. Но и нам, сегодняшним, надо жить в мире, а для этого следует всемерно уважать других, проявляя толерантность и вежливость.

ПОСТУЛАТ ИСКРЕННОСТИ VS ПОСТУЛАТ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ

М. Я. Гловинская

Известные постулаты общения Г. П. Грайса и максимы вежливости Дж. Лича представлены неравномерно в разных культурных моделях поведения. Это подтверждается разными «наивными аксиологиями», запечатленными в этих языках. Так, например, судя по ряду работ, есть и языковые, и чисто поведенческие свидетельства того, что русская, с одной стороны, и англосаксонская, японская, малайская модели речевого общения — с другой, выбирают в качестве приоритетного разные постулаты.

Для русского мира важнейшее значение имеет постулат искренности («не говори неправды» ? «говори правду»), а для англосаксонского и других названных — постулат толерантности («не говори неприятного для адресата» ? «говори приятное для адресата»). В отличие от русской, в культурах последнего типа говорящий субъект не должен говорить собеседнику того, что может его огорчить (например, делать замечания о его внешнем виде или утверждать, что тот не прав). Это будет воспринято как желание его обидеть. Воздействие слов на собеседника важнее, чем правда или искренность (см., например: [Вежицка 1999, 2002]).

Что же касается русского языка, то в нем намного более детально, чем в других языках, разработаны концепты «правда», «истина», «ложь», а также все семантическое поле, связанное с идеями «говорить правду» — «лгать» [Арутюнова 1991, 1995; Шатуновский 1991; Булыгина, Шмелев 1997; Апресян 2000; Вежицка 2002]. *Русские выражения говорить правду, резать правду-матку в глаза, говорить без обиняков, разговор по душам, прямой,*

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 00-15-98866 и № 01-06-80234) и РГНФ (грант № 02-04-00306А).

© М. Я. Гловинская, 2003

искренний человек, открытая душа, чистосердечный, исповедальный тон и т. п. содержат положительную моральную оценку называемых действий и свойств, в то время как *говорить неправду, скрытный человек, неискренний, притворный, напускной, фальшивый* и т. п. — отрицательную. Впрочем, чрезмерная откровенность в высказываниях о самом себе может оцениваться отрицательно; ср. *раскрыть душу и вывернуть душу наизнанку* (см. также: [Левонтина 1997]).

Следует, однако, отметить, что говорение неприятной правды в лицо собеседнику в русской культуре (*Ты постарел; Ты плохо выглядишь сегодня; Тебе не идет этот цвет*), так поражающее, например, англофонов, не обязательно прямо диктуется требованием быть искренним, но может отражать и более разнообразные иллюкативные ситуации, хотя и возникающие на фоне этого постулата и как бы освящаемые им.

С одной стороны, это может быть беспокойство о близком человеке, желание повлиять на его поведение в его же интересах (чтобы он сходил к врачу, чтобы больше не надевал одежду, которая ему не идет, и т. д.).

С другой стороны, это может быть проявлением коммуникативной агрессии — не просто выражением несогласия с собеседником в условиях обмена мнениями в соответствии с постулатом искренности, но стремлением навязать свое мнение окружающим в условиях, когда им никто не интересуется.

Последнее особенно ярко проявляется на примере таких речевых актов, в которых отрицательная оценка действий субъекта содержится в высказывании имплицитно, то есть в случаях, когда не сама оценка является содержанием высказывания, но она как бы прилеплена к выбранной языковой форме и выражается в обязательном порядке, независимо от осознанной цели субъекта.

В повседневном речевом общении носителей литературного языка нередко встречаются формулы следующего типа: *Не таскай с собой такую тяжесть; Куда ты тащишь стул?; Натащили грязи; Не путайся под ногами; Вечно он трется среди взрослых; Кто навалил здесь свои вещи?; Куда загнали мой рюкзак?; Чья книга валяется на столе?; Куда ты засунул мой паспорт?; Не хватай горячее; На-*

*верное, желатину в рыбу **набухала**?; Что ты **таскаешь** меня все время по магазинам?; Вы вообще **влезли** без очереди;* и т. д.

Легко видеть, что вместо выделенных слов могли бы быть употреблены вполне нейтральные выражения: *Не носи с собой такую тяжесть; Куда ты несешь стул?; Наносили грязь; Не мешай; Вечно он проводит время среди взрослых; Кто положил здесь свои вещи?; Куда положили мой рюкзак?; Чья книга лежит на столе?; Куда ты положил мой паспорт?; Не ешь горячее; Наверное, желатину в рыбу много положила?; Что ты все время водишь меня по магазинам?; Вы встали без очереди.*

Употребление же подобных слов создает особую раздраженно-грубоватую тональность общения. Отдельные слова такого рода привлекали внимание исследователей как знаки невежливости при диалогическом общении [Земская 1997], однако их смысловой анализ не проводился, и их языковые отличия от других невежливых выражений, таких, например, как *Ты дурак*, остаются невыясненными.

Обращает на себя внимание, что в своих основных значениях такие глаголы указывают на численную или параметрическую характеристику ситуации, в частности характеризуют действие по интенсивности. В них содержатся компоненты типа «много» (то есть большое число или высокая степень), «с трудом» (то есть прилагая много усилий), «с размаху», «беспорядочно», «далеко» и т. п. Наличие таких смыслов позволяет использовать соответствующие слова гиперболически, что и создает их обидность для адресата. Рассмотрим это подробнее.

В принципе слова с подобными компонентами можно разбить на три группы.

К первой группе относятся лексемы, которые вообще не могут использоваться как грубые и обидные дескрипции, так как точно и объективно описывают ситуацию по ее количественным или параметрическим показателям и не содержат никакой оценки со стороны говорящего. Например, компонент «много» содержится в толковании глаголов некоторых словообразовательных классов: *наготовить (еды), наварить, закупить* (ср., однако, ниже глагол *натаскать*); *перестирать, исписать, изрисовать* (ср.: *А ты знаешь, сколько она за свою жизнь белья перестирала?*), *увешать, усыпать*.

Ко второй группе относятся глаголы, вообще никогда не употребляющиеся нейтрально; они всегда воспринимаются как грубые. Таковы, например, глаголы набухать, пялиться, вырядиться. Характерно, что в БАС названные глаголы имеют помету «просто-речное». Ср.: *Нечего на меня пялиться!; Что ты вырядилась как на праздник?*

Наконец, к третьей группе относятся глаголы, которые в своих основных значениях служат точными, объективными дескрипциями, но для которых в то же время типичны и оценочные значения и употребления. Именно к этой группе и относится большинство «грубых» предикатов. В качестве примера можно привести глагол *навалить*. *Навалить* означает «бросая или кладя с размаху много каких-то объектов, создать в результате из них беспорядочную кучу». Например: *Мы выкопали ему яму, и он потребовал навалить возле нее пустые консервные банки и мокрые газеты и бросить бутылку из-под водки* (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора). Ср. в то же время достаточно грубое: *Что ты навалила мне столько салату?*

Остановимся на причинах, порождающих восприятие таких слов как грубых и обидных. Для выяснения этого необходимо построить их толкования.

Начнем со слов второй группы, в значения которых всегда впаиван оценочный компонент.

Вырядиться значит «одеться так, что одежда человека бросается в глаза [ассерция]; говорящий считает его одежду неуместной в данной ситуации; говорящий представляет его действие так, как будто человек специально хотел выделиться и привлечь к себе внимание своей одеждой; говорящий дает выход своему раздражению или отрицательному отношению к данному лицу [модальная рамка]». Ср.: — *Видали, как вырядился? Чистый индюк! Свататься пошел* (Л. Леонов. Бегство мистера Мак-Кинли); *Вы — еще и вырядились, как фифа какая, видать, хотите, чтобы раздел кто-нибудь из местной шпаны или дезертиров* (А. Кабаков. Последний герой); Ей [Ахматовой] *запомнилось сердитое: «Что вы таким водолазом вырядились?» — в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу* (Н. Мандельштам. Воспоминания). Обидность для адресата при ди-

алогическом взаимодействии создают два последних компонента модальной рамки.

Пялиться означает «пристально смотреть на кого-то или на что-то в течение долгого времени [ассерция]; говорящий представляет это действие как чрезмерное, назойливое и неуместное; говорящий дает выход своему раздражению или отрицательному отношению к субъекту [модальная рамка]». Ср.: *Что ты **пялишься** на эту парочку, перестань!*

Набухать имеет следующий ассертивный компонент: «положить слишком много какого-то вещества в некую емкость или субстанцию, имеющую объем». Оценочный компонент связывает этот глагол с глаголом *бухнуть*, имеющим близкое значение «сразу, с размаху, не меряя, резко бросить много какого-то вещества в некую емкость или субстанцию, имеющую объем». Модальная рамка: «Говорящий отрицательно оценивает действие субъекта, преувеличивает количество положенного вещества и для этого изображает дело так, как будто субъект не просто положил, а бухнул это вещество; говорящий изображает это таким образом, чтобы дать выход своему раздражению». Ср.: *Ты **набухала** столько сахара, что пить невозможно.*

Отвечая на реплики с этими словами, адресат может отреагировать как на ассерцию, так и на модальную рамку. На вопрос: *Что это ты как **вырядился**?* возможны, например, ответы: *А что особенного?; Я всегда это ношу; У меня нет ничего другого* [на ассерцию — отрицается необычность]; *Там все так будут одеты; В этот клуб в другой одежде не пропускают; Сейчас это модно* [на модальную рамку — отрицается неуместность]; *Не злись* [на модальную рамку — реакция на раздражение говорящего]; *Почему **вырядился**? Просто надел* [отрицается правильность выбора номинации в целом].

Итак, в модальной рамке всех этих глаголов, во-первых, отражается гиперболизация со стороны говорящего той количественной или параметрической характеристики, которая названа в ассерции; во-вторых, в качестве средства создания этой гиперболизации говорящий представляет действие как более интенсивное или неблагоприятное, чем на самом деле; в-третьих, отражается не только отрицательная оценка самого действия, но и наличие отрица-

тельных эмоций у говорящего. Общим психологическим фоном для выбора подобной лексики может служить отрицательное отношение к субъекту в принципе.

Рассмотрим теперь несколько глаголов третьей группы. Для их описания необходимо истолковать не только «грубое», но и основное значение, поскольку они связаны между собой.

Начнем с глаголов перемещения какого-то объекта в пространстве.

Глагол *загнать* в двух своих значениях, имеющих отношение к интересующему нас употреблению, можно истолковать следующим образом.

*Загнать 2** означает «заставить кого-то переместиться, часто вопреки его воле, в другое место, далекое или неудобное, откуда может быть трудно возвратиться». Ср.: *загнать на край света; загнать на кулички; Так ведь вас Советская власть в Сибирь загнала* (А. Рыбаков. Дети Арбата); *Шваба ... обвинили в шпионаже и загнали на пять лет в уголовный лагерь под Воронежем* (Н. Мандельштам. Воспоминания); *Он тогда только вернулся из Турции, куда многих абхазцев загнали, кого силком, кого обманом* (Ф. Искандер. Сандро из Чегема).

Загнать 4 означает «сильно ударяя или толкая, поместить некоторый объект внутрь другого объекта». Ср.: *загнать патрон в ствол пистолета; Надо будет пробурить сто четыре шурфа, загнать в них на хорошем цементе анкерные болты* (Ю. Визбор. Альтернатива вершины Ключ).

Теперь обратимся к «грубым» употреблением этого глагола в диалоге. Например: *Загнали зачем-то мою сумку в багажник*. Говорящий недоволен тем, что сумка будет недоступна во время поездки, то есть актуализует оценочные компоненты «далеко» (положили) и «трудно» (достать) из *загнать 2*. Истолковать значение можно следующим образом: «положить что-то куда-то; говорящий считает, что предмет положен слишком далеко, так что его будет трудно достать, чтобы воспользоваться им; говорящий испытывает отрицательные эмоции по этому поводу». Адресат отвечает, реагируя именно на оценочный компонент: *Ну почему же загнали, ведь не навсегда, сейчас достанем*.

* Нумерация значений дается по МАС.

Модальная рамка может видоизменяться, апеллируя к разным основным значениям слова, сохраняя, однако, всегда отрицательную оценку и гиперболу. Ср. следующий пример. Жена спрашивает мужа: *Зачем ты **загнал** в холодильник огурцы вместе с яблоками?* Здесь речь идет только о том, что огурцы и яблоки должны лежать по отдельности, поскольку вместе они быстро портятся. Однако *загнать* навязывает еще и представление о том, что овощи заталкивались в холодильник с силой (ср. соответствующий компонент у *загнать* 4). Это преувеличение усиливает общую оценку данного действия как неправильного, неуместного; с помощью гиперболы говорящий обосновывает свое раздражение по поводу данного действия.

Аналогичный механизм гиперболизации представлен и в других глаголах:

*Вы **влезли** без очереди.* Адресат подошел и встал не на свое место, однако *влезть* указывает не только на нарушение им правил поведения, но и навязывает представление о том, что он как бы протискивался на это место с усилием, расталкивая стоящих и преодолевая их сопротивление.

*Не **хватай** горячее.* Говорящий представляет действие как быстрое, резкое, поспешное, при котором субъект, торопясь, без разбору, берет еду, а затем отправляет ее сразу в рот.

Жена: *Зачем было **поднимать панику**, что надо покупать крем для бритья, его еще много.* (Муж один раз сказал, что надо купить крем.)

Жена: ***Оторви зад** от кресла, или ты имел в виду **прилепиться задом** на весь день?*

*Опять чеснока **нажрались**?* (Оперный певец на сцене шипит своей партнерше, когда она поет.)

*Что ты **прешь** с собой столько?* (Жена, заботящаяся о том, чтобы муж не носил тяжести.)

Отцепись от сумки (вместо Отпусти сумку. Муж хочет помочь жене нести сумку, но та не отдает.)

*Зачем ты **законопатил** окно на верхнюю задвижку, ведь скоро опять откроем?*

*Что, **обгадился**?* (Хозяйка дома участливо спрашивает гостя, старого знакомого, пролившего сок на рубашку.)

Примеры можно множить, но суть дела в них одинакова.

Во всех подобных случаях говорящий с помощью гиперболы создает ложную действительность, чтобы ссылкой на нее оправдать свое недовольство и привлечь внимание к этому факту. Именно разрыв между реальностью и тем, как представляет действие говорящий, наносит обиду адресату. Пристрастность говорящего настолько очевидна, что ее замечают даже дети. См. вопрос маленькой девочки: *Мама, почему твоя кофта лежит, а Ритина [сестры] валяется?*

Не случайно такие слова часто появляются в контексте других единиц с гиперболическим значением, например, в контексте так называемого гиперболического множественного, которое имеет сходные прагматические функции, «выражая недоумение, раздражение и другие, обычно отрицательные, эмоции» [Апресян 1995: 142]. Ср. примеры из указанной работы: *А они тут чай-кофеи **распивают**!*; *Книги повсюду **разбросаны*** (не на месте лежит всего одна книга). Ср. также: «Преувеличение часто скрывает (или обнажает) недовольство, упрек, неприязненное, отчужденное отношение к факту, предмету, лицу, но иногда это шутовское «поддевание»: *Кто это кошельки **раскидывает**?* (лежит один кошелек)» [Красильникова 1990: 85]. А. А. Потебня называл эту форму множественным «несправедливого пристрастия» [Потебня 1886]; это название применимо и к описываемой здесь лексике.

Благоприятным синтаксическим контекстом для употребления таких слов являются конструкции с вопросительными словами *почему* и *зачем*.

Полемический характер *почему*-реплик и вообще причинных вопросов при ответе показан в работе [Арутюнова 1970]. О *зачем*-репликах как приеме лингвистической демагогии, нарушающем принцип вежливости, см.: [Земская 1997: 286—287]. К ним можно добавить и *что*-реплики. Эти вопросительные слова и гиперболическая лексика усиливают друг друга при оценке действия как неуместного. Вопросы типа: *Что <почему, зачем> ты **пялишься** по сторонам? Иди скорее; Что <почему, зачем> ты **накромсал** столько хлеба?* и др. — не только представляют действие адресата как неуместное, неправильное, нелепо выполняемое, но и как выполняемое таким образом сознательно, целенаправленно, и тем самым позволяют еще больше осудить субъекта.

Такого рода общение очень характерно для просторечия, причем и для мужчин, и для женщин. Среди носителей литературного языка им пользуются преимущественно женщины. Почти все примеры, записанные нами, принадлежат женщинам. В отличие от «просторечников», у литературно говорящих такие знаки общения позволяют среди «своих», обычно в семейном интерьере.

Сравним теперь невежливые выражения данного типа и фразы типа: *Ты дурак*. Они характеризуются тремя различиями: 1) в случае *Ты дурак* оценка входит в ассерцию, а в случае с глаголами — в модальную рамку; 2) *Ты дурак* не обязательно является гиперболой; 3) самое главное различие обусловлено контрастом между глаголом и существительным. Прототипически глагол называет конкретное единичное действие, а имя существительное — постоянное свойство человека, и в этом смысле выражения типа *Ты дурак* намного «страшнее». См. высказывание А. И. Герцена: «Названия — страшная вещь. Жан Поль Рихтер говорит с чрезвычайной верностью: если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что *солгал*, но не говорите, что он — *лгун*... «Это — *убийца*», — говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-то убить» (цит. по: [Виноградов 1947: 49]).

Заметим, что принцип толерантности в своих крайних формах (говорение того приятного, чего собеседник не думает) тоже может приобретать отрицательную коммуникативную характеристику (лицемерие). Так, «свежие» русскоязычные эмигранты описывали случаи шока, перенесенного ими в Европе и Америке в 70-е годы из-за того, что они принимали конвенциональное за подлинное. Например, на какой-нибудь party к ним подходили, говорили: «Вы из России? Как это интересно! Мы очень хотим узнать подробности о жизни в вашей стране. Для нас это очень важно. Мы хотим, чтобы вы приехали к нам и обо всем рассказали. Мы позвоним вам и договоримся о встрече». После этого дальнейших контактов, как правило, не бывало.

РУССКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ ДИАЛОГ: ЗОНЫ ТОЛЕРАНТНОГО И НЕТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ*

И. Н. Борисова

Рассмотрим разговорную диалогическую речь как пространство общения, к описанию которого применима категория толерантности. Поскольку коммуникация является частным случаем социальной интеракции, коммуникативное соавторство диалога диктует необходимость «сопряжения субъективно-личностных мотивов коммуникантов» [Леонтьев 1965: 172]. Целостная функциональная система диалога возникает на основе объединения и согласования поведенческих функциональных систем отдельных индивидов [Сухих, Зеленская 1998: 9] и речевого поведения участников общения. Это согласование, координация речевого поведения коммуникантов может осуществляться на принципах как толерантного, так и нетолерантного общения. Рассмотрим категорию коммуникативной координации в ее отношении к толерантности общения.

Координация речевого поведения коммуникантов свойственна диалогу в любой сфере общения, она является универсальной категорией диалогии. В «коммуникативно неполноценных» [Падучева 1996], или «разорванных» [Городецкий 1990], ситуациях письменного монологического общения рефлекс, следы коммуникативной координации остаются в виде учета «фактора адресата» [Арутюнова 1981]. Инвариантная прагматическая функция коммуникативной координации сводится к ориентации речевого поведения и речевого продукта на «другого», его позицию и его «слово» (М. М. Бахтин). «Участвуя в диалоге, мы и сами вынуждены выполнять различные речевые действия, и заставлять партнера реагировать на них определенным образом» [Баранов, Крейдлин 1992: 84]. Психологический смысл коммуникативной координации в живом диалогическом взаимодействии определяется как интегративно-межличностный коллективный мотив, вызываемый объ-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-10-а).

© И. Н. Борисова, 2003

ективной социально-коммуникативной необходимостью. «Содержание этого интегративно-межличностного мотива заключается в удовлетворении в форме индивидуальной деятельности коллективной потребности в согласовании деятельности коммуникантов. Этот надындивидуальный мотив ... остается, как правило, неосознаваемым или слабо осознаваемым самим коммуникантом» [Сидоров 1989: 22—23].

Категория коммуникативной координации выдвинута нами впервые как категория диалогического дискурса, находящая речевое выражение в тексте диалога [Борисова 1997]. Толерантная/нетолерантная коммуникативная координация речевого поведения, по сути, является коммуникативной модальностью диалога: она характеризует отношения коммуникантов и проявляется в ряде признаков речевого продукта. Являясь лингвокоммуникативной категорией дискурса, она отражает культурные и когнитивные аспекты толерантности как отношения человека к себе, «другому» и к миру.

Некоторые из аспектов коммуникативной координации речевого поведения обсуждались в работах по риторике, коллоквиалистике и теории коммуникации.

Еще М. В. Ломоносов, рассматривавший разговор как особый риторический жанр целого текста, выделял разговоры согласные, прекословные и сомнительные: «Согласные разговоры состоят из согласных мнений между собою рассуждающих лиц, так что один мнение другого новыми доводами подтверждает; в прекословных разговорах предлагаются два спорные между собою мнения, которые двое, каждый свое, защищают. Сомнительные состоят из такой материи, которую одно лицо вовсе защищает, другое в некоторых обстоятельствах согласуется, а в иных спорит и сомневается» [Ломоносов 1952: 333]. А. К. Соловьева, основываясь на критерии согласованности речевых реакций, выделяет диалог-спор, диалог-ссору и диалог-унисон как типы целостных диалогических текстов [Соловьева 1965: 104]. А. Р. Балаян [1971] также разграничивает унисонное и диссонансное реагирование в диалоге. А. Г. Баранов и Г. Е. Крейдлин рассматривают координацию речевого поведения в аспекте связи иллокутивных функций реплик-высказываний: «Нормальный ход диалога предполагает согласование иллокутивных намерений участников, которое заключается в удовлетворении их взаимных

претензий» [Баранов, Крейдлин 1992: 84]. Т. В. Матвеева в качестве линейной категории диалогического текста выделяет «линию согласия/несогласия» как «сквозное действие» разговора [Матвеева 1994: 137]. Противопоставление гармоничного/дисгармоничного речевого поведения используется в работах Я. Т. Рытниковой [1996], И. Г. Сибиряковой [1996], И. В. Шалиной [2000]. С. А. Сухих и В. В. Зеленская рассматривают конфликтность и кооперативность как личностные особенности ведения диалога, зависящие «от ориентации коммуниканта на или от партнера» [Сухих, Зеленская 1998: 78]. Основываясь на критерии адресатной ориентации коммуниканта и на его склонности к определенному типу коммуникативной координации речевого поведения, К. Ф. Седов [1999] строит классификацию языковых личностей, выделяя их типы: конфликтный, централизованный и кооперативный.

К о м м у н и к а т и в н а я к о о р д и н а ц и я (КК) речевого поведения участников диалога — многоаспектная характеристика согласованности их речевых поступков в интеракции и речевых партий в диалогическом взаимодействии как целом.

Выделим аспекты взаимной ориентации речевого поведения, совокупность которых формирует коммуникативную координацию:

1) согласованность коммуникативных интенций в интеракции; в соответствии с этим критерием вопрос — ответ или отказ отвечать, просьба — согласие или несогласие выполнить ее расцениваются как согласованные коммуникативные интенции;

2) кооперативность речевого поведения; согласно этому критерию интеракции вопрос — отказ отвечать или молчание, просьба — отказ выполнить ее расцениваются как некооперативное поведение*;

* Кооперативность речевого поведения — величина переменная. Так, С. А. Сухих выделяет пять типов обоюдных реакций партнеров на речевые действия в диалоге, отличающиеся различной степенью кооперативности речевого поведения: 1) полная согласующаяся реакция, когда совпадают антиципации партнеров (упрек — извинение, констатация — согласие); 2) отсроченная реакция, когда действие партнера принимается как бы мимоходом или ставится под сомнение его уместность (упрек — переспрос); 3) конкурирующая реакция, то есть реагирование теми же средствами (похвала — похвала, упрек — упрек); 4) корректирующая реакция, когда партнер не принимает, а поправляет, указывает на неуместность действия другого партнера (просьба — упрек, упрек — одергивание, констатация факта — его отрицательная оценка); 5) игнорирующая реакция, когда партнер не принимает вклада другого и не реагирует на него (молчание, уход от ответа, мена темы) [Сухих 1989: 84].

3) солидарность модально-оценочных смыслов, приписываемых коммуникантами речевым поступкам в интеракции; согласно этому критерию расхождение оценок одного предмета речи расценивается как несолидарная реакция;

4) унисонность тональности общения — экспрессивной окраски эмоционального отношения коммуникантов к предмету речи и друг к другу; в соответствии с этим критерием рассогласование тональной окраски речевых поступков коммуникантов (в шутку/всерьез; радостно/с грустью) рассматривается как коммуникативно-модальный диссонанс;

5) симметричность коммуникативной активности, проявляющаяся во взаимной поддержке коммуникативных инициатив; согласно этому критерию пассивность участника общения в предложении, поддержке и разработке тем, отсутствие коммуникативной инициативы и нежелание принимать коммуникативный ход расцениваются как коммуникативная незаинтересованность;

6) оценка коммуникативного результата, эффективности общения [Ширяев 1996: 30] в аспекте его личностной и межличностной значимости для коммуникантов. Эта оценка варьируется в диапазоне положительный результат — нейтральный результат — отрицательный результат. При этом коммуникативный результат может реализоваться в модальной, информативной (идеальной) и практической (материальной) сферах. Например, этикетный разговор соседей может характеризоваться нулевым информативным и практическим, но положительным модальным результатом.

В качестве дополнительных параметров при квалификации степени коммуникативной координации учитываем этикетный/неэтикетный характер речевого поведения, паралингвистические сигналы оценочности, заинтересованности и тональности, символическое коммуникативное поведение, наличие в диалогическом взаимодействии ситуаций риска [Шалина 2000]. Следует также иметь в виду закрепленность типа коммуникативной координации за диалогическим жанром (ср.: разговор по душам и ссора).

Коммуникативное пространство разговорной речи условно делится на две зоны, заданные оппозицией толерантное — нетоле-

рантное общение. Как показывает анализ имеющихся в нашем распоряжении текстов разговорных диалогов (далее — РД)*, зона толерантного общения охватывает в разговорной речи большее количество речевых произведений, чем зона нетолерантного общения. Кроме того, анализ имеющихся в нашем распоряжении живых разговорных диалогов убеждает, что члены описываемой оппозиции организованы асимметрично. Зона толерантного общения представлена большим количеством типологических разновидностей коммуникативной координации речевого поведения, различающихся по степени согласованности речевого поведения участников диалога.

Анализ разговорных диалогов позволяет сделать вывод о градуальном характере проявления категории коммуникативной координации и о существовании нескольких типов координации речевого поведения, которые распределяются в зонах толерантной и нетолерантной коммуникации. Границы степеней КК достаточно размыты, что в целом не мешает обозначить их ядро на шкале коммуникативной координации, которая, в нашем представлении, выглядит следующим образом:

КОНСЕНТНОСТЬ → КОНФОРМНОСТЬ → ПОЛЕМИЧНОСТЬ → КОНФЛИКТНОСТЬ

Стрелками указано направление убывания степени скоординированности речевого поведения и речевой продукции. Если вслед за С. А. Сухих и В. В. Зеленской расценивать конвенциональность коммуникации как «ситуативно обусловленное стремление к кооперативному взаимодействию» [Сухих, Зеленская 1998: 30], то толерантными для диалогического взаимодействия можно признать консентный и конформный типы КК. Полемичный тип КК является пограничным для зон толерантного и нетолерантного общения. К первой зоне тяготеют жанры спора ради истины, диалога-обсуждения в ходе принятия совместного решения и вторичные диалогические жанры (дискуссия, прения, полемика и т. д.).

* Приведенные в работе разговорные диалоги входят в текстотеку кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского государственного университета.

Полемичность, граничащая с конфликтностью и тяготеющая к зоне нетолерантного общения, характеризует такие жанры разговорных диалогов, как, например, пререкания, «канюченье», шутливые или иронические «пикировки», спор ради победы и самоутверждения, выяснение отношений, уговоры, для которых характерна транспозиция в поле фатики. Конфликтный тип КК характеризует ссоры и конфликты, формирующие зону нетолерантного общения.

Рассмотрим различные типы коммуникативной координации речевого поведения в диалоге, относящиеся к зонам толерантного и нетолерантного общения.

Консентная КК характеризуется согласованностью коммуникативных интенций речевых поступков в интеракции; кооперативностью речевого поведения; солидарностью модально-оценочных смыслов речевых поступков; унисонной тональностью общения; заинтересованностью коммуникантов в продолжении контакта и их активностью во взаимной поддержке коммуникативных инициатив; положительным, гармоничным коммуникативным результатом.

Консентная КК свойственна гармонично развивающимся диалогическим взаимодействиям в зоне разговорной речи. Приведем типичный пример реализации консентного типа КК в одном фрагменте диалога.

Ситуативный контекст: А. и Б. — подруги-одноклассницы, соседки, им по 39 лет, обе преподают в вузе. Б. в гостях у А. Обсуждают ситуацию в семье брата Б., жена которого тяжело больна.

А. — Да / а что врачи-то говорят / какие прогнозы? Они вот ее выписали домой, и все, что ли?

Б. — (РАССТРОЕННО) Ну да //

А. — (С ВОЗМУЩЕНИЕМ) Сказали <забирайте / что хотите, то и делайте>?

Б. — Да не знаю я конкретно-то / что там по телефону / мама говорила-то //

А. — Так они обычно не говорят / сколько времени-то отпущено человеку //

Б. — Ему [брату Б.] говорили / что она весной еще умрет-то!

А. — Той?

Б. — Да!

А. — (С СОЧУВСТВЕННЫМ ВЗДОХОМ) Ой!

Б. — Ему врачи-то / и весной и летом/ все лето / говорили / что она умрет / так она из последних сил живет //

А. — (ЗАДУМЧИВО, СОГЛАШАЯСЬ) Вишь, какая судьба / двое детей-то / еще маленьких // она сколько лет-то болеет уже?

Б. — Полтора года //

А. — Ой / господи!

Б. — Когда я была в Питере / в прошлом году // ужасно, конечно / все это... не знаю... их надо сюда забирать / и все // пусть живут //

А. — А Сережка-то [*брат Б.*] не работает?

Б. — Нет / он вообще в беспамятстве //

А. — Так, конечно / стресс такой / вообще страшно //

Б. — Ну да / будут решать сами / что там...

А. — Но там же все-таки... а / да / ты же говоришь / что папа больной совсем / я думала, родители как-то ее помогут //

Б. — Так у нее и мама-то еле живая / она всю жизнь больная / у нее давление там / двести пийсят [*пятьдесят*] на сто восемьдесят / или сколько там / в общем, таких не бывает цифр! Гипертоник. Она вот всю жизнь по характеру / она вот всю жизнь всем недовольна / вот мама-то / понимаешь? Серега вот, видно / ее и обвинил / крик [*говорит*] <это вы виноваты/ что Ирина-то умирает> // то есть мать / (С НЕПРИЯЗНЬЮ, ОСУЖДЕНИЕМ) она всю жизнь всех ругает / все у нее дураки / все не так делают / все не так макароны варят / это не так ставят / это не так делают / на работе все дураки / вся страна дураков / она одна умная / понимаешь, она какая? И как бы / у Ирки-то / она тоже / они вместе жили / ей с мамой-то тяжело было /

А. — Так они долго ведь жили с родителями?

Б. — Конечно! И она как буфер была / Ирка-то / потому что мать такая / и Серега такой / вот они друг на друга как начнут бодаться / Ирка посередине // они ее с двух сторон и уничтожили //

А. — Конечно / все болезни от стресса //

Приведенный пример демонстрирует согласованность речевого поведения по всем параметрам (1—6), характерным для консентной КК. Обратим внимание на модально-оценочную, тональную и фатическую стороны коммуникативной координации. Для речевого поведения А. и Б. характерна солидарность в оценке обсуждаемых фактов, персонажей и ситуаций. Оценочная солидарность проявляется в неоднократном использовании коммуникантами вербально выраженных индикаторов оценочного согласия с мнением другого (*Ну да/ Так конечно/ стресс такой/ вообще страшно//; Конечно! И она как буфер была//; Конечно/ все болезни от стресса//; (ЗАДУМЧИВО, СОГЛАШАЯСЬ) Вишь, какая судьба/ двое детей-то/ еще маленьких//*). Заинтересованность А. проявляется в иницилирующих (*а что врачи-то говорят/ какие прогнозы? Они вот ее выпи-сали домой, и все, что ли?*; *А Сережка-то не работает?*) и уточняющих вопросах (*Сказали забирайте/ что хотите, то и делайте>; она сколько лет-то болеет уже?; Так они долго ведь жили с родителями?*). Однотипность кооперативных речевых реакций (вопросы и поддержки) объясняется тем, что «достоверность сообщения, согласованность взглядов собеседников, их добрые намерения принимаются за идеальную норму общения, а норма располагает обычно скудным инвентарем для своего выражения» [Арутюнова 1990: 180]. Коммуникант А. активно поддерживает тему, предложенную Б. в начале диалога. Хотя тема неблагоприятна для Б. в эмоциональном отношении, жанр диалога — «разговор по душам» — и близость отношений коммуникантов позволяют расценивать тему как интимную, ситуативно допустимую, нетабуированную. Разработка темы обусловлена социальной и эмоциональной потребностью Б. в утешении, сочувствии, «поглаживании». Тональность речевой партии А. может быть охарактеризована как сочувствие и активное сопереживание Б., которая расстроена и угнетена. Тональность определяется тоном речи (С ВОЗМУЩЕНИЕМ по поводу обсуждаемого факта спрашивает, СОЧУВСТВЕННО констатирует) и паралингвистически аранжированными эмоционально-экспрессивными речевыми поддержками: *Ой/ господи!;* (С СОЧУВСТВЕННЫМ ВЗДОХОМ) *Ой!;* и др.

Тональность при развертывании диалога может меняться, как и тип коммуникативной координации речевого поведения. Тональ-

ность целого текста не может быть выведена по закону аддитивности (сложения) тональностей отдельных реплик-высказываний. Неаддитивность тональности связана с категорией коммуникативного результата в его идеальном, нетекстовом представлении. Для коммуникантов важна последовательность участков диалога с различной тональной окраской: например, примирение после ссоры всегда обозначается меной тональности на унисонную, а коммуникативной координации — на консентную. Последняя нейтрализует предшествующую дисгармоничную тональность и оценивается коммуникантами как положительный результат общения. Здесь психологически существенна сильная позиция конца в любой линейной последовательности. Для типа коммуникативной координации целого текста вообще важно свойство нейтрализации нежелательных с точки зрения КК речевых поступков. Так, отказ в выполнении просьбы может быть нейтрализован его обоснованием, таким образом некооперативность речевого поведения нейтрализуется заинтересованностью коммуниканта в продолжении общения и его гармоничной тональностью. В целом модальность и тональность диалогов с консентной КК обусловлена взаимной эмпатией партнеров общения*.

К о н ф о р м н а я КК характеризуется согласованностью коммуникативных интенций речевых поступков в интеракции; немногочисленными отступлениями от кооперативности речевого поведения; отсутствием демонстрации оценочной солидарности; нейтральной тональностью общения; невысокой заинтересованностью одного из коммуникантов в продолжении контакта, его коммуникативной пассивностью, отсутствием инициативы; нейтральным результатом в модальной сфере. Эти параметры КК реализуются в диалогах, в которых один из коммуникантов не желает продолжать контакт, но в то же время не хочет обострять отношения с партнером, поддерживая видимость участия в общении. Рассмотрим примеры диалогов с конформной КК.

Ситуативный контекст: А. — жена, машинистка крана, 29 лет; Б. — муж, экскаваторщик, 28 лет. Муж собирается выходить из дома.

* Ср. точку зрения Н. Абрамова: «Было бы жестокой ошибкой думать, что разговор есть только обмен мыслей. Разговор есть обмен симпатий» [Абрамов 1901: 11].

- А. — Иди за Анютой / время-то уже //
- Б. — Ага / пошел // (ПАУЗА) Мы, наверно, еще погуляем //
- А. — Погуляйте //
- Б. — Маленькая спит?
- А. — Спит //
- (ПАУЗА)
- А. — Не забудь белье грязное забрать //
- Б. — Угу //
- А. — И спроси у воспитателя / как она поела //
- Б. — Угу //
- А. — Что ты все угукаешь/ ответить нормально не можешь?
- Б. — Я пошел //
- А. — Все запомнил?
- Б. — Угу (Б. УХОДИТ, ХЛОПАЕТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ)

Конформный тип КК задается в этом фрагменте речевым поведением коммуниканта Б. В целом данный коммуникативный фрагмент характеризуется как директивно-прескриптивный диалог, заданный коммуникативной позицией А. Роль подчиняющейся стороны, очевидно, мало устраивает Б., но, чтобы не обострять отношений и не вызвать конфликта с женой, он предпочитает кооперативное подчинение, соглашаясь с ее распоряжениями и просьбами. Характерно для конформных диалогов неравноценное участие коммуникантов в развитии взаимодействия — речевой вклад Б. минимален. Коммуникативная инициатива также распределяется неравномерно: инициатором всех тем является А., коммуникативные смыслы большинства ее речевых поступков директивны. Конформное речевое поведение Б. вызывает вербально выраженное недовольство А., которая, по-видимому, ожидает от Б. консентного поведения и оценивает его конформность как отклонение от нормы (*Что ты все угукаешь / ответить нормально не можешь?*). Б. оставляет замечание А. без внимания (игнорирующая реакция), не считая нужным оправдываться, извиняться или пререкаться. Н. Д. Арутюнова в связи с этим отмечает, что *почему-, что- и зачем-* вопросы связаны с нежелательными для адресата оценками, мнениями и суждениями [Арутюнова 1992: 76] и могут спровоцировать конфликтную ответную реакцию.

Приведем еще один пример диалога с конформной КК, опуская развернутые монологические фрагменты, не прерываемые репликами слушателей.

Ситуативный контекст: А. — крановщица, 50 лет; В. — внучка А., 4 года, Ф. — брат А. (Федор), преподаватель вуза, 42 года. Сидят в гостинной вечером. Ф. читает газету, В. играет.

А. — Так и жили // с Федькой пешком ходили в Руднично // была я его / попадало ему от меня // (СМЕЕТСЯ)

В. — Кому?

А. — Да все по голове / чтоб он такой умный стал // да / Федя?

Ф. — (СОГЛАШАЯСЬ, ЧТОБЫ ЕМУ НЕ МЕШАЛИ ЧИТАТЬ) Да / да-да / да //

А. — (С ПРИДЫХАНИЕМ) А что ж/ не вру/ правду говорю // (ВСЕ СМЕЮТСЯ)

А. — Федя / а ты не помнишь / как мы Шарика хоронили в деревне?

Ф. — Нет / не помню //

А. — [*Рассказывает о том, как хоронили собаку.*]

(В. ПОДХОДИТ С ИГРУШКОЙ, КОТОРУЮ НЕ МОЖЕТ СОБРАТЬ)

А. — (ПОМОГАЕТ В.) Так // не так / не закроешь так / перешиборишь так // потряси //

Ф. — (ЧТО-ТО НЕРАЗБОРЧИВО БОРМОЧЕТ СЕБЕ ПОД НОС)

А. — А? Что ты говоришь/ Федя?

Ф. — Ничего // разговаривайте / разговаривайте //

А. — Ну что разговаривать-то?

Ф. — Да это уж ваше дело //

А. — (ПОВТОРЯЕТ, ИРОНИЗИРУЯ) Это уж ваше дело // Федя / а ты помнишь, как это / холостой еще был? К Вовке Часову ездили/ его в армию провожали [*Рассказывает о проводах в армию.*]

Ф. — Да / было дело //

Как и в предыдущем диалоге с конформной КК, один из коммуникантов (Ф.) пассивен, его коммуникативный вклад в развитие

диалога минимален. Он занят чтением газеты и игнорирует все попытки А. вовлечь его в разговор. Его ответы на «провоцирующие» вопросы А. односложны (*Да / да-да / да //*) и в основном кооперативны, хотя некоторые из них не соответствуют ожиданиям А. (*Нет / не помню*). Апелляции А. к Ф. встречают коммуникативное противодействие, вызванное нежеланием участвовать в разговоре (А. — *А? Что ты говоришь / Федя? Б. — Ничего// разговаривайте / разговаривайте //* А. — *Ну что разговаривать-то? Ф. — Да это уж ваше дело //*). Коммуникативный конформизм одного из собеседников ведет к затуханию разговора*. Н. Абрамов в руководстве по риторике в качестве условий, необходимых для консентного, гармоничного течения разговора, называл расположение обоих коммуникантов к беседе и наличие общих интересных тем [Абрамов 1901: 7]. Как видно, при конформной КК эти условия не соблюдаются.

П о л е м и ч е с к а я КК проявляется в «сомнительных» и «прекословных» разговорах. Она характеризуется: согласованностью коммуникативных интенций речевых поступков в интеракции; ослабленной кооперативностью речевого поведения; отсутствием солидарности модально-оценочных смыслов; нейтральной, с возможными отклонениями от унисонной тональностью общения; различной степенью заинтересованности и активности участников общения, а также взаимной поддержки коммуникативных инициатив; нейтральным или не вполне гармоничным коммуникативным результатом. Для более корректного описания модально-оценочных смыслов речевых поступков полезно, вслед за С. А. Сухих, разграничить интерперсональную модальность — отношение к партнеру

* Приведем показательный пример описания впечатлений от разговора с конформной коммуникативной координацией, сделанного одним из его участников. Разговор происходит в поезде между попутчиками, возвращающимися с Парижской выставки: «Так ничего и не добился я от своего собеседника, кроме «грандиозный» да «величественный». Между тем он с удовольствием слушал, часто кивал головой, что-то бормотал мне в ответ и даже не раз порывался говорить, но запинался на втором слове. Я скоро бросил разговор, где мне одному приходилось говорить. Мы целый день ехали вместе почти молча» [Абрамов 1901: 5—6]. Этот пример демонстрирует существование не только стремления к кооперации, но и умения реализовать это стремление, а также важность для консентной КК соразмерности речевого вклада партнеров в разговор.

коммуникации и экзистенциальную (предметную) модальность — отношение к теме разговора [Сухих, Зеленская 1997: 15].

Рассмотрим примеры разговоров с полемической КК, характеризующиеся различной реализацией ее параметров.

Ситуативный контекст: разговор в подсобном помещении завода*. ВВ. — Валерий Владимирович, 46 лет, слесарь, образование специальное техническое; М. — Максим, 27 лет, станочник, студент-заочник.

ВВ. — Наверно / сегодня лучше валенки надеть //

М. — Так / Валера //

ВВ. — А?

М. — Дай че-нибудь домой своровать / да вообще / Валера / ты как начальник взял бы / отрезал / на матрасик-то //

ВВ. — Шкурки-то?

М. — Войлоку / шкурки на матрасик / как спать?

ВВ. — (С ОСУЖДЕНИЕМ) Максим Петрович!

М. — Давай че-нибудь украсть / а это че? / некондиция стоит?

ВВ. — Тебе че / надо?

М. — Надо / дай мне вот матрасик такой / надо //

ВВ. — Зачем?

М. — Валера / надо //

ВВ. — Ну скажи / зачем?

М. — В долгу не останусь //

ВВ. — Ну надо / дам //

М. — Выдай / надо валенки / спать теплее // я седня без ног остался ночью / ты понимаешь / в валенках зажигаешь на машине / где, по идее, должно быть тепло / там холодно //

ВВ. — Другие захотят валенки //

М. — Ну а как?

ВВ. — Тогда не выдам //

Жанровая доминанта разговора — уговоры. Хотя интенции речевых поступков согласованы, интеракции характеризуются пони-

* Диалоги рабочих записаны для разговорной текстотеки кафедры риторики и стилистики выпускником заочного отделения филологического факультета Уральского государственного университета М. О. Махнутиным.

женной кооперативностью коммуниканта ВВ.: обилием отсроченных реакций, переспросов, уточняющих и выясняющих вопросов (*А? Шкурки-то?; Тебе че / надо?; Зачем?; Ну скажи / зачем?*), присутствием возражений (*Другие захотят валенки [если тебе дам]*), отрицательной оценкой ВВ. позиции М., выраженной оценочно маркированным апеллятивом: (С ОСУЖДЕНИЕМ) *Максим Петрович!* Коммуникативный результат взаимодействия отрицательный, уговоры оказались неэффективными — ВВ. отвечает М. отказом: *Тогда не выдам [валенки]*. Но отрицательный результат в коммуникативной и практической сфере не сказывается на межличностных отношениях коммуникантов: отказ ВВ. не вызывает раздражения или вербально выраженного недовольства М.; некоторое время он продолжает вяло уговаривать ВВ., но, получив повторный отказ, меняет тему (*Г-ка не дождешься никогда*). Таким образом, интерперсональная модальность разговора остается нейтральной. Еще один пример.

Ситуативный контекст: разговор в подсобном помещении завода. ВФ. — Виктор Федорович, 45 лет, электроэрозионист, образование высшее; М. — Максим, 27 лет, станочник, студент-заочник.

ВФ. — Как они живут / немцы / у них принцип жизни / накапать на соседей // основа всей жизни //

М. — Почему накапать на соседа? может, он за дело // там сосед, может/ самогон гонит [*нец.*] // Вот как Антон //

ВФ. — Ну дак и че?

М. — А я ж молчать не буду!

ВФ. — Если вот сосед самогон гонит /

М. — А если он с целью продажи?

ВФ. — Ну и что?

М. — Ты не пойдешь же / не накапаешь?

ВФ. — Что за жизнь [*нец.*]! Пошел / тебя тут же заложили //

М. — Федорыч / смотря, куда пошел// тебя ж за то/ что ты хорошие дела делаешь / никто ведь не заложит //

ВФ. — И за это заложат / вот припаяю че-нибудь / он там уже [*нец.*] //

М. — (С ШУТЛИВЫМ ВОЗМУЩЕНИЕМ) Так, Федорыч / я тебя давно бы уже заложил // тебя б десять раз посадили // ты си-

дишь / паяешь // как только начал паять / начался терроризм в стране// я же сразу это заметил // я же вижу, что ты там делаешь!

ВФ — Вот представь / Максим / ты купил машину там [*в Германии*] // они пришли к тебе [*нец.*] / и спрашивают / <где ты деньги взял?>

М. — А как? (С УВЕРЕННОСТЬЮ) Должно быть так / правильно // правильно / где деньги взял?

ВФ. — (ВОЗМУЩЕННО) А какое его собачье дело [*нец.*]?

М. — Потому что там есть возможность заработать //

ВФ. — (ПРОДОЛЖАЯ УПОРСТВОВАТЬ) А почему я должен докладывать / где я взял деньги? Может / я украл?

М. — (С ШУТЛИВОЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ) А вот / тебя посадят //

ВФ. — (УВЕРЕННО) Не пойманный не вор [*нец.*] //

М. — Тут-то тебя и поймают // для этого все и делается / если тебя так не могли поймать //

ВФ. — Они должны все время / того /когда я (ПАУЗА)

М. — А-а-а / нет //

ВФ. — А если я уже украл / то (СМЕЮТСЯ)

М. — Федорыч / ты не прав!

ВФ. — Ну как это не прав!

М. — Это че? Няньку поставить тебя охранять?

ВФ. — (УБЕЖДЕННО) Если украл, значит, все [*нец.*] // все [*нец.*] // было и нет //

Разговор М. и ВФ. развивается в русле спора, это «несогласный» обмен мнениями по одному вопросу (о необходимости декларирования доходов). Тема спора принимается обоими коммуникантами (речевые поступки интенционально согласованы, коммуникативная инициатива и активность распределяются равномерно), но оценочной солидарности коммуникантов не наблюдается, экзистенциональная модальность высказываний М. и ВФ. рассогласована (тема разрабатывается в различном оценочном ключе, мнения говорящих не совпадают). Стремление каждого коммуниканта отстоять свою позицию как «правильную» вызывает несогласие с мнением другого, обилие корректирующих реак-

ций частичного или полного несогласия. Однако это несогласие обозначает позицию коммуникантов по отношению к предмету спора (экзистенциональная модальность) и не вторгается в личностную сферу, не отражается на межличностной модальности и тональности разговора. Хотя оба участника спора «примеривают» ситуацию на себя (*Вот представь / Максим / ты купил машину // они пришли к тебе [нец.] / и спрашивают / <где ты деньги взял?>; А почему я должен докладывать / где я взял деньги? Может / я украл?; Тут-то тебя и поймут // для этого все и делается / если тебя так не могли поймать //*; и т. п.), гипертрофия эготемы и ксенотемы не нарушают нейтральную тональность. Такие «подначивания» и «подтрунивания» при некоторой модальной провокационности не выходят за рамки общего фамильярно-шутливого тона разговора и не переносятся в сферу отношений коммуникантов: в фокусе их внимания все время остается проблема, а не личностные оценки. О возможности квалифицировать тональность спора скорее как шутливо-фамильярную, нежели как недружелюбно-ироничную, свидетельствует присутствие шуток, а также ремарки (С ШУТЛИВОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ, С ШУТЛИВОЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ, СМЕЮТСЯ). Тональность остальных реплик выражает эпистемическую модальность уверенности (УБЕЖДЕННО, С УВЕРЕННОСТЬЮ). Экспрессивный тон (ВОЗМУЩЕННО) относится к оценке предмета речи, но не к личности коммуниканта. Результат взаимодействия в эпистемической сфере — отрицательный: оба участника спора остаются при своем мнении, результат в модальной сфере — скорее нейтральный, в целом гармоничный.

Небольшие фрагменты с полемической КК могут вкрапляться в разговоры с консентной КК. Создание «ситуаций риска» [Шалина 2000: 275] обычно не имеет дисгармонизирующих последствий, так как они быстро нейтрализуются с помощью коммуникативных усилий участников взаимодействия, что демонстрирует следующий пример.

Ситуативный контекст: застолье в подсобном помещении завода накануне праздника 8 Марта. Приглашены женщины — сотрудницы цеха (ТВ., Н., Ж.). В роли хозяев выступают мужчины — ВФ.,

ВВ., М. (паспорт коммуникантов см. в приведенных выше примерах) и Ш. (47 лет, станочник, образование среднее).

ТВ. — Сначала надо выпить / потом есть //

Ш. — Вот-вот / я и подаю //

ТВ. — Ой / спасибо //

ВФ. — (ОБРАЩАЯСЬ К М.) Народу мало / а ты расселся / блин //

М. — (С РАЗДРАЖЕНИЕМ, ВЫЗОВОМ) У меня ноги не влазят //

ВВ. — (ПОДДЕРЖИВАЯ М.) И сесть некуда //

М. — (ВОЗРАЖАЯ ВФ.) Те куда много народу //

ВФ. — Ты один полстола занимаешь //

М. — (ЯЗВИТЕЛЬНО) Да / ты вот на второй половине ютишься / на том / что осталось //

ТВ. — У-у-у /хорошие пироги // где заказывали / там же?

Н. — Там же //

Ш. — (О ВИНЕ) Изюмом отдает / типа хереса //

Этот фрагмент разговора-пререкания с полемической КК демонстрирует появление негативно-оценочных реакций, которые задевают личностную сферу коммуникантов. Упрек-замечание ВФ. в адрес М. (*Народу мало / а ты расселся / блин //*) вызывает кооперативную реакцию оправдания М. (*У меня ноги не влазят //*), окрашенную раздражением, и вербально выраженное недовольное возражение М. (*Те куда много народу //*). Повторное замечание ВФ., не желающего игнорировать или сгладить возникающую напряженность и прервать пререкания, вызывает встречное язвительное замечание-обвинение М. (*Да / ты вот на второй половине ютишься / на том / что осталось //*). Возникает критическая точка, обозначающая возможность нарастания агрессивности коммуникантов и дальнейшего развития разговора по конфликтному сценарию. Но этот эпизод не нарушает общей консентной КК застольного разговора, поскольку ТВ. и Ш. предпринимают усилия для возвращения разговора в русло гармоничного протекания (ТВ. — *У-у-у / хорошие пироги / где заказывали / там же?* Ш. — (О ВИНЕ) *Изюмом отдает / типа хереса //*). Эти

реплики меняют тему и отвлекают внимание ВФ. и М. от пререканий.

Таким образом, вариативность параметров коммуникативной координации позволяет выделить две разновидности разговоров с полемической КК: полемические разговоры, не задевающие личностную сферу коммуникантов (с нейтральной и положительно сбалансированной тональностью и межличностной модальностью), и полемические разговоры с вторжением в личностную сферу коммуникантов (с негрубыми отклонениями от тонального нейтралитета и незначительным смещением межличностной модальности в область отрицательной оценки). Вместе с диалогическими взаимодействиями, организованными консентной и конформной КК, полемические диалоги первой разновидности составляют зону толерантного общения. Диалоги второго типа тяготеют к зоне конфликтного общения.

К о н ф л и к т н а я КК в непринужденной сфере общения проявляется в ссорах, словесных перепалках и других речевых конфликтах. Она характеризуется повышенной импульсивностью и реактивностью речевых поступков с непрогнозируемым перлокутивным эффектом в зоне риска; некооперативностью речевого поведения при формальной согласованности коммуникативных интенций с преобладанием отсроченных (упрек — переспрос), конкурирующих (обвинение — встречное обвинение), корректирующих (упрек — одергивание) и отклоняющих реакций (констатация факта — отрицание факта); подчеркнутой конфликтностью отрицательных модально-оценочных реакций, смещенных в личностную сферу коммуникантов; диссонирующей тональностью общения с гипертрофией эмоциональности и эгоцентричности; преимущественно высокой степенью активности коммуникантов в предъявлении личных претензий; непрогнозируемым коммуникативным результатом в психологической и коммуникативной сферах. Коммуникативный результат реализуется в двух возможных коммуникативных исходах конфликтного диалогического взаимодействия: позитивном и негативном. Негативный коммуникативный результат проявляется в последствиях различной степени тяжести (от ухудшения отношений и прерывания контакта до перехода сторон к активным конфронтационным неречевым действиям

и до полного разрыва отношений). Конфликтная КК может проявляться в диалоге градуально, с различной степенью остроты. Позволим себе привести достаточно пространный пример, демонстрирующий перерастание полемической КК речевого поведения в конфликтную.

Ситуативный контекст: в подсобном помещении завода перед концом смены ВВ. (Валерий Владимирович, 46 лет, слесарь, образование специальное техническое) играет в компьютерные игры, М. (Максим, 25 лет, станочник, студент-заочник) и А. (Антон, 26 лет, электроэрозионист, образование среднее) пьют чай.

М. — ... (1) не понял / кто мою ложку [нец.]? вообще оборзели?

ВВ. — Моя в варенье //

М. — (ПЕРЕДРАЗНИВАЯ) Твоя в варенье /блин / (НЕДОВОЛЬНО) я знаю, что ты в варенье // (НЕОДОБРИТЕЛЬНО) хлебом не корми / дай варенья ему //

А. — (УСЛУЖЛИВО ПОДХВАТЫВАЕТ) Его хлебом не корми / дай водки попить [нец.] //

М. — Ему-то? Да я знаю // (ОБРАЩАЯСЬ К ВВ., НАЗИДАТЕЛЬНО) Валера / пора исправляться / сходи в медпункт / там вот / наглядная агитация / щас вот изучал //

ВВ. — Уже исправился (СМЕЕТСЯ) // отстань / исправился //

М. — (РАЗЫГРЫВАЯ УДИВЛЕНИЕ) Как ты исправился? Ты не можешь так быстро исправиться/ ты должен покаяться //

ВВ. — Я / я просто

А. — (ПЕРЕБИВАЕТ) Он вчера на обед не ходил / прикинь / какое покаяние было //

М. — О-о-о / как он болел // (ОБРАЩАЯСЬ К ВВ., МЕНТОРСКИМ ТОНОМ) Валера / нельзя же так / блин / два выходных / понедельник взял [отгул] / и во вторник еще болел //

ВВ. — В пятницу начал //

М. — (ЦИТИРУЯ ИЗВЕСТНУЮ ФРАЗУ ИЗ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ) О-о как все запущено-о // постил-ся / да?

ВВ. — Ага //

М. — Жрать ниче нельзя / так водки, значит // все с тобой ясно //

ВВ. — Жрать ниче нельзя / точно ты сказал //

М. — (О КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ) Давай-давай вниз //

А. — На одну //

М. — (НАСМЕХАЯСЬ НАД ВВ., ЦИТИРУЕТ АНЕКДОТ) Но достаточно будет и половины дозы / ага? И вниз /и вниз Валера / че нет-то? Че-то долго ты думаешь / (ЯЗВИТЕЛЬНО) это динамичная игра / между прочим //

ВВ. — Ну и че?

М. — (НЕБРЕЖНО) Да ниче //

ВВ. — Ну вот и сиди //

М. — (ИЗОБРАЖАЯ РАЗОЧАРОВАНИЕ) Я думал, приду / увижу тебя за работой //

ВВ. — (2) (РАЗДРАЖЕННО) Сидите и не [нец.] тут // [нец.] ты меня / Максим// с одной стороны, конечно / когда ты здесь [нец.] / но с другой стороны / к концу смены ты так [нец.] // сначала вроде

М. — (ПЕРЕБИВАЕТ, С УГРОЗОЙ) Все сказал?

ВВ. — Сначала вроде еще ничего / до обеда тебя терпеть можно//

М. — (С НАЖИМОМ, ПОВЫШАЯ ТОН) Ты все сказал?

ВВ. — (ЗЛО) Ну че те еще? (С ИЗДЕВКОЙ) и полхохла ты / понял [нец.] / если б ты полный хохол / можно было б с тобой поговорить //

М. — (С НАРАСТАЮЩЕЙ УГРОЗОЙ) Че-е-е?

ВВ. — (ГОВОРИТ ГРОМЧЕ И МЕДЛЕННЕЕ) Был бы ты полный хохол / с тобой можно было бы поговорить // а так / полхохла //

М. — (РЕШИТЕЛЬНО) Все сказал?

ВВ. — (НЕСКОЛЬКО ТИШЕ) Нет еще //

М. — (С РАССТАНОВКОЙ, РАЗДЕЛЯЯ СЛОВА) Теперь посмотри на часы / и пять минут / помолчи / понял / да? время пошло //

ВВ. — (ЧТО-ТО БОРМОЧЕТ НЕРАЗБОРЧИВО)

М. — (СТРОГО, С НАПОРОМ) Я сказал / помолчи //

ВВ. — (С ДОСАДОЙ И ИРОНИЕЙ) Эк

М. — (ПЕРЕБИВАЕТ) И без <эк-пэк> блин // (ПАУЗА; М. ПОДХОДИТ К КОМПЬЮТЕРУ, ОБРАЩАЕТСЯ К А., ВСЕ ЕЩЕ РАЗДРАЖЕН) Ну? Где сеть? Сеть-то где?

А. — Работает //

М. — Работает? [*М. демонстративно переключается на разговор с А. о компьютерных играх.*]

Отчетливо видна динамика конфликта, проявляющаяся в развитии взаимодействия от конформного (фрагмент 1) к конфликтному (фрагмент 2) типу КК. Провоцирует конфликт вторжение М. в личностную сферу коммуниканта ВВ., в принципе допустимое в данной коммуникативной группе, но отягощенное нелицеприятностью оценок (осуждение, наигранное возмущение, ирония, сарказм) и провоцирующим издевательским тоном:

М. — 1. Валера / пора исправляться / сходи в медпункт / 2. (РАЗЫГРЫВАЯ УДИВЛЕНИЕ) Как ты исправился? Ты не можешь так быстро исправиться / ты должен покаяться // 3. Валера / нельзя же так / блин / два выходных / понедельник взял [*отгул*] / и во вторник еще болел // 4. О-о как все запущено-о // постился / да? Жрать ниче нельзя / так водки, значит // все с тобой ясно // 5. (НАСМЕХАЯСЬ НАД ВВ., ЦИТИРУЕТ АНЕКДОТ) Но достаточно будет и половины дозы / ага? И вниз / и вниз Валера / че нет-то? Че-то долго ты думаешь / (ЯЗВИТЕЛЬНО) это динамичная игра / между прочим // 6. (ИЗОБРАЖАЯ РАЗОЧАРОВАНИЕ) Я думал, приду / увижу тебя за работой //

Начальный фрагмент можно квалифицировать как транспозицию спонтанно возникающего жанра проработки [Данилов 1999] с коммуникативной заданностью отрицательно-оценочного компонента (осуждение) в сферу непринужденного межличностного общения. Происходит характерная для этого жанра поляризация позиций коммуникантов. Она разрушает модальное единство и тональный унисон, свойственные согласному течению разговора. Роль коллективной «прорабатывающей стороны» с заданными этой ролью особенностями речевого поведения присваивают себе коммуниканты М. и А.; роль «прорабатываемой стороны» достается коммуниканту ВВ., поведение которого является темой разговора и объектом отрицательной оценки. Взаимодействие развивается по

сценарию эмоционального подавления ВВ., вынуждения его к оправданиям. Тем не менее кооперативное поведение ВВ. в первом фрагменте диалога обусловлено нежеланием обострять ситуацию и организовано по типу консентной КК: речевые поступки оправдания (*Уже исправился (СМЕЕТСЯ) // отстань / исправился //*; *Я / я просто*); речевые поддержки и реакции согласия (*Ага //*; *Жрать ниче нельзя / точно ты сказал //*), уточнения (*В пятницу начал//*).

Стремление М. занять доминирующую позицию не поддерживается его социальным статусом в группе (он моложе ВВ. и не является его начальником). Адресованная обценная лексика*, негативная личностная оценка в совокупности с ее оскорбительным тоном, речевые выпады инвективного характера (подначка, колкость, издевка, сарказм) позволяют квалифицировать речевое поведение М. как не санкционированное общекультурными нормами и правилами общения, принятыми в данном коллективе, и поэтому провоцирующее конфликт. Конформное речевое поведение ВВ., обусловленное неудовлетворенностью навязанной ему ролью «прорабатываемого», скрывает нарастающую эмоциональную напряженность и назревание коммуникативного конфликта. Критическая масса дисгармонизирующих речевых поступков М. нарастает, и у ВВ. наступает реакция отторжения и протеста (негативная личностная оценка М.), которая обозначает границу фрагментов с конформной и конфликтной КК: ВВ. — *Сидите и не [нец.] тут // [нец.] ты меня / Максим // с одной стороны, конечно / когда ты здесь [нец.] / но с другой стороны / к концу смены ты так [нец.] // сначала вроде...; Сначала вроде еще ничего / до обеда тебя терпеть можно //*

Фрагмент 2 с конфликтной КК речевого поведения демонстрирует лавинообразное развитие речевого конфликта. ВВ. переходит к открытым оскорблениям М., вызванным желанием унижить его: ВВ. — (ЗЛО) *Ну че те еще? (С ИЗДЕВКОЙ) и полхохла ты / понял [нец.] / если б ты полный хохол / можно было б с тобой поговорить //*

* В речи мужчин, входящих в эту малую группу, нецензурные слова используются чаще как сигналы мужской общности, словесные вставки, слова-привычки. В этих случаях на них не обращают внимания, их употребление никак не задевает партнеров общения. В адресованной инвективной функции нецензурное слово коммуникантами фиксируется, являясь стимулом для конфликтных реакций.

(ГОВОРIT ГРОМЧЕ И МЕДЛЕННЕЕ) *Был бы ты полный хохол / с тобой можно было бы поговорить / а так / полхохла //*

М. избирает тактику игнорирования оскорблений ВВ. и переходит к серии ответных угроз с нарастающей дисгармонизирующей тональностью:

М. — 1. (ПЕРЕБИВАЕТ, С УГРОЗОЙ) Все сказал? 2. (С НАЖИМОМ, ПОВЫШАЯ ТОН) Ты все сказал? 3. (С НАРАСТАЮЩЕЙ УГРОЗОЙ) Че-е-е? 4. (РЕШИТЕЛЬНО) Все сказал? 5. (С РАССТАНОВКОЙ, РАЗДЕЛЯЯ СЛОВА) Теперь посмотри на часы / и пять минут / помолчи / понял / да? время пошло //

Цель угроз — речевое подавление ВВ. и его коммуникативная изоляция. Коммуникативный исход взаимодействия — разрыв контакта между М. и ВВ., впрочем длившийся непродолжительное время: после пяти реплик коммуниканты А. и М. снова принимают ВВ. в разговор.

Интересен пример ретроспективной рефлексии причин конфликта, вышедшего за рамки речевой коммуникации.

Ситуативный контекст: случившийся накануне после вечерней смены словесный конфликт между ВФ. и Л. (Леонидом), перешел в драку. Инцидент неформально обсуждается в компании рабочих и служащих, знающих обе стороны. В полилоге участвует и ВФ., инициировавший драку.

М. — (ОБРАЩАЯСЬ К ВФ.) Начальник-то поругал, поди?

ВФ. — Кого?

М. — Тебя //

ВФ. — Меня? За что меня-то?

А. — (ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ УЧАСТНИКЕ КОНФЛИКТА, С ВОЗМУЩЕНИЕМ) [*нец.*] / Баранам бесполезно [*нец.*] объяснять / тоже [*нец.*] //

М. — Да он не такой уж [*нец.*] / баран //

ВФ. — Че с ним спорить //

М. — Сразу под ср.. у пинать / да? (СМЕЕТСЯ)

Ю. — Ему удовольствие доставляет / когда заводится он // его подкалывать надо / вот это его [*нец.*] / вообще выводит из себя //

ВФ. — Я ему грю / <иди домой [*нец.*]> / он ходит тут / надо мной ноет / бесполезно / зудит и зудит / одно и то же / бесполезно ему че-то объяснять / доказывать / только в рыло //

М. — (СМЕЕТСЯ) Кровожадный Шаолинь / в рыло и все [нец.] //

ВФ. — Ну тут он сразу понял / в чем дело //

М. — Вот на <мужичошку> ты все-таки обиделся / понятно // все уже рассказали в деталях // все мы уже восстановили по секундам //

ВФ. — Ну правильно / в репу только давать //

ВВ. — (ОБРАЩАЯСЬ К М.) Ты говоришь / <почему Витю не защитили> / надо было подумать / кого защищать //

М. — Но [нец.] // (С САРКАЗМОМ) Леню надо было защищать // я вообще удивляюсь / пацан там / штангой занимается / Леня-то //

А. — Леня-то? Да он дышит в кредит / [нец.] / штангист [нец.] //

Затем разговор соскальзывает на обсуждение спортивной формы второго участника конфликта (Л.); к теме конфликта коммуниканты больше не возвращаются. Обсуждаемый в полилоге конфликт заканчивается дракой его участников, что свидетельствует о крайней степени проявления агрессии и невозможности для данных коммуникантов разрешения ситуации речевыми средствами. По высказываниям участников разговора можно судить о причинах конфликта, которые лежат в сфере коммуникативного и собственно речевого поведения партнеров общения. Среди этих причин нарушение коммуникативных норм толерантного общения — назойливое речевое поведение Л. (...*Он ходит тут / надо мной ноет / бесполезно / зудит и зудит / одно и то же /; Ему удовольствие доставляет / когда заводится он // его подкалывать надо / вот это его [нец.] / вообще выводит из себя //*); провокационное речевое поведение Л. и ВФ., прибегнувших к адресованным инвективным и пейоративно-уничижительным формам (*Вот на <мужичошку> ты все-таки обиделся / понятно //; Я ему грю / <иди домой [нец.]> /*); низкий уровень речевой культуры (просторечная у коммуникантов А. и ВФ.), носители которой допускают возможность разрешения конфликтной ситуации неречевыми средствами (ВФ. — ...*Бесполезно ему че-то объяснять / доказывать / только в рыло //; Ну правильно / в репу только давать //; А. — [Нец.] / Баранам бесполезно [нец.] объяснять / тоже [нец.] //*). Мнение носителей просторечной речевой культуры (А. и ВФ.) не поддерживается М. (носителем и сред-

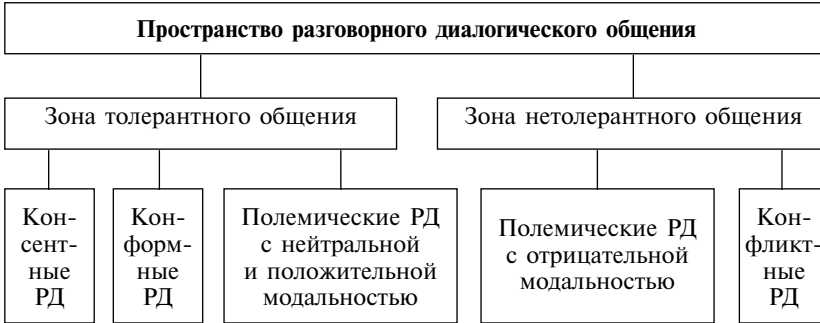
нелитературной, и просторечной речевой культуры) и ВВ. (носителем и литературно-разговорной, и просторечной речевой культуры) [Гольдин, Сиротинина 1993]. М. и ВВ. считают переход участников ссоры к активным неречевым действиям недопустимым (М. — *Сразу под ср.. у пинать / да? (СМЕЕТСЯ); Кровожадный Шаолинь / в рыло и все [нец.] //* ВВ. — (ОБРАЩАЯСЬ к М.) *Ты говоришь / <почему Витю не защитили> / надо было подумать/ кого защищать //*). Без сомнения, диалоги с конфликтной КК находятся вне зоны толерантного общения.

Конфликтные диалоги по критериям коммуникативной динамики и коммуникативного результата делим на две группы: диалоги с позитивной динамикой конфликта и благоприятным коммуникативным результатом (угасание конфликта за счет коммуникативных усилий его участников или вмешательства присутствующих, примирение сторон) и диалоги с негативной динамикой конфликта и неблагоприятным для обоих или одного из партнеров коммуникации результатом (разрыв контакта, психологическая травма, физическое насилие и т. п.). Констатируем обширный репертуар дисгармонизирующих речевых поступков, разрушающих согласное течение диалога и провоцирующих открытый конфликт (неодобрение, осуждение, колкость, упрек, оскорбление, угроза и др.).

Попутно заметим, что наши наблюдения позволяют сделать вывод о меньшей склонности женщин к коммуникативной конфронтации и речевой дисгармонии. Записи диалогов в «предконфликтных ситуациях» [Шалина 2000: 280] демонстрируют, что женщины с большей легкостью, нежели мужчины, предпринимают коммуникативные шаги, ведущие к сглаживанию и нейтрализации назревающего конфликта, используя отвлекающие тактики смены темы, предложения примирения и другие гармонизирующие речевые поступки (ср. пример диалога с полемичной КК, приведенный выше).

Варьирование способов коммуникативной координации внутри типов КК происходит в соответствии с соотношением параметров, задающих содержание этой категории. Это соотношение в диалогах различных коммуникативных сфер и типов (акционально-практическом, непринужденном и интенционально-коммуникативном) требует подробного изучения. Продемонстрируем соотношение то-

лерантных и нетолерантных типов коммуникативной координации речевого поведения в виде схемы:



Описанные типы коммуникативной координации речевого поведения участников общения покрывают все пространство диалогической речи. Коммуникативная координация речевого поведения (в вариантах толерантного и нетолерантного) является универсальной категорией диалогического дискурса.

РЕЧЕПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Л. А. Шкатова

Не то, что входит в уста, оскверняет
человека, но то, что выходит из уст.
Новый Завет. Матф. 15:11

Изучение конфликтов имеет давнюю историю. Начало ему положило философское учение о противоречиях и борьбе противоположностей (Гераклит, Платон, Гегель), а затем научное исследование конфликтов было продолжено в рамках классической соци-

ологии (К. Маркс и Г. Зиммель). В современных трудах по конфликтологии выделяются две исследовательские традиции: диалектической концепции конфликта (Р. Дарендорф) и функциональной концепции конфликта (Л. Козер). В работах Р. Парка впервые показано различие между конфликтом и конкуренцией: конфликт всегда личностен и требует явного присутствия соперника; что же касается конкуренции, то она может существовать и между незнакомыми или даже не знающими о существовании друг друга людьми, группами, организациями. К. Левиным разработана концепция динамической системы поведения, системы, которая находится под напряжением, когда нарушается равновесие между индивидом и средой. Это напряжение проявляется в виде конфликтов, разрешение которых возможно путем реорганизации мотивационных полей личности и структуры взаимодействия индивидов.

Подлинное рождение теории конфликта как теоретической модели состоялось в 1961 году, когда в Лондоне вышла книга Дж. Рекса «Ключевые проблемы в социологической теории».

В России развитие конфликтологии было начато фактически лишь в конце 80-х годов XX века: в советское время, господствовала «теория бесконфликтности» социалистического общества; конфликты признавались лишь на межличностном и внутриорганизационном уровнях. Ныне российские ученые пытаются синтезировать опыт Запада и учесть специфику России. Сама конфликтология находится у нас еще в стадии становления (см.: [Большаков, Несмелова 2001]). Многие науки (история, педагогика, психология, социология, философия и др.) уже внесли значительный вклад в исследование конфликтов, чего не скажешь о лингвистике, хотя роль языковых средств в возникновении, предупреждении и разрешении конфликтов несомненна. Можно указать только на новые области языкознания: контактологию, в которой конфликт рассматривается как один из видов контактов [Базылев 1999], и персоналогию, включающую в предмет изучения конфликтную языковую личность (см., например: [Нерозник, 1996; Степанов 1999; Воркачев 2001]).

С 70-х годов XX века конфликтология развивается как междисциплинарная наука, синтезирующая знания в области социологии,

политологии, правовых дисциплин, экономики, этнографии, истории, психологии и др. В настоящее время популярно мнение о том, что «предотвращение конфликта, управление им и его разрешение в концептуальном отношении представляют собой «адисциплинарную сферу исследований», которая «не признает никакого разграничения знаний»» [Большаков, Несмелова 2001:14].

С нашей точки зрения, проблемы конфликтологии имеют свой предмет рассмотрения в каждой отрасли науки, поэтому мы склонны относить их к области лингвистической контактологии, поскольку все семиосферы общества используют язык как семиотический инструмент для овнешнения дискомфорта языкового сознания и его гармонизации [Базылев 1999: 25—26].

Ю. А. Сорокин пишет: «Несомненно, конфликтология и контактология являются взаимопересекающимися сферами, ибо конфликты есть не что иное, как контакты, характеризующиеся той или иной степенью жесткости и деструктивности. Говоря иначе, конфликты суть сигналы сбоев в поведении человека и поведении языка, сбоев в параболах, отсылающих к тем глубинным основам, которые, в сущности, и составляют картину мировидения любой лингвокультурной общности» [Сорокин 1994:51].

Если сходная истина добывается независимо друг от друга разными науками, то это служит подтверждением найденной истины и объективирует ее.

В конце 80-х — начале 90-х годов появляется новое направление в изучении социальных конфликтов, получившее название «conflict resolution» (теория разрешения конфликтов). В его основе — переход к созданию теории и техники разрешения конфликтов всех типов, методы предотвращения и аналитического разрешения конфликтных ситуаций.

Современная конфликтология содержит два раздела: теорию конфликта и практические технологии управления развитием конфликта. К теоретическому разделу относятся такие методы лингвистики, как изучение текстов, ассоциативный эксперимент, проективный тест незаконченных предложений, моделирование речевого поведения в конфликтных ситуациях и анализ невербального поведения; к технологиям — выработка коммуникативных стратегий и тактик конфликтного взаимодействия.

Среди работ по конфликтологии отечественных лингвистов нам известна лишь книга Ю. А. Сорокина как первое издание, раскрывающее на большом экспериментальном материале некоторые узловые проблемы этнической конфликтологии, в рамках которой, как считает автор, «следует, по-видимому, изучать механизмы защиты этносов против (лингво)культурологической витрификации, социальные, социально-психологические и психологические факторы и условия, способствующие или препятствующие мене или метисации вербального и невербального поведения, возможных на стыках каких-либо (по крайней мере двух) этнических ниш» [Сорокин 1994:5]. В качестве операционально-интерпретативных единиц конфликтологии предлагаются *конфликтемы и гармонемы*, а в понятийный аппарат включаются *идиоглосса* как некоторый локус, характеризующийся специфическим языковым/речевым состоянием, *идиокультура* и *изокультура*, *идио- и изосознание*, противопоставленные друг другу как вариантное и инвариантное, интерэтническая (*суперэтническая*) *дистанция*, *недооценка* и *переоценка моделей поведения*, *этнические и субэтнические «швы»*, *поле этнического напряжения*, *вязкость* и *вес конфликтов*.

Так, изучение русских фольклорных текстов как составляющих идиоглоссы позволило выделить определенные особенности этнического сознания, проявляющиеся при конфликтном взаимодействии:

1. Уклонение от конфликта: *Худой мир лучше доброй ссоры; Кто спорит, ни гроша не стоит; Иное зло и терпеньем одолеть можно; Не ума набраться — с дураком подражаться; Дракою прав не будешь; Без спора скоро да крепко; С миром везде простор, с бранью везде теснота; Лишний спор — лишняя склока; Глупца не оспаривай; Криком изба не рубится, а шумом дело не спорится; Говори, но не спорь, а хоть спорь, да не вздорь; О пустяках спорить — дело упустить; Дальше в спор — больше слов; Не ради дела, а ради спора; Дураки о добыче спорят, а умные ее делят.*

2. Компромисс, взаимные уступки: *Всякая ссора красна миром; Люби ссору, люби и мир; Хорошо браниться, когда мир готов; Лучшие мириться, чем браниться; С кем мир да лад, тот и брат; Где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках; Гнев — плохой со-*

ветчик; С умным браниться — ума набираться, с дураком мириться — свой растерять; Поклонившись, голова не отломится.

3. Доминирование (подавление): *Мягко стелет, да жестко спать; Всякому спускать — и на свете не жить; Еду, еду — не свищу, а кто затронет — не спущу (из сказки); Нахалу спускать — на себя пенять; Палка о двух концах: либо ты меня, либо я тебя; За правое дело стой смело; Око за око, зуб за зуб; Кому время спорить, тот ни о чем не грустит; Лучшие первый спор, чем последний; Нашла коса на камень; Наскочил топор на сучок; Наскочила кость на кость; Наскочил обух на обух; Сошлись, как клин с обухом; Нашла на перец горчица; Наскочила подкова на булыжник; Налетел острый топор да на крепкий сук; Была бы спина, найдется и вина; Терпя, и камень треснет.*

4. Толерантность, то есть интегративная стратегия разрешения конфликта, которая предусматривает пересмотр или корректировку целей и притязаний конфликтующих: *Всякое зло терпением одолеть можно; Терпение дает умение; Лучше терпеть самому, нежели беду сделать кому; Терпение и труд все перетрут; На всякое хотение имей терпение; Не везде сила: где умение, а где и терпение; Терпеть не беда, было бы чего ждать; При горе терпение — невольное спасение; Лихо терпеть, а стерпится — слобится; Будь прям, да не будь упрям; Быть сильным хорошо, быть умным — вдвое лучше.*

При изучении конфликтного сознания мы использовали ряд психолингвистических методов исследования: ассоциативный эксперимент, тест незаконченных предложений, ситуативный метод, описание невербального поведения, шкалирование поля напряжения, вязкости и веса конфликта.

Ассоциативный эксперимент в студенческой аудитории выявил следующие реакции на стимул *конфликтный (человек)*: *недоброжелательный, наглый, бессовестный, злой на язык, эгоистичный, неконтролируемый, вздорный, едкий, бестактный, грубый, непочтительный, упрямый, вспыльчивый, нахальный, враждебный, неприятный, неустойчивый, высокомерный, подлый, агрессивный, злопамятный, напористый, отталкивающий, склонный к полемике, язвительный, коварный, раздражительный, назойливый, подозрительный, придирчивый, всегда готовый к бою, подозрительный скептик, хитрый смуть-*

ян, *втаптывающий в грязь* (даны по уровню частотности — от наиболее частотных к единичным реакциям).

Тест незаконченных предложений дал возможность выявить конфликтность или толерантность сознания реципиентов, спроецировать их поведение в конфликтных ситуациях. Началом высказывания служил текст: *Когда я вижу конфликт...* (Предлагались и другие варианты: *Мне всегда во время протекания конфликта...*; *Если бы я мог, я бы конфликты...*; *Однажды я видел, как красиво разрешился конфликт...*; *Когда я ссорюсь... и меня раздражает...*; *Почему мы не можем жить мирно...*; *Я грубо обидел своего товарища...*; *Если вы не..., то я вынужден буду...* — но их продолжения оказались менее показательными.)

Таблица 1

Стратегии в вербальных установках

Стратегия	Вербальная установка
Поддержка/ покладистость	<i>...хочется уладить...; предлагаю мир...; ...ищу свою вину...; ...прошу не сердиться...; ...готов(а) к примирению</i>
Осторожность/ сдержанность	<i>...не вмешиваюсь...; ...не влезаю в споры...; ...не вижу пути его решения...; ...ухожу подальше</i>
Властность/ инициативность	<i>...требую прекратить...; ...хочется разогнать конфликтующих по углам...; ...когда я вмешиваюсь, конфликта просто нет</i>
Приспособление/ дружелюбие	<i>...пытаюсь определить позицию каждой стороны...; ...стремлюсь разобраться в причине...; ...хочу помочь...; ...выражаю готовность быть посредником...; ...выслушиваю обе стороны и помогаю примириться</i>

Представлены следующие модели речевого поведения: конфронтация (выигрыш/проигрыш) — приспособление (проигрыш/выигрыш) — избегание, уход (проигрыш/проигрыш) — компромисс (выигрыш /проигрыш — проигрыш/выигрыш) — сотрудничество (выигрыш/выигрыш).

Ситуативный метод представлен в нашем пособии по конфликтологии [Мешин, Шкатова 1999]. В нем описано 20 конфликтных ситуаций из области туристического сервиса и предложено по 4 варианта речевого поведения для каждого случая. Обучаемые должны выбрать наиболее эффективный вариант и обосновать свой выбор. Например, ситуация под условным названием «Что написано пером...»:

«В ответ на претензии руководителя группы о непредоставлении ряда услуг, оговоренных в контракте, представитель принимающей стороны требует контракт, отсутствующий среди документов, взятых Вами с собой. Ваш ответ:

1) *С какой стати вы требуете контракт у меня? Надо было предупредить заранее москвичей, чтобы они передали со мной всю документацию. Не можете между собой договориться, а ко мне претензии!*

2) *Простите, я и не знал, что контракт должен быть со мной. К тому же о многом мне сообщали только по факсу, договоренности были в основном устные. Я и не думал, что меня так подведут.*

3) *Согласен с вами, и это моя вина, что не взял с собой контракт. Но у меня не было никаких сомнений в порядочности московской фирмы, с которой велись устные переговоры. Думаю, и вам невыгодно ронять авторитет своего постоянного партнера, который вас высоко ценит». [Мешин, Шкатова 1998: 37].*

При наблюдении невербального поведения россиян был собран материал с учетом особенностей расположения конфликтующих партнеров, их жестов и мимики:

— д и с т а н ц и я при конфликтной ситуации обычно увеличивается, наблюдается удаление, но при выраженной агрессии может быть сближение и заход на «территорию противника»;

— м и м и к а ярости: сдвинутые брови, складки на переносице, ноздри раздуты, зубы стиснуты, рот оскален, уголки губ резко и напряженно оттянуты вниз, шея судорожно напрягается;

— ж е с т ы напряжения и недовольства: помахивание и тыканье указательным пальцем, крепко сжатые руки в районе груди или крепко сцепленные руки в районе подбородка и др.

Наблюдая вербальное поведение личности в условиях конфликта, мы выделили два вида используемых речевых средств, противоположных по своей сути (табл. 2).

Таблица 2

Речевые средства, обостряющие / сглаживающие конфликт

Конфликтемы	Гармонемы
<i>Вы никогда не идете мне навстречу...</i>	<i>Понимаю ваше состояние, но поймите и меня...</i>
<i>Вам нравится мешать мне...</i>	<i>Объясните, что вы имеете в виду...</i>
<i>Вечно вы отлыниваете от работы...</i>	<i>Сейчас вы сердитесь, но через полчаса я готов встретиться, чтобы объясниться...</i>
<i>Вас никогда нет на рабочем месте...</i>	<i>Мне действительно приходится отлучаться, но я готов объяснить свое отсутствие...</i>
<i>Ничему не верю из того, что вы говорите...</i>	<i>Вы вправе сомневаться, но давайте вместе разберемся...</i>
<i>У вас никогда ничего не добьешься...</i>	<i>Что привело вас к такому выводу?</i>
<i>Никто не хочет связываться с вами...</i>	<i>Мне надо понять, что дало вам думать так...</i>
<i>Не хочу работать с вами...</i>	<i>Мне неприятно слышать это, но я действительно хочу понять причину...</i>
<i>Ну опять вы за свое!</i>	<i>Извините, но я еще не закончил. Дайте мне еще полминуты, чтобы найти общий язык...</i>

Можно указать на конфликтогенные начала фраз: *Это неправда...; Никогда не поверю...; Почему бы вам не...; Вам следует...; Вы бы лучше...; Это вы сами придумали...; Ничего вы мне не докажете...; Не вам это говорить...; Как вы смеете...; Вы думаете, о чем говорите?; С какой стати вы...*

Наиболее приемлемым видом практического анализа конфликтной ситуации явился, как показала наша практика обучения толерантному поведению, лингвопрагматический анализ. Участвуя в подготовке специалистов для сферы обслуживания, мы разработали методику предупреждения и разрешения конфликтов, которая нашла отражение в спецкурсах «Деловое общение», «Основы клиентурного поведения», «Конфликтология», «Организационное поведение», прочитанных в ряде вузов (в Челябинском государственном университете, Южноуральском государственном университете, в Экономической академии имени Плеханова, Российском университете дружбы народов и др.), на курсах повышения квалификации Академии Сбербанка и в коммерческих организациях (в страховой компании АСКО, акционерных обществах «Примула-мод», «Дом немецких обоев», «БОН», «Дом паркета и дверей» и др.).

Анализ конфликта на лингвопрагматическом уровне — это совокупность исследовательских процедур и методов изучения особенностей выражения цели высказывания и интерпретации результатов речевой деятельности индивидов в конкретных ситуациях. За единицу анализа принимается дискурс как «целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания» [Дерябо 1996: 126—127; Ламберт 2001: 32—38; Степанов 2001: 114—122].

С точки зрения лингвиста, конфликт — это совокупность высказываний, составляющих описание ситуации. Особенностью таких описаний является наличие конфликтогенов — слов, оценок, суждений одной или взаимодействующих сторон, способных привести к конфликту.

Прагмалингвистический анализ ситуаций конфликта призван:

1. Описать ситуацию как краткое повествование о событии; указать на особенности вербального и невербального поведения ее участников; найти признаки конфликта в описываемой ситуации; выявить конфликтогены.

2. Кратко и конкретно сформулировать суть конфликтной ситуации, то есть дать ей наименование, которое выявляет первопричину конфликта (агрессивность или эгоизм, стремление к превосходству и др.) и подсказывает пути его устранения.

3. Определить личностные позиции участников конфликтной ситуации, их коммуникативные стратегии и тактики.

4. Установить этап конфликтности: а) уровень ощущений — «что-то не так»; б) уровень смыслов — «вы меня неправильно поняли»; в) уровень взаимодействия — «мы не находим общего языка»; г) психологическая война — «с вами невозможно договориться».

5. Выявить стереотипные формы речевого поведения участников конфликта. Взяв за основу классификацию конфликтных личностей [Шейнов 1996: 38—40], мы предложили следующие тактики толерантного речевого поведения в конфликте:

Таблица 3

Тип конфликтера	Характеристические признаки конфликтера	Ответная тактика речевого поведения
Демонстративный	Идет на конфликт, чтобы быть на виду, стремится всегда быть в центре внимания	Увод со сцены», лишение зрителей: <i>Давайте поговорим вдвоем; Готов вас выслушать в своем кабинете</i>
Ригидный	Не хочет считаться с мнением окружающих и учитывать меняющиеся условия, отличается непластичностью поведения	Присоединение и ведение: <i>Не могу с вами не согласиться; Однако мы с вами понимаем, что все равно придется...; Да, но...</i>
Неуправляемый	Отсутствует самоконтроль, поведение импульсивное	«Сбой программы», неожиданное действие или вопрос: <i>Простите, как вас зовут?; Вы не помните столицу Румынии?; А вы давно не были в Греции?</i>
Сверхточный		

Тип конфликтера	Характеристические признаки конфликтера	Ответная тактика речевого поведения
Сверхточный	Предъявляет завышенные требования к окружающим, подозрителен	Похвала: <i>Очень хорошо, что вы заметили это; Никто до вас не видел этого изъяна; Спасибо, теперь мы будем внимательнее</i>

6. Установить тип конфликта: конфликт деятельности (конфликтность «красной зоны», где обычно происходит столкновение интересов), поведения (непрофессиональное высказывание, негативная кинесика) или отношений (неприязнь к одной из взаимодействующих сторон).

7. Определить характер взаимодействия участников конфликта: деловой спор, отчуждение или антагонизм. В первом случае можно решить проблему за счет убедительной для другой стороны аргументации, во втором необходим посредник, в третьем требуется радикальное управленческое решение (передача дела в судебные инстанции, разведение сторон, ограничение зоны взаимодействия, перевод в другую структуру и др.).

Проиллюстрируем сказанное разбором конкретного конфликта.

Пример анализа конфликтной ситуации

1. Описание возникшей ситуации.

Отец туристки, уехавшей в Санкт-Петербург, после телефонного разговора с ней пришел в туристическое агентство выяснить ряд обстоятельств, вызвавших у него сомнение и недовольство. Так, ему непонятно, почему не все экскурсии автобусные, и вообще, за что он заплатил деньги. В частности, его интересует калькуляция: *«Проверьте, почему экскурсии пешие. Где у вас калькуляция? Не думайте, что я такой же лох, как моя дочь. На мне вам не удастся нажиться. Я найду на вас управу!»*

2. Формулирование сути конфликтной ситуации.

Формулировка не может совпадать с описанием ситуации, она должна быть ориентирована на возможные пути разрешения конфликта.

Первопричиной описанного конфликта, как выяснилось в процессе его обсуждения, является стремление клиента к превосходству, поддерживаемое приказами (Проверьте!), угрозами (*Найду на вас управу!*), обвинениями (*Хотите нажиться!*).

Формула самообороны «*Меня не проведешь!*» подсказывает, что надо сделать, чтобы снять агрессивность инициатора конфликта.

3. Личностные позиции участников ситуации, их реальные цели.

Поведение конфликтера свидетельствует о том, что он относится к числу сверхточных клиентов: оно характеризуется повышенной тревожностью, проявляющейся, в частности, в подозрительности, придирчивости. Цель клиента — перепроверить, «*вывести на чистую воду*». Стратегия поведения профессионалов — прийти к интегративному решению, проявив толерантность.

4. Познавательная ценность ситуации состоит в том, что ею можно управлять, поскольку она может проявиться на всех этапах взаимодействия (в зависимости от речевого поведения профессионалов):

4.1. — *Хорошо, что вы пришли к нам со своими сомнениями. Вот перед вами калькуляция со всеми статьями расхода. К ней приложен факс принимающей фирмы, где указаны общая стоимость и программа обслуживания, в том числе перечень экскурсий. Согласитесь, за эту сумму подача дорогостоящего автобуса на все запланированные экскурсии нереальна. Для сравнения посмотрите прайс-лист местной турбазы — цены одинаковы и экскурсии не заложены.*

4.2. — *Давайте вместе посмотрим договор, заключенный между нашим агентством и вашей дочерью. Все услуги в договор включены, в том числе количество автобусных экскурсий. Он подписан ею лично.*

4.3. — *Вы, вероятно, понимаете, что каждая торгующая фирма имеет свои коммерческие тайны. Почему, собственно, мы должны показывать вам калькуляцию? Ваша дочь подписала договор, в котором все прописано. Если вам это очень нужно, договор мы дадим вам посмотреть.*

4.4. — *А при покупке колбасы или автомобиля вы тоже требуете калькуляцию?*

5. Тип конфликта: конфликт деятельности, поведения или отношений.

Конфликт типичен для деятельности в сфере обслуживания, поэтому требуется обучение оптимальным способам поведения в подобных стереотипных ситуациях.

6. Взаимодействие участников ситуации. От профессионального коммуникатора зависит характер его взаимодействия с конфликтующей стороной: перевод диалога в деловой спор, который решается между самими участниками ситуации, отчуждение, когда возникает взаимная неприязнь и требуется медиатор для разрешения конфликта, или антагонизм, при котором обе стороны оказываются в состоянии психологической войны.

7. Урегулирование конфликта возможно при условии выбора такого варианта речевого поведения в конфликтной ситуации, при котором основные усилия конфликтеров сосредоточены на взаимоприемлемом для них решении самой проблемы, породившей конфликтную ситуацию.

Таблица 4

Выбор средств и приемов воздействия

Тип конфликта	Технология урегулирования
Конфликт ценностей	Отделение от сферы взаимодействия, определение условий сосуществования. Дискурс: <i>«Я признаю ваши ценности, но давайте договоримся...»</i>
Ресурсный конфликт	Определение порядка использования ресурса. Дискурс: <i>«В соответствии с ... устанавливается, что...»</i>
Конфликт интересов	Выявление и удовлетворение (полное или частичное) реальных интересов. Дискурс: <i>«Обе стороны выиграют, если...»; «Вы получите... при условии...»</i>
Конфликт потенциалов	Ориентация на перспективное расширение потенциалов или на пересмотр предъявляе-

Тип конфликта	Технология урегулирования
Конфликт нормы	<p>мых требований. Дискурс: «<i>Мы еще можем предложить...</i>» или «<i>У вас нет оснований предъявлять подобные требования...</i>»</p> <p>Пересмотр или уточнение норм взаимодействия. Дискурс: «Почему вы придаете этому такое значение?» или «Это можно принять при условии...»</p>

Методы разрешения межличностных конфликтов включают прецедентные тексты, которые формулируются как максимы толерантного поведения: *Плохой мир лучше доброй ссоры; Свой среди своих; свой человек; Век живи — век учись; Лучшие напрягать мышцы, а не нервы;* и др.

Бесконфликтное общение предполагает отказ от употребления конфликтогенов: *Это неприемлемо; Это несерьезно; Ничтожество; Недотепа; Недостаточно компетентен; Плохо информирован; Вы всегда...; Вы вечно...; Вы никогда...; От вас всего можно ожидать...; Вам следует...; Вы бы лучше...;* и др.

Анализ конфликтов позволяет вывести простейшие правила толерантности: 1. Совместное решение проблемы: не «ты против меня», а «мы против проблемы». 2. Стремление к диалогу: «суть конфликта в отказе от общения». 3. Метод соучастия: «Представляю себя на вашем месте». 4. Свертывание противоборства, переключение на сугубо деловую сторону: «Факты, а не эмоции». 5. Прием психологического сближения: «Все люди могут ошибаться, и мы не исключение».

ОШИБКА КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОГО КОНТАКТА

И. В. Шалина

В гуманитарных науках категория общения является базисной. Ее можно описать путем анализа «конкретных форм и функций об-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-101-а).

© И. В. Шалина, 2003

щения в тех или иных социальных и исторических условиях» [Леонтьев 1974: 6].

Мы понимаем общение как целенаправленную деятельность субъектов, вступающих в те или иные взаимоотношения. При этом между ними устанавливаются определенные отношения в рамках совместной деятельности, сопряженность, когда «любое действие партнера обусловлено предшествовавшим ему действием, а с другой стороны, оказывает обратное влияние на последующее его коммуникативное поведение» [Ломов 1984: 252]. Общение — основополагающая категория и для образования.

Образовательный процесс, будучи особым видом человеческой деятельности, реализуется прежде всего в речевом общении. Первичной, естественной формой речевого общения является диалог, в котором всегда есть место «монологу для другого». С коммуникативно-деятельностной точки зрения школьный урок может быть осмыслен как коммуникативное событие, то есть такое социально-коммуникативное взаимодействие учителя и ученика, которое представлено в виде последовательности их диалогических и монологических высказываний [Ладыженская 1998], в совокупности представляющих сложное речевое произведение.

Коммуникативно-семиологический подход позволяет рассмотреть урок как текст, структурируемый частными текстами (субтекстами) учителя и ученика. Эти тексты создаются в различных учебно-речевых ситуациях и объективируют как совместную речемыслительную деятельность субъектов общения, так и меру собственного творчества, понимаемого как способность к самостоятельному переносу речевых умений и навыков в нестандартную ситуацию. Примером последней является ситуация написания сочинения на уроке или вступительном экзамене.

Можно говорить о псевдокоммуникативном характере этой ситуации: во-первых, обращает на себя внимание отсутствие персонального адресата либо ощущение его безликости и неопределенности отношений с ним; кроме того, фиксация в сознании пишущего асимметричности социально-ролевых позиций (своей и «другого»); во-вторых, имеет место мотивационно-целевая дезориентированность. Осознавая глобальную (практическую) цель (*Пишу, чтобы получить хорошую/высокую отметку*), пишущий не-

четко дифференцирует свои коммуникативные намерения: проинформировать о своем знании предмета речи (?), вовлечь адресата в обсуждение поставленной проблемы, вызвать активное отношение к собственному тексту (?), выразить свое отношение к теме (?). Таким образом, отсутствие внутренней преднастройки, коммуникативной рефлексии над ментальным, эмоциональным, психологическим состоянием не позволяет осознать комплексную интеллектуально-оценочную задачу, интегрировать аспекты ее решения; в-третьих, пишущий зависит от внешних обстоятельств: жесткой заданности темы либо ограниченности свободы ее выбора.

Можно предположить, что взаимодействие ориентировано не на общение (пишущий не испытывает в нем потребности), а на предмет, тему.

Психологами доказано, что для успешного осуществления общения необходима двусторонняя активность субъектов. У каждого из них актуализируется потребность в общении, предметом которого выступает «другой». Сфокусировав внимание на предметной теме в ущерб личностно-ориентированному общению, не осознавая фатического мотива, пишущий создает неадекватный текст. Его очевидная ущербность прогнозирует ментально-эмоциональный дисбаланс, сбои в понимании как умственном и культурном акте [Винокур 2000], критическое отношение к автору и его тексту, что в конечном итоге приводит к коммуникативно-речевой дисгармонии.

Гармонизация отношений между автором текста и адресатом, по нашему представлению, может быть обеспечена сформированностью умственных действий по предварительному тщательному систематическому исследованию задачи [Гальперин 1977: 55] создания адекватного авторскому замыслу текста.

Пусковым механизмом, исходной точкой, определяющей эффективность выполнения коммуникативно-речевой программы автора, является установка на кооперативное взаимодействие, коммуникативный контакт. «От того, как будет решена задача привлечения внимания и установления контакта, зависит успех конкретного акта общения» [Сорокин, Тарасов, Шахнарович 1979: 87]. Итог воплощается в коммуникативно ориентированном, а точнее коммуникативно адекватном тексте.

По мнению А. Е. Войскунского, борьба за переход от одностороннего к двустороннему опредмечиванию потребности в общении может представлять собой и самостоятельную деятельность, и действие, и операцию как выбор средств осуществления действий [Войскунский 1990: 134]. Однако перечисленные волевые акты сопряжены с осознанными усилиями.

Предметом нашего внимания стала ошибка как непреднамеренное средство контакта в ситуации «автор — текст — адресат (интерпретатор)». Материалом анализа послужили сочинения абитуриентов на вступительном экзамене по русскому языку и литературе. Под ошибкой мы понимаем отклонение от нормы — языковой, коммуникативной, этической, — зафиксированное сознанием адресата.

Осмысляя текст, адресат (проверяющий работу экзаменатор) реконструирует значимые компоненты экзистенциальной ситуации и формирует собственные позиции и оценки относительно этой ситуации. Такой процесс совмещения коммуникативно-культурных пространств автора и адресата, имеющий для адресата субъективно-личностную значимость и преобразующий характер, мы называем интерпретацией. Итог интерпретационной деятельности реализуется оппозициями: взаимодействие ↔ противостояние; понимание ↔ непонимание; ценностные совпадения ↔ ценностные разобщения, поляризация мнений и оценок; приращение знаний о мире, обогащение коммуникативного и культурного опыта ↔ нулевой информационный и коммуникативный эффект.

Анализ текстов абитуриентов позволил выделить системно-речевые, а также коммуникативно-прагматические и этико-эстетические ошибки. Первая группа ошибок подробно описана в лингвистических и методических исследованиях (см., например, работы М. Р. Львова, С. Н. Цейтлин, О. С. Иссерс, Н. А. Кузьминой и др.). Выделение второй группы ошибок стало возможным в связи с введением понятия «коммуникативная норма» [Едличка, 1988], а также пониманием культурно-речевой компетенции как такого набора и такой организации языковых средств, которые в «определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект

в достижении поставленных коммуникативных задач» [Ширяев 2000: 13].

Обратимся к коммуникативно-прагматическим *ошибкам*. Под коммуникативно-прагматическими ошибками будем понимать отклонения от коммуникативной нормы, суть которой — в умении «целенаправленно строить речевые произведения, создавать тексты, максимально и полно достигающие задуманного эффекта» [Хорошая речь 2001: 199]. Не претендуя на полную типологию, выявим наиболее распространенные ошибки абитуриентов. Одна из них — *неадекватный выбор пишущим своей коммуникативной позиции*. По нашим наблюдениям, эта ошибка может возникать вследствие преимущественного выбора автором лишь одного коммуникативного режима. Под коммуникативным режимом, вслед за Н. К. Рябцевой, понимаем «определенный способ организации и оформления текста, соотношение его с действительностью (прагматическая ситуация), иллокутивной силой и ролью, которую выполняет говорящий (пишущий) по отношению к прагматической ситуации» [Рябцева 1994: 83]. В нашем представлении это такой способ организации и оформления текста, в котором отражается ситуация «автор — тема (предмет речи) — адресат (интерпретатор)».

Если в качестве доминирующего выбирается коммуникативный режим «сообщение» и автор сочинения не отступает от него на протяжении целого текста, эксплицируя лишь информационные действия, это приводит к закрытости авторской коммуникативной позиции. «Коммуникативный смысл сообщения-текста — описать внешнюю по отношению к коммуникативной ситуации прагматическую ситуацию, действительность или знания о ней... опосредуя участие в них адресата» [Рябцева 1994: 84]. Приведем текстовые фрагменты (далее — ТФ) сочинений абитуриентов, содержащие такую ошибку*.

ТФ-1. «Что есть красота и почему ее обожествляют люди?»

У всех людей понимание данной проблематики осуществляется по-разному. В течение долгих лет развития человеческих отношений и в целом общества отношение к понятию «красота» постоян-

* Стилистика авторских текстов сохранена.

но менялось (и продолжает подвергаться изменениям в наши дни). Так, во времена Средневековья в Германии, как, впрочем, и в других странах Европы, красивых женщин сжигали на костре, называя их ведьмами, обвиняя в колдовстве. Сейчас отношение к красавцу изменилось кардинально. События средневековых времен подтверждают минимум два неоспоримых факта. Во-первых, красота — явление редкое и исключительное, во-вторых, она всегда вызывает у людей особые эмоции, вызванные необъяснимым и таинственным.

ТФ-2. «Образ Чичикова в поэме Н. В. Гоголя „Мертвые души“»
Н. В. Гоголь начал писать поэму «Мертвые души» в 1835 г. в Петербурге по настоятельному совету Пушкина. После долгих скитаний по Европе Гоголь обосновался в Риме, где целиком посвятил себя работе над поэмой. Ее создание он рассматривал как исполнение клятвы, данной Пушкину, как осуществление писательского долга перед Родиной. В 1841 г. поэма была написана, но члены Московского цензурного комитета, которому он представил рукопись, пришли в негодование. Поэма была запрещена, это были самые тяжелые дни для Гоголя. Он обратился за помощью к Белинскому.

Очевидна однонаправленность таких текстов. Авторы капсулируются, информируя адресата лишь о том, что владеют знаниями по выбранной теме. Если эти знания неглубоки, неточны, а то и не соответствуют теме, адресат отмечает поверхностную включенность в тему либо отклонение от нее, вульгаризованную, упрощенную передачу присвоенного/чужого знания. Тогда срабатывает механизм антиципации, то есть прогнозирование дальнейшего содержания текста. «Антиципация осуществляется за счет взаимодействия информации, выраженной знаковыми средствами в тексте, и знания человеком соответствующего фрагмента действительности» [Вшивкова 1987: 34]. В этом случае происходит разобщение, размыкание коммуникативного контакта. Адресат не включается в интерпретационную деятельность, оставаясь на уровне понимания, «соотносит языковые формы разной протяженности с их значениями» [Кубрякова 1987: 93]. Следовательно, ему остается лишь фиксировать достоверность/недостоверность полу-

чаемой информации. Однако информационная значимость и новизна могут перекрывать культурно-информационный фонд адресата, тогда происходит частичная трансформация фонда — обогащение. В этом случае ошибка может стать средством гармонизации отношений коммуникантов.

Если автор сочинения избирает другой коммуникативный режим и в его тексте преобладает «аксиологическое высказывание» (Н. К. Рябцева), то этот текст также обречен на коммуникативную неудачу. В таких случаях можно говорить о самоукрупнении автора текста. Приведем пример.

ТФ-3. «Что есть красота и почему ее обожествляют люди?»

День города. Молодежь развлекается. Девчонки разукрасились до неузнаваемости. Пацаны надели «рэперские» прикиды, то есть одежду, обвисшую и смотрящуюся как картофельный мешок на огородном чучеле. По современным меркам, это круто. Мода... Вот что сегодня олицетворяет красоту этих людей. Она ведет их в неизвестность, заставляя девочек постоянно укорачивать юбки, а пацанов выглядеть по-идиотски. Мода — их идол, предмет поклонения. Шаг в шаг с ней они готовы идти, несмотря на цены, моральные нормы и даже свой собственный вкус. И если кто-то захочет меня убедить, что «картофельный мешок» или многочисленные слои косметики, прибавляющие добрый килограмм к общему весу особы, — это красота, то, увольте, мне с таким человеком не по пути... Бутылка пива и «дэнс» — для них красота. А где духовность?

По телевизору можно услышать мудрые слова: «Будь собой. Sprite. Не дай себе засохнуть!» Лучше слушать свое «я», нежели гоняться за постоянно изменяющейся модой. Кто-то когда-то где-то сказал, что все хорошо в меру, и был, по-моему, прав. Кроме того, кто больше переживает за красоту внешнюю, забывает о внутренней. Вот и получается, что новое поколение в большинстве своем представляет совокупность пустышек, расфуфыренных фуфырок и брандахлыстов. Что будет завтра? Но все не так уж плохо, так как есть еще люди, способные видеть красоту, не идя наперекор своему кредо и вкусу. Значит, не потеряна все же надежда.

Многочисленные эмоционально-оценочные высказывания ак-

туализируют прагматическую ситуацию, сообщают, как автор сочинения относится к ней. Несменяемость психологической позиции автора приведенного текстового фрагмента, категоричность (*А где духовность? Лучше слушать свое «я», нежели гоняться за постоянно изменяющейся модой*), резкое неприятие чужих идеологических и эстетических позиций (*Мода — их идол; мне с таким человеком не по пути; одежду, обвисшую и смотрящуюся как картофельный мешок на огородном чучеле; многочисленные слои косметики, прибавляющие добрый килограмм к общему весу особы; выглядеть по-идиотски; бутылка пива и «дэнс» — для них красота и т. п.*) формируют гневную, обличительную тональность, ироническое отношение к объекту критики. Сгущенность, высокая плотность отрицательных оценок, менторски-ироническая тональность, пейоративное отчуждение от сверстников (референтной социальной группы, с которой автор сочинения намеренно себя не идентифицирует) создают очаги напряжения, оказывают психологическое воздействие на адресата. Однако ложный пафос автора вызывает комический эффект и фиксируется интерпретатором (по крайней мере мысленно) в виде реакций типа: *не возмущайся, не преувеличивай, какое морализаторство!, полный бред!* и др. Культурно-ценностные совпадения коммуникантов могут смягчить ответные аксиологические реакции, гармонизировать контакт.

Отметим также, что отсутствие «внутреннего прагматического ограничителя» [Борисова 2001] приводит к ослаблению контроля речевого поведения. На лингвистическом уровне это проявляется в использовании жаргонной (*прикид, круто, дэнс*), просторечной и сниженно-разговорной лексики (*расфуфыренных пустышек и брандахлыстов; пацаны; девчонки*), конструкций разговорного синтаксиса (*...увольте, мне с таким человеком не по пути; да ну вас всех, рэперов; и т. п.*), не соответствующих жанру школьного сочинения. По мнению М. А. Кормилициной, включение в речь разговорных, жаргонных элементов — это результат стремления автора сблизиться с адресатом [Кормилицина 2001: 220]. Однако ненормативные элементы, вступая в стилистический конфликт с книжной лексикой (*моральные нормы, кредо, духовность*), ведут к отрицательному эстетическому результату.

Приведем еще один пример.

ТФ-4. «Что есть красота и почему ее обожествляют люди?»

Самым любимым моим писателем является ранний Сергей Есенин. Этот человек, как мне кажется, относится к природе не менее трепетно и с не меньшей любовью, чем я. Природа для него святая, и лучшее всего эту святость видно в деревне, где нет шума, грязи города. У каждого из нас широкая и чистая душа, которая полностью раскрывается, попадая в поле, где дует прохладный и чистый ветер, щекочет пятки рожь, пасутся стада лошадей и жуужжат шмели... Но поэт уезжает в город. Так долго продолжаться не может. Постоянные терзания, бессонные ночи, спиртное — и поэт находит свое успокоение. К нему пришла смерть. Не стало этого талантливого человека на земле. Вот что происходит, если отобрать у человека веру в красоту!

Если учесть, что понятие «коммуникативная норма» во многом тесно смыкается с этическим критерием, то станет очевидным, что самоукрупнение адресанта в ущерб «другому» (*Этот человек, как мне кажется, относится к природе не менее трепетно и с не меньшей любовью, чем я*), вульгаризованное отождествление себя с поэтом, ложная образность (*щекочет пятки рожь*), неадекватная интерпретация фоновых знаний и, в конечном итоге, необоснованность выводов — серьезный этический просчет, который не может остаться незамеченным. Речевая бестактность вызывает у адресата ощущение неловкости, задает однонаправленное формирование образа адресанта, так как «категории морали и нравственности, безусловно, оказывают влияние на характер речевой коммуникации» [Хорошая речь 2001: 197].

Рассмотрим ТФ-5, эксплицирующий ту же самую тему.

Красота восхищает и заставляет поклоняться. Ведь, несмотря на мужскую силу и первенство, они, мужчины, встают перед нами на колени. Это ли не сила?.. Красота — это семья, надежность и спокойствие. С древних времен красоту воспевали поэты и музыканты, художники и скульпторы: Гомер, Пушкин, Блок, Суриков, Репин, Шубин, Чайковский. Они поднимали нас на небесную высоту и обожествляли за то, что мы любим, верим, ждем и надеемся. За то, что мы есть. Наталья Гончарова, Анна Каренина, Анна Ахматова, Мария

Плисецкая... И этот ряд еще можно продолжить. Всем им и простой красивой девушке мужчина, как и тысячи лет назад, скажет: «Ах, какая женщина!»

Здесь автор сочинения (по всей видимости, *простая красивая девушка*) с легкостью выстраивает неоднородную последовательность прецедентных имен, нарушая этические нормы: *Наталья Гончарова, Анна Каренина, Анна Ахматова, Мария (!) Плисецкая*.

В представленных текстах обращает на себя внимание заполненность «цитатного резервуара» (К. Ф. Седов) штампами, текстами массовой культуры (*Sprite! Не дай себе засохнуть!; Любим, верим, ждем и надеемся; Ах, какая женщина!*). Тиражирование подобных культурем [Купина 2000: 185] — показатель невысокого уровня коммуникативно-культурной компетенции автора.

Отметим как нарушение категорий логоса и этоса неадекватную интерпретацию первоисточника, например: *Сила красоты помогает людям не только в период войны, но и в мирное время. Стихотворения поэтов становятся песнями, которые поддерживают в быту и в труде:*

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь лежит,
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

По мысли Г. О. Винокура, личность автора находит то или иное отражение во всех тех качествах слова, которые принято считать выразительными (экспрессивными) функциями. В совокупности с другими качествами речи они реализуют идейно-эстетические и коммуникативные установки автора. Специфика ситуации «автор — текст — адресат (интерпретатор)» проявляется в том, что живые черты личности, скрывающейся за словом, отступают на задний план, и они не столько непосредственно ощущаются, сколько угадываются, для чего необходимо особое и специальное к ним внимание [Винокур 2000: 82]. Представляется, что одним из способов репродукции образа автора в культурно-речевом и коммуникативном планах является ошибка. Становясь сигналом напряженности, она фиксирует в сознании интерпретатора ощущение чуж-

дости, дезориентированности, культурной разобщенности. С другой стороны, она может обеспечивать коммуникативный интерес и внимание. Таким образом, ошибка одновременно становится и репеллентом, и аттрактантом, способом гармонизации и дисгармонизации взаимодействия автора и адресата. Углубленное изучение толерантности в описанной в целом нестандартной коммуникативной ситуации, несомненно, будет способствовать выявлению одного из важных параметров толерантного педагогического общения.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамов Н. Дарь слова. — СПб., 1901. Вып. 2: Искусство разговаривать и спорить. (Диалектика и эристика).

Азнабаева Л. А. Принципы речевого поведения адресата в конвенциональном общении. — Уфа, 1998.

Апресян В. Ю. Неправда, ложь, вранье // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Рук. Ю. Д. Апресян. — М., 2000. — Вып. 2.

Апресян Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Избранные труды. — Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. — М., 1995.

Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке // Филол. науки. — 1970. — № 3 (57).

Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — 1981. — Т. 40. — № 4.

Арутюнова Н. Д. Феномен второй реплики, или О пользе спора // Логический анализ языка. Вып. 3: Противоречивость и аномальность текста. — М., 1990.

Арутюнова Н. Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка. Культурные концепты. — М., 1991.

Арутюнова Н. Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейк-сис. — М., 1992.

Базылев В. Н. Контакты и конфликты: Междисциплинарный линг-

вистически ориентированный подход // Проблемы лингвистической контактологии: Материалы рабочей конф. Москва, 23 окт. 1999 г. — М., 1999.

Балакай А. Г. Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания. — Новокузнецк, 2002.

Балаян А. Р. Основные коммуникативные характеристики диалога: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1971.

Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопр. языкознания. — 1992. — № 2.

Большаков А. Г., Несмелова М. Ю. Конфликтология организаций: Учеб. пособие. — М., 2001.

Борисова И. Н. Цельность разговорного текста в свете категориальных сопоставлений // *Stylistica VI.* — Opole, 1997.

Борисова И. Н. Структура и динамика разговорного диалога. — Екатеринбург, 2001.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — М., 1997.

Вежбицкая А. Культурно-обусловленные сценарии: новый подход к изучению межкультурной коммуникации // *Жанры речи 2.* — Саратов, 1999.

Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // *Рус. яз. в науч. освещ.* — 2002. — № 2(4) (в печати).

Вербицкая Л. А. Глобализация и интернационализация в образовании и важность изучения иностранных языков // *Мир рус. слова.* — 2001. — № 2.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. — М., 1973.

Войскупский А. Е. Коммуникативный контакт и средства его установления // Оптимизация речевого воздействия. — М., 1990.

Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М., 1947.

Винокур Г. О. Введение в филологическую науку. — М., 2000.

Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // *Филол. науки.* — 2001. — № 1.

Воробьев В. В. Лингвокультурология: Теория и методы. — М., 1997.

Вшивкова Т. В. Процесс антиципации и понимание текста // Се-

мантика целого текста. — М., 1987.

Гальперин П. Я. Формирование творческого мышления // Деятельность и психические процессы. — М., 1977.

Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б. Внутринациональные речевые культуры и их взаимодействие // Вопросы стилистики. — Саратов, 1993. — Вып. 25: Проблемы культуры речи.

Городецкий Б. Ю. От лингвистики языка — к лингвистике общения // Язык и социальное познание. — М., 1990.

Гудков Д., Захаренко И., Красных В. Русское языковое сознание и межкультурная компетенция // Теория и практика русистики в мировом контексте. — М., 1997.

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. — М., 1985.

Данилов С. Ю. Жанр проработки в тоталитарной культуре // Стереотипность и творчество в тексте. — Пермь, 1999.

Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. — М., 1996.

Едличка А. Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1988. — Вып. 20.

Жельвис В. И. Психолингвистическая интерпретация инвективного воздействия: Дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1992.

Земская Е. А. Категория вежливости: общие вопросы — национально-культурная специфика русского языка // Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 1997. Bd. 56.

Зинченко В. П. Посох Осипа Мандельштама и трубка Мамардашвили: К началам органической психологии. — М., 1997.

Иссерс О. С., Кузьмина Н. А. Почему так не говорят по-русски. — Омск, 1998.

Кормилицина М. А. Риторическая организация речи (адресованность речи) // Хорошая речь. — Саратов, 2001.

Красильникова Е. В. Имя существительное в русской разговорной речи: Функциональный аспект. — М., 1990.

Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). — М., 1996.

Кубрякова Е. С. Текст — проблемы понимания и интерпретации // Семантика целого текста. — М., 1987.

Купина Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. — М., 2000.

Ладыженская Т. А. Устная речь как средство и предмет обучения. —

М., 1998.

Ламберт Д. Мини-энциклопедия: Язык тела. — М., 2001.

Левонтина И. Б. «Достоевский надрыв» // Wiener Slawistischer Almanach. — Wien, 1997. — Bd. 40.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. — М., 1965.

Леонтьев А. А. Психология общения. — Тарту, 1974.

Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке: Материалы конф. / Под ред. Н. Д. Арутюновой. — М., 1995.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1984.

Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Т. 7. — М.; Л., 1952.

Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). — СПб., 2001.

Мамонтов А. С. Язык и культура: Сопоставительный аспект изучения. — М., 2000.

Матвеева Т. В. Непринужденный диалог как текст // Человек — текст — культура / Отв. ред. Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — Екатеринбург, 1994.

Мешин А. В., Шкатова Л. А. Конфликтология: Учеб. пособие по спецкурсу. — Челябинск, 1998.

Милославская С. К. Межкультурная коммуникация в свете задач интернационализации образования // Мир рус. слова. — 2001. — № 4.

Нерознак В. П. Лингвистическая персоналогия: к определению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод. — М., 1996.

Нестерова Т. В. Прагматика обращений-антропонимов в семейной сфере: Дис. ... канд. филол. наук. — М., 1999.

Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. — М., 1996.

Пассов Е. И. Диалог культур: социальный и образовательный аспекты // Мир русского слова. — 2001. — № 2.

Полонский А. В. Функциональные и категориальные сущности адресатности. — М., 1999.

Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. — Воронеж, 2001.

Потебня А. А. Значение множественного числа в русском языке //

Филологические записки. 1885—1886. — Воронеж, 1886.

Прохоров Ю. Е. Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение: Теория и практика обучения русскому языку как иностранному. — М., 1995.

Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. — М., 1996.

Рытникова Я. Т. Гармония и дисгармония в открытой семейной беседе // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996.

Рябцева Н. К. Коммуникативный модус и метаречь // Логический анализ языка. Язык речевых действий. — М., 1994.

Седов К. Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения (о риторике бытового конфликта) // Вопросы стилистики. — Саратов, 1996. — Вып. 26: Язык и человек.

Седов К. Ф. Становление структуры дискурсивного мышления языковой личности: Психо- и социолингвистический аспекты. — Саратов, 1999.

Сибирякова И. Г. Стандарты тематического развертывания в разговорном диалоге // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996.

Сидоров Е. В. Личностный аспект речевой коммуникации и текста // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989.

Соловьева А. К. О некоторых общих вопросах диалога // Вopr. языкознания. — 1965. — № 6.

Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. — М., 1979.

Сорокин Ю. С. Этническая конфликтология: (Теоретические и экспериментальные фрагменты). — Самара, 1994.

Степанов С. Язык внешности. — М., 2001.

Степанов Ю. С. Теоретическая лингвистика входит в новый век многополюсной дисциплиной // Вopr. филологии. — 1999. — № 3.

Стернин И. А. Улыбка в русском общении // Рус. яз. за рубежом. — 1992. — № 2.

Стернин И. А. Русский коммуникативный идеал: (экспериментальное исследование)// Коммуникативное поведение: Русское и финское

коммуникативное поведение. — СПб., 2001. — Вып. 2.

Стернин И. А., Шилихина К. М. Коммуникативные аспекты толерантности. — Воронеж, 2001.

Сухих С. А. Языковая личность в диалоге // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989.

Сухих С. А., Зеленская В. В. Репрезентативная сущность личности в коммуникативном аспекте реализации. — Краснодар, 1997.

Сухих С. А., Зеленская В. В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. — Краснодар, 1998.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2000.

Томахин Г. Д. По странам изучаемого языка. Английский язык: Справ. материалы. — М., 1993.

Формановская Н. И. Речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. — М., 1982.

Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. — М., 1984.

Формановская Н. И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. — М., 1998.

Хорошая речь. — Саратов, 2001.

Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. — М., 1982.

Шалина И. В. Коммуникативно-речевая дисгармония: ее причины и виды // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000.

Шатуновский И. Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия / несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка. Культурные концепты. — М., 1991.

Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. — Минск, 1996.

Ширяев Е. Н. Культура речи как особая лингвистическая дисциплина // Культура русской речи и эффективность общения. — М., 1996.

Ширяев Е. Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург, 2000.

Leech G. H. Principles of Pragmatics. L.; N. Y., 1983.

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ

Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. — М., 2001.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология: Слов.-справ. М., 1998.

Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. — М., 1988.

НФЭ — Новая философская энциклопедия. — Т. 4. — М., 2001.

Степанов Ю. С. Константы: Слов. рус. культуры. — М., 1997.

Языкознание: Большой энцикл. слов. / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 2-е изд. — М., 1998.

РАЗДЕЛ 5

ЯЗЫК — КУЛЬТУРА — ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЕДИНИЦЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА (В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ)

Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров

Перефразируя в духе времени мысль М. Бахтина, можно констатировать, что мы сейчас живем в мире чужих слов и вся наша жизнь является бесконечно разнообразной реакцией на чужие слова [Бахтин 1995]. Здесь «чужие слова» — слова, не принадлежащие участнику коммуникации, целью которой является адекватная реакция на принятый информационный сигнал.

Надо сказать, что бахтинский диалогический взгляд на текст предопределяет линейность восприятия текста, которая выражается созданием многомерного текстового пространства в смысловом поле получателя информации. Это проблема многомерного текста, гипертекста. В таком тексте слова взаимодействуют не только между собой, но и с текстовым пространством в целом. (Кстати, такие особенности современного мышления выявляются в постструктурализме.) Текст существует на рубеже сознаний автора и читателя, понимание возникает в результате толкования, то есть становится в достаточной степени творческим. Языковая игра становится вроде бы даже средством создания речевого комфорта. Так или иначе, игра слов, игра смысла с текстом перестают быть достоянием художественной литературы и, так сказать, овладевают массами.

Е. Добренко [1997] пишет о том, что существует понятие «аппеллятивной структуры текста». Такая структура предполагает в тексте «участки неопределенности», или «пустые места». Вслед за зарубежными литературоведами автор перечисляет условия наличия

в тексте «пустых мест» — нарушения во фразовой структуре, приемы врезки, монтажа и композиции текста, комментарии рассказчика. В результате читатель сам заполняет «пустые места», включая самостоятельные оценки и делая самостоятельные суждения. «Этот перечень, — пишет исследователь, — своеобразный мартиролог убитых советской литературой форм» [Добренко 1997: 27]. И в языке СМИ, и в обычных беседах смысловая прогнозирующая функция восприятия в советские времена фактически сводилась на нет.

Как это было, показывает В. Войнович в известном романе «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»:

...фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки.

— Борис Евгеньевич, — взывал он к редактору. — Я вас очень прошу, не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая.

— Ишь чего захотел, — ответил редактор, помешивая ложечкой остывший в стакане чай, — как не править, когда вы пишете: «Наступила пора бабьего лета». У нас, в нашем обществе, баб нет. У нас женщины, труженицы, они стоят у станков, они водят тракторы и комбайны, они заменили своих мужей, ушедших на фронт, а вы их оскорбительно называете бабами.

— Я не их, я лето называю бабьим, так говорят в народе.

— Если все слова, что в народе говорят, да в газету... — редактор покачал облысевшей своей головой.

— Но ведь не писать женское лето, — сказал фенолог.

— Именно женское.

— А может быть, дамское?

— Нет, дамское нам не подходит. А женское в самый раз.

— Борис Евгеньевич, — завопил фенолог, — вы меня убиваете. Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы... Девушка, — обратился он к Нюре, — вы вот, я вижу, из народа. У вас такое время, когда осень и когда тепло, когда солнышко светит, как называется?

— Кто как хочет, так и называет, — сказала Нюра уклончиво. Ей не хотелось идти против редактора.

— Вот видите, — оживился редактор. — А у нас газета. Мы не можем называть, кто как хочет.

Естественно, у исследователей теперь возбуждается интерес к сущности и особенностям новых средств выражения, к их все-сторонней характеристике как явления, как языковой категории, а не только как черты сегодняшнего карнавального периода истории русского литературного языка с соответствующей маскарадной спецификой.

Коммуникация на новый современный манер требует от ее участников большого количества историко-культурных знаний и навыков, умения эти знания облекать в слово и воспринимать в слове.

Прощаясь с регламентированным языком, с бдительной официальной и общественной цензурой, с серьезностью официоза, на страницы книг, газет, журналов, на экран телевизора выплеснулся буйный карнавал.

«Смеховая новация активизирует ощущение относительности всего ритуального, искусственного и запретного в тот момент, когда официальные институты достигают порога исчерпанности и неэффективности» [Русская литература... 1993: 136]. Может быть, бурный поток играющих слов берет начало в конце официальных институтов? Недаром Томас Манн назвал пародию «улыбкой при прощании».

Люди, и пишущие, и просто говорящие, перестали бояться словесной игры. Раньше это было уделом юмористов, и то с большой оглядкой. Участник коммуникации начал прислушиваться к слову, присматриваться к нему, остро ощущать диалогичность слова.

Б. М. Гаспаров пишет о тексте как о частице непрерывно движущегося потока человеческого опыта [Гаспаров 1994: 275]. Человечеством накоплен грандиозный культурный опыт; возможности обозримости этого опыта базируются все на том же законе экономики — объять можно только «объятное», поэтому частица должна быть именно частицей, вершиной пирамиды, а не целой пирамидой, «воронкой, втягивающей в себя слои из фонда культурной памяти» [Там же: 291]. Восприятие же такой частицы дает «открытый, растекающийся в бесконечность смысл» [Там же: 283], то есть, по сути дела, представляет собой явление, которое можно образно назвать «воронкой наизнанку».

Информация свертывается в символ, обладающий традиционно признанным в обществе значением.

Философы говорят об эмблеме как визитной карточке текста, высказывая интересную мысль о том, что «если текст глубок и вошел в культуру, это означает, что он живет не всем массивом (разрядка наша. — Н. Б., В. Г.), а по преимуществу благодаря своим эмблемам» [Карасев 1996: 63]. Текст описывается через его эмблемы, которые узнаваемы. «...Войдя в эмблему, мы оказываемся в отбрасываемой ею символической тени, накрывающей подчас все произведение» [Там же: 63].

Эмблема во времена советской цензуры, вроде бы совсем невинная, становилась в ряде случаев опасной.

К. Чуковская вспоминала, как в рассказе М. М. Зощенко какой-то человек с усами и с бородой грубо кричит на молодого красногвардейца, не сразу узнавшего В. И. Ленина и поэтому отказавшегося пропустить его в Смольный. Вот что было дальше:

Редактор посоветовал Михаилу Михайловичу лишить человека, который грубо кричит на красногвардейца, — бородки, а то с усами и бородой он похож на Калинина. М. М. согласился, вычеркнул бородку. Тогда остались усы и грубость. Сталин вообразил, что это о нем. И участь Зощенко была решена... (А в последующих изданиях человек с усиками был заменен «одним каким-то человеком...» и «притом безусым и безбородым» [Чуковская 1997: 121—122]).

Представления о толерантности были в советское время весьма своеобразными...

Самой общей характеристикой интересующих нас языковых знаков — символов, эмблем — можно считать то, что они значат больше, чем они значат: с ними связываются семантико-прагматические оттенки, не вытекающие непосредственно из них как таковых.

Обзор подобных средств выражения показывает, что их невозможно связать с одной какой-либо лингвистической категорией — словом или словосочетанием, предложением, фразеологизмом, клише, метафорой и т. д. Поэтому представляется целесообразным предложить особый термин — **логоэпистема** — и разработать соответствующую теорию — **логоэпистемологию** или **логоэпистематику** (ср.: *фонема, морфема, логоэкспрессема; морфология, морфемика...*).

Термин составлен из греческих лексем *слово* (а в богословско-философском смысле — язык, речь, учение, смысл) и *эпистема* (знание, понимание). Речь идет, таким образом, о знании, несомом словом как таковым, его скрытой «внутренней формой» — его индивидуальной историей, его собственными связями с культурой.

Логоэпистемы можно поэтому назвать символами чего-то, стоящего за ними, сигналами, заставляющими вспомнить некоторое фоновое знание, некоторый текст.

Материально логоэпистема может быть повтором заглавия текста, его первой или последней фразой, каким-то ключевым словом из текста — важно, чтобы она намекала на него, как-то отсылала к нему, ассоциировалась с ним. Значительно важнее смысловые взаимоотношения логоэпистемы и породившего ее текста.

Назвать логоэпистему сверткой текста можно только условно. Любой текст многозначен и по содержанию богаче, шире, чем его свертка, являющаяся словом, словосочетанием, кратким предложением, в лучшем случае — небольшим отрывком-цитатой. Наблюдается принципиальная возможность приписывания логоэпистеме разного значения — в зависимости от интерпретации текста, от обращения к разным его частям.

В самом деле, смысл логоэпистемы по отношению к содержанию текста во многом случаен, произволен. Логоэпистема, будучи рождена, отрывается от текста, живет своей жизнью, отчего ее значение и приобретает устойчивость и определенность. Чтобы приписать ей иное значение, надо, как мы только что видели, воскресить в сознании исходный текст, отыскать в нем какую-то зацепку, позволяющую исказить уже закрепившееся значение.

Вообще, живость связи логоэпистемы с исходным текстом относительна, и очень часто люди, употребляя логоэпистему, не задумываются о нем, иной раз даже и не знакомы с ним или знакомы поверхностно, понаслышке. В наше время чуть ли не правилом становится усвоение логоэпистем «из вторых рук» — не из оригинала, а, например, из экранизации, из современных текстов, где они употребляются.

Вопрос, насколько желательно знать тексты, породившие логоэпистемы, чтобы успешно пользоваться последними, относится

скорее к проблеме личностной, индивидуальной образованности, более или менее полной интериоризации общего объема фоновых знаний в данной национально-языковой культуре. Но возникает скептический вопрос: а надо ли знать сами логоэпистемы? Не просто надо, а необходимо.

Логоэпистемы оказываются могучим средством передачи смысла, средством построения убедительного и воздействующего на читателя дискурса — вообще и в нынешнее время, не обходящееся без радостей карнавала, без масок и шуток, в частности. Ведь остроумная манера говорить и писать предполагает соучастие слушающего и говорящего, опирающихся при этом на свои знания, на свое умение возбуждать в сознании широкий круг ассоциаций в соответствии с сигналами в воспринимаемом тексте. Этими сигналами и выступают логоэпистемы. Вот тут-то и встает вопрос о толерантности.

Смысл логоэпистем в том, что они позволяют ярко, образно, с опорой на исторический опыт народа и, что немаловажно, кратко, одним намеком, свернуто выразить мысль и чувство. Разумеется, в общении с себе подобными, то есть владеющими тем же или, по крайней мере, сходным набором логоэпистем. Именно поэтому, в частности, мало читающие, мало учившиеся не любят читать: читать им трудно, неинтересно, потому что логоэпистемы, содержащиеся в тексте, им неизвестны, и текст вследствие этого оказывается недоступным, трудным. Отсюда возникает идея «культурной грамотности», то есть выделения минимума необходимых в данной национальной традиции логоэпистем, составления их словаря, целенаправленного обучения им [Костомаров 1989].

Это полезно — при всех возможных критических сомнениях в здравости такой идеи — для воспитания «среднего гражданина». Нельзя не заметить, что аналогичная задача возникает при обучении русскому языку иностранцев, разумеется, со многими поправками; она реализовалась с конца 60-х годов в форме лингвострановедения. Многие разработчики этого направления в методике давно осознали необходимость знакомить учащихся с культурными сведениями, закрепленными в единицах языка. Можно сказать, что предлагаемая логоэпистемология есть обобщение и развитие

того, что в лингвострановедении называлось «лингвострановедчески ценными единицами языка». Соответственно лингвострановедческие словари рисуются сейчас как словари логоэпистем.

Текст без логоэпистем скучен, даже если это научный или официальный текст; художественный же без них просто немислим. В сущности, логоэпистемы — это голоса прошлого, и их оживление, приведение их в согласие, в симфонию — высшее мастерство беллетриста, политика, вообще интересного собеседника. Обращаясь к культурной памяти, носителями которой они являются, логоэпистемы, помимо всего прочего, обеспечивают ощущение принадлежности к той же социально-культурной группе, к той же нации. Ведь они позволяют выразить новое содержание через призму картины мира, ментальности, социально-культурной истории данного народа. Этим они обеспечивают безграничное приращение смысла, экспрессии, эмоциональности.

Эти функции логоэпистем извечны, в настоящее время они особенно актуализированы в связи с отмеченными уже явлениями, свойственными нынешнему периоду, — инопространственностью, многомерностью, линейностью текстов, характеризующихся наслоением смыслов, изощренными способами из выражения. Смутные образы исходных текстов, сигнализируемые логоэпистемами, становятся важным приемом изложения новых смыслов и даже построения целых новых дискурсов.

Однако в основе своей логоэпистемы были, есть и будут обязательным компонентом полноценной дискурсии, что не опровергается тем, что сегодня в ряде случаев они лишь помеха ясному и прямому изложению. Ведь в коммуникации участвуют носители русского языка — представители разных социальных слоев и те, для которых русский язык родным не является.

При самых различных взаимоотношениях логоэпистемы с исходным текстом-прародителем и при самых различных ролях, выпадающих на ее долю в текстах новых, порождаемых, необходимой характеристикой логоэпистемы следует все же признать устойчивость, определенность ее, так сказать, словарного значения. Поэтому, между прочим, вполне мыслимы словари логоэпистем — более или менее полные, тезаурусные и, скажем, учебные, ограниченные и минимизированные на базе каких-то критериев.

Значение логоэпистем, даже если оно рождено вполне произвольно, случайно, освящено социально-исторически, и в этом плане схоже со значением слова, потебнианская «внутренняя форма» которого бывает не менее случайной, внешней, несущественной для предмета или явления (но, видимо, оно может быть в пределах одного текста изменено «дефиницией», как определяется значение термина в пределах одной концепции).

Ядро логоэпистем следует связать с прецедентными текстами [Караулов 1986]. Именно те тексты, которые десятилетиями, если не столетиями, служат основой обучения, аккультурации ребенка, при помощи которых он изустно и затем письменно обучается родному языку, закрепляются в его сознании своими логоэпистемами и в то же время закрепляют логоэпистемы как «вещь в себе» с определенным значением. Именно эти тексты, становясь учебным материалом, входя в программы школьного обучения, препарированы, обязательны, частично заучиваются наизусть; их знание общественно осознается как необходимый признак образованного, «культурного» человека. Они составляют костяк фоновых знаний человека, причем к этим знаниям относятся и внушенное (обычно вполне справедливо!), что данный автор — великий поэт, мудрейший ученый, высокий авторитет и что данный текст относится к вершинным образцам, эталонам красоты, мудрости, ума.

В последнее время такие тексты стали у нас объектом распространения средствами массовой культуры вплоть до «комиксов», не говоря уже о кино- и телеэкранизациях. В то же время и малоизвестный текст или образ, став объектом этих средств, может оказаться прецедентным и дать логоэпистему.

Определенный массив логоэпистем связан с лозунгами, мифами тоталитаризма. В сущности, их можно отнести к тем же прецедентным текстам, только не культурно-естественным, а насильно навязывавшимся как укоренение аспектов государственности и политики, «пропагандистско-идеологической работы». Они в качестве господствующей религии внедрялись в аккультурацию человека со школьной скамьи (может быть, даже с ковра детского сада) и в течение всей жизни — через занятия «политпросвета».

Л. К. Чуковская вспоминает, как Анна Ахматова в те времена боролась с редакторами, которые искали в ее стихах нежелательный подтекст:

«Мой городок игрушечный сожгли, в прошлое мне больше нет лазейки».

Ахматова говорит о городе своей юности, который сожгли немцы. Но начальство приревновало ее к слову «прошлое» (ведь прошлое — это всегда «проклятое царское прошлое»); ах, ты ищешь туда лазейку?

Мы бы прокомментировали это так: привычно осторожный редактор вместо слова в данном случае узрел логоэпистему, направляющую мысль читателя по «коварному пути». Что уж тут говорить о толерантности!

Достаточно закавычить логоэпистемы в любом современном русском тексте, чтобы наглядно представить себе ту «бездну премудрости», убоявшись которой, иные изучающие русский язык иностранцы опускают руки, а соотечественники бросают непонятную книгу. Это происходит при встрече с лакунами синхронного уровня культурного фонда, возникающими вследствие несовпадения комплексов знаний, которыми владеют типичные представители контактирующих культур [Сорокин, Морковина 1983].

В последнее время активно исследуется языковая технология успешного общения [Муравьева 2002]. В частности, речь идет о разработке методик построения бесконфликтных дискурсивных практик. При этом целью является установление оптимального взаимодействия адресанта с адресатом, то есть неизбежно опять-таки возникает проблема толерантности общения. Тексты массовой информации стали стилистически неоднородными, в них имеет место отказ от общепринятых способов выражения смысла. Если тонкости использования чужой речи не доходят до адресата, то коммуникативная дистанция между отправителем и получателем информации увеличивается. Исследователи совершенно справедливо считают, что отсутствие общего языкового пространства участников общения есть проявление речевой агрессивности адресанта.

Незнание сближает: недостаточно культурно образованный носитель русского языка становится в позицию плохо знакомого

с русской культурой изучающего русский язык иностранца, воспринимая текст (сообщение) линейно и буквально.

Взять русского учащегося. Без пословиц, поговорок, крылатых слов — короче, без логоэпистем не воспитаешь национального самосознания, любви к Родине и родному слову. «В преподавании языка важно развить способность образного восприятия слова через осознание его духовных смыслов и оттенков» [Троцкий 1996: 23].

Семиотическая система русского языка должна стать предметом усвоения — кто бы ему ни обучался — в России, в ближайшем зарубежье, в отдаленном зарубежье. Помочь услышать в тексте «чужой» голос — голос культуры (даже если она своя, родная, но плохо постигнутая) — вот задача педагогов-русистов.

Итак, логоэпистема как элемент объективной культурной реальности, закреплённой языком, как сигнал, заставляющий вспомнить некоторое знание, некоторый текст, некоторую информацию, часто бывает причиной так называемых коммуникативных неудач. Коммуникативные неудачи выявляют несовпадение коммуникативных намерений отправителя информации и их интерпретации получателем информации. В результате возникает взаимное непонимание, даже если участники коммуникативного процесса принадлежат к одной лингвокультурной общности.

Люди становятся таковыми в процессе инкультурации — освоения культуры своего этноса, социализации. Культура формирует у них чувства, убеждения, модели поведения. Ведущие культурологи, рассматривая роль символа в человеческой культуре, видят в нем сформированную словами идею, которая делает возможным передачу и продолжение человеческого опыта. Человечество использует символы с незапамятных времен.

Процесс инкультурации бывает различным. М. Мид [1988] выделяет три типа передачи культурных сведений: постфигуративный — когда старшее поколение служит образцом жизни; конфигуративный — когда моделью поведения для людей служит поведение их современников; префигуративный — когда культурные знания передают родителям дети.

Если брать наше постперестроечное лингвокультурное пространство, то можно утверждать, что в нем имеют место все три ти-

па передачи культурных сведений. Приведем примеры, извлеченные из драматургических произведений и современной художественной литературы.

Постфигуративный тип

1. Отец Иванова. *Что ж, самое время пополнить твои знания о мироздании. Звучит не очень вкусно, зато кстати. Итак: «Утро — это юность дня». Артур Шопенгауэр. Иванов. Благодарю вас, профессор, но вчера вы уже посвятили меня в тайну утра, раскрытую удачливым Шопенгауэром. Повторяешься, отец.*

Типичный образец передачи логоэпистем от старшего поколения к младшему, изо дня в день, с повторением, напоминанием, закреплением.

2. — *Ну вот он, морской пляж.*

— *Пляжи мне всегда напоминают битву у стен Трои, — сказал Алик.*

— *Мне тоже, — сразу же откликнулся Димка. — Помню, идем у стен Трои троим: Гектор, Алик и я, а навстречу нам...*

— *Пенелопа! — воскликнула Галя и сделала цирковой реверанс.*

— *Ты хочешь сказать, Елена, — поправил Алик, — тогда я Парис.*

— *Я ухожу из Трои. Я Менелай, — заявил Димка.*

— *А я? А я кто буду? — заорал Юрка. — Меня-то забыли!*

— *Кем ты хочешь быть? Говори сам.*

— *Черт возьми! — Юрка зачесал в затылке. — Не помню ни одного. Мы же это в третьем классе проходили.*

— *Тогда ты будешь рабом, — сказал Димка.*

— *Я Ахилл! — заорал Юрка.*

Знания, полученные от старшего поколения, используются и интерпретируются младшим поколением в обычных диалогах.

3. — *Организм нашего Паши, конечно же, голосует за обед, — ехидно проговорила Вера.*

— *Жребий брошен, Рубикон перейден, — откликнулся Павел и первым пошел мыть руки.*

4. *Едва мальчик оказался на улице, ноги его заскользили, и он съехал вниз по ступенькам, словно со снежной горки.*

— Молодец, Ваня! — ехидно покосилась на него Варвара. — Это называется: «Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу...»

— Очень смешно, — отряхивал с куртки снег Иван.

— «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно», — мигом нашлась Варвара.

— Кому смешно, а кому и не очень, — сердито проговорил Иван.

5. — «Мальчики ловят рыбу, — улыбнулась Галя. — Посмотрим, что вы поймаете. А я? Поймаю ли я **золотую рыбку**? И где она плавает, моя? Море такое громадное. А может быть, она сама приплывет ко мне и скажет: «**Что тебе надобно, Галя?**» — «Я хочу, чтоб было душно и пахло цветами и чтобы я стояла на **балконе** и смотрела на слабые огоньки **Вероны**». А потом послышится шорох и появится **Ромео**. Он подойдет ко мне и скажет: «Кончай, детка, свои закидоны глазками...»

Выделенные в примерах 3—5 логоепистемы получены в процессе инкультурации по постфигуративному типу.

Конфигуративный тип

Дедушка. Ну, а ты как, тоже по отцовской дорожке думаешь?

Игорь. Нет, я в кавалеристы собираюсь. Был, дедушка, такой полт-партизан Денис Давыдов.

Дедушка. Да ну? Не слыхал что-то этой фамилии. Положим, всех-то разве мыслимо знать? Хотя и лично тоже, ведь партизанили в свое время. Денис, говоришь? Нет, не припомню?

Игорь. Он давно жил. Еще при Наполеоне. Стихи сочинял и с врагами рубился. Вот и я таким же хочу быть.

Коммуникативная неудача, отраженная в данном диалоге, иллюстрирующем конфигуративный способ передачи культуры, объясняется ложным ассоциативным маршрутом, по которому направились было мысль одного из героев: партизан — гражданская война — попытка вспомнить фамилию «Давыдов». Тем не менее эпоха наполеоновского нашествия для обоих участников диалога — одинаково отдаленное время, и оба они в процессе обмена мнениями

получают информацию: Игорь (младшее поколение) — о юности дедушки, дедушка (старшее поколение) — о Денисе Давыдове. Конфликт не возникает.

Префигуративный тип

— *Просто [меня] перевезли сюда. Вместе с домохозяйщицей.*

— *С какой еще домохозяйщицей? — округлились глаза у Марго.*

— *Карлсона не читала? — удивился Сеня. — И мультик не видела?*

— *Читала — смотрела, — заверила Маргарита. — Вот мне предок и нанял такую же домохозяйщицу — домохозяйщицу, как Фрекен Бок.*

Логоэпистемами слова Фрекен Бок, домохозяйщица, Карлсон стали благодаря детям, которым родители читали сказку о Малыше и Карлсоне, показывали мультфильм. «Нашим детям так же близки Золушка, Мальчик-с-пальчик, Аладдин с его лампой, как Иван-царевич на сером волке или Морозко, ими так же любимы Винни-Пух и Карлсон, как Конек-Горбунок и Незнайка» [Леонтьев 2002: 178].

А теперь рассмотрим случай, когда участники диалога различаются по уровню образованности (образованность понимается как полученная в образовательном учреждении или в семье возможность правильного истолкования смысла воспринятой информации, так что знание логоэпистем можно интерпретировать как показатель определенной эрудиции участника диалога, успешно реализованной инкультурации).

Фактический отказ от участия в языковой игре в диалоге вскрывает (и это видно из реплик) то ложный ассоциативный маршрут (пример был приведен выше), то отсутствие нужных ассоциаций. Например:

Я присмотрелся к венку. Выглядел он очень странно: листья вперемежку с длинными колючками. Первым нарушил молчание Макси-Кот:

— *Ребята, а ведь это терновый венец.*

— *Че-его? — протянул Волобуй.*

— Шипы видишь? — осторожно коснулся пальцем одной из колючек Макс. — Это, так сказать, тернии.

— А на фига они? — вытаращился на него Толян.

— Чтобы тому, на кого такой венок надевают, было больно, — продолжал терпеливо втолковывать ему Кот.

— Это чего, вроде пытки такой? — начало доходить до Толяна. — Как, например, сейчас утюгом по спине?

— Вроде, Толик, вроде, — похлопал его по плечу Макси-Кот.

— Садюги, — смачно сплюнул в сторону Волобуи.

Коммуникативная неудача связана с незнанием логоэпистемы терновый венец.

«— Толян, — снова заговорила Жанна, — разве я тебя сегодня пригласила?

— Нет, — честно и радостно отозвался тот. — Я пришел по-английски.

К этому времени мы все тоже высыпали в переднюю. Здоровенный белобрысый Волобуев переминался с ноги на ногу возле самой двери. В одной руке он крепко сжимал букет алых гвоздик. В другой у Толяна была коробка с тортом, которой он нервно помахивал из стороны в сторону.

— По-английски? — скривились в усмешке тонкие губы Жанны. — Насколько я знаю, по-английски не приходят, а уходят.

— Другие, может, уходят, — почему-то кинул заискивающий взгляд на меня Толян. — А я вот пришел поздравить. В общем, желаю этого самого, счастья.

— Спасибо, — нарочито сухо произнесла Жанна.

Мы с остальными ребятами переглянулись. Хорошенькое начало дня рождения. Более идиотской ситуации не придумаешь. Вроде бы собрались свои люди повеселиться. И вдруг припирается какой-то «средний придурок», да еще с букетом, с тортом. Ну что с ним прикажете делать? И ведь вроде бы все, кроме Макси-Кота, его знают. Нравится же некоторым ставить всех в неловкое положение!

Я покосился на Жанну. Похоже, она и сама не знала, как поступить. Волобуев по-прежнему елозил спиной по входной двери. Можно было подумать, будто он вознамерился отполировать ее собственной курткой.

— Возьми, Жанна, — протянул он букет и торт. — А если мешаю, могу и уйти.

— Ладно, Толян, — сжалилась виновница торжества. — Раздевайся и заходи. Ведь по-английски все равно уже уйти не сможешь.

Толян, по-прежнему завороченно глядя на стол, потер руки и громко изрек:

— На халяву и зверь бежит.

— Минздрав предупреждал, — выразительно закатила глаза Динка. — Начинается.

Толян, видимо окончательно преодолев первоначальное смущение, с размаха плюхнулся на стул.

Комментарий возможного непроявления толерантности в последнем примере содержится в авторском тексте. Россия — страна многонациональная, многокультурная и многоязычная. В ней, как справедливо считает А. А. Леонтьев, есть все условия для «вращения идеи толерантности в содержание образования» [Леонтьев 2002]. Мы постарались показать, что понимание логоэпистем напрямую связано с этим. Знание адресатом употребленных в тексте логоэпистем — залог речевого комфорта.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

Н. А. Николина

«В каждой культуре, — заметила Анна Вежбицкая, — существуют свои собственные правила ведения разговора, тесно связанные с культурно-обусловленными способами думать и вести себя» [Вежбицкая 2001:152]. Автобиографические тексты служат важнейшим источником для выявления и описания как общекультурных, так и национально специфичных норм речевого поведения и позволяют показать их динамику. Автобиография в широком смысле мо-

жет рассматриваться как своеобразная микромодель культуры, отражающая основные этапы поисков «я», пути к самому себе. Развитие этого жанра связано с самопознанием, саморефлексией, постепенным открытием «я». В автобиографическом тексте не только отражается, но и осмысливается рефлектирующая деятельность автора произведения, который интерпретирует свое речевое поведение или поведение других, оценивает те или иные принципы общения, при этом, как правило, сопоставляет их. Ретроспективная установка автобиографических текстов, соположение в них разных темпоральных планов («теперь — тогда») позволяют сравнить нормы речевого поведения в разные исторические эпохи, см., например, характеристику светского фатического общения в 20-е годы XIX века в воспоминаниях М. Дмитриева:

Главный характер этого легкого разговора состоял в том, чтобы не зацепиться ни за одну глубокую и оригинальную мысль, не высказать ни в чем своего собственного убеждения... Скользить по всем предметам равно, не останавливаться долго ни на чем и не обременять ума ничем тяжелым — это было правило светского разговора!

Вы скажете: какая скука! — Конечно! Это несколько похоже на приятное щебетание птиц; но оно оживлялось несколько легкой безобидною насмешливостью и остротою... Разве лучше нынешние бесконечные споры об убеждениях? Соберутся человек двадцать, и всякой кричит о своем убеждении и не слушает другого. Тогда было больше вежливости и больше взаимной снисходительности (Дмитриев 1998: 219).

Заметим, что русское речевое поведение, видимо, никогда не характеризовалось однородностью. Оно варьировалось в зависимости от типа культуры, той или иной социальной сферы, в которой вращались коммуниканты. Древнерусский идеал речевого поведения сложился на основе христианской этики: «Речь должна быть сдержанной во всех отношениях, не позволялись крик, раздражение, проявления презрения, греховным считались желание осудить, вообще всякая хула» [Михальская 1996: 398]. В дальнейшем и дворянская, и традиционная народная (крестьянская) культура сближались в стремлении следовать сходным этическим нормам общения (при разном их выражении), см., например:

...Мне строго запрещалось лгать, клеветать на кого бы то ни было, невнимательно относиться к несчастным, презирать наших соседей, людей бедных, грубоватых...

Едва мне минуло восемь лет, матушка стала нарочно оставлять меня с ними одну, чтобы я приучилась их занимать... Уходя, она говорила мне на ухо:

— Поверь, мое дорогое дитя, что нельзя проявить более любезности, чем заставляя себя быть любезной, и нельзя выказать более ума, чем в тот момент, когда применяешься к пониманию других... (Головина 1996: 91—92).

Отступления же от этих этических коммуникативных норм, по мнению мемуаристов, объясняются, во-первых, тем, что «в русской натуре... ничто не уравнивается, все переливается из одной крайности в другую» [Соллогуб 1988: 608]. Во-вторых, резким расширением с течением времени сферы «полуобразованного», «полупросвещенного» быта, для которого характерны «начала взаимного недоброжелательства, эгоизма, бесхарактерности», наконец, сложностью исторического развития.

Несмотря на различные ситуативные [Стернин 2001] нормы общения, авторы воспоминаний и мемуаристы отмечают ряд существенных особенностей русского речевого поведения. По мнению Н. А. Бердяева, «русские гораздо более с о щ и а б е л ь н ы (не социальные в нормирующем смысле), более склонны и более способны к общению, чем люди западной цивилизации. У русских нет условности в общении. У них есть потребность видеть не только друзей, но и хороших знакомых, делиться с ними мыслями и переживаниями, спорить... Русские — народ не столько семейственный, сколько коммюнитарный [Бердяев 1990: 254]. Показательно сопоставление русских и немцев в записках А. Т. Болотова:

...Все лучшие жители города Кенигсберга... умышленно старались всячески от откровенного и дружелюбного обхождения с ними убежать и удалиться... Словом, они казались мне сущими бирюками (Болотов 1986: 221).

Частным проявлением высокой степени коммуникабельности («социабельности»), по оценке мемуаристов, выступают в русском быту гостеприимство и радушие. С ними был связан ряд этикет-

ных формул (*Милости просим; Хлеб да соль; Чай да сахар*; и др.), которые архаизировались окончательно во второй половине XX века, но в предшествующий период (XIX — начало XX века) отличались стабильностью и отражали принятые правила вежливого общения.

Например:

— *Чай да сахар!* — это приветствие пьющим «китайскую травку» дома ли, в трактире ли было так же всеобщее на устах елоховского москвича 80—90-х годов, как общерусское приветствие человеку, вкушающему пищу:

— *Хлеб да соль!*

Я не припомню в старой Москве места и случая, где бы и когда бы не уважалось или не принималось в расчет желание доброго или даже недоброго человека «попить чайку»... Человеку, пришедшему в наш дом по делу и никому в доме решительно не знакомому, немедленно предлагали стакан чаю (Дурылин 1991: 63).

Вежливый, «ласковый» прием гостя, любого незнакомого человека, однако, в дальнейшем мог с течением времени перерастать в «диссонансную» коммуникативную ситуацию. См., например, наблюдения Г. С. Винского: «Не живавший с русскими ослепится первыми их приемами и ласковостями, но не пройдет двух недель, и все сие воспримет совершенно иной вид. Скоро предупреждение заменится упорнейшим невниманием ... угождения — отказами и пр.» [Винский 1914: 118]. Как замечает И. А. Стернин, у русских «чужие... отождествлялись с опасностью, враждебными намерениями, вызывали настороженность и недоверие» [Стернин 2001: 124]. Радужие, таким образом, могло сочетаться с последующим невниманием, открытость в общении — с нетерпимостью, но и в том, и в другом случае доминировало прямое выражение эмоций и оценок.

Национально-культурной традицией русского речевого поведения в автобиографических и мемуарных произведениях прежде всего признается эмоциональность участников коммуникации. Сдержанность, внешняя холодность, отказ от проявления чувств в диалоге неизменно рассматриваются как признак равнодушия (презрения) к собеседнику или как черта нерусская, «чужая», которая часто вызывает осуждение у мемуаристов. Показательна в этой связи оценка речевой манеры Потемкина:

Бранных, ругательных слов... от него [Потемкина] никто не слышал... Но в простом его обхождении было нечто особенно обидное, взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: «вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность... проистекала от неистощимого его презрения к людям; а чем можно более оскорбить их самолюбие?» (Вигель 2000: 13).

По мнению К. Леонтьева «ненавистно, и тяжело, и чуждо и восточному человеку, и русскому мужику — холодное, сухое *джентльменство*, притворно-вежливое, простое только с виду» [Леонтьев 2002: 333].

К эмоциональности в русском речевом поведении, однако, предъявляется ряд требований: положительную оценку получает только эмоциональность, лишенная аффектации, предполагающая искренность и непосредственность, максимальную прямоту в выражении чувств и намерений, см., например, портрет М. Загоскина в «Воспоминаниях» И. И. Панаева:

Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку... Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку... Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый... и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с презабавною горячностью. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспаривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и наливались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице...» (Панаев 1950: 153—154).

Эмоциональность и искренность, которые проявляются в русском речевом поведении, часто противопоставляются «скрытности», сдержанности представителей других культур. Характерно, например, замечание А. И. Герцена об отсутствии у западного человека «той простой, откровенной натуры, того полного *abandon**, который так идет всему талантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью [Герцен 1956: 500].

* Непосредственность (*франц.*).

Русское речевое поведение определяется как коммуникация, ведущим принципом которой является «быть», а не «казаться», ср.:

Во всем современно европейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны, лицемерие и скрытность, с другой — выставка и etalage. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, казаться, вместо того чтоб быть. Вести себя прилично, вместо того чтоб вести себя хорошо, хранить внешний Respectabilität** вместо внутреннего достоинства...» (Герцен 1956: 394).*

В то же время эмоциональность в сочетании с искренностью и непосредственностью обуславливают в русском речевом поведении отказ от «дипломатии», что, в свою очередь, может приводить к категоричности оценок, к стремлению избегать косвенных форм высказывания, наконец к ярко-императивному или даже наступательно-агрессивному тону и, соответственно, — нарушению «прав» адресата. Подобное речевое поведение, по свидетельству авторов воспоминаний, однако обычно неустойчиво: для коммуникантов преимущественно характерна *отходчивость* (отметим, что само это слово не имеет эквивалентов в ряде языков и, безусловно, значимо в русской языковой картине мира). Отходчивость («неспособность долго сердиться», «способность быстро успокаиваться после гнева, раздражения и др.») в коммуникативном отношении означает резкую смену тональности общения и переход от конфликтного речевого поведения к поискам гармонии. Отходчивость предполагает темпоральное измерение коммуникации нетолерантного типа, указывая на ее непродолжительность, см., например, диалог «почтенного профессора» римского права и студента, который приводит в «Воспоминаниях» князь Мещерский:

Кто-то на задней скамейке громко сказал: ого! Это «ого» привело старика в ярость.

— Тот кто сказал «ого» ... — свинья!

* Хвастовство (франц.).

** Благопристойность (нем.).

— Я сказал «ого», Василий Васильевич, — заявляет виновный.

— Вы сказали?.. — Старик принял свое прелестно-доброе выражение лица и сказал мягким голосом: — Ну, так простите старика, что он вспыхнул (Мещерский 2001: 31—32).

Отходчивость выступает своего рода доминантой русского речевого поведения, для которого, как мы видим, характерны резкие переходы от одной тональности общения к другой, ср.:

Матушка до конца жизни сохраняла многое из старинных понятий и взглядов. Одно из главных житейских правил, которым она всегда руководствовалась, состояло в том, чтобы немедленно «обрывать» своих детей, когда кто-нибудь из них... говорил или делал не так, как она находила это нужным... Но, резко оборвав кого-нибудь из нас, она после этого не дулась на нас, не ворчала, а продолжала разговаривать с нами как ни в чем не бывало в самом благодушном тоне (Водовозова 1987, т. 1: 42).

Резкие переходы от одной тональности общения к другой свидетельствуют о том, что «русская душевная жизнь более выражена в своих крайних элементах, чем душевная жизнь западного человека, более закрытая и придавленная нормами цивилизации» [Бердяев 1990: 253].

С эмоциональностью коммуникативного поведения тесно связано осознаваемое или (чаще) не осознаваемое адресантом ощущение или переживание его взаимодействия с миром, прежде всего с окружающими его людьми, которые в этом случае воспринимаются как «свои», «близкие», требующие поддержки, одобрения/неодобрения, воздействия на них и пр. Подобное переживание в русском речевом общении носит интенсивный характер, оно часто приводит к расширению межличностного пространства. Это проявляется в стремлении одного из говорящих сократить «дистанцию», разделяющую коммуникантов, в утверждении своего права вторгаться в личную сферу адресата речи, даже незнакомого, обращаться к нему с советами и др. Такое речевое поведение обычно непонятно иностранцам. Например:

На обратном пути он [Кевин] сетовал на наших старушек: «Почему у вас все советуют, что делать? Идешь, а тебе вслед кричат: «Надень шапку, милоч!» Оборачиваюсь, а там сморщенная такая сидит, я ее первый раз вижу... Почему она считает, что я непременно

должен надеть шапку? Трудно представить, чтобы в Америке прохожие говорили: «Застегни куртку!» или «Зашнуруй ботинки покрепче...»» (Коренева 2002: 286).

В то же время для русского речевого поведения нехарактерны сосредоточенность говорящего на своем «я», самолюбование и самовосхваление. Общим местом в различных воспоминаниях стало признание скромности русского человека, которая неизменно проявляется в процессе общения и предполагает отказ от комплиментов других лиц, утверждения собственных заслуг, большее внимание к адресату, чем адресанту, и др. Нарушение этой национально-культурной традиции — основание для отрицательных оценок собеседников или тех лиц, о которых вспоминает автор, а также повод для нравственного урока, см., например:

Спешишь рассказать ему [М. Щепкину] про себя, что-нибудь хорошее... А он:

— *А я уже сегодня умывался...*

— *Зачем вы это говорите?*

— *Я обязан себя в чистоте держать и не хвастаюсь, а ты хвастаешься. Чем? Ты обязана была так поступить. Разве Бог на гадости тебя создал?... (Шуберт 1990: 257).*

Ср. также:

Я испытал разочарование... Прежде всего, я ощутил, что передо мною сидела персона, совсем убежденная в том, что она необыкновенное по уму существо и что она совсем не как другие (Мещерский 2001: 110);

Оба [Горчаков и Валув] носили в себе культ фразы, оба прежде всего любили себя слушать... Валув любил мерную музыку своих изречений, он к ней прислушивался, как поэт к журчанию ручейка. Князь Горчаков любил потоки, фейерверки своих слов, любил их ураганы, любил их бряцание... Затем оба не любили углубляться в предмет и разбираться в подробностях. И оба не любили этого потому, что такая работа слишком их отдаляла от самослушания (Мещерский 2001: 145).

В автобиографическом тексте увеличение положительных самооценок и тем более их повторяемость воспринимаются как нарушение повествовательной (точнее, этической) нормы жанра. В русской автобиографической прозе выделяются в этом плане

«Записки» декабриста Д. И. Завалишина, которые Ю. М. Лотман назвал «трагическим вариантом» расхождения между «текстом поведения» и «программой поведения на уровне намерений». В тексте «Записок» регулярно используются речевые средства, выражающие высочайшую степень положительной самооценки, которая приобретает гиперболизированный характер: *Я был неутомим и отважен, действовал всесторонне по всем направлениям, во всех сферах...; Устройство дома и хозяйство было у меня образцовое. Все отрасли земледелия, огородничества... скотоводства были доведены у меня до высокой степени совершенства. Народ питал ко мне безусловное доверие... Но не один народ прибегал ко мне. Все начальники, от низших до самых высших — все искали моего совета...* (Записки 1906).

Повторяемость только положительных оценок повествователя создает завершенный и целостный образ «идеального героя» и в то же время делает его недостоверным для адресата текста. Несоблюдение этических законов жанра оборачивается трансформацией образа автора: «исключительность... становится паразитической» [Бахтин 1997: 73], и читатель воспринимает автора как рассказчика, склонного к самообману и непомерному хвастовству.

Другой отличительной чертой русского речевого поведения является последовательное **неприятие пустословия и празднословия**, несмотря на их широкое распространение в быту. Пустословие противопоставляется «словотворчеству» людей, «одержимых мыслями», и определяется как «обсуждение внешних событий, мелкие наблюдения и сплетни» [Голлербах 1998: 338]. В русской речевой культуре XIX века формируется особый тип диалога, почти не допускающего обращения к бытовым, «низко-материальным» темам, см., например:

«Пустых», светских разговоров я почти не слышал; разговоров о еде и тому подобных, практических, домашних вопросах... тоже почти не было. Вести в своей среде такие «terre-a-terre» разговоры считалось в наших семьях унизительным и даже почти неприличным (Трубецкой 1991: 47).

Не случайно диалог, посвященный обсуждению «серьезных», «высоких» вопросов, получил название «русского разговора», ср.:

Американский профессор, русский поэт Игорь Чиннов в одном из своих интервью оказал, что, если вы в Америке заговорите «об умном» вас сочтут сумасшедшим. Приехавший из Англии русский профессор жаловался, что всякая попытка за столом высказать серьезную мысль натывалась на иронию. Французский славист сетовал, что дома ему недостает русских разговоров «после полуночи» (Невзглядова 2002: 158).

См. также: ««Русские разговоры», длительные, за полночь, — типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX — первой четверти XX в.» [Лихачев 1998: 117].

Традиции «русского разговора», как и светской беседы, сложились в русском обществе не сразу. Показательны наблюдения Г. С. Винского, рисующего быт провинциального дворянства конца XVIII века:

Кто бывал допущен в русские искренние беседы и имел возможность делать наблюдения, тот признается, что оные состоят по большей части из повествований. Десять и двенадцать человек обыкновенно слушают одного рассказчика. Вещесловие всегдашнее в деревнях: хозяйство, охоты, путешествия; в городах: то же, с прибавлением городских и столичных новостей. О политических делах говорят мало, но ежели случается собственная война, непрестанно и с неисповедимым пристрастием. При повествовании слушатели одобряют рассказчика взглядами, улыбками, иногда и словами. При рассказываниях ссылки и поверки всегда бывают на бывалых: ни на одну книгу ни один русский не ссылается... В случае возражения подпираются сами собою, родными или близкими, отчего человеку, знающему обхождение и вежливому, крайне затруднительно с ними беседовать (Винский 1914: 129—130).

«Русский разговор» исключает не только бытовые, «практические» темы, но и табуирует ряд слов, которые признаются «неприличными», см., например, наблюдения над речевым поведением русской интеллигенции начала XX века:

*Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исключен из домашнего словаря: **служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалование, женихи и невесты, мужья и жены...** и т. д., и т. п., — всего и не перечислишь, — эти понятия, наравне со многими другими, бы-*

ли, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия — кроме только двух: *деньги* и *жалованье*, почитавшихся безусловно неприличными... Плохое слово, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово — такова градация недопустимого... (Флоренский 1992: 65).

XIX век был веком расцвета и интеллектуального диалога, и светской беседы. Современными же мемуаристами «русский разговор» рассматривается уже скорее как исчезающий тип диалога или как диалог, возможный только в юности, см. мнение Е. Невзглядовой: «Есть такой разговор, особый тип, не то чтобы интимный — это не «разговоры на подушке» (pillow talk), а взволнованный разговор с собеседником, к которому испытываешь интерес и доверие, разговор, требующий не только душевного участия, но и умственного напряжения. Кажется, он вышел из употребления. Люди разговаривают в основном в молодости; такой разговор, как у князя Андрея с Пьером на пароме или у Николенки Иртеньева с Дмитрием Нехлюдовым, случается в ранней юности. А потом — обмен новостями, шуточками и вот — рассказы, дежурный набор которых имеется у каждого опытного человека...» [Невзглядова 2002: 157].

Русское речевое поведение последовательно отражает общественную и семейную иерархию. Авторы воспоминаний постоянно подчеркивают социальную обусловленность речевого поведения коммуникантов, ср.:

Сколько меня сначала удивляло: «не делай своего хорошего, делай мое худое» — обыкновенный русского дворянства ответ на представление своего холопа! ... И смешно, и жалко было смотреть спор незнающей госпожи с невежею поваром. Сия кричит: «У тебя сегодня соус был совсем нехорош». — «Нехорош, сударыня, да чем же?» — «Еще б я знала чем? Нехорош, скверен, тебе говорят; вот я тебя, каналью, научу... Забудешь ты против барыни рот разевать». Счастлив, когда таковые беседы угрозами кончатся.

Закон, запрещающий дворянским людям ни в каком случае не иметь голоса против своих господ, делает их истинными безответными скотами, покорность коих посему дальше всякия вероятности, как и зверство их властелинов (Винский 1914: 116—117).

На протяжении веков для участников коммуникации релевантен учет таких признаков, как «старший — младший», «вышестоящий — нижестоящий», «свой — чужой», см., например:

Для нового поколения стоит, пожалуй, отметить то, что нам представлялось совершенно естественным и не могло быть иначе: всем старикам кучерам, буфетчикам и даже дворецкому Осипу мы говорили «ты». «Ты» же мы говорили всем крестьянам и вообще «просто-му народу». Нам говорили «Вы» (Трубецкой 1991: 25);

Александр Сергеевич доставил моему отцу место, и потому считался благодетелем...

Он говорил отцу: ты. Отец говорил ему: вы. Тон их разговора был следующий: «Послушай, Иван Ильич.» — «Что прикажете, братец?» (Танеев 1959: 72).

Как показывает рассмотрение автобиографических и мемуарных текстов, жесткая социальная иерархия и особенности общественного строя России в разные периоды ее развития определили ряд негативных особенностей речевого поведения как вышестоящих, так и нижестоящих, которые приобрели весьма распространенный характер и являются отступлениями от этических норм общения. Это частое отсутствие толерантного взаимодействия разных по социальному положению коммуникантов и использование ими дисгармоничных коммуникативных стратегий. В первом случае (у вышестоящих) это проявляется в административной, чиновничьей агрессивности (осознанной или неосознанной), в обращении к стратегии дискредитации позиции другого, категоричности оценок, грубости или недопустимой фамильярности, во втором случае (нижестоящие) — в подбострастии, самоуничтожении и соответственно неискренности в общении. Например:

Он [директор] был свиреп и презрителен с воспитанниками, но до последней степени низок перед высшими и способен подличать перед ними. Так обыкновенно бывает (Танеев 1959: 157);

[Строганов] рассыпался в похвалах... чиновнику и кончил панегирик так: «Что это за человек! Бывало, начну с ним спорить, указывать ему — не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек, крепкий в своих убеждениях!» Такой взгляд всего резче выдавался оттого, что в наше время у генералов военных и статских подчиненный

мог выиграть только лестью, поддакиванием, самоуничижением (Соловьев 1995: 546);

[Филарет] (святой во мнении московских барынь) позабывал всякое приличие, не знал меры в выражениях своего гнева на бедного, трепещущего священника или дьякона при самом ничтожном проступке... Это не была только вспыльчивость — тут была злость, постоянное желание обидеть, уколоть человека в самое чувствительное место... Появится живая мысль у профессора в преподавании — Филарет... публично позорит его на экзамене. «Это что за нелепость! Дурак!» — кричит он ему. Несчастный кланяется (Соловьев 1996: 538—539);

Мне случалось раз заметить одному крутому начальнику, что его не будут уважать подчиненные, а он мне ответил: «А мне все равно, лишь бы меня боялись». И все русские сто тысяч маленьких самодержавий, да и все остальные русские отношения стояли на фундаменте из этого дикого камня. Чувство страха — вот все, чем они располагали и чем они управляли... Когда же все общественные связи основаны только на страхе и страх наконец исчезает, тогда ничего не остается, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров (Щелгунов 1967: 78).

Дисгармоничность общения столь же часто проявлялась в семейном быту, где четко детерминировалось речевое поведение младшего; см., например:

В своем семействе отец считал себя непогрешимым... От отца я слышал одно: «Без рассуждений, *je vous ordonne*» (Танеев 1959: 73);

...Идеи Домостроя еще не совсем исчезли в русском обществе в первой половине XIX столетия... Отец тотчас же строго заметил дочери, что она должна целовать у матери только руку, а не вешаться ей на шею, как на «подружку-милушку», говорить ей всегда «вы»... Он [отец]... начал обрывать ее каждый раз, когда она живо заговаривала с ним о чем-нибудь, наставительно и торжественно внушал ей, что она обязана видеть в нем только отца... и что почему-то для нее неприлично трещать с ним, как трещотка: она должна лишь почтительно и благопристойно обращаться к нему» (Водовозова 1987, т. 1: 37—38);

Подобающее уважение к летам имело место и между братьями и сестрами, ибо младшие говорили старшим непременно «вы», адре-

суя речи между собой, и «они» или «оне», когда говорили о старших себя. Я распространяюсь насчет этих подробностей, потому что они характеризуют ту эпоху, к которой надо относить эти записки мои, то есть к последним годам царствования императора Александра I (Сабанеева 1996: 403).

История коммуникативного поведения в России есть в известном смысле ослабление жесткости отмеченных противопоставлений, что проявилось прежде всего в семейном общении. Показательны наблюдения Н. В. Шелгунова:

Когда я был маленьким, нас учили говорить: «папенька», «маменька» и «вы»; потом стали говорить: «папа», «мама» и тоже «вы», в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы, и сами отцы учили детей говорить: «отец», «мать», «ты». Теперь говорят: «папа», «мама» и тоже «ты». Вот краткая, наглядная история вопроса об отцах и детях за шестьдесят лет (Шелгунов 1967: 140).

См. также:

Мы писали дедушке по-русски и, кроме того, говорили ему «ты», в то время как его собственные дети говорили ему «Вы» (Трубецкой 1991: 24).

В мемуарно-автобиографической прозе ярко отразилась историческая изменчивость норм коммуникативного поведения. Так, например, XVIII век характеризуется авторами воспоминаний как время активного взаимодействия национальных и западноевропейских традиций речевого общения, см., например:

Из предания обеих земель составили... себе благороднейший характер аристократии, смешав гостеприимство русской старины с образованностью времен просвещеннейших (Вигель 2000: 80).

Рождение новых ситуативных (прежде всего возрастных) норм в 60-е годы XIX века зафиксировано в многочисленных воспоминаниях шестидесятников; см., в частности, своеобразный «кодекс» речевого поведения молодежи тех лет в воспоминаниях Е. Н. Водозовой «На заре»:

Отношения между знакомыми были душевные, родственные, без тени светскости и фальши. Принято было все говорить друг другу прямо в глаза. Правда, некоторые злоупотребляли этим, доходили до ненужной фамильярности, навязчивости и бесцеремонности,

но ведь все, что вводится и появляется нового, никогда почти не обходится без утрировки... Молодежь называла друг друга только по фамилиям, случалось, даже каким-нибудь прозвищем, и лишь людей постарше величали по имени и по отчеству (Водовозова 1987, т. 2: 35—37).

Другой особенностью речевого поведения шестидесятников было, по замечанию мемуаристки, то, что молодежь «выражалась искусственно, в приподнятом, тоне, уснащала речь прописными истинами... Кажется, даже температура крови того времени была повышена» (Водовозова 1987, т. 2: 30).

Ср: Стремление учиться и поучать других было всеобщим и сказывалось даже на самых веселых... вечеринках (Водовозова 1987, т. 2: 34).

Изменение коммуникативных норм в XIX—XX веках, как показывает анализ автобиографической прозы, шло по пути упрощения форм бытового повседневного общения, при этом каждое новое изменение сопровождалось тенденцией к некоторому усилению грубости речи и разрушению вербально-коммуникативных ритуалов, что проявлялось прежде всего в речи молодежи. Так, нарочитая грубость шестидесятников XIX века была реакцией на высокую степень ритуальности светского этикета и учтивость манер, казавшуюся уже полупустой формой, см., например:

И в Берне, и... в Базеле... русская коммуна ... отличалась озорством жаргона, кличек, прозвищ и тона. Все это были «Иваны, «Соньки», «Машки» и «Грушки», а фамилий и имен с отчеством не употреблялось. Мне случилось раз ехать с ними в одном вагоне в Швейцарии... Они не только перекликались такими «уничижительными» именами, но нарочно при мне пускали такие фразы:

- Ты груши слопала все? — спрашивала Сонька Машку.
- Нет, еще ни одной не трескала.

Это был своего рода спорт «опрощения» (Боборыкин 1965: 19).

Вторая волна грубости приходится на 20—30-е годы XX века. После Октябрьской революции 1917 года грубость речи была отчасти намеренной борьбой с «буржуазным лицемерием», «буржуазной культурой». Активное же насаждение образа врага, обнажившее в общении оппозицию «свой — чужой», разрушение системы этикетных средств обращения способствовали, с одной стороны,

максимальному распространению нетолерантного речевого поведения, с другой — обезличивающей унификации адресации, см., например, воспоминания Д. С. Лихачева:

Когда в 1918 году всюду стали говорить друг другу вместо «господин», «госпожа»... — «товарищ». Это производило такое впечатление:

А. Амикошонство. Человек, обращавшийся к незнакомому «товарищ», казался набивающимся в друзья, в собутельники. Часто отвечали: «Гусь свинье не товарищ!»...

Б. Поражало в этом обращении и то, что женщины и мужчины не различались. К женщинам тоже обращались «товарищ» (теперь этого нет, и все женщины стали «девушками»).

Постепенно, к концу 20-х годов, к обращению «товарищ» привыкли... Но вот начались сталинские чистки ... и вот в какую-то неделю не помню какого года жители стали внезапно замечать, что милиционеры, кондукторы, почтовые служащие прекратили говорить слово «товарищ» и стали обращаться «гражданин» и «гражданка». А эти слова носили отпечаток отчужденности, крайней официально-сти... И это обращение, по существу новое ... стало заполнять улицы, официальную жизнь, создало атмосферу. Каждый человек оказался подозрительным... в слове «гражданин» ... мерещилась тюрьма» (Лихачев 1989: 429—431).

Развитию форм толерантного речевого поведения способствовали также различные формы «принудительного соединения людей», например очереди. Интересны в связи с этим наблюдения Л. Я. Гинзбург: «Очередь — принудительное соединение людей, друг против друга раздраженных и в то же время сосредоточенных на общем едином круге интересов и целей. Отсюда эта смесь соперничества, вражды и чувства коллектива, ежеминутной готовности сомкнуть ряды против общего врага — правонарушителя» [Гинзбург 1987: 364]. В результате серьезный удар был нанесен по национально-культурным традициям русского речевого поведения, предполагающим доброжелательность и искренность общения.

В конце XX века возникает новая волна грубости и иронического снижения тональности речи, которая стала и своеобразной реакцией на официоз советского периода, и проявлением ложного понимания свободы.

Таким образом, русское речевое поведение исторически изменчиво. В то же время в нем, как показывает анализ автобиографических текстов, сохраняется ряд устойчивых признаков, которые формируют национально-культурные традиции общения. Эти традиции требуют детального изучения на основе привлечения исторических свидетельств и мемуаров, относящихся к разным историческим периодам.

ИСТОЧНИКИ

- Боборыкин П. Д.* Воспоминания. — М., 1965. — Т. 2.
- Болотов А. Т.* Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. — М., 1986.
- Вигель Ф.* Записки. — М., 2000.
- Винский.* Мое время. — СПб., 1914.
- Водовозова Е.* На заре жизни. — Т. 1, 2. — М., 1987.
- Герцен А. И.* Былое и думы / Герцен А. И. Собрание сочинений: В 9 т. — Т. 5. — М., 1956.
- Гинзбург Л. Я.* Записки блокадного человека // Литература в поисках реальности. — Л., 1987.
- Голлербах Э.* Встречи и впечатления. — СПб., 1998.
- Головина В. И.* Мемуары // История жизни благородной женщины. — М., 1996.
- Дмитриев М.* Главы из воспоминаний моей жизни. — М., 1998.
- Дурылин С.* В своем углу. — М., 1991.
- Записки декабриста Д. И. Завалишина. — СПб., 1906.
- Коренева Е.* Идиотка. — М., 2002.
- Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. — М., 2002.
- Лихачев Д. С.* Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. — Л., 1989.
- Мещерский В. П.* Воспоминания. — М., 2001.
- Невзглядова Е.* Разговоры с Л. Я. Гинзбург//Звезда. — 2002. — № 3.
- Панаев И. И.* Воспоминания. — М., 1950.
- Сабанеева Е. А.* Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. — М., 1986.
- Соллогуб В.* Повести. Воспоминания. — Л., 1988.

Соловьев С. М. Мои записки // Соловьев С. М. Сочинения. — Кн. 18. — М., 1995.

Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. — М., 1959.

Трубецкой С. Е. Минувшее. — М., 1991.

Флоренский П. А. Детям моим: Воспом. — М., 1992.

Шелгунов Н. П. Из прошлого и настоящего // Шелгунов Н. П., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. — Т. 1. — М., 1967.

Шуберт А. И. Моя жизнь // Судьба таланта. — М., 1990.

ЭТНОСТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Л. П. Крысин

Этностереотип понимается как стандартное представление, имеющееся у большинства людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или в собственный этнос (естественно, возможны и другие толкования этого термина)*.

Изучение этностереотипов — часть более общей проблемы, которую условно можно обозначить как «стереотипы сознания и их языковое выражение». Выделяют стереотипы возраста (см. статью Г. Е. Крейдлина с тем же названием [Крейдлин 1996]), стереотипы, связанные с различиями людей по полу (они изучаются в рамках так называемой гендерной лингвистики), стереотипные представления об исполнении тех или иных социальных ролей и о характеристиках таких ролей (например, ролей учителя, судьи, врача, продавца, пассажира и т. п.) и многие другие. В той или

* Как кажется, понятие этностереотипа перекликается с понятием коннотации, определяемым как стандартная, устойчивая ассоциация, которую вызывает в языковом сознании носителей языка употребление того или иного слова в данном значении (например, употребление слова осел в его прямом значении у носителей русского языка вызывает ассоциацию с такими свойствами, как тупость и упрямство); определение понятия «коннотация» и типологию коннотативных смыслов см. в работах: [Иорданская, Мельчук 1980; Апресян 1995].

иной форме подобные стереотипы получают языковое выражение — в виде слов, словосочетаний, фразеологически или синтаксически обусловленных конструкций и т. п., которые, как это вполне очевидно, должны получать определенную лингвистическую интерпретацию.

Этностереотипы — одна из разновидностей стереотипов сознания.

В современной этнографии, культурологии и социальной психологии тема этностереотипов весьма популярна. Однако в лингвистике она изучена недостаточно. Одна из первоначальных задач такого изучения — отделить лингвистический аспект темы от всех остальных, понять, что в этой проблематике заведомо не относится к компетенции языковедов. Например, вопрос о том, насколько соответствует тот или иной стереотип реальным свойствам представителей данного этноса, находится, по-видимому, вне сферы лингвистики и ее интересов.

В чем состоит лингвистический аспект изучения этностереотипов? Прояснению ответа на этот вопрос, возможно, поможет рассмотрение двух связанных друг с другом подходов.

Во-первых, важно понять, какие сферы жизни того или иного народа, личностные свойства людей, составляющих его, их интеллектуальные, психические, антропологические особенности становятся объектами оценок и. Очевидно, что это разного рода *отличия*, то, что «не похоже», что *выделяет* данную национальную культуру среди других. Повторяемость отрицательных или положительных оценок, их массовость (среди представителей данного этноса) и устойчивость во времени — условия формирования этностереотипов. Объектами оценки, в частности, могут быть национальные традиции и обычаи, модели повседневного поведения, черты национального характера, особенности анатомии, физических движений, походки, речи и многое другое. Ср. стереотипное представление о грузинах, запечатленное в современных русских анекдотах: «Это человек заметный, шумный, пестро, часто безвкусно, но всегда «богато» одетый. Больше всего на свете грузин озабочен тем, что у него чего-то нет, он очень любит прихвастнуть, показать свое реальное или мнимое богатство... Грузины в русских анекдотах — люди гостеприимные, любящие компанию, застолье,

тосты; щедрые, иногда слишком щедрые... Грузины преувеличенно мужественны, но при этом отношение к женщине у них «восточное», как к низшему существу...» [Шмелева, Шмелев 199: 163].

Во-вторых, необходимо выделить языковые единицы — слова, фразеологизмы, синтаксические конструкции, которые можно интерпретировать как средства обозначения этнических стереотипов.

Это могут быть:

— слова, в свернутой форме содержащие в своих значениях оценку свойств типичного представителя другого этноса; таковы, например: жаргонное *чурка* — о жителе Средней Азии, в основе лежит представление о нем как о непонятливом и даже тупом, хотя в действительности он просто плохо понимает русский язык; значение просторечного глагола *выцыганить* «получить что-либо у другого лица в результате настойчивых, надоедливых просьб» основывается на пресуппозиции, согласно которой цыгане умеют добиваться своего именно путем таких просьб; диалектно-просторечное *жидиться* «скупиться, жадничать», образованное от существительного *жид* в его бранном значении «скупой, как скупы все евреи»; и др.;

— атрибутивные словосочетания, где определение — прилагательное, образованное от этнонима, а определяемое — имя какого-либо свойства человека: *американская деловитость, английская чопорность, немецкая аккуратность <дотошность>, русский размах* и т. п.;

— генитивные словосочетания, где в позиции подчиненного генитива — этноним, а в позиции синтаксического хозяина — имя какого-либо человеческого свойства: *Он добивается своего с упорством китайца*;

— сравнительные обороты: *точен, как немец; холоден, как англичанин; молчалив, как финн*; и т. п. (интересно изучить разное лексическое наполнение этой сравнительной конструкции: первый компарат — имя свойства, второй компарат — этноним, ср. работы Ю. А. Сорокина, например: [Сорокин 1977]); для выявления национально обусловленных различий в такого рода сравнительных конструкциях возможен (и он реально применяется) устный опрос или письменное анкетирование информантов;

— фразеологизмы: *уйти по-английски*; ср. в английском языке выражение *French Leave* «уход без прощания» (буквально: «уход по-французски») [НБАРС: 818];

— пословицы, поговорки, включающие этнонимы и эксплицитно или имплицитно указывающие на какие-либо свойства представителей соответствующей национальности: *Что русскому хорошо, немцу — смерть; Незванный гость хуже татарина*; и др.

Материал для лингвистического анализа этностереотипов могут давать анекдоты, которые часто эксплуатируют расхожие представления о том или ином этносе или какой-либо его группе в качестве сюжетообразующих компонентов. Ср., например, анекдоты о габровцах, построенные на представлении о жителях этого болгарского города как о необычайно скупых и экономных людях. Задача лингвистического анализа — выявить способы и средства, которыми передается информация об этих свойствах габровцев. Интересен также вопрос о характерных приметах речи представителей того или иного этноса: обращение *кацо* у грузин — героев анекдотов, однако — у чукчей, грассирующее [р] и частица *-таки* — в анекдотах про евреев и т. п. (см. об этом: [Шмелева, Шмелев 1999]).

Для языкового выражения этностереотипов характерны о б о б щ е н и е и г и п е р б о л и з а ц и я тех или иных свойств. Этой цели служат, в частности, кванторные слова: *все* (*Все чехи любят пиво; Все русские бабы — толстые*); *всегда* (*Немец всегда пунктуален*); *никогда* (*Англичане никогда не поступятся вековыми традициями ради сомнительных новшеств современной цивилизации*); *каждый* (*Каждый азиат — многоженец; У каждого американца есть автомобиль, а то и два*); *любой* (*У бразильцев любой ребенок играет в футбол лучше нашего мастера*)* и т. п.

Интересны также модальные наречия типа просто, прямо, прямо-таки, усилительные частицы типа даже, оценочные прилагательные настоящий, истинный, подлинный и некоторые другие, употребляющиеся в контексте сравнения свойств того или иного лица со свойствами представителя «эталонного» в этом отношении этноса: *Ну и аккуратист! Просто немец какой-то <просто настоящий немец>!*; *Ты прямо цыган: умеешь выпрашивать, что тебе надо; Тут даже финн разговорится* (имеется в виду ситуация, когда способен разговориться и тот, кто обычно молчит) и т. п.

* О гиперболе в русской разговорной речи см.: [Крысин 1988].

Заслуживают исследовательского внимания случаи переносного употребления некоторых этнонимов или слов, обозначающих представителей какой-либо расы, например слово *негр* в русской разговорной речи употребляется в значении «человек, который тяжело и не имея никаких прав работает на другого» (*Нашел себе негра: ишачь на него, а он будет деньги огребать.**). Переносные значения имеют и некоторые прилагательные, образованные либо от этнонимов, либо от имен стран и материков; ср.: *азиат* в значении «некультурный, грубый человек», *азиатский* «дикий, грубый»** (ср. также производное *азиатчина*), употребление слов *африканский*, *китайский* в составе устойчивых оборотов *африканские страсти*, *китайская грамота*, *китайские церемонии* и др. В основе подобных переносных употреблений, как это вполне очевидно, — определенные представления об эмоциональном мире, менталитете, культурных традициях тех или иных народов.

Исследователь этностереотипов не может пройти и мимо своеобразных и м п л и к а т у р, которые в неявно выраженном виде содержат те или иные мнения об определенном этносе и о характерных свойствах его представителей. Ср. высказывания типа: *Катя вышла замуж. Муж ее еврей, но человек хороший; Он русский, но не пьет* (пример из кн.: [Zybatov 1995]).

Следующий шаг на пути лингвистического анализа этностереотипов — установление того, каким образом отображаются стереотипные представления об этносе в значениях языковых единиц.

* Это значение слова негр в русском языке сравнительно новое. Ни в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, ни в более поздних Большом и Малом академических словарях, в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова оно не зафиксировано. По-видимому, первая его регистрация — в словаре [Ожегов, Шведова 1992], где оно приведено с пометой «перен.»; в работе [Крысин 1998] оно снабжено, кроме того, пометой «разг.».

** В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова это значение указано как устаревшее, а слово азиат в значении «некультурный, грубый человек» снабжено таким комментарием: «...возникло на почве высокомерно-пренебрежительного отношения европейцев к колониальным народам» [Ушаков 1935: 18]. Такое осмысление слов азиат, азиатский не уникально для русского языка: ср., например, английское существительное *Asiatic* «азиат», которое в [НБАРС: 148] сопровождается пометой: «часто пренебр.»; в американском сленге употребительно прилагательное *Asiatic* в значении «дикий, необузданный, эксцентричный» [APCASC:15].

Если это слова, то естественно задаться вопросом: в какой части лексического значения помещается эта информация — в ассерции, в пресуппозиции или в оценочной части? Ответ на этот вопрос можно получить, лишь истолковав значения имен этностереотипов, а также выявив коннотации, которыми сопровождается у говорящих — представителей данной этнической общности употребление языковых единиц, так или иначе связанных с представлениями о другом этносе, — например, таких этнонимов, как *француз*, *немец*, *англичанин*, *чукча*, *еврей*, *татарин* и т. п.; кличек и прозвищ (часто обидного, иногда — шутливового характера), которые даются представителям тех или иных этносов: *макаронники* — об итальянцах, *чернота*, *чернорожие*, *черножопые* — о жителях Кавказа на неисконных (преимущественно российских) территориях их проживания, *саранча* — о китайцах, незаконно проникающих на территорию Дальнего Востока и Юго-Восточной Сибири, и др.

Такого рода коннотации могут быть обусловлены не только этнически, но и социально: внутри одного этноса употребление одних и тех же этнонимов нередко сопровождается разными дополнительными смыслами. Отсюда мостик к еще одной теме, связанной с данной, — социальным стереотипам, или с о ц и о с т е р е о т и п а м, и лингвистическому аспекту их изучения.

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЧЕХОВСКОЙ РОССИИ

О. Йокояма

Для рассмотрения предлагается фрагмент языковой картины русского мира конца XIX века, дающий представление о том, как русские относились к нерусским, проживающим на территории Российской империи. В качестве материала мы взяли лексику рас-

сказов А. П. Чехова*. Использование литературных произведений в качестве источника лингвистических данных нуждается в оговорке. Лексика Чехова — это, конечно, не то же, что лексикон русского языка. Словарь языка любого автора является результатом художественного отбора. Он определяется теми голосами, которые представлены на страницах произведений, включая и голос(а) повествователя. Следовательно, репродуцированная языковая картина мира, складывающаяся из словаря одного автора, не является копией общеязыковой картины мира. Все же, думается, что для метода наших изысканий есть некоторые основания и прецеденты, ведь и академические словари составляются по картотекам литературных данных, а словари мертвых языков, составленные подчас на весьма ограниченном материале, дают нам представление, пусть неполное, о картине мира тех сообществ, которые говорили на этих языках. В чеховской энциклопедии нравов нашла отражение Россия его времени: народности, вероисповедания, «подкультуры». Только на страницах его рассказов** представлено более тридцати народностей — чаще мельком, но иногда и «в главных ролях». В рассказах описываются их наружность, речь, поведение, психология, общение с русскими, описываются также и речь, обращенная к ним, референтные выражения, относящиеся к ним, оценка их личности и поведения русскими, отношение к ним русских разного общественного положения, класса и склада ума.

Внимательный разбор произведений Чехова, фокусирующийся на нерусских и на межкультурных отношениях с ними, дает чрезвычайно богатый материал, разнообразие и художественная убедительность которого оправдывают его использование в целях нашего изыскания***. Мы не претендуем на полноту языковой картины межэтнических отношений и стереотипов, но думается, что наш

* Использовалось издание: Чехов А. П. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1—6. М., 1970. Подсчет лексики производился вручную.

** В число рассмотренных нами 334 рассказов 1880—1903 годов не входит этнографический очерк «Сахалин».

*** Обратиться именно к Чехову меня побудили также и соображения личного характера. Мой дед, из государственных крестьян Вятской губернии, был сверстником Чехова. Придя пешком в Тюмень в 70-х годов XIX века, к началу XX столетия он из мальчика на побегушках стал купцом 1-й гильдии, одним из крупнейших торго-

отчет основывается на достаточно представительных данных и что дальнейшие исследования литературы чеховского времени дополнят, но не опровергнут обрисованные нами положения.

Мы опишем лексику и другие средства, группирующиеся вокруг определенной сферы персонажей — от этнонимов до описаний их личности, языка, занятий. Мы обратимся также к вопросу толерантности в межкультурном общении героев Чехова и сделаем некоторые предварительные выводы о семантических компонентах этого концепта на русской почве.

В нашем материале упоминается около сорока народностей*, не считая их обобщенных наименований типа *азиаты*** или названий групп по вероисповеданию типа *католики* (сюда же следует отнести и наименование *неверующие*, а также «диахроническое» *выкрест****). Наиболее подробно описываемая и часто упоминаемая народность — *евреи*. За ними следуют *татары*, *немцы*, *поляки*, *украинцы*, *французы*, *армяне*, *грузины*.

Особо отметим явление ошибочной, так сказать, «народной» этнографии. Портной Меркулов («Капитанский мундир»), например, называет персидского консула *татарин*ом, а рядовой Гусев («Гусев») говорит: «...скажем, *крещеный упал бы сейчас в воду — упал бы и я*

промышленных деятелей Западной Сибири. Детям своим, воспитывавшимся уже гувернерами и гувернантками, он говорил: «Не важно, кто: русский, татарин, еврей, вотяк, черемис, чуваш. Важно, чтоб был хороший человек, а хорошие люди есть везде, у всех, и плохие тоже». Слыша не раз эти слова от матери, я долго считала такое отношение к людям всех народностей нормой. Только став взрослой, я поняла, что толерантность моего деда (кстати, очень верующего православного человека) далеко не была нормой. В то самое время, когда дед учил своих детей искать хорошее и в чуваше и в еврее, шли еврейские погромы, вятичи говорили: «Мордва и чуваша — люди не наши», а мордовки, в свою очередь, пугали детей: «Спи, а то рузний (то есть русский) в окно смотрит». Свидетельства писателя как сверстника моего деда, сына бывшего крепостного, умного и тонкого наблюдателя жизни, великого художника эпохи о том, какие отношения он наблюдал в России, представляют для меня большой интерес и по этой причине.

* А именно: абхазцы, австрийцы, американцы, англичане, армяне, афганцы, буяры, венгры, греки, грузины, евреи, египтяне (жители Каира), зулусы, итальянцы, калмыки, китайцы, мавры, немцы, остзейцы, персы, печенеги, половцы, поляки, русские, сирийцы (жители Сирии), татары, турки, украинцы, французы, цыгане, черкесы, черногорцы, чехи, чухонцы, шведы, якуты, японцы.

** А также: европейцы, иностранцы, инородцы, кавказцы, славяне.

*** А также: иудеи, молоканы, мусульмане, православные, раскольники, староверы, хлысты, христиане.

за ним. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы». Недалека от Гусева и отдохавшая в Ялте дамочка («Длинный язык»), уверяющая мужа, что она не обратила внимания на татар и вообще *«всегда ... чувствовала предубеждение ко всем этим черкесам, грекам... маврам...»*. Неразличение разных категорий «чужих» — явление, широко распространенное в мире. «Чужие» делятся обычно далее по признакам, приписываемым им говорящими. Такая классификация не нуждается в объективности. Она сообщает не о реалиях внешнего мира, а о когнитивном мире говорящего. Если, исходя из их нерусскости (или неславянскости), упомянутый рядовой Гусев ошибочно считает немцев и китайцев некрещеными, то этим ошибочным обобщением определяется его поведение, и ни немец, ни китаец не будут им спасены. Если та же дамочка считает маврами татар, черкесов и греков, а для портного перс — татарин, то они объединяют в одно нерусских смуглых людей с черными глазами, и тот факт, что татары — не мавры, а персы — не татары, дела не меняет.

Как сливаются в одно чужие лица, так сливается в сплошной гул и чужая, непонятная речь. К примеру, речь евреев между собой русские воспринимают нерасчлененно: *гал-гал-гал-гал* или *ту-ту-ту-ту* («Степь»). Языки, которыми хотели бы владеть некоторые русские — это немецкий, французский и английский. Герои Чехова владеют ими, однако, весьма посредственно, подчас смешивая их, когда приходится объясняться на том или другом из этих языков. Плачевные попытки русских говорить по-английски или по-немецки сопровождаются фразами вроде *чертова кукла* («Дочь Альбиона»), *дура вы* («Нервы»). В своей империи русские привыкли к тому, что другие учатся говорить по-русски. Поэтому для них англичанка-гувернантка, за десять лет жизни в России не научившаяся говорить по-русски, «дурища». Но если некоторым русским знание живых и мертвых европейских языков кажется престижным, то языков народностей Российской империи уже никто из них учить не станет. Коверканный русский язык, с ошибками, с акцентом, позволяет его носителям испытывать чувство своего превосходства перед инородцами. Проявление такого подсознательного превосходства описано Чеховым в рассказе «Дуэль». В нем, разговаривая с хорошо говорящим по-русски

татаринном, молодой дьякон коверкает русскую речь, полагая, что тот «скорее поймет его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке»:

— *Ходил духан, пил чай... Мой хочет кушать.*

— *Иди-иди, поп. Все дам. И сыр есть, и вино есть. Кушай, чего хочешь.*

Ничто, пожалуй, так не выдает подсознательные комплексы и чувство превосходства, как выбор языка при коммуникации с носителями другого языка. Например, доктор Рагин («Палата № 6») злился на варшавских лакеев за то, что те «упорно отказывались понимать по-русски». Лакеи и действительно, скорее всего притворялись, что не понимают русскую речь, позволяя себе роскошь неприятия русского господства, которая была невозможна для поляков, проживающих в самой России. Так, управляющий Ржевский («Барыня») старался не делать ударения на предпоследнем слоге, сознательно избегая перенесения польской акцентуации на русский язык. Право выбирать языковой код, на котором строится коммуникация, — право сильного, а отказ повиноваться выбору — утверждение собственного национального достоинства.

Редкое упоминание нерусского у Чехова не содержит в себе оценки или по крайней мере не отсылает читателя к стереотипу, внешнему или поведенческому. Англичанка — *высокая, тонкая и презрительно глядящая* («Дочь Альбиона»); француз — *маленький, патриот и душится* («На чужбине»); поляки — *интересные брюнеты* («Степь»); евреи — *кудрявые, черномазые и картавят* («Знакомый мужчина»); немцы — *честные и сентиментальные* («Учитель»)*. Стереотипичны и их занятия: поляки — управляющие, аристократы, учителя, врачи; евреи — торговцы, кабатчики, музыканты, аптекари, врачи, портные; немцы — управляющие, ученые, колонисты; татары — кучера, половые.

В сексуальном отношении украинцы и украинки у Чехова привлекательны — *с черными «хохлацкими» глазами, певучей речью, эмоциональным темпераментом* («Огни»). Высокомерные поляки умеют привлекать к себе русских женщин («Барыня»). О польках же

* В скобках дается название только одного рассказа из многих, где встречаются приведенные здесь или похожие по смыслу описания.

полковник Петр Иванович («То была она!»), по его собственному признанию, *вырывавший жидам пейсы, бьющий шляхтичей по мордам и продававший жидам и панам бракованных лошадей*, говорит, что *нет горячей женщин, как панночки*. Стереотип очаровательной польки свойствен картине мира не одного полковника: графиней Драницкой («Степь») очарованы и Егорушка, и сопровождающие его старики, и хозяин гостиного двора Моисей Моисеич. Татар-проводников с *черными-пречерными, как уголь, глазами* русские барыни в Крыму находят неотразимыми («Длинный язык»). Евреи с точки зрения сексуальной привлекательности не описываются. Исключение представляет Сусанна Моисеевна Ротштейн («Тина») — *стройная и неотразимая «царица Тамара»*, как называет ее обманутый ею поручик Сокольский.

Стереотипичные пресуппозиции выявляются объединением разных национальностей в ряды, или дизъюнкции. В отличие от описания конкретных референтов во всех таких случаях мы имеем дело со стереотипами в наиболее чистом виде. Группы объединяются по какому-либо, часто эксплицитно не выраженному, признаку. Поручик Климов («Тиф») считает, что чухонцы и греки — *противный народ*. Своего спутника по купе он сначала счел *чухонцем или шведом*, ассоциация же чухонцев с греками возникла у него в уме только тогда, когда этот *чухонец или швед* стал его раздражать. Тогда для сравнения хотел он думать о *французах и итальянцах*, так как, по-видимому, это сочетание должно было вызвать у него более приятные чувства. Если дизъюнкция *чухонец или швед* была обусловлена объективно наружностью спутника, его акцентом и тем, что он едет из Петербурга в Москву, то объединение чухонцев и греков в класс *противных, лишних, ни к чему не нужных* имеет уже другие основания. Тут сказывается высокомерие по отношению к меньшинствам, проживающим на окраинах империи. С другой стороны, французов с итальянцами связывает в сознании поручика Климова их приятность, европейскость. Другого вида европейскостью объединяются *французский и немецкий* — языки культуры и науки, от незнания которых втайне страдает окончивший университет со степенью кандидата Воротов («Дорогие уроки»). Даже обер-кондуктор Стычкин («Хороший конец») находит приятным, *если жена по-*

французски и по-немецки говорит. По признаку обижаемых людей объединяются бывшей горничной Ольгой («Мужики») *простые люди, немцы, цыгане и евреи*.

Указание на нерусскость чаще всего дается эксплицитно: *француз-гувернер, немцы-колонисты, портные-евреи, кучер-татарин*, но встречаются и косвенные указания: *мадам Дуду, Феликс Адамович Ржевецкий, еврейский акцент*. Порядок, в который выстраиваются оппозиционные наименования, определяется, по-видимому, степенью ощущения чужести: более близкие, «свои» инородцы, прежде всего портные или кучера, и только затем уже евреи или татары; европейцы же в первую очередь французы или немцы, а потом уже гувернеры или колонисты. При более отчужденном *жид*, однако, порядок меняется: *жид-кабатчик, жид-буфетчик*. Впрочем, с уверенностью утверждать, что иконичность сложных наименований такого типа в русском языке надо понимать именно как отражение некой когнитивной иерархии, можно будет лишь после специального анализа.

Неофициальные этнонимы, прозвища применяются в рассказах Чехова лишь к славянам, евреям и китайцам. Украинцев почти всегда называют хохлами, поляков — иногда *ляхами* или *шляхтичами*, евреев — часто *жидами*, а китайцев — иногда *манзами**. Первое наименование явно не воспринимается как обидное: учитель Коваленко («Человек в футляре»), *из хохлов*, сам говорит: «*Уеду к себе на хутор хохлят учить*». Сестра его объясняет русскому собеседнику, Беликову: «*У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки шинками...*» Сам Беликов, однако, желая сделать ей приятное, говорит: «*Малороссийский язык своею нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий*». *Ляхи* и *шляхтичи* встречаются в отрицательных контекстах: тем, что *от ляха иного и ждать нельзя*, объясняет нечестность управляющего-поляка о. Христофор («Степь»).

Наиболее сложно и тонко у Чехова распределены наименования *еврей* и *жид*. Тут необходимо различать разные типы повествования: прямую, несобственно прямую и косвенную речь геро-

* Финнов называют у Чехова только чухонцами, так что это наименование не приходится считать прозвищем для данного корпуса единиц.

ев и речь всеведущего повествователя, встающего на точку зрения своих героев, или речь повествователя, сохраняющего свою собственную точку зрения*. В повествовании с точки зрения того или иного действующего лица разница между народом и людьми образованными очень четкая. Из прямой речи низших, необразованных классов можно заключить, что другого наименования, кроме *жид*, для евреев они не знают. Возница («Шило в мешке») рассказывает, как он вез *жида-буфетчика*, к которому обращался «*ваши жидовское благородие*». В несобственно прямой речи и в нарративе всеведущего повествователя, подаваемом с точки зрения действующего лица из народа, то же употребление: гробовщик Яков иногда играет на скрипке в *жидовском оркестре*, где *этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно* («Скрипка Ротшильда»). В сложных случаях, где слышится чеховский дуэт субъекта восприятия и субъекта повествования, выбор наименования определяется субъектом восприятия: *Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, в коричневом платье с оборками, привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро. <...> И Дюдя в это время кричал из окошка: — Софья, возьми с жидовки за водопой копейку!*

Речь людей имущих в отношении употребления слов *еврей* и *жид* представляет более сложную картину. Четкая оппозиция двух голосов — необразованного и образованного человека — видна из сопоставления прямой речи старухи, матери спившегося писца: *...мне время идти к жидам полы мыть* — и последующего пояснения от интеллигентного рассказчика-домовладельца, который в повествовании от первого лица говорит, что старуха мыла полы у *евреев*. То же и в речи повествователя от третьего лица: *брюнетка, лет 19-ти ... еврейка* («Ворона»). Но не все образованные или состоятельные люди регулярно выбирают наименование еврей. В их речи встречается и слово *жид*. И разница в употреблении этих слов зависит от нескольких факторов. Интеллигентные люди, лица бо-

* Вообще, дистрибуцию этих двух референтных выражений можно было бы с успехом использовать в качестве диагноза для определения точки зрения чеховского нарратива — задачи весьма сложной, как указывалось не раз литературными критиками и исследователями (см.: [Nilsson 1968; Mihaychuk 1994; Bjorklund 1993]).

лее симпатичные и положительные*, а также образованные люди всякой степени положительности в официальном контексте говорят *еврей*. Люди некультурные и неинтеллигентные, хотя бы и принадлежащие к имущему классу, а также образованные люди в преднамеренно отрицательных контекстах, с подчеркнутым желанием оскорбить, говорят жид. Так, мягкий, человечный доктор в «Палате № 6» говорит солдату: *«Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится»*; а кабинетный человек помещик Алехин рассказывает, как в деле поджигателей обвинили четырех евреев, по его мнению, совсем неосновательно («О любви»). С другой стороны, грубый, унижающий француза-гувернера помещик зовет арендатора Лазаря Исакича в глаза жидом («На чужбине»). Несобственно-прямая речь и всеведущий повествователь встретились только в нарративе (с точки зрения образованного действующего лица): учитель словесности дает уроки детям Вольфа, о котором говорится, что он еврей («Учитель словесности»).

То, что оскорбительность слова *жид* начинала ощущаться уже в чеховское время, явствует из речи самих евреев, которые называют себя этим словом только в кавычках, приписывая его русским собеседникам. Так, молодой, гордый до болезненности бессребреник Соломон, становясь на точку зрения русских, говорит про себя: *«Я теперь жид пархатый и нищий»* («Степь»), а умная и знающая себе цену Сусанна Моисеевна говорит поручику Соколовскому: *«Вы скажете — если бы пархатая жидовка не дала мне денег, так я, может быть, был бы теперь свободен, как птица»* («Тина»)**.

Следует упомянуть еще два нетипичных, но особенно показательных примера, раскрывающих, возможно, отношение Чехова к толерантности. Хотя крестьяне не знают иного наименования для

* В определении чеховских героев как симпатичных и положительных либо наоборот мы полагаемся на поведенческие показатели: какова их речь (грубая или вежливая) и каково их поведение в целом (насилие, непорядочность или уважение к другому, порядочность).

** В единичном случае слово жид применяется (предикативно) евреем к русскому. Тот же Соломон говорит про купца Варламова: «Он хоть и русский, но в душе он жид пархатый» («Степь»). Для более тонкого анализа следовало бы разграничивать номинации и предикации, так как в последних отсутствует референция; отдельно следовало бы также рассмотреть этнонимы в составе фразеологизмов.

евреев, кроме слова *жид*, у писателя встречаются два случая, когда простые, но грамотные верующие люди называют евреев *евреями*. Уже упомянутая выше Ольга, бывшая горничная из крестьян, любившая читать Евангелие, *верила, что нельзя обижать никого на свете, — ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев...* («Мужики»), а о ссыльном раскольнике Якове Ивановиче, в порыве гнева убившем родного брата за то, что тот не разделял его мировоззрения, говорится: *...с тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, — с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, наглядясь на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру...* («Убийство»)*.

В «Войне и мире» Пьер Безухов заметил, что высшей похвалой у французов была фраза: «*Vous ktes Franzaïs*». По тому же принципу выражает у Чехова свое одобрение иноземцу и русский учитель Сысоев («Учитель»): «*Всем этим школа была обязана не хозяевам, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу*» (и это при том, что Адольф Адольфович Бруни явно отличается от русских своим поведением, а его дом — своей обстановкой!).

Общий язык и культура, казалось бы, должны приводить к взаимопониманию между людьми, без которого толерантность и терпимость невозможны**. Но это происходит далеко не всегда. В рассказах Чехова друг друга не понимают даже русские мужья и жены, отцы и дети, соседи, сослуживцы, коллеги. Непонимание у писателя — норма в отношениях как между «своими», так и между «своими» и «чужими». Впрочем, едва ли нужно обращаться к литературным авторитетам, чтобы допустить, что условия, при которых состоится понимание между людьми, намного сложнее, чем обладание общим языковым и культурным кодом.

* Приведенные цитаты напоминают мне слова моего деда — и потому, что они принадлежат людям из народа, и по своей гуманной идее, и даже по форме — перечню народностей.

** По определению О. А. Михайловой, при наличии разницы в мнениях, ценностях и т. п. п о н и м а н и е является компонентом т о л е р а н т н о с т и [Михайлова 2001: 260].

О недостаточности или скорее несущественности для взаимопонимания людей общего языка и культуры у позднего Чехова говорят немногочисленные яркие случаи, когда его героям удается понять друг друга, несмотря на разную культуру и язык. Так, умирающий гробовщик Яков и обиженный им бедный еврей Ротшильд — оба музыкально одаренных человека — в конце рассказа понимают друг друга без слов — благодаря музыке, той печальной мелодии, в которую выливаются думы Якова «о пропащей, убыточной жизни» («Скрипка Ротшильда»). Тоскующий молодой ссыльный татарин тоже понимает ссыльного русского старика, бывшего барина, не в силу языкового контакта или культурной общности, а потому, что тот тоже тоскует по родине, хочет любви и страдает; заметим, что другой ссыльный, старик Семен, чуждый тоски, презирает и бывшего барина, и молодого татарина («В ссылке»). К терпимости приходит через страдания и упомянутый выше фанатик-раскольник, назвавший евреев евреями при перечислении всех народностей, которые страдают и которых надо жалеть («Убийство»). К этому пришел он через страдания, испытав тоску по родине и нагнав себя на страдания других.

Лексическое окружение случаев эмпатического прорыва к толерантности между русскими и нерусскими показывает, что у Чехова ему сопутствуют состояния *жалости, тоски, скорби, печали, страдания и сострадания**. То же состояние сопутствует пониманию и принятию «другого», принадлежащего к одному кругу с субъектом принятия. Так, когда Гуров и Анна Сергеевна в конце рассказа *«простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем»*, в этом же контексте появились слова сострадание, скорбь и печаль или их дериваты («Дама с собачкой»). Как

* И. Б. Левонтина определяет жалость как «наиболее с т и х и й н о е чувство, являющееся непосредственной реакцией души на чужое страдание»; в семантику сострадания она включает «о т о ж д е с т в л е н и е себя со страдающим существом». Е. Б. Урысон отмечает, что из четырех понятий тоска, уныние, печаль и грусть самое тяжелое чувство — тоска, которая всегда причиняет страдание. Заметим, что все эти слова, появляющиеся в контексте понимания и принятия другого, входят в базовую эмоциональную лексику русской наивной картины мира. См.: [Апресян, Богуславская, Левонтина, Урысон 1995].

между русскими, так и между русскими и нерусскими, то есть между всеми людьми, к пониманию и терпимости у Чехова приводит не языковое общение, а эмоциональное сопереживание. Возможно, что на русской почве между исконными понятиями *жалость, тоска, скорбь, печаль, страдание*, а также скорее всего калькированным *терпимость* и заимствованным толерантность существует глубинная семантическая связь.

Мы основывались в этой работе исключительно на лексических данных проштудированных нами одножанровых литературных текстов, созданных А. П. Чеховым на протяжении всей его относительно недолгой литературной деятельности. Определение отношения самого автора к тем или иным народностям в наши цели не входило*. Выделение понятий *жалости, скорби, страдания, сострадания* и т. д., их очевидная ключевая функция в рассказах зрелого Чехова, отражающая значимость в его поздней картине мира некоторых традиционно русских культурных концептов (скорее ассоциируемых с другими художественными системами), — все это было неожиданным для автора данного исследования. Литературоведческое рассмотрение этого вопроса должно стать темой самостоятельного изучения.

ЖУРНАЛИСТ КАК МЕДИАТОР В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Э. В. Чепкина

Культура общества — неоднородное явление. Социологи констатируют, что современную Россию характеризует «переход от моностилистической культурной организации к стабильной полистилистической» [Ионин 2000: 211]. Под полистилистической организацией общества понимается сосуществование в его рамках

* В частности, существует большая литература об отношении А. П. Чехова к евреям; см., напр.: [Троуат 1986; Tolstoy 1991; Сендерович 1996; и др.]. Я признательна С. Швабрину за сведения о последней работе.

© Э. В. Чепкина, 2003

разных жизненных стилей, разных культурных форм, присущих образу жизни отдельных социальных групп. В таком обществе отсутствует универсальная культурная иерархия, опирающаяся на единые для всех образцы, вместо этого складывается сложная система взаимодействия различных культурных стилей. Утрата единых культурных образцов для повседневной жизни неизбежно сопровождается исчезновением общественного согласия [Ионин 2000: 211], и вопрос о терпимости к культурным различиям стоит очень остро.

В таком обществе журналист неизбежно становится медиатором, посредником в межкультурной коммуникации. Он обращается к массовой недифференцированной аудитории и имеет в качестве адресатов представителей разных культурных групп. И каждый раз, когда в журналистском тексте речь заходит о культурных различиях, возникает вопрос толерантного или интолерантного отношения журналиста к представителям разных культур. Культурные различия — один из способов структурирования оппозиции «мы—они», имеющей фундаментальное значение в коммуникации, в том числе в журналистском дискурсе. Именно это различие сильнее и больше всего влияет на отношения индивида с другими, помогает ему очертить и упорядочить картину мира: «„Мы“ и „они“ — это не определения двух отдельных групп людей, а маркирование различия между двумя совершенно разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью» [Бауман 1996: 46—47].

Обычно реализация названной оппозиции в журналистском дискурсе строится по схеме: *мы* — журналист и его гипотетический адресат (позиция которого структурно задана самим текстом) — «свои люди», представители одной культуры; *они* — чужие в том или ином смысле.

Каждая культура представляет собой «символический порядок» [Сандомирская 2001: 157], который репрезентируется системой знаков. Фиксирование культурных различий в журналистских текстах идет прежде всего на уровне легко эксплицируемых культурных знаков: самобытных культурных ритуалов (праздничных и религиозных церемоний, например), особенностей внешнего вида, пове-

дения, языка представителей культурной группы. Для оценки степени толерантного отношения к отдельному персонажу или целой культурной группе важно и то, какие культурно значимые детали отбирает журналист, и то, в каком ситуативном и оценочном контексте эти детали подаются.

В журналистских текстах, в первую очередь посвященных и адресованных представителям одной культуры, легко проследить накопление знаков культурной идентичности. Рассмотрим один из номеров газеты «Русские в Китае», которая издается в Екатеринбурге. В этом издании публикуются материалы, связанные с жизнью тех людей, которые много лет прожили в Китае (оказались там в связи со строительством Китайско-Восточной железной дороги или эмигрировали после Октябрьской революции), а затем вернулись в Россию. По-видимому, необходимость такого издания связана как раз с тем, что и после отъезда из Китая у этих людей сохраняется чувство культурной общности.

Семантика общения между своими маркируется уже на уровне газетного титула: название газеты дано не только на русском, но и на китайском и на английском языках. Так как этот февральский номер посвящен наступлению китайского Нового года, сразу под титулом напечатаны новогодние поздравления: *Дорогие лосяны! Желаем радости в Новом году, здоровья и богатства в жизни!* Этот же текст повторен китайскими иероглифами, а также фраза на китайском языке дана в русской транслитерации: *Дин ай де Лао Сянмень!* и т. д. Такое оформление начала номера полифункционально. Маркируется то обстоятельство, что аудитория издания владеет несколькими языками. Скорее всего, разные читатели в разной степени знакомы с китайским, но язык — один из важнейших знаков культуры, внимание к нему оправдано. Может вызвать удивление то, что титул дан и на английском, но при чтении номера видно, что газету получают и в США, и в Австралии, где есть свои сообщества русских выходцев из Китая. Возможно, английский язык служит средством проявления вежливости по отношению к нероссийским читателям.

Внутри номера публикуются материалы преимущественно о жизни русских в Китае. Значительное место занимает переписка. Так, газета поместила письмо А. Кондрашова из Сан-Франци-

ско. Он рассказывает, что давно собирает информацию о Харбине, в котором родился и прожил много лет, и предлагает читателям перевод отрывка из современной китайской монографии об истории этого города. Повод для публикации актуален: по мнению переводчика, современные китайские историки предвзято оценивают вклад русских в культурную жизнь Харбина. Другая читательница, И. Фиалковская из Новосибирска, прислала в редакцию не публиковавшееся до сих пор стихотворение А. Ачаира «По странам рассеяния. (Эмигранты)», которое часто цитируют. Так что газета выполняет и функцию хранителя эмигрантского фольклора. Значительную часть номера занимают письма-поздравления с Новым годом, реализующие прежде всего фатическую функцию общения [Якобсон 1975; Винокур 1993]. Публикует газета и некрологи, и письма, в которых звучит просьба помочь в розыске потерянных родственников.

Мы видим, что именно поддержание чувства общности, эмоционального единства, духовного родства является одной из главных задач газеты. Ее решению помогает и раздел «Люди и судьбы», где помещены, например, воспоминания солистки харбинского театра «Модерн» Е. А. Ершовой-Бибиковой, очерк «Судьба Иванова Г. М.: „радиста“ и „водолаза“», рассказывающий о том, как сложилась жизнь человека, репатриированного из Китая в советскую Россию.

Как чувствует себя адресат — реальный читатель, не принадлежащий к данной культурной общности и оказавшийся в позиции наблюдателя за этим общением «своих»? Его может заинтересовать чужая культура, и тогда он найдет для себя в текстах такого рода нечто познавательное или любопытное. Известно немало случаев, когда тексты, созданные в рамках культуры одной социальной группы или одного этноса, вписываются в гораздо более широкий коммуникативный контекст. Вспомним роль цыганских песен в русской культуре или феномен популярности блатной песни в советской тоталитарной культуре, подробно исследованный Н. А. Купиной [1999: 121—150].

Автор текста, целиком вписанного в традицию одной культуры и обращенного к «своим», как мы это видим в газете «Русские в Китае», обычно занимает нейтральную позицию по отношению к ад-

ресату-наблюдателю, который принадлежит другой культуре. Когда рассказывают «своим о своих», такого адресата-наблюдателя словно не замечают — нет прямых обращений к нему, специальных пояснений и т. п. На наш взгляд, такое отношение к «чужому» адресату может рассматриваться как толерантное.

В современной журналистике немало текстов, где адресант занимает толерантную позицию по отношению к культурным различиям, реализуя коммуникативную установку рассказать «своим о чужих», демонстрируя доброжелательное внимание к последним. Сегодня активно возрождаются богатые традиции православной культуры, и им обеспечен режим максимального благоприятствования в российской прессе. В неспециализированных изданиях знаки православной культуры чаще сохраняют семантику именно другой культуры, с которой аудиторию надо знакомить.

Часто это информация о религиозных праздниках или ритуалах. В репортаже «Крестный ход в Усьву», опубликованном городской газетой «Шахтер» (Пермская обл.), корреспондент рассказывает, что *«27 сентября, в день празднования православной церковью Воздвижения животворящего Креста Господня, прихожане храма имени Казанской иконы Божией матери совершили Крестный ход»*. Далее подробно описано, как происходило это событие. Автор старательно подчеркивает экзотичность совершающегося и одновременно характеризует с некоторым изумлением участников Крестного хода как людей, которых можно оценить по привычным для большинства культурным меркам: *«Не правы те, кто считает, что верующие — это скучные и печальные люди, что они «все время только крестятся, молятся и постятся». Я убедилась, что это не так. Верующие, как и все другие, любят общаться с людьми, веселиться со своими друзьями. ... Усьвенцы пригласили всех на трапезу. Признаться, горячий обед, ароматный чай, пышная выпечка... пришлось как нельзя кстати. «Хоть и постно, а как вкусно», — нахваливала еду соседка. «Постная?» — удивилась я. В моем сознании постная пища ассоциировалась с пресной безвкусной едой. А тут!!! Так поститься, без сомнения, согласится любой гурман»*. Характерно, что для журналиста важны внешние детали происходящего, те черты в облике верующих, которые не отличают их, а сближают со светским обществом.

Однако обращение к религиозной тематике и стилистике требует высокого уровня речевой культуры, иначе и толерантные установки в отношении православия не спасают от некорректного (в итоге — неуважительного отношения к культурной традиции) освещения названной тематики. Рассмотрим текст заметки «С благоговением к святой воде» (газ. «Каменский рабочий», Свердловская обл.): *«За дни святого Крещения Господня — 18 и 19 января освящено воды: в Свято-Троицком соборе 12 000 л (12 т), в Каменской Покровской церкви 5 000 л (5 т), в Волковской Покровской церкви около 10 000 л. И до сегодняшнего дня в храмах есть крещенская святая вода. Приходите, но с соответствующей посудой. Очень хорошо подходят стеклянные чисто вымытые банки, можно использовать полиэтиленовые бутылки из-под минеральной воды, но тоже хорошо сполоснутые. Такую посуду используют не раз, особенно если на ней наклеена этикетка «Святая вода»»*. Как кажется, этому тексту недостает именно благоговения перед предметом речи. Информация о тоннах освященной воды построена по схеме былых рапортов о достижениях в социалистическом строительстве, и те законы журналистского дискурса, которые сформировались в советское время, здесь выглядят инородными. Так же инородна и отчасти комична тональность рекламного дискурса, когда святая вода предлагается в качестве ходового продукта, для которого подходит определенная тара и даже этикетка. Очевидно, что духовный смысл праздника Крещения — ключевой культурный смысл события — в тексте оказался утраченным.

Нельзя сказать, что современные российские СМИ отличает толерантное отношение к любой религиозной культуре. Если по отношению к православию и исламу (в регионах, где мусульманство исповедует заметная часть населения) журналисты охотно берут на себя роль посредников-просветителей, рассказывающих аудитории о достоинствах религиозного миропонимания и конкретных религиозных традициях, то этот подход отнюдь не распространяется на другие религии. По отношению к неправославным христианским конфессиям и некоторым другим религиозным объединениям в прессе принят дискриминационный термин «нетрадиционные религии». Появляются публикации в тональности разоблачения, обвинения, где журналист реализует коммуникативную задачу указать

«своим» на опасность со стороны «чужих». Типичный пример — корреспонденция «Секта — во дворце, дети — на улице» в газете «Вечерние ведомости» (Екатеринбург). Информационным поводом для публикации послужило то, что Церковь христиан веры евангельской «Новая жизнь» арендует здание бывшего Дома культуры энергетиков. Броский заголовок конструирует этически значимое противопоставление: благо для секты обеспечено в ущерб интересам детей. Подзаголовок вводит еще более негативную характеристику религиозной организации: *Сегодня заканчивается срок аренды здания бывшего ДК энергетиков, отданного тоталитарной секте «Новая жизнь»*. Далее следует пояснение: *Именно тоталитарные организации разрушают духовное, физическое и психическое состояние личности*. Правда, никаких конкретных фактов «разрушения личности» не приводится. О якобы вредоносной деятельности секты читатель узнает немного. Сказано, что *«раздаются листовки с сомнительными девизами, типа «Новое поколение выбирает Иисуса Христа»*«. В чем состоит сомнительность названного девиза, журналист не поясняет. Об «опасных» соседях говорится в тональности неясной угрозы: *«Безобразия там творятся, — боязливо шепчут местные старушки, — мы туда не ходим»*. Голословность обвинений не снижает агрессивный потенциал текста, так как неопределенность угрозы является эффективным приемом суггестивного воздействия на аудиторию.

Таким образом, религиозная толерантность в российских СМИ присутствует избирательно.

Еще больше проблем возникает с толерантностью этнической. Противопоставление «своих» и «чужих» на этнической основе имеет глубокие корни в коллективном бессознательном. Согласно точке зрения Л. Н. Гумилева, именно оппозиция «свой — чужой» конституирует этнос, «коллектив людей, которые противопоставляют себя всем другим таким же коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из чувства подсознательного ощущения близости на основе простого противопоставления: «мы — они»» [Гумилев 1992: 16].

Негативный образ «чужих» с этнической точки зрения имеет типичные способы развертывания в современном журналистском тексте. Дискурс российской прессы здесь не оригинален. Так, ис-

следования Т. А. ван Дейка в Голландии выявили типичные приемы построения текстов об этнически «чужих» [ван Дейк 1989]. Обычно воспроизводится одна и та же ситуативная модель: «Представители этнического меньшинства описываются через соответствующие ситуации как угрожающие нормам, ценностям, экономическим интересам, личной безопасности или благополучию большинства» [Там же: 181]. Аналогичную картину мы видим в российских СМИ. После текстов о праздниках и спортивных состязаниях наиболее частотны упоминания об этнической принадлежности персонажей журналистского текста в уголовной хронике, — как правило, в контексте исходящей от этнически «чужого» угрозы жизни и безопасности для «своих», положительных персонажей текста. Здесь этническое различие прочно связывается со смыслами криминальности, опасности, угрозы со стороны этнически «чужих». Приведем цитату из обзора *«Борьба с наркобизнесом «в отдельно взятом Первоуральске»* («Криминальный вестник», г. Первоуральск Свердловской обл.): *Выявлено (в 2000 г. — Э. Ч.) 67 фактов сбыта. Основные распространители наркотиков — лица цыганской национальности. Всего за год к уголовной ответственности привлечено 14 цыган, из них 10 за сбыт.* Как видим, об этнической принадлежности других распространителей наркотиков, кроме 14 цыган, ничего не сказано. Характерно употребление выражения *лица цыганской национальности*, отсылающее читателя к уничижительному «лицо кавказской национальности».

Иллюстрацией того, что устойчивая для современного журналистского дискурса смысловая связь «цыганский — криминальный» является в большей степени символической, чем фактической, служит заметка из газеты «Орская хроника» (г. Орск Оренбургской обл.) *«Цыганская жена торговала героином»: Вслед за мужем-цыганом, отбывающим срок в колонии за распространение наркотиков, 45-летняя матрона (русская, несудимая) тоже промышляла сбытом героина, принимая клиентов в собственном коттедже с домофоном на воротах.* Несмотря на то, что речь идет о русской женщине, ее фактическая этническая принадлежность оказывается не так важна. Важно, что она замужем за цыганом: именно словосочетание *цыганская жена* выносится в заголовок. Не случайно введение нар-

ративной роли злодея-«чужого» в начале текста, на уровне заголовка и зачина. Этот прием используется для реализации контактоустанавливающей функции, является риторическим средством установления общности автора и его гипотетического адресата на основании различия «мы не такие, как они».

Как подчеркивает М. Уолцер, непохожесть не всегда порождает неприятие [Уолцер 2000]. У этносов, живущих на территории России, есть многовековой опыт мирного соседства. Вопрос о терпимости или нетерпимости появляется, если возникает чувство угрозы, опасности со стороны какой-то группы. Представляется, что указание на этническую принадлежность людей, совершивших правонарушение, способно внушать читательской аудитории это чувство угрозы со стороны этнически «чужих», представление о них как об опасных «других».

Не всегда интолерантность по отношению к этнически «чужим» обращена на тех, кто живет непосредственно на территории России. Показателен текст в газете «Подробности» (Екатеринбург), который был озаглавлен *«Гори, олимпийский заяц!»*. Это репортаж об организованной журналистами «Подробностей» символической акции по сожжению чучел с олимпийской символикой в знак негодования по поводу результатов зимних Олимпийских игр 2001 года: *Главной проблемой уходящей зимы стала неудача российских спортсменов в Salt Lake City. К акции устрашения злобных американцев мы готовились заранее. Из того, что попало под руку, смастерили ритуальные фигуры... Прототипами... стали: Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета, и символы Олимпиады: заяц, медведь и койот*. На льду городского пруда организаторы акции собрали случайных зрителей и предложили им присоединиться к сожжению фигур. Желавшие нашлись: *...к весенним игрищам на пруду присоединился бывалый уголовник по имени Вован. «Хочешь бросить дротик в чучело судьи-вредителя?» — спросили мы его. «Дайте мне топор, я ему печень вырву!» — грозно воскликнул Володя. — Сам я эту Олимпиаду не смотрел, но друзья мне все рассказали. Совсем эти американцы обнаглели!»*«... В этом тексте, несомненно, присутствуют ернические, иронические интонации. Однако ирония не намного снижает агрессивность высказываний в адрес организаторов Олимпиады. Агрессивность

в отношении американцев, придание спортивным состязаниям смысла политического или этнического противостояния выполняет функцию обеспечения внутригрупповой солидарности: «Другая группа является той самой воображаемой противостоящей стороной, тем противовесом, который необходим нашей группе для самоидентификации, для ее согласованности, внутренней сплоченности и эмоциональной безопасности» [Бауман 1996: 48]. Газета предлагает жителям города объединиться на почве негодования, и можно снова говорить о конструировании наивной оппозиции «хорошие свои — плохие чужие». «Свои» в таких текстах предстают качественно нехарактеризованной группой, единственный артикулированный признак которой — противостояние «чужим», врагам.

Еще одна проблема создания образа «другого» в журналистском тексте — абсолютизация культурного различия, замыкание «другого» в его идентичности. Вот, например, ироническое подчеркивание «женскости» депутата Екатерины Лаховой в интервью, опубликованном в журнале «Огонек». В тексте задана оппозиция «депутат-мужчина — депутат-женщина». В основном это гендерное противопоставление выстраивается за счет накопления в образе Лаховой черт, считающихся специфически женскими. Иронический подтекст интервью адресат может расшифровывать по-разному: и как доброе подтрунивание над феминистками, и как едкую иронию по отношению к несерьезным «депутатшам», неуклюже взявшимся за мужское занятие — законотворчество. В любом случае симптоматично, что серьезного разговора на гендерные темы журналист не представил. Рассмотрим только сильные позиции текста как наиболее значимые с точки зрения функции установления контакта с адресатом. Иронично звучит уже само заглавие: *«Екатерина Лахова: «Да! Женщину надо оценивать другим местом»*». Подзаголовок обыгрывает одно из стереотипных уничижительных суждений о женщине: *В Госдуме созрел новый законопроект. О том, что женщина тоже человек. И наконец зачин: В рабочем кабинете депутатши Лаховой понимаешь, что его хозяйка — женщина. На столе фигурки разные, рюшечки, милые безделицы, куколки какие-то, глиняная копилка-бульдозжка, вазочки, картинки на стенах. Но за всем этим стоит большая законотворческая работа...* Обратим внимание

на диминутивы: *фигурки, рюшечки, куколки, вазочки* и др., разговорную лексику: *депутатша, безделицы, бульдожка*. Эти слова служат сигналами иронии по отношению к женщинам-депутатам, борющимся за женское равноправие. Кстати, на помещенной здесь же фотоиллюстрации стол выглядит вполне рабочим — завален бумагами; на той части стены, что попала в кадр, тоже не картинки, а фотографии. В иронической тональности выдержано и окончание текста:

Л а х о в а: ...Не все сразу понимают глубину проблемы. Даже среди женщин. Вот Ленка Мизулина не сразу приняла нашу позицию, пять лет назад она так не думала. И Ирка Хакамада не сразу, потом только. Но женщины постепенно приходят к мысли, что надо бороться. Вы правы, что закон наш декларативный, нет никаких конкретных норм. Но это только начало нашей борьбы.

Н и к о н о в: Удачи вам, девчонки!

Надо сказать, что несерьезная тональность беседы, которую с самого начала задает журналист, отчасти поддерживается самой Лаховой, что хорошо видно, например, в фамильном упоминании ею других женщин-депутатов Государственной думы — *Ленка Мизулина, Ирка Хакамада*.

Потенциальная интолерантность иронии в том, что она исключает открытость субъекта тому опыту «другого», который подвергается ироническому отрицанию. Хотя, разумеется, нельзя считать иронию постоянным сигналом интолерантности речи.

Итак, текст о культурном различии изначально задает деление аудитории по признаку обсуждаемого различия, предполагает «своих» и «чужих» адресатов. В самой ситуации межкультурного диалога нет предзаданной интолерантности. Реализация коммуникативной установки на общение между людьми, принадлежащими одной культуре, может быть интересна «чужому» адресату. Доброжелательное внимание журналиста к «чужому», к другой культуре может быть интересно «своим». Подчеркнем, что в разговоре о роли журналиста как медиатора, осуществляющего коммуникацию на границе разных культур, неважно, о каких именно культурных различиях идет речь: этнических, религиозных, гендерных или любых других. Одни и те же задачи и проблемы возникают регулярно.

Практика современных российских, прежде всего региональных, СМИ показывает, что, являясь частью общества, журналисты часто концентрированно выражают стереотипы массового сознания, распространяя озлобленность и интолерантность в отношении определенных культурных групп. В то время как цель журналиста — в качестве медиатора, посредника в межкультурной коммуникации — видится в том, чтобы демонстрировать толерантное отношение к представителям разных культур в социуме.

ИСТОЧНИКИ

Вертилецкая Е. Судьба Иванова Г. М.: «радиста» и «водолаза» // Русские в Китае (Екатеринбург). 2002. № 30.

Кондрашов А. Ретроспективный взгляд на историю // Русские в Китае (Екатеринбург). 2002. № 30.

Никонов А. Екатерина Лахова: «Да! Женщину надо оценивать другим местом!» // Огонек. 2001. № 48.

Сарабаньская Т. С благоговением к святой воде // Каменский рабочий (г. Каменск-Уральский Свердловской обл.). 2001. 26 янв.

Терешина Т. Борьба с наркобизнесом «в отдельно взятом Первоуральске» // Криминальный вестник (г. Первоуральск Свердловской обл.). 2001. 17 янв.

Шуленина И. Крестный ход в Усьву // Шахтер (г. Гремячинск Пермской обл.). 2001. 4 окт.

О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Цун Япин

Фразеология как составляющая часть языка занимает в нем важное место. Она употребляется в разговорной речи, в художественных, публицистических произведениях и в русском, и в китайском языках.

Фразеологические языковые единицы характеризуются устойчивостью, воспроизводимостью, общеупотребительностью, кумулятивностью. Они отличаются экспрессивностью, оценочностью и краткостью в выражении сущности сложных явлений, отражают народную мудрость [Брагина 1981; Ли Найкунь 1992; Мокиенко 1975; Стариков 1967; Ши Ши 1979; и др.]. Как квинтэссенция языка фразеология тесно связана с историей и культурой нации: формируясь постепенно, в течение многих веков, она отражает колорит прежних эпох, опыт предшествующих поколений.

Между русской и китайской культурами существует как сходство (интернациональная культура), так и различие (национальная культура). Эти культурные компоненты неизбежно отражаются в русском и китайском языках, в том числе и в их фразеологии.

Фразеология каждой нации имеет свою специфику с точки зрения культуры и языка. Это позволяет выделить в семантике фразеологизмов информацию, отражающую ключевые для данного общества культурные и социально-психологические стереотипы, определить национально-культурные компоненты, то есть культурные фоновые значения. В связи с этим в русской и китайской фразеологии, отражающей культурные фоны, выделяются фразеологизмы, имеющие сходные значения и сохраняющие сходные культурные фоны, и фразеологизмы, которые имеют разные значения и сохраняют разные культурные фоны.

Русская и китайская фразеология, имеющая сходные значения и сохраняющая сходные культурные компоненты, отражает сходство жизненного опыта и философии двух наций, например: *в мутной воде рыбу ловить* — *хунь шуй мо юйа**; *одно дерево не лес* — *ду му бу чэн линь*; *лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать* — *бай взнь бу жу и цзянь*; и т. д. Хотя таких фразеологизмов не очень много в русском и китайском языках, но они говорят о сходстве в построении отдельных участков обеих языковых картин мира.

В обоих языках есть фразеология, заимствованная из одних и тех же, в основном европейских, языков, например, из фран-

* Здесь и далее интерпретация фразеологизмов носит авторский характер.

цузского: *башня из слоновой кости* — *сян я та*; из английского: *козел отпущения* — *ти цзуй ян*; из древнегреческого: *колосс на глиняных ногах* — *ни цзу цзюй жэнь*; и т. д. Это свидетельство взаимопроникновения культур разных наций и общности культур мира в целом.

Русская и китайская фразеология, имеющая разные значения и сохраняющая разные культурные компоненты, представляет собой фразеологию, отражающую разную культуру двух наций и имеющую яркий национальный характер. Например, русские фразеологизмы *вывести на чистую воду* (уличить в неправде, раскрыть что-то темные дела) и *как в воду опущенный* (упасть духом, иметь печальный вид) отражают обычай древних славян — Божий суд, когда подозреваемых в преступлениях подвергали испытанию водой, бросая их в реку, озеро и т. п.: всплывших на поверхность считали преступниками, а утонувших — невиновными. А китайское выражение *коу сюэ вэй гань* (кровь еще не обсохла во рту, как клятва уже нарушена — быть вероломным) напоминает о традиции древнего Китая мазать губы кровью скота в знак верности клятве при заключении клятвенного договора о союзе между княжествами и общинами. Именно такая фразеология может быть названа зеркалом национальной истории и культуры, и поэтому она является важным предметом изучения для русских и китайских лингвистов.

В национально-культурных компонентах фразеологизмов этого типа отражены в основном следующие стороны жизни нации:

— История. Например, русский фразеологизм *держать камень за пазухой* (таить злобу против кого-либо) связан с историей нападения польских войск на Москву в XVII веке; выражение *погиб как швед под Полтавой* (потерпеть жестокое поражение) говорит о славной Полтавской битве 1709 года, в которой российские войска под руководством царя Петра I разбили шведов. События многовековой феодальной истории Китая, насыщенной междоусобицами, сменами феодальных династий, заставляет вспомнить китайский фразеологизм *чжао цинь му чу* (утром — Цинь, а вечером — Чу — с легкостью менять свою ориентацию). Он напоминает о том, что в период Чжанго царства Цинь и Чу были са-

мыми сильными, и каждое из них, пытаясь создать единое государство, захватывало слабые царства, так что те входили то в одно, то в другое царство и не имели своего мнения. А фразеологизм *Сань гэ чоу пи цзян, дин гэ Чжугэ Лян* (три простых сапожника превзойдут одного Чжугэ Ляна — ум хорошо, а два лучше) упоминает исторического деятеля древнего Китая Чжугэ Ляна, который был первым министром царства Шу и военным советником. Изобретательный ум, удивительная проницательность и тщательно разработанные планы не раз помогали ему одержать победу над врагом.

— Быт, обычаи и обряды. Они выступают в качестве самой устойчивой составной части культуры нации. Меняются эпохи, но национальные традиции передаются из поколения в поколение и оставляют свой отпечаток в языке, в том числе в составе и семантике фразеологии нации. Например, русские фразеологизмы *засучив рукава* (усердно, энергично делать что-либо) и *спустя рукава* (небрежно делать что-либо) связаны с тем, что на Руси мужчины носили долгополую верхнюю одежду с длинными рукавами; выражение *выносить сор из избы* (разглашать семейные тайны и внутренние раздоры) отражает старый обычай не выносить сор из избы, а сжигать его в печи, чтобы дымом вынесло. Китайский фразеологизм *чуань лян дан ку* (носить широкие бесшовные штаны — вступить в сговор) говорит о том, что раньше китайцы носили штаны такого покроя, удобные для верховой езды и для сидения — со скрещенными ногами на кане (глиняной лежанке), на корточках на земле во время отдыха или за едой перед низким столиком. Другой китайский фразеологизм *хао чы бу го цзяо цзы* (пельмени являются самыми вкусными, то есть это — самое лучшее) отражает пристрастия китайцев в еде. Китайцы — большие мастера приготовления пищи, в особенности мучных изделий. Известно, что самое любимое их блюдо — пельмени, которые обязательно едят по праздникам, во время встреч, проводов и других радостных событий. Поэтому пельмени символизируют большую радость и счастливый семейный очаг. Фразеологизм *пи ма дай сяо* (носить суровую одежду из конопли, справляя траур по родителям, — почитать родителей) рассказывает о таком китайском обычае: на похоронах родственники умершего надевали халаты из бе-

лого грубого полотна, на голове сына умершего — шапка из белого полотна, ноги его обернуты белой материей, и подпоясан он веревкой из конопли. Все это выражает глубокую скорбь об утрате близкого человека.

— Психология и эстетические воззрения народа. В русской и китайской фразеологии часто используются названия животных и чисел, с которыми связаны особые культурные фоновые значения — символические. Эти значения могут совпадать, а могут и расходиться.

Например, лиса, бык, собака, волк, осел и свинья вызывают у русских и китайцев сходные ассоциации: *хитрый как лиса, здоровый как бык, преданный как собака, голодный как волк, упрямый как осел, грязный как свинья*. А с такими животными, как сорока, козел, медведь, дракон, мышь, заяц, журавль, все обстоит иначе. Национальные представления о них в России и Китае не совпадают. Так, русский фразеологизм *болтать как сорока* (говорить о чем-нибудь незначительном или то, о чем не следует) основан на представлении русских, что сорока «болтает», является символом сплетницы; а китайский фразеологизм *цюэ цю сян хуй* (свидание на сорочьем мосту — свидание супругов или влюбленных после долгой разлуки) связан с тем, что сороку китайцы считают предвестницей счастья и радости.

Русские и китайцы расходятся и в восприятии чисел. Для русских четное число символизирует злых духов, а нечетное число (кроме тринадцати) является счастливым. В связи с этим в языке есть такие фразеологизмы, как *чертова дюжина; черта с два*. Русские склонны выбирать число семь для обозначения большого количества: *до седьмого пота; за семь верст киселя хлебать; семеро одного не ждут*; и др. В представлении китайцев, счастье и радость символизируются четным числом. Это особенно наглядно в свадебном обряде: *хао ши чэн шуан* (радостные события являются парами); *шуан си линь мень* (двойное счастье пришло в дом). Для китайцев большое количество выражается чаще всего числом девять, а не семь, например: *цзю ню и мао* (один волосок с девяти быков — ничтожный процент); *цзю ню эр ху* (сила как у девяти быков и двух тигров — огромные усилия); *цзю сяо юнь вай* — (за тридевять земель — за облаками) и т. д.

— Религиозные верования. Религия играет важную роль в жизни народов. С развитием общества религиозные верования переживали различные изменения, которые оставили яркий след во фразеологии. Как известно, до крещения Руси в 988 году восточные славяне были язычниками. Поэтому в русском языке сохранилось немало фразеологизмов, связанных и с язычеством, и христианством, например: *семь пятниц на неделе, не все коту масленица* (о язычестве); *подвести под монастырь, около святых черти водятся, крещенский холод* (о христианстве) и т. д. В Китае существует множество религий: буддизм, даосизм, конфуцианство, ислам, католицизм и христианство, но важнейшее место в жизни китайцев занимает буддизм. В китайском языке есть фразеологизмы, соответствующие всем этим верованиям, такие, например, как *жоу янь фань тай* (простой глаз и простое тело — невежественный, ограниченный обыватель) и *цин гуй цзе люй* (бесконечные ограничения в жизни буддийских монахов — излишний педантизм) — о буддизме; *лин дань мяо яо* (панацея — чудодейственное лекарство) и *дянь ши чэн цзинь* (прикосновением превратить камень в золото — сделать из плохого хорошее) — о даосизме; *шань жэнь син би ю во ши* (среди трех человек есть мой учитель — надо скромно учиться у другого) — о конфуцианстве; и др.

В межкультурной коммуникации культурные компоненты фразеологии выполняют особые функции, которые тесно связываются с экспрессивностью и образностью, создаваемыми сложным взаимодействием диахронического и синхронического значений слов, составляющих фразеологизм. Относясь к различным сферам экстралингвистической действительности, культурные фоны несут информацию о тех или иных сторонах национальной культуры. С точки зрения структурного семантического параллелизма (то есть лексико-структурных или образно-структурных соответствий), фразеологические единицы имеют свои языковые особенности. Иными словами, социально-культурная и языковая функции фразеологизмов тесно связаны; они, как близнецы, сосуществуют в одном целом. На этом основании в межкультурной коммуникации русская и китайская фразеология делится на три группы:

— Безэквивалентная фразеология, то есть фразеология, которая не имеет словесных эквивалентов в другом языке в силу отсутствия соответствующих реалий в иной национальной действительности. Например, в русском языке: *красный угол*; *Иваны, не помнящие родства*; *кричать во всю ивановскую*; *погиб, как швед под Полтавой*; и т. д. А в китайском: *фу цзин цин цзуй* (нести на плече терновую палку и просить наказания — принести свои извинения); *вэй бянь сань цзюэ* (бамбуковые дощечки, связанные ремешком, трижды рассыпались — усердно читать, старательно заниматься); *пи ма дай сяо* (носить суровую одежду из конопли, справляя траур по родителям — почитать родителей); и т. д.

— Частично перекрещивающаяся фразеология, то есть фразеологизмы, которые являются языковыми эквивалентами в общесемантическом плане, но обозначают разные реалии в каждой национальной системе. Например, в русском языке *после ужина горчица*, а в китайском — *юи хоу сун сань* (дать зонтик после дождя); в русском — *метать бисер перед свиньями*, а в китайском — *дуй ню тань цинь* (играть на пианино перед коровой); в русском — одним выстрелом убить двух зайцев, а в китайском — *и цзянь шуан дяо* (одной стрелой убить двух орлов); и т. д.

— Эквивалентная фразеология, то есть фразеология, которая имеет полные лексико-структурные или образно-структурные соответствия как в культурном, так и в языковом плане. Например, в русском языке *как рыба в воде*, а в китайском — *жу юй дэ шуй* (как рыба в воде); в русском — *куй железо, пока горячо*, в китайском — *чэн жэ да те* (куй железо, пока горячо); в русском — *подливать масло в огонь*, в китайском — *хуо шан цзяо ю* (подливать масло в огонь) и т. д.

Из вышеизложенного следует, что язык всегда выступает как хранитель культуры нации; фразеология, квинтэссенция языка, особенно тесно связана с культурой. Без знания культуры нации невозможно адекватное восприятие фразеологических единиц ее языка. Поэтому в межкультурной коммуникации фразеология занимает важнейшее место. Понимание национальной специфики фразеологии способствует эффективности межкультурной коммуникации, в основе которой лежит диалог культур.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ПРИЧИНЫ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

Е. В. Харченко

В наше время обращение к корпоративной культуре не случайно: по мнению экспертов, именно в ней таится залог успешности и конкурентоспособности любой организации — от маленькой фирмы до завода-гиганта. Появилось понятие «внутренний клиент», в котором отражается новое восприятие внутрифирменных отношений как взаимного обслуживания, оказания значимых для каждого индивидуума и организации в целом услуг.

Под корпоративной культурой мы понимаем набор условий, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих ориентиры поведения и действий людей. Ценностные ориентиры передаются сотрудникам через символические средства духовного и материального окружения их организации. Язык в этом случае является средством хранения и передачи мифов, традиций, правил, одним из главных объектов изучения при диагностировании сложившейся на предприятии корпоративной культуры, а также средством внедрения новой культуры или коррекции старой. Корпоративная культура может быть представлена в виде совокупности текстов, используемых в конкретной организации для выражения специальных смыслов.

При выявлении неписаных, неформальных правил, объединяющих сотрудников, можно заметить, что существует, как минимум, два уровня. На верхнем уровне представлены видимые факторы: одежда, символы, организационные церемонии, рабочая обстановка, то есть все то, что можно непосредственно наблюдать. На более глубоком уровне располагаются ценности и нормы, определяющие и регламентирующие поведение сотрудников в организации, часто ими самими не осознаваемые, но закрепленные в корпоративном языке. Наше исследование направлено на изучение такого языка, а точнее речи сотрудников разных организаций.

В процессе анализа были выявлены некоторые индивидуальные особенности языковых личностей сотрудников. Предполагалось, что информация о языковой картине мира каждого сотрудника поможет создать благоприятный психологический климат в конкретной организации. Нами установлено непосредственное влияние стереотипов речевого поведения, выявленных при помощи анкет, на формирование информационно-коммуникативного пространства. Полученный экспериментальный материал позволил зафиксировать проблемные и конфликтные зоны коммуникации, которые, как правило, отражены в высказываниях сотрудников, указывающих на чувство тревожности.

Основным методом исследования было анкетирование. Разработанная нами анкета представляет собой набор из пятидесяти незавершенных предложений, 25 из которых реципиент должен закончить (по собственному выбору). Все высказывания относятся к сферам коммуникативной деятельности, отражают работу с клиентом.

При анализе анкет, заполненных сотрудниками ряда челябинских предприятий, относящихся в основном к среднему бизнесу и работающих в сфере сервиса и услуг, мы обратили внимание на большое количество текстов, указывающих на состояние тревоги. Эти высказывания образуют значительную по объему «сферу тревог», в которую входит все то, чего реципиент опасается, что вызывает у него отрицательные эмоции.

С точки зрения толерантности, особое значение имеет вербализация тревожных состояний, поскольку таким образом проявляются весьма важные для формирования корпоративной культуры коммуникативные аспекты внутренней среды организации. В основе толерантности, на наш взгляд, лежит понимание причин нестандартного поведения, чему, как правило, способствует открытость намерений (честная информация), понимание действий окружающих, а мешает — сокрытие информации и умалчивание фактов, «зацикливание» на своем внутреннем миропонимании (последнее приводит к «домысливанию» причин поведения другого субъекта, часто со знаком минус: *Ездит в командировки развлекаться вместо того, чтобы здесь работать*).

Практика коммуникативного аудита показала, что можно достаточно четко выявить общую для сотрудников конкретной фирмы

«сферу тревог» и сферу «желательных состояний» (то, к чему работники стремятся), что во многом отражает корпоративную культуру конкретного предприятия. Как известно, культура определяет нормы поведения отдельного индивида и сообщества в целом. Эти нормы складываются под влиянием как внешних, так и внутренних факторов и могут со временем меняться, но в каждый определенный отрезок времени именно они объясняют поведение членов сообщества, выполняют функцию разделения по линии «свой — чужой».

Анализ корпоративных языков разных организаций показал особенности мировосприятия их сотрудников, закрепленные в речи. Это выражается в многократно повторяющихся словах и выражениях, обозначающих важные для работников понятия, в том числе и вызывающие тревогу. Для примера сравним две организации (Первая и Вторая). Возьмем в качестве основного концепт работа.

В Первой организации работа определяется через понятия **пользы, результата**: *полезная работа; мой труд нужен, приносит пользу и доставляет радость; моя работа приносит должный результат; работа нужная; моя работа нужна фирме; моя работа имела резонанс; сделала хотя бы маленький успех; маленькое открытие; есть результат; знаю, что от этого будет польза людям; в итоге мир стал добрее; есть результат; это приносит пользу; виден результат; есть результат; все методы хороши, главное — чтобы был результат*; а также через понятия **новизны, творчества**: *творческий подход; возникает желание найти иной способ; я нахожу новые методы продвижения; новизна идеи; сделала не только то, что необходимо по инструкции; сделал то, что было запланировано, и немного больше; производство вышло на новый качественный уровень; я выполняю не только то, чем я занят постоянно, но и разные другие виды работ; творческий подход ко всему; это стимулирует мою творческую активность*; и др.

Оказалось, что в момент анкетирования основной проблемой предприятия было расширение репертуара предложений на рынке в связи с ограничением спроса на уже разработанную продукцию.

В связи с «перестраиванием» производства в Первой организации возникла проблема **единого подхода и слаженности работы**. Это

выразилось в следующих высказываниях: *было согласие в работе; коллективное выполнение работы (задания); совместное выполнение поставленных целей; согласованное руководство; слаженность работы коллектива фирмы; коллектив работал слаженно, как единый механизм; весь коллектив был заинтересован в достижении цели, стоящей перед фирмой, сплоченности и хорошей организации; общее устремление к единой цели; когда работает команда и все знают, куда идти; все вопросы решаются коллективно; единый подход к решению стоящих перед ними задач; в коллективе вырабатываю общий подход к решению возникающих проблем; коллектив работал сплоченно, как единая команда; слаженная работа с производством, конструкторами и сотрудниками сбыта, продвижения, рекламы; согласованность в работе; и др.*

Во Второй организации вербальные интерпретации личного отношения к выполняемой работе обнаруживают **боязнь ошибки и стремление убедить всех в собственной значительности**: *я стараюсь анализировать факты для принятия оптимального (правильного) решения, единственно верного; я стараюсь четко исполнять требования; свести к минимуму количество ошибок, допускаемых в работе; я стараюсь мобилизовать все свои силы и знания; стараюсь провести анализ, сделать выводы, усвоить их и довести эти выводы до тех, кому они необходимы; точно выполнять свою работу; я четко выполняю требования; я вовремя и с максимальной долей безошибочности выполняю свою работу; четко и грамотно выполнять свою работу; выполнить работу качественно, с сознанием дела; еще более качественно и внимательно работать; добросовестно ее [работу] выполняю, анализирую и делаю выводы; четче работать.*

Явную тревогу у сотрудников вызывают **условия работы**: *условия труда; создание условий труда; условия работы; нормальное питание и условия для работы; условия работы; обеспечение условий для работы коллектива; созданы условия труда; нормально питаться; создание условий для исполнения задания; улучшить условия труда; созданы условия для нормальной работы; создать нормальные условия для рабочих, обеды, постоянно иметь мыло, туалетную бумагу, средства гигиены (порошки и прочее); нет мелочей, которые мешают моей работе (опять же нет нормальных условий для работы); хорошее освещение, хорошая работа машин, удобный рабочий стол.*

Особое место во Второй организации занимает проблема **доступности** важной для тех или иных участников работы **информации**: *иметь побольше информации о тканях, фасонах (новых); информация облегчает мою основную работу; полная и исчерпывающая информация; информация о новых моделях, пошиваемых* на фабрике; информация о новых тканях на тот или иной сезон; информация об объемах выпускаемой продукции; информация более доступна; получить информацию о готовящейся продукции; информация лучше усваивается и более убедительна; прочтение специальной литературы; возможность для высвобождения свободного времени, которое можно потратить на изучение полезной информации; постоянная информация о подобных предприятиях-конкурентах и о ситуации в стране в целом; возможность в письменной, но краткой форме высказать свои пожелания по качеству наших изделий, а также пожелания по расширению ассортимента сопутствующих товаров; дальнейшие перспективы предприятия; прогноз потребительского рынка; перспективы предприятия; пополнить свои знания в дальнейшем на перспективу; информация о товаре (каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или другие материалы, содержащие доступную и достоверную информацию о предлагаемом товаре); пытаюсь получить как можно больше информации; оценка и прогнозирование потребительского рынка; послать меня на курсы повышения квалификации, желательно за рубеж.*

Во Второй организации возник конфликт между управляющим составом и конкретным отделом (в котором проводилось анкетирование): руководство считало работников отдела недостаточно компетентными и преданными фирме, а подчиненных не удовлетворяли условия труда и отсутствие необходимой информации.

В Первой организации существует четкое разделение морального и материального вознаграждения при оценивании результатов работы; осознается необходимость мотивации успешного осуществления работы: *вознаграждение (не только материальное); мотивация на выполнение; замотивированность каждого сотрудника на успех; заинтересованность коллектива в достижении общей цели; ценить*

* Речевые погрешности не исправляются.

заслуживающих этого работников; люблю, когда приходят деньги по моим счетам; прорыв в финансовом плане; материальное стимулирование; наличие стимула роста и материального вознаграждения соответственно вкладу; заинтересовать коллектив материально; работу оценили как необходимую; усилить материальную заинтересованность; когда ценят их труд; нет невыплаты зарплаты; материальное стимулирование сотрудника; оценивают по достоинству; работу оценили как успешную; моральное и материальное стимулирование; работу оценили как материально, так и профессионально; стимулирование; деньги капаят; стимулирование и поощрение; меня хвалят; работу оценили как удачную.

Во Второй организации проявляется тревожность сотрудников отделения по поводу возможности необъективной оценки результатов их работы руководителями: *работу оценили, как я того не заслуживаю; работу оценили как работу квалифицированного специалиста; я классный специалист; работу оценили как отвечающую последним современным требованиям; оценили работу на «отлично»; отлично выполненное задание; правильное решение поставленных задач на данный момент; я хорошо выполнила свою работу.*

Показательно то, что в обеих организациях есть высказывания, связанные с отсутствием постановки четкой задачи, цели. В Первой организации: *я вижу перспективу своей работы; четко поставить цель и задачи перед коллективом; вижу цель и реальные возможности ее достижения; целенаправленное действие; более четкая постановка задачи; вижу перед собой четко поставленную цель и задачу.* Во Второй организации: *четкая информация о поставленной задаче; я должна четко знать поставленную передо мной задачу и знать конечный результат; целеустремленность, работоспособность, достижение цели; я прежде всего должна уяснить конечный результат работы бригады и срок выполнения; четко понять, что от меня требуется; дать четкие указания по заданию и условия его выполнения; неясны цели, задачи и методы в выполнении моей работы; неправильное представление о своем задании; мне до конца не ясна ситуация.*

Трудность в выявлении тревожных состояний состоит в том, что чаще всего они открыто не вербализуются из-за страха потерять место, пойти на конфликт с начальством, а иногда и просто не осо-

знаются. Наш опыт показывает, что социо- и психолингвистические методы, позволяют стимулировать вербализацию тревожных состояний.

Для выражения тревожных состояний используются следующие способы:

1. Прямые негативные высказывания: *меня пытаются не убедить в своей правоте, а заставить действовать в выгодном для себя направлении; сваливается одновременно множество проблем; если дело не идет вообще, то возникает желание разобраться глубже, если и дальше не идет, то злость, а иногда растерянность, но это редко; когда зависишь от человека, который не умеет или не хочет работать.*

2. Выбор в самой анкете для продолжения высказываний, типа: *Мне не нравится, когда на работе...; Мне не хочется идти на работу, если...; Я всегда чувствую, когда в коллективе...; Больше всего не люблю, чтобы...; Люди не любят, когда...; Я не испытываю симпатии к тем, кто...; Я не хочу быть...*

3. Частое повторение в речи сотрудников фирмы одних и тех же слов для обозначения желательного состояния удовлетворения: *грамотное руководство предприятием; грамотный руководитель; грамотное руководство; грамотность и компетенция руководства.*

4. Использование слов с негативной коннотацией: *формирование коллектива из сборища; нагл, ленив, жаден; приходится общаться с тупыми бюрократами; быть тупым исполнителем; ума не приложу, чего еще этому гаду (клиенту. — Е. Х.) предложить.*

5. Высказывания о том, как «должно быть»: *среди сотрудников и в коллективе доброжелательная обстановка и отсутствие недовольства; (когда) не зависишь от некомпетентности других людей.*

6. Оценка номинаций: *не хочу быть рабочей* (ст. приемо-сдатчиком); *Я думаю, эту должность давно пора назвать по-иному, идя в ногу со временем.*

Следует сказать, что тревожность у руководителей и подчиненных выражается по-разному. Руководители причинами тревожных состояний в первую очередь называют свою **перегруженность** и **непрофессионализм сотрудников**, свое неумение **выстраивать отношения**

с подчиненными и лишь затем — **особенности своей работы**. Например: (я) занят выше крыши; написать кучу отчетов; люди умеют работать, но не хотят, ленятся, не до конца изучил вопрос; что-то не успел, не доделал, не замечают, недооценивают, не знаю, каким будет результат; проблема во взаимоотношениях с сотрудниками, некоторые из которых бездельники, нечистые на руку, нужно проводить «воспитательную» работу, наказывать и повышать спрос; сотрудники изначально всем недовольны; когда сотрудники не говорят о проблемах и не обращаются за помощью; люди, которые вместо решения проблем много рассуждают; не выполняют данных обещаний, особенно в мелочах, наглы, ленивы, жадны; не ясна цель, не до конца изучил вопрос; не до конца просчитал все возможные варианты; вижу, что оно [решение] не отвечает объективным требованиям, четко не уверена в его верности; быть более собранным, более требовательным; без творческого подхода я устаю; быть недостаточно хорошим руководителем; проблемы в семье или со здоровьем; личные проблемы; возможные неприятности дома; портится настроение; когда начинается «мандраж».

Для подчиненных симптомами готовности к конфликту часто являются **негативно оцениваемые отношения с руководством**: приходится общаться с тупыми бюрократами; ко мне относятся несправедливо; относятся высокомерно; предвзятое отношение, лезут в душу и навязывают собственное мнение, недооценивают; когда не замечают и принижают достоинство, нет взаимопонимания между мной и руководителем; когда не нахожу взаимопонимания; **некомпетентность руководства**: нужно выполнять абсурдные решения; мной руководили люди глупее меня; когда зависишь от человека, который не умеет или не хочет работать; меня окружают непрофессионалы; навязывает свое мнение, не являясь достаточно эрудированным или владеющим достаточной информацией в каком-либо вопросе; диктует свою волю, не желая выслушать мнение исполнителя; **непродуктивная работа**: бесполезный труд; я знаю, что работа, которая мне предстоит, никому не нужна, я за нее ничего не получу; работа не приносит ощутимых результатов.

Результаты анкетирования подчиненных представлены в таблице (обобщены высказывания, имеющие прямую негативную окраску и отнесенные к «сфере тревог»).

Таблица

Составляющие «сферы тревоги»*

№ п/п	Причина тревожного состояния	Процент
1.	Отношения, контакты В том числе: отношения с начальником некомпетентность руководства отношения с сотрудниками отношение к реципиенту настроение, ощущения (не)профессионализм окружающих	56 4 3 22 10 16 1
2.	Организация работы В том числе: отсутствие четкого распределения обязанностей отсутствие организации труда вмешательство в работу	10 3 4 3
3.	Неуверенность, отсутствие опыта, информации В том числе: неуверенность отсутствие опыта, информации	16 6 10
4.	Работа В том числе: непроизводительный труд отсутствие справедливости загруженность недостаточная оплата труда интеллектуальный потенциал отсутствие необходимой техники предъявление особых требований к себе	8 3,6 1 1 0,3 1,5 0,3 0,3
5.	Карьерный рост, дополнительное образование	6
6.	Личные проблемы	4

* В таблице обобщены реакции, характерные для работников организаций среднего бизнеса г. Челябинска.

Более наглядно представленную ситуацию показывает диаграмма (номера соответствуют номерам в таблице).



Приведем примеры конкретных высказываний из анкет.

1. Отношения, контакты:

— **отношения с начальником:** нудный и жадный; в глаза говорит одно, а за глаза другое, не выполняет обещаний (сказал — сделал, не можешь сделать — не обещай); когда откровенно хамит; много кричат; относятся высокомерно; предвзятое отношение, когда не замечают и принижают достоинство, нет взаимопонимания между мной и руководителем; не понимают; отсутствует согласованность с вышестоящей организацией; бюрократизм; встречается явное непонимание; я люблю, чтобы руководитель интересовался ходом выполнения работы, а не только результатом;

— **некомпетентность руководства:** нужно выполнять абсурдные решения; когда зависишь от человека, который не умеет или не хочет работать; меня окружают непрофессионалы; навязывает свое мнение, не являясь достаточно эрудированным или владеющим достаточной информацией в каком-либо вопросе; диктует свою волю, не желая выслушать мнение исполнителя; много обещает, но мало действует;

— **отношения с сотрудниками:** не испытываю симпатии к тем, кто груб, нетактичен, лжив; много говорят, мало делают; врут; дву-

личность; когда не держат свое слово; кто непорядочен; безответственность на работе; когда кто-то скандалит, разводит сплетни, унижает других; унижение и предательство; высокомерные и двуличные люди; конфликтные отношения; интригует; кто хвастлив и заносчив с людьми; есть психологические барьеры между людьми; нервная обстановка; вредничают; подхалимничает; расстроены; пустых разговоров; много говорит; конфликты; ноет и опускает руки; кто-то равнодушен; нездоровая моральная обстановка, напряженные отношения между сотрудниками; на отношения между сотрудниками влияли интриги, сплетни; не испытываю симпатии к тем, кто может предать, подвести, солгать, а потом «замолить» грехи; работа должна учитывать не всегда гладкие отношения между людьми; в коллективе натянутые отношения; кто-то завистлив и ленив; нервозная обстановка, плохие взаимоотношения между сотрудниками; натянутые отношения; существует предвзятое отношение одних сотрудников к другим, скандалы и ругань между отделами и сотрудниками; конфликт в коллективе, нервная обстановка; если происходят какие-то разногласия, внутренние противоречия; кто-то ведет пересуды и разговоры за моей спиной, кто-либо пренебрежительно относится к другим и халатно к работе; кто-то постоянно жалуется; атмосфера нервности, беспокойства; не испытываю симпатии к глупым людям; конфликтная, нервная обстановка; кто-либо перекладывал свою ответственность за поступки на другого; не уважает своих коллег; когда ставят оценку ниже их самооценки; сложные отношения между людьми; нервная обстановка; когда не считаются с другими; кто-то хамит, грубит; не испытываю симпатии к тем, кто груб, глуп, фамильярен; когда в коллективе появляется напряженность; тяжелая обстановка; напряженная обстановка; в коллективе что-то не так; кто-то кривит душой; лжет; слишком шумно, душно; курит, обижается; нет дружного и сплоченного коллектива; нервничают; много говорят (выбалтывают), сложные отношения между людьми; не может работать в полную силу; некомпетентен;

— **отношение к реципиенту:** ко мне относятся плохо; ко мне относятся несправедливо; относятся высокомерно; негативное отношение; предвзятое отношение; не замечают и принижают достоинство; не прислушиваются к мнению и не ценят; когда ко мне относят-

ся недоброжелательно; когда не уделяют время, не интересуются проблемами, не выслушивают; когда не уважают; на меня повышали голос; когда относятся несправедливо, воспринимаю это болезненно; если меняется отношение, чаще всего в худшую сторону; когда унижают, оскорбляют; если унижают, не оценивают по достоинству; когда расслабляюсь и, естественно, «получаю по шее»; делают замечания; когда унижают, обижают; мне льстят, мне не дают нормально работать, думать; не замечают; когда пытаются в чем-то переубедить (если очень навязчиво); постоянно критикуют; относятся недоброжелательно; когда относятся без внимания; относятся неуважительно; мне не доверяют; мне мешали;

— **настроение, ощущения:** *чувствую себя лишней; нервничаю; у меня нет настроения; портится настроение; неважное настроение; стою на месте; мне становится скучно; накапливается моральная усталость; когда сдают нервы; кризис; что-то мешает быть самой собой; спад настроения, чувство вины; тупею; тяжелый день; нет желания работать; недоволен; стою на месте; плохое настроение; болею; все валится из рук; тупею от одной и той же работы, выполняемой на протяжении пяти лет, и все мои знания, полученные в институте, не востребованы сполна; плохое самочувствие; с утра было попорчено настроение кем-то из руководителей; состояние «стопора»; неудовлетворенность от прожитого дня, усталость; когда все валится из рук; когда руки опускаются; когда я себя плохо чувствую; чувствовать себя виноватой; нет настроения; я тупею; тупею, захожу в депрессию; боюсь; нет желания; не знаю, что будет; состояние напряженности; портится настроение и сложно продолжать это дело; деградирую; иногда появляется страх; тупею и становлюсь раздражительной;*

— **(не)профессионализм окружающих:** *квалификация сотрудников; неоперативное реагирование на изменение ситуации; меня окружают непрофессионалы; в чем-то просчитались; может бросить работу на любой стадии.*

2. Организация работы:

— **отсутствие четкого распределения обязанностей:** *когда нет четкого определения моей деятельности; конкретизировать мои должностные обязанности; конкретно определить обязанности*

и задачи перед каждым членом коллектива; распределение обязанностей и указание сроков; определить четко круг обязанностей каждого сотрудника; правильное распределение обязанностей между сотрудниками; расширяют круг прямых моих обязанностей; распределение обязанностей по сотрудникам в соответствии с их знаниями и опытом;

— **отсутствие организации труда:** *невозможность спланировать свою работу оптимальным образом; царит хаос; на работе был хаос и отсутствовала организация; бардак; нестабильная обстановка; человека нагружали всем сразу, и все срочно; нет четкого плана работы; на работе стихия; не создавать авралов; нет четкого расписания дня, или заданий слишком много; меняются правила игры (условия);*

— **вмешательство в работу:** *меня отрывают от плана; необходимость выполнять сразу несколько очень важных работ, потому что переключение между ними требует времени; если кто-то отвлекает от работы; когда без необходимости отвлекают по пустякам; во время выполнения одной работы прерывали другой; чтобы мешали (имею в виду мелкую опеку); когда все утверждено и разработано, вносятся изменения; ставятся барьеры.*

3. Неуверенность, отсутствие опыта, информации:

— **неуверенность:** *отсутствие уверенности; нет уверенности в чем-либо; в чем-то не уверена; я в чем-либо сомневаюсь; до конца не понимаю, чего от меня хотят; не знаю точно, как его решить; не знаю конкретной цели, если я не могу представить себе, каким образом я должна выполнить какое-либо задание; нет представления о том, что конкретно ты должен делать; не уверена, что это правильно; есть какие-либо сомнения; затрудняюсь с правильностью выполнения; не уверена, что взвесила все за и против;*

— **отсутствие опыта, информации:** *больше информации; нет ясной картины; не обладаю полнотой информации или знаний по данной проблеме; когда нет дополнительной информации; нет достаточных знаний или неверно поставлена цель; нет желания, опыта, знаний; необходимо что-то уточнить; не владею полной информацией; плохо владею информацией; на работе завал, не выполнено задание, не знаю, как это сделать; нет достаточного уровня знаний, предыдущего опы-*

та; недостаточен технологический опыт; возникают трудности в понимании работы.

4. Работа:

— **непроизводительный труд:** *бесполезный труд; я знаю, что работа, которая мне предстоит, никому не нужна, я за нее ничего не получу; работа не приносит ощутимых результатов; работа нерезультативная и бессмысленная; работа не приносит удовольствия; бездарная работа; одна и та же работа мне надоедает; когда главная цель теряется в куче мелочей, которые отнимают много времени; работа состоит из рутины;*

— **отсутствие справедливости:** *не все было справедливо; несправедливое вознаграждение; несправедливость;*

— **загруженность:** *у меня очень много дел; высокая степень загруженности; большая загруженность;*

— **недостаточная оплата труда:** *на работе мало платят;*

— **интеллектуальный потенциал:** *недостаточные полномочия, которые еще необходимо получить, недостаточное ощущение себя; быть тупым исполнителем; лишают степеней свободы, человеческого достоинства;*

— **отсутствие необходимой техники:** *когда выходит из строя техника;*

— **предъявление особых требований к себе:** *не всегда получается выполнить важную работу как положено и даже лучше.*

5. Карьерный рост, дополнительное образование:

высшее образование или повышение квалификации; нет возможности роста, развития; желание повысить свой профессиональный уровень (изучение теории); когда «застоялся на месте»; теряю время, которое мог бы использовать на развитие образования, повысить квалификацию.

6. Личные проблемы:

проблемы личного характера; причины личного характера, для преодоления которых необходимо время; болеют дети; неполадки в семье; есть проблема; у меня проблемы; проблемы: а) самодисциплины, б) личного характера; проблемы в личной жизни.

Вербализация тревожных состояний необходима по ряду причин: во-первых, только обозначив проблему, можно искать пути ее решения; во-вторых, табуирование причин тревожных состояний приводит к невротизации всего коллектива, что чревато отсутствием инициативы, формальным подходом к работе; в-третьих, как правило, тревожные состояния свидетельствуют об отсутствии постоянного диалога между отдельными структурами организации, а значит, об отсутствии доверия, что создает настороженность, напряженность.

Выявление типичных для определенной корпоративной культуры причин тревожных состояний может оказаться полезным для установления толерантных профессиональных отношений в конкретной организации.

ОЧАГИ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ ИДЕОЛОГЕМ*

С. Ю. Данилов

По справедливому замечанию Е. Н. Ширяева, «современное состояние русского языка определяется двумя взаимосвязанными характеристиками»: во-первых, это демократизация языка, преодоление новояза, порожденного эпохой тоталитаризма; во-вторых, это своеобразная языковая «вседозволенность со всеми ее негативными процессами» [Ширяев 2000: 13, 14].

Такой взгляд на культурно-речевую ситуацию позволяет ставить вопрос о характере преодоления новояза, выдвигать гипотезу о перерождении советских идеологем и стереотипов в текстах современной культуры. Теоретическое обоснование гипотезы опирается на доводы здравого рассудка. Разве что-либо в языке появляется ниоткуда? Разве что-либо в языке исчезает в никуда? Разве когнитивные структуры подчинены той или иной политичес-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-00-101-а).

© С. Ю. Данилов, 2003

кой власти, чтобы измениться в одночасье по воле новых идеологов? Ответы очевидны, но важно не только сказать «нет», но и обозначить пути изучения проблемы, описать современную систему идеологием, проанализировать ту «мерзость запустения», которая, по образному выражению А. А. Потебни, воцаряется на месте вытесняемых форм сознания и «занимает это место до тех пор, пока вытесняющий язык не станет своим»* [Потебня 1993 (1895): 172].

При изучении культурно-речевой ситуации целесообразно использовать понятие «очаг напряжения». «Напряжение заставляет человека перейти к анализу коммуникативной ситуации, чтобы зафиксировать помеху, создающую дискомфорт, угрозу» [Муратова 2001: 97]. Характеристика очагов напряжения (их перечень и сценарий порождения и преодоления) позволяет описать глубинные смыслы текстов, порождаемых в пределах исследуемой эпохи. «Глубинный смысл текста, будучи произведением многочисленных поверхностных смыслов языковых составляющих, может быть выведен только из последних» [Купина 1983: 105]. Мы анализируем идеологемы — языковые элементы, содержащие идеологическую компоненту значения. Само понятие «идеологема» лишено отрицательных коннотаций, так как «не всякая идеологема замешана на лжи. Любой социум вырабатывает опорные идеологемы, в числе которых идеологемы-святыни» [Купина 1996: 50].

Связь идеологии и текста как речевого произведения принципиальна. Характерны рассуждения А. Ф. Лосева: «Не только художественный стиль идеологичен, но вообще и человека-то не существует без идеологии. Пусть первобытный человек не имеет никакой идеологии. Но это значит только то, что свою идеологию он не осознает, а осознаем мы теперь за него в порядке научно-исторического анализа. Пусть злостный, узколобый мешанин думает, что у него нет никакой идеологии. Но мы-то в порядке научного исследования этого общественно-политического типа прекрасно знаем, что у него есть своя специфическая и упорнейшим образом проводимая идеология» [Лосев, 1994: 202]. Представля-

* Ученый говорил о народах, лишаемых права на свой язык.

ется, что во всяком тексте посредством лингвоидеологического анализа может быть выявлен идеологический глубинный смысл, организованный на базе системы опорных идеологем, независимо от степени осознания этой идеологии автором речевого произведения.

Набор идеологем, повторяющаяся предикация идеологем как слов предметной темы позволяют вывести некоторые тезисы, воссоздающие типовые сценарии смыслового развертывания. Совокупность таких утверждений, извлеченных из текста напрямую или отвлеченных в качестве пропозиционально заложенных объектов полагания или веры, и есть идеологическое содержание текста. Отметим, что идеология того или иного текста-высказывания вряд ли целостно отражает идеологию говорящего. Но ощущение очага напряжения — фактор идеологический; он проецируется на вербальную интерпретацию говорящим референта высказывания — имени, реального события или ключевых слов культуры. «Важно подчеркнуть, что носитель языка, свободно распоряжаясь инвентарем языковых средств, по своей воле может задать очаг напряжения, разжечь или приглушить (погасить) напряжение» [Муратова 2001: 98].

По отношению к идеологии тексты можно разделить на влияющие и отражающие. Тексты влияния, рассчитанные на аудиторию и распространяющие, доказывающие, декларирующие положения некоторой идеологической доктрины (публицистические статьи, публичные речи, лозунги и др.), изучаются теорией речевого воздействия [Леонтьев 1999: 256—267], а также теоретиками и практиками политдискурса (В. Н. Базылев, А. А. Ворожбитова, Л. В. Енина, Н. А. Купина, Э. Лассан, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал и др.). Тексты отражения (разговорные диалоги с бытовой тематикой, деловые беседы) не «обсуждают» идеологию, но воплощают ее. Идеологическое содержание текстов отражения лингвоидеологическому анализу подвергается крайне редко [Купина 1996; Черняк 1999]. К последнему типу относятся тексты учащихся, написанные на заданную тему, когда тема не содержит готового идеологического предписания. Учебная речь, как и повседневная, «есть пространство самораскрытия языковой личности. Вместе с тем она становится лабораторией, в которой происходит накопление и трансформа-

ция смутных впечатлений речевого существования индивида» [Седов 1996: 138]. Ученики, особенно старшеклассники, находятся в стадии построения (выбора) идеологической системы. Ценности дореволюционной России, в современном сознании зачастую смыкающиеся с представлением о «вечных ценностях», советская идеология и постсоветское идеологическое пространство с неупорядоченным набором ценностей конкурируют в сознании подростка и создают очаги напряжения. Интересно, что ситуация выбора идеологии смыкается с пограничным состоянием современного старшеклассника по отношению к типам культур, выделенным Маргарет Мид. Школа, к сожалению, во многом обращена к постфигуративному типу культуры, где взрослые «передают своим потомкам чувство неизменной преемственности жизни» [Мид 1988: 322]. Кофигуративность современной культуры связана с этапом развития общества, на котором опыт передается от сверстников к сверстникам. Префигуративность определяется тем, что подростки зачастую опережают взрослых в освоении технологий и готовы учить старших*.

Материалом данного исследования послужили письменные работы десятиклассников на тему «Мой город», написанные без предварительной подготовки весной 2002 года в классе за тридцать минут учебного времени (проанализировано более ста рукописных работ; рекомендуемый объем каждой — две страницы). Левый определитель мой, заданный в заголовке стимулирует выражение личного отношения к предмету речи.

Тексты, созданные учащимися на уроке, почти всегда связаны с естественными очагами напряжения: во-первых, с получением отметки, это внешний фактор; во-вторых, с установкой на освоение опыта старших и с установкой на конфликтное самоопределение, это внутренние факторы. В ключе нашего исследования этот факт может искажать общие выводы, так как ученик отражает не только свою идеологию, но и мировоззрение, навязываемое учителем. Однако наличие естественных очагов напряжения делает материал самоценным, так как цепочка *ученик — учитель — очаг напряже-*

* Такую картину часто наблюдаешь на уроках информатики при использовании Internet.

ния может быть проанализирована с позиций, отличающихся от наших. Кроме того, отметим типичность столкновения идеологических воззрений автора и адресата, столкновения актуального в рамках проблематики толерантности, в оппозиции «свой — чужой», где «свои» не стремятся стать «чужими», но стремятся понять позицию «чужого» как одну из возможных позитивных позиций. Толерантное отношение «ищет решения конфликта в тех или иных способах сосуществования с «противостоящей стороной», которая оценивается если не как желательная, то, по крайней мере, необходимая или даже неизбежная» [Голев 2001: 38].

Приведем некоторые тексты полностью. В дефектных текстах по аналогии с практикой записи устной речи мы будем в скобках прямым шрифтом воспроизводить «авторскую» запись орфографически дефектного фрагмента. Речевые, грамматические и пунктуационные недочеты не исправляем, так как они отражают узуальное употребление речевых единиц старшеклассниками.

Мой город — опорный край державы, основывался сподвижниками Петра I для обеспечения сырьевых нужд страны, строившей флот, ведущей постоянные войны. Но очень быстро из двух маленьких заводов и селений вокруг них, Екатеринбург начал расти (рости), крепнуть и превратился в значимый индустриальный и культурный центр.

Память своей истории, своих корней город хранит в зданиях и скверах, парках и площадях, книгах, написанных о нем. Центр моего города — это «живой» памятник своего прошлого — плотина, вымощенная камнями — именно с нее все и начиналось. Многие улицы и проспекты названы в честь людей когда-то живших и любивших наш город (улица Бажова, Мамина-Сибиряка и др.).

Но при этом не стоит думать, что Екатеринбург не изменился за 300 лет. Прогресс не стоит на месте и мой город украшают тысячи магазинов и бутиков, банков, торговых центров — все то без чего сейчас его представить не возможно.

Тематическое слово город получает классифицирующие и одновременно характеризующие предикаты *опорный край державы, индустриальный и культурный центр, хранит память, живой памятник, развивающийся (начал расти), (его) украшают*. Пишущий нагружает предикаты положительной оценкой, косвенно сообщает

о своей любви к городу. В этом тексте прослеживается движение от прошлого к настоящему, связанное с идеологемами «великой трудовой (и культурной) истории» и «прекрасного настоящего». Характерно, что идеологические утверждения слабо аргументированы. Первое косвенно аргументируется растиражированным прецедентным высказыванием *опорный край державы* и обращением к прецедентным именам: *Петр I, Бажов, Мамин-Сибиряк*. Второе аргументируется спорным утверждением, в котором магазины, бутики, банки и торговые центры признаются красивыми. Важно, что в последнем высказывании прорывается голос субъекта речи, тогда как остальные максимально стереотипизированы и отражают идеологические предписания*, ожидаемые предполагаемым адресатом — учителем. Оппозиция «свое — чужое» не эксплицируется.

Следующий текст противопоставлен предыдущему по оценке объекта речи.

Наш город был основан в то время, когда активное развитие получили промышленность и металлургия. Поначалу наш город являлся местом скопления заводов и фабрик. Подтверждением этому факту является архитектура Екатеринбурга (Екатиренбурга). В основном наш город «обставлен» серыми невзрачными домами, которые строились для рабочих, и поэтому на них неприятно смотреть. Конечно в центре можно увидеть старинные красивые здания, памятники архитектуры, «привезенной» к нам из Москвы. Но о городе нельзя судить по его центральным улицам. Единственное, что на данный момент как-то разбавляет эту «серость», так это магазины, которых в нашем городе большое количество.

* В. В. Красных, разрабатывая теорию прецедентного знака, справедливо указывает на наличие прецедентных ситуаций, которые хорошо знакомы, актуальны в когнитивном плане, к которым часто апеллируют [Красных 2002: 60]. За подобными ситуациями стоит сценарий восприятия и воспроизведения, связанный с прецедентными именами и прецедентными высказываниями. На наш взгляд, эта схема может быть перенесена и на повторяющиеся ситуации общения. Так, школьное сочинение на заданную тему может быть рассмотрено как прецедентная ситуация, сценарий которой корректируется темой «Мой город». По сценарию необходимо отметить географический, культурный и промышленный статус города, принято подчеркивать пространственно-временную индивидуальность (особость) города и говорить о культурных и промышленных достижениях. Этот стереотип отработан советской риторикой.

Из всего вышесказанного (выше сказанного) можно сделать вывод, что и люди в нашем городе являются угрюмой серой толпой. Я считаю самое ужасное для человека это смешаться с этой толпой. Но все же есть такие люди, которые являются неординарными личностями и которые способны выделиться из общей серости. Именно эти люди помогают облегчить восприятие нашего города.

Приезжим (если они, конечно, не из более крупных и красивых городов) кажется, что наш город великолепен. Но на самом деле они ошибаются. Наш город ничем не отличается от их города, разве что только размером, и является еще одним серым пятном на карте Российской Федерации.

Таким образом вывод можно сделать только один: в нашем городе делать нечего, и при первой же возможности [надо] уезжать куда-нибудь. Минимум, куда можно поехать это Москва или Санкт-Петербург (там хотя бы можно стать личностью).

Город всегда влияет на людей, а влияние нашего города на его жителей не так уж благоприятно.

Как и в предыдущем тексте, здесь актуализирована идеология труда: *промышленность, металлургия, скопление заводов и фабрик, (дома) для рабочих.* Эта идеология сопровождается не прямой отрицательной оценкой, попадая в один ряд с «серыми невзрачными» домами. Характерна и допущенная оговорка (?): *(дома) строились для рабочих, и поэтому на них неприятно смотреть.* Идеология «красота» введена как «исключение, подтверждающее правило» и тесно связана с идеологией «столица». Текст выстроен на стержневой оппозиции «серое — неординарное». Серое — архитектура Екатеринбурга, дома для рабочих, люди (*являются угрюмой серой толпой*). Неординарное — магазины (*которых большое количество*), памятники архитектуры, «привезенной» из Москвы, личности (*которые способны выделиться*). Неоднократно автором актуализируется оппозиция «провинция — столица», вводится понятие «приезжий», которое осмысливается через позицию «свой» — социально близкий, по отношению к нему пишущий занимает позицию старшего, разъясняющего (из большого города), но готов и на роль младшего (если приезжие *из более крупных и красивых городов*), подлежащего суровой оценке. Такое отношение к приезжему связано с собственным желанием пишущего уехать из го-

рода. Перед нами текст, в котором важное идеологическое суждение высказано прямо: *Я считаю самое ужасное для человека это смешаться с этой [угрюмой серой] толпой*. Но не менее важные смыслы переданы имплицитно: «быть рабочим плохо, хорошо многое покупать, надо пользоваться любой возможностью, чтобы изменить жизнь».

Суждение «хорошо многое покупать, быть богатым» объединяет первый и второй тексты. При этом они оказываются жестко противопоставлены по употреблению местоимений *мой, наш*. В первом тексте *мой* имеет значение «близкий мне», но близость эта условная, рассчитанная на идеологию адресата. Во втором тексте *наш* становится знаком объективности оценки, с одной стороны, а с другой — знаком отчуждения (это не тот город, который мне нужен).

Приведем еще один текст. Он интересен тем, что лишен идеологической и интенциональной целостности, и мог бы считаться абсурдным, если бы автором не был один из «отличников». Статус отличника всегда можно оспорить, но нам важно, что ошибки не повторяются в других работах учащегося, поэтому считаем, что дефекты мотивированы тематическим очагом напряжения.

В самом названии Екатеринбурга таится величие и какая-то сила. С моей же стороны город не отличается какой-то особой индивидуальностью. Похожих городов в России много, но именно этот я называю своим, и вовсе не потому, что я в нем живу.

Несмотря на то, что в этом городе я живу уже девять лет я не знаю о многих его районах, но самым главным зданием в Екатеринбурге, на данный момент, для меня является школа. И почти весь «мой» город заключается между районом школы и дома. Но сколько всего интересного можно там найти! Да, там нет знаменитых музеев, памятников и церквей, но там осталась большая часть моей жизни. Проходя каждый день по каждодневному маршруту, я никогда не задумывалась о том, сколько всего интересного мне напоминает каждая деталь пейзажа вокруг.

Я часто люблю ходить пешком. Издалека (из далека) школа выглядит угрюмо и серо, но подходя к ней ближе и видя «кучу» детворы, ты сам невольно начинаешь вспоминать себя в этом возрасте

и улыбаться. Но вся прелесть города заключается в людях живущих в нем.

Все мои чувства невозможно передать словами, но все-таки я думаю, что ни один больше город не смогу назвать своим...

Неоправданное употребление противительного но символизирует в данном тексте напряженность и неустойчивость позиции подростка: *называю этот город своим*, но почему — не знаю; *никогда не задумывалась о том, сколько всего интересного*, но интересного много; в городе должна быть индивидуальность, но я ее не вижу; в городе должны быть знаменитые музеи, памятники и церкви, но их нет между школой и домом, где и проходит вся жизнь. Мозаика общих мест и позитивных эмоций организована вокруг оппозиции «такое же, как везде — индивидуальное»*. Ключом к идеологическому содержанию текста становится тавтологичное суждение: «Город мой, потому что он мой» (о тавтологичности современного и тоталитарного дискурса см., например: [Данилов 2000; Gynther 1996: 57—58]). Вывод восходит к прецедентному смыслу «и никакого другого не надо». Интересно, что мотив приезда связывает этот текст с предыдущим.

Сопоставление трех приведенных речевых произведений позволяет говорить о возможности рассмотрения в собранных текстах отражения идеологием «труд», «развлечение», идеологических оппозиций «мой — наш», «красота — серость», «индивидуальное — неиндивидуальное», «провинция — столица».

Идеологема «труд» — одна из ключевых в тоталитарном обществе. Эта идеологема связана с целым рядом прецедентных текстов советской культуры: *пролетарии всех стран, соединяйтесь, герой социалистического труда, ударник коммунистического труда, труженики сельского хозяйства, трудовые будни* и мн. др. Слово труд наполняется положительной идеологической оценкой в контекстах *героический труд, ударный труд* и не утрачивает ее даже в таких сочетаниях, как *непосильный труд, рабский труд*, рядом с которыми обычно появляется семантика *капиталистического гнета и борьбы, революции* (ср. невозможность сочетаний *капиталистический труд*,

* Индивидуальный в значении «личный, свойственный данному индивидууму, отличающийся характерными признаками от других» [ТСОШ 1997: 246].

буржуазный труд, религиозный труд). Слово нетрудовой наполняется отрицательной оценкой: *нетрудовые доходы, нетрудовые элементы. Труд* проходит сквозь основные идеологические оппозиции [Купина 1995]: *коммунистический, коллективный, на благо партии и народа, бескорыстный, сознательный, созидательный.*

В рассматриваемых текстах идеологема «труд» не связана с номинациями конкретных действий. Ее смысл подается обобщенно. Тема труда представлена номинациями *заводы, фабрики, промышленность, металлургия*: *Очень часто можно услышать, что Екатеринбург — индустриальный город. Говоря это, люди подразумевают, что это город заводов, труб и фабрик. Но это не так. Наш город являет собой предмет восхищения его архитектурой и историей; Город изначально строился как промышленный, поэтому здесь не так много памятников архитектуры и скульптурных сооружений, как, например, в Москве или Санкт-Петербурге.* Обобщенность, повторяемость контекстов идеологемы «труд», включенность ее в негативные контексты, неотделимость от других, более важных для ученика тем позволяют говорить о выхолащивании положительного идеологического содержания этой идеологемы. Понятия, связанные с ней, наивно переосмысляются: *В нашем городе очень много улиц, названных в честь тех или иных событий, великих людей, или просто названий профессий. Например, улица Трактористов, сразу понятно, что когда-то давно на этой улице было очень много людей этой нужной профессии.* Только в одном тексте встретилась реализация советского стереотипа «жить и трудиться на благо Родины»: *Я люблю свой город и приложу все усилия для того, чтобы он развивался и приносил пользу не только области, но и всей России, делая огромный вклад в процветание и укрепление нашей страны.* Штампованность мысли, тенденция к книжности речи, грамматическая затемненность высказывания свидетельствуют об отсутствии очага напряжения, о преодолении напряжения посредством воспроизведения прецедентных высказываний, заданных сценарием.

Традиционно идеологема труда связана с отдыхом: *сделал дело, гуляй смело, смена видов деятельности — лучший отдых* и т. п. В исследуемых текстах отражения тема отдыха разработана подробнее темы труда. Создается представление о городе как месте для от-

дыха: *В нем есть парки, где можно отдохнуть, музеи, река, цирк, рестораны, клубы, и это еще не все, куда можно пойти. Если кому-то хочется быть ближе к природе, можно пойти в зоопарк или в лесистую часть города. А в центре можно погулять по магазинам или просто ходить с друзьями. В Зеленой роще мы катаемся на роликах. Места отдыха часто связаны с местами траты денег. Неподалеку расположен Театр драмы, это мое самое любимое место в городе, там расположен красивый парк с фонтаном вдоль реки Исеть, и летом там обязательно ставят кафе, сидя в котором восхищаешься тем, что ты живешь в этом городе.* Характерно, что теме отдыха, развлечений старшеклассники сопровождают (маскируют) определителями с семантикой полезности, духовности: *Там мы можем расслабиться и поговорить о наших проблемах. На плотинке есть музей, где мы неоднократно бывали со своим классным руководителем.* Места коллективных развлечений становятся важнейшими приметами города, формируют набор прецедентных имен: *С наступлением вечера все меняется в Екатеринбурге, и он предстает перед нами уже настоящим центром развлечений, с множеством клубов, дискотек, ресторанов. И во мраке ночи уже не видно ни твоего дома, ни твоей улицы, ни тебя самого; Памятник Татищеву и де Генину — самое «молодежное» место. Подростки любят собираться возле него, проводить свое время, наслаждаясь видом на «сердце» города.*

Тема развлечений, отдыха перестает осознаваться (и отражаться в текстах) в связи с темой труда, получает самостоятельное идеологическое обоснование: *Жизнь в своем городе должна приносить удовольствие. Если ты не любишь свой город, ты никогда не будешь в нем счастливым.* Тема денег идеологизируется. Деньги становятся критерием оценки жизни города, постоянным и естественным «спутником» темы отдыха. Связано это, вероятно, с тем, что школьники сами пока деньгами не распоряжаются. Очаг напряжения намечается между символами духовной культуры (музей, театр) и символами дорогого, затратного развлечения (*рестораны, кафе, клубы*), конкуренция соответствующих идеологем обостряется.

В тоталитарном языке при образовании поля идеологической оценки в ядро попадают местоимения *наши, мы/они, их*. В исследе-

дованных текстах аналогичное поле отсутствует. Группа *они* оказывается разнородной, по-разному оцениваемой, здесь *приезжие, иностранные туристы, высокопоставленные персоны, близкие родственники*. Но намечается оппозиция «мой — наш» (наш при этом не становится обязательным знаком положительной оценки и требует контекстных уточнений).

После определителя *мой* часто появляются контексты субъективные, но нацеленные на принятие позиции «другого»: *Мой дом находится недалеко от центра. Из моего окна открывается чудесный вид на парк; Для каждого из нас существует «свой» город. Для кого-то это, например, дом, где он живет, для кого-то «плотинка», а для меня — это вся центральная часть города*. Субъективный взгляд не исключает критику описываемого объекта. Субъект речи через определитель *мой* не всегда идентифицирует себя напрямую с объектом оценки, не чувствует себя причастным к общему делу, ответственным за состояние номинируемого объекта: *Огромную роль в развлекательных мероприятиях играет «плотинка». Но все же мой город начинается с моего дома, моего двора, моей улицы. И они мне нравятся, хотя я не всегда вижу их чистыми и убранными*.

После определителя *наш* часто следуют стереотипные формулировки, заданные сценарием прецедентной ситуации: *В нашем городе много школ, лицеев, гимназий, институтов; В нашем городе много музеев и театров. Это культурный центр России. Также наш город — это промышленный центр России. И если центральная часть города — это в основном архитектурные сооружения и бизнес-центр, то окраины — это промышленные центры города и области* (интересно, что архитектурный узואльно наделяется положительной оценкой, архитектура всегда хорошая, красивая — вероятно, за счет типовой синтагмы *памятники архитектуры*). Определитель *наш* стимулирует развитие темы истории и общей характеристики города: *Наш город Екатеринбург был построен очень давно и считался одним из крупнейших промышленных городов Урала. Но без сомнения, Екатеринбург — это и культурный центр*.

Идеологический очаг напряжения «мой — наш» в текстах «отражения» только намечается, но не получает развития в прямых высказываниях говорящих. Противопоставление нельзя считать

строгим, о чем свидетельствует следующий фрагмент: *Можно еще долго описывать достопримечательности нашего города, говорить о его определенной, своей, красоте и теплоте. Только описывая так город, понимаешь, как он тебе дорог, что это не простой, серый город, а частичка твоей души.*

В последнем контексте актуализированы тесно связанные в исследуемых текстах идеологические оппозиции «красивое — (уродливое) серое» и «индивидуальное — неиндивидуальное». Типична общая и неаргументированная оценка объекта: *У каждого человека есть место, где он живет, где он родился. Это город. Я живу в городе Екатеринбурге. Это самый красивый город; Серые высотные здания можно увидеть отовсюду.* В отличие от ранее рассмотренной пары «мой — наш» оппозиция «красивый — серый» пишущими отчетливо осознается как очаг напряжения. Мы можем наблюдать процессы разжигания, пригашения, снятия очага напряжения. Часто это проявляется в одном высказывании: *Несмотря на отвратительную экологическую обстановку, царящую в городе, на грязные, забросанные мусором улицы, у Екатеринбурга есть много мест, которые поражают своей красотой.* Экспрессивными распространителями сопровождается и тема уродства-серости (*отвратительный, царящий*), и тема красоты (*много, поражают*). Напряжение ослабевает на фоне использования уступительной конструкции. Еще одно подобное высказывание, где напряжение, вероятно, влияет на качество оформления речи: *В Екатеринбурге здания серые, невзрачные, но встречаются яркие, светлые, сразу бросающиеся в глаза здания.* Более типичны контексты, где один из членов оппозиции отчетливо выведен на первый план: *Мне кажется, что этот театр является «лучом света в темном царстве», т. к. он настолько красив, светл, что по сравнению с другими зданиями он действительно, как луч света.*

Оппозиция «красивый — серый» оказывается обусловлена пространственной оппозицией «центр — окраина»: *Окраины Екатеринбурга далеко не так хороши. Покосившиеся дома, готовые вот-вот рухнуть, плохие дороги и горы мусора на улицах создают удручающую картину. Поэтому многие люди, живущие там и не понимают, почему Екатеринбург попал в десятку лучших городов мира. Это действительно странно; А вот если случайно свернуть с глав-*

ной, центральной улицы в какой-нибудь другой район, то, к сожалению, сразу пропадает желание идти дальше. Когда в нашу третью столицу России приезжают высокопоставленные гости, ремонтируют красят только те улицы и здания, около которых будут проезжать эти люди. Конечно, я понимаю, что не надо тратить деньги на те районы, где люди привыкли жить в грязи, но все равно хотелось бы воспринимать мой город не только в центре, но и на окраинах. Противопоставление «центр — окраина» становится важнейшим для изучаемых текстов, мы вернемся к нему позже в связи с противопоставлением «столица — провинция». Очевидно, что тема «красоты» в текстах не структурируется. *Красивый* становится типовым определителем самых разных объектов, при этом высказывания не аргументируются. *Серый, грязный, уродливый, некрасивый* — эти определители структурируются, но негативная оценка аргументируется непоследовательно, хотя факты говорят за себя. Непонятными, семантически ослабленными оказываются в сочинениях выводы-умозаключения: *Это действительно странно; Конечно, я понимаю, что не надо тратить деньги на те районы, где люди привыкли жить в грязи.* Характерно, что эти высказывания пассивны, не связаны с какой-либо программой собственных действий, — может быть, именно потому, что труд часто осознается негативно.

Вербализация очагов напряжения связана с идеологической установкой на примирение противоречий, сглаживание конфликта не путем разрешения, а путем уступки, выбора приоритета.

Идеологема «индивидуальный» вступает в оппозицию не с идеологемой «коллективный»*, а с идеологемой «стандартный, неиндивидуальный» и попадает в позитивно окрашенные контексты, часто смыкаясь с определителем *мой*: *Мой город — это не «большое, серое и грязное творение», а неотъемлемая частица меня, и вообще, всего мира. Значимыми здесь становятся слова со значением «особенный, своеобразный, оригинальный»: На первый взгляд он кажется су-*

* Такая оппозиция была характерна для советской действительности и сохранилась в перестроечный и постперестроечный период в номинациях типа «индивидуальное частное предприятие». Индивидуальный здесь понимается в значении «единоличный, производимый одним лицом, не коллективом. Индивидуальный труд. Индивидуальное хозяйство» [ТСОШ 1997: 246].

мрачным и одиноким: серые стены домов, унылые лабиринты улиц и тоскливая тишина. Но если проникнуться внутренней жизнью города, то можно заметить, что здесь по-своему кипит жизнь, что все находится в движении... город живет. Признак «своеобразный» в приведенном контексте получает объективную аргументацию через семантику подвижности, изменчивости, которой характеризуется внутренний мир города. Высказывание включает противопоставление внешнего и внутреннего.

Нередко прямо подчеркивается противоречивость города: *Хотя площадь вместе со зданием администрации были построены пленными немцами после окончания Второй Мировой войны, а площадь была названа в честь Первой Русской революции и на ней стоит памятник Ленину, все равно жители Екатеринбурга любят ее.* В данном контексте на первый план выводятся советские идеологемы, включающие скрытую отрицательную оценку, но важнее то, что они не выходят на план глубинных смыслов, где актуальной оказывается именно своеобразная противоречивость города. Идеологемы вводятся и в менее распространенные контексты: *Екатеринбург очень контрастный и своеобразный город; Мой город очень разный. Он и город-завод. И город-театр.* Тема однообразия, реализовавшись в оппозиции «красивый — серый», уступает место наивному тщеславию: *Иностранцы говорят, что они еще не видели такого города, в котором почти на каждом шагу, повороте было то или иное здание, связанное с историей.* Противоречивость осознается в положительном ключе: *Наш город — единое целое, шумное, веселое, грязное или, наоборот, чистое, серое или невообразимо разнообразное.*

За этими контекстами стоит общая идеологическая установка на необходимость проявлений индивидуума, утверждаются ценность самобытности и право на своеобразие: *Хоть Екатеринбург и является всего лишь одним из тысячи провинциальных городков, он поражает своей индивидуальностью и красотой.* При этом ценностные характеристики своеобразия могут отойти на задний план, а позитивным окажется даже наличие рекламных стендов, лишь бы «современных»: *Сейчас Екатеринбург — это современный город с высокими зданиями, множеством магазинов, рекламных стендов.* Как видим, идеологическая перестройка сознания тесно связана с эстетической.

Важное место в исследуемых текстах занимает оппозиция «столица — провинция». Столица наделяется и красотой, и своеобразием, и правами на оценку. Екатеринбург же наделяется либо отрицательными чертами в противопоставление столице, либо признается одним из столичных городов, как в следующем контексте: *Просыпаясь утром, ты сразу погружаешься в шум этого большого города, столицы Урала.*

Сближение со столицей проводится через детали: *По-моему, этот факт, что у нас в городе есть часы, похожие на московские, придает городу гордость и уверенность. Сближает со столицей, Москвой, и означает, что он не хуже; Помню, каким большим и величественным казалось мне здание Администрации, для меня оно было, как Кремль для москвичей.* Расхождение между действительностью и ее описанием, как и в эпоху тоталитаризма, преодолевается за счет «идеологических стереотипов, неких укоренившихся структур сознания», которые как бы «подменяют» саму действительность [Штайн 1999: 118]. Иногда страдает логика сопоставлений, что свидетельствует о содержательной опустошенности идеологемы «столица» в сознании говорящих: *В нашем городе много исторических музеев, конечно, их не такое количество, как в Москве или Петербурге, но они есть; О Екатеринбурге часто говорят как про третью столицу России. Может, это так и есть, но если сравнивать наш город со столицей, мы найдем множество тех особенностей, которые характерны только для Екатеринбурга.*

Иногда для пишущего становится важным даже косвенное, пусть негативное сближение с самим понятием «столица»: *Говорят, что Екатеринбург — это преступная столица России. Возможно, это и так, но если вести обычную размеренную жизнь, ты этого и не заметишь.*

Характерно, что оппозиция «столица — провинция» организует значительную часть изученных школьных сочинений, но чаще всего не выводит нас на сценарии действий. Обычно эта оппозиция актуализирует идеологический смысл: «В столице хорошо, лучше нашего».

Обобщая сказанное, отметим, что совокупность идеологических смыслов, выявленных при анализе ученических текстов отражения на заданную тему, характеризуется несколькими общими чертами.

Во-первых, это неконкретность описываемых реалий и неопределенность собственной позиции; во-вторых, соглашательский характер обобщающих утверждений, который связан скорее всего с расчетом на адресата-преподавателя, требующего смягчения противоречий; в-третьих, отсутствие осмысленной программы действий, самоустранение от общественно полезных действий (*наконец-то мэр решил устроить субботник, может, хоть теперь в городе наведут порядок*).

На первый взгляд, рассмотренные идеологемы далеко ушли от тоталитарных стереотипов, но живучими оказались некоторые схемы, обуславливающие отношения говорящего с идеологией. Готовность принимать и создавать неаргументированные суждения, вольное или невольное затемнение текстового денотата, тавтологичность тезиса и аргумента, цепная реакция оценок — все это очень напоминает заснувшего, но очень опасного монстра, ждущего нового витка идеологизации, заданного текстами влияния. Следующий фрагмент текста отражает описанную идеологическую готовность. В этом тексте странным образом смыкаются преодоление новояза и речевая вседозволенность, характерные для современной культурно-речевой ситуации.

В нашем городе много достопримечательностей. Например: плотинка с памятником основателям города Татищеву и де Генину. В нашем городе много театров, поражающих своей красотой снаружи и изнутри.

Также у нас есть много памятников знаменитым людям: маршалу Жукову, Ленину и т. д. Есть много церквей и мечетей, поражающих воображение своим величием.

Также у нас есть много заводов, изготавливающих различные материалы. В целом город великолепен, но не идеален, в нем есть плохие стороны, как, например, бедствующие районы, разрушенные и полуразрушенные здания, но их реставрируют или по крайней мере собираются. Наш город недавно праздновал 275 лет, весь город был наряжен и ухожен. Наш город был основан как металлургический центр, вот почему тут так много заводов. Он построен на Уральских горах. Здесь было много знаменитых людей. В городе много музеев, посвященных разным аспектам науки. Несколько кинотеатров. <...>

Итак, культурно-речевая ситуация может быть рассмотрена через соотношение текстов влияния с текстами отражения, в которых следует изучать очаги напряжения, связанные с конкретным временем и пространством.

Текст отражения можно рассматривать как реакцию на идеологические установки. Автор такого текста «обрабатывает» естественные очаги напряжения, распространяя или сдерживая их влияние на порождаемое произведение теми или иными способами (способы и средства вербальной «обработки» очагов напряжения могут стать отдельным предметом изучения).

Лингвоидеологический анализ ученических текстов отражения показывает мировоззренческую неустойчивость современных старшеклассников, их готовность к восстановлению механизмов тоталитарной идеологической системы. Современная идеология на базе тоталитарного мышления особенно активно поддерживает суждение «центр — это хорошо». Маркеры экономического благополучия становятся доминирующими сигналами положительной оценки. Все это позволяет говорить о конкуренции идеологем, а также идеологических смыслов в современном идеологическом пространстве как о признаке культурно-речевой ситуации, который стимулирует вербализацию очагов напряжения.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП КУЛЬТУРЫ РЕЧИ*

В. Е. Гольдин

При обсуждении теоретических основ культуры речи, в том числе тех, на которых строится языковая политика общества в области культуры современной русской речи, о толерантности говорят нечасто (ср., однако: [Лингвокультурологические проблемы...2001; Русский язык...2001]). Между тем толерантность как об-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 00-04-0362 а/в).

© В. Е. Гольдин, 2003

ший принцип межличностного, межгруппового, межгосударственного и межкультурного взаимодействия имеет непосредственное отношение к разработке проблем культуры речи. Кодификация языковых и речевых форм опирается на сравнительную оценку этих форм, сопровождающуюся выбором и рекомендацией одних форм, частичным или полным запретом других, а за различными речевыми и языковыми формами стоят использующие их люди, поэтому в оценках речи, даются ли они лингвистами-профессионалами или так называемыми «наивными» носителями языка, всегда так или иначе проявляются человеческие взаимоотношения, в большей или меньшей степени характеризующиеся толерантностью.

Основные способы выделения языковых вариантов для последующей их кодификации (с опорой, например, на речевую практику «мастеров слова», писателей, образованных горожан, людей письменной культуры, на практику предшествующих поколений, на степень распространенности сравниваемых вариантов...) связаны с противопоставлением одних социальных групп другим: престижных групп говорящих — менее престижным, больших групп — малым, групп, обладающих средствами профессиональной рефлексии над речью, — группам с ослабленной речевой рефлексией и т. д. При этом, поскольку кодификация осуществляется не человечеством в целом и не всеми говорящими на данном языке, например русском, то в самом этом процессе и в его результатах в качестве одного из главных признаков обычно обнаруживается оппозиция «свой — чужой».

Закономерно, что не только утверждение нормы, не только использование нормативных речевых средств, но и преднамеренные, функционально нагруженные отступления от нормы, в частности намеренное разрушение речевых клише, опираются на эту оппозицию. Так, анализируя прагматику выражений типа *«...я другой такой страны не знаю, / где так вольно, смирно и кругом»* (И. Губерман), М. А. Кронгауз отмечает, что их «энергия» имеет источником апелляцию к адресату и в качестве обязательного условия их успешного функционирования подразумевает общность речевой компетенции адресанта и адресата, что может быть представлено следующим семантическим описанием:

«Я знаю, что ты много раз слышал «...» (К*) в определенных условиях и знаешь, что с этим связано

Я тоже это слышал и тоже это знаю»

«Таким образом, — пишет М. А. Кронгауз, — устанавливается определенное отношение между говорящим и адресатом, а именно принадлежность их к одной группе носителей языка. Правда, в общем случае эта группа выделена по довольно слабому критерию — знанию одного и того же клише. Но такое совпадение часто подразумевает и значительно большую... связанную со знанием экстралингвистического контекста, встроенности в определенный дискурс и т. д., так что для обозначения этого прагматического компонента вполне подходит семантический ярлык «свой!». Очевидно, что данный компонент характеризует не только разрушение клише, но и обычное его употребление» [Кронгауз 1998: 188].

Укрепление толерантных отношений необходимо в тех именно сферах, для которых актуально прагматическое деление на «своих» и «чужих». В приложении к речевым проблемам толерантность можно понимать как один из параметров оценки а) форм проявления, б) степени жесткости и в) социокультурного содержания оппозиции «свой — чужой» в области функционирования речи. При этом необходимо учитывать, что нормы, связанные с обслуживанием различных функций высказывания в речевых актах — репрезентативной, экспрессивной, апеллятивной (функция воздействия), фатической, метаязыковой, поэтической, нормализующей (определяется отношением высказывания к наблюдателю как носителю социальной нормы), — имеют различное содержание, осознаются в неодинаковой степени и неодинаково жестки, императивны (см.: [Гольдин 1974; Головин 1988; Ширяев 1991]). Соответственно этому, различаются и проявления толерантности. Кроме того, терпимость к возможным (в том числе, конечно, и к реальным) несовпадениям речевых культур, к неодинаковой направленности коммуникативных интересов, к заметным расхождениям в системе ценностей и т. п. получает неодинаковую реализацию в текстах с конкретной ин-

* Здесь К — конкретное клише.

дивидуальной адресацией и с адресацией обобщенной. Существенно и то, что в одних случаях требования толерантности предъявляются субъекту прежде всего общими культурными традициями социума и имеют скорее узальный, чем нормативный характер, в других — они закрепляются достаточно жестко, вплоть до издания специальных законодательных актов. Например, сопровождающие товар тексты иногда печатаются лишь на языке страны фирмы-производителя; гораздо чаще коммерческие интересы и стремление поддерживать имидж организации, уважающей культурную специфику покупателей, заставляют фирму предлагать такие тексты на значительном числе различных языков; но нередко страной, импортирующей товар, создаются, как известно, и специальные торговые правила, защищающие право покупателей получать информацию о товаре на родном для них языке. Таким образом, проявления толерантности и сама степень обязательности толерантного поведения в различных коммуникативных ситуациях определяются большим комплексом речевых и неречевых факторов с нестрогими отношениями между ними. Нельзя упускать из виду и то, что граница между «своим» и «чужим» весьма подвижна, и содержание этих понятий в сознании даже одних и тех же людей и в одно и то же время может быть различным в зависимости от того, какая область жизни и с какой точки зрения оценивается.

Традиционно явления, которые требуют приложения к ним принципа толерантности, гораздо чаще рассматривались прагмалингвистикой, психолингвистикой, общей теорией коммуникации (см., например: [Leech 1983; Грайс 1985; Гольдин 1978; Формановская 1989; и др.]), чем наукой о культуре речи, однако в настоящее время в связи с совершающимися изменениями в понимании культуры речи, в связи с усиливающимся вниманием к собственно коммуникативной, функциональной и этической стороне речевого поведения (см., например: [Ширяев 1991; Культура русской речи 1996; Гольдин и др. 2001]) они все чаще подвергаются анализу и в аспекте культуры речи.

Коммуникативным понятием и одновременно понятием теории культуры речи, наиболее близким по содержанию понятию толерантности, является вежливость, хотя полного взаимосоответствия

между ними, конечно, нет. Взгляд на толерантность со стороны вежливости как проявления речевого этикета полезен тем, что позволяет учесть еще одну сложность в определении коммуникативной толерантности: как вежливость, так и толерантность могут быть формальными и содержательными.

В идеале, формальная и содержательная стороны вежливости должны соответствовать одна другой. На деле же между ними почти всегда обнаруживаются расхождения. *Ф о р м а л ь н а я* *с т о р о н а* вежливости представлена, во-первых, всем известными специальными этикетными формулами типа *Здравствуйте, До свидания, Желаю удачи, Всего доброго, Мне очень жаль, С праздником, Будьте добры, Пожалуйста, Спасибо* и т. п. Эти формулы отличаются семиотической автономностью по отношению к диктальной стороне речи и характеризуются актуальной модальностью «мы — здесь — сейчас». Во-вторых, она достигается многочисленными способами варьирования (модулирования) не собственно этикетной речи (выбор *ты-* / *Вы-*общения, прямых или косвенных речевых актов, опора на стилистические оппозиции и т. п.), благодаря чему адресат чувствует, что его уважают, что избранной формой речи ему отводится в данной ситуации роль не ниже той, на которую он имеет право рассчитывать в соответствии с принятыми в обществе системами ценностей.

Основой содержательной стороны вежливости является доброжелательное отношение к партнерам по общению, признание их права на самостоятельную позицию, на уважение к специфике их культурных традиций. Ее сущность заключается не в форме речи, а в основаниях выбора партнерами по общению тех или иных речевых действий, поступков и в соответствии этих действий, поступков ожиданиям адресатов. Вежливы и толерантны те речевые действия, речевые поступки, которые оправдывают ожидания адресата в том, что в процессе общения к нему будут относиться доброжелательно, что с ним будут сотрудничать, станут с готовностью помогать ему, оберегать от возможных неудач и т. д.

Различие между формальной и содержательной вежливостью неоднократно обсуждалось в науке как «проблема искренности» этикетного поведения, однако трудность разграничения формальной и содержательной сторон вежливости привела часть исследовате-

лей к идее принципиальной неразличимости этих сторон этикета, к снятию самой проблемы. Между тем она возникает вновь и вновь, в том числе в связи с определением границ и сущности толерантности.

Поскольку одной из главных черт толерантной коммуникации является доброжелательность по отношению к партнеру, эта черта должна быть свойственна и содержательной толерантности, должна выступать, если можно так сказать, в чистом виде там, где формальная вежливость предельно ослаблена. Осознать доброжелательность в качестве основания содержательной стороны вежливости и толерантности, как представляется, помогают наблюдения над современным человеко-машинным общением. Дело в том, что собственно формальная вежливость компьютерных программ по отношению к пользователю-человеку сведена к минимуму: *Пожалуйста, Спасибо, Вы*. Ср. абсолютную невозможность не только изысканно-вежливых и перенасыщенных этикетными формулами обращений программы к пользователю (типа *Простите за беспокойство и не сочтите, пожалуйста, за вмешательство в Ваши дела, но не будете ли Вы так добры сообщить, если, конечно, это Вас не затруднит, действительно ли Вам хочется удалить данный файл?*), но и гораздо более скромных кратких этикетных форм. Зато содержательная вежливость как доброжелательное отношение к пользователю составляет одно из важных требований к этой разновидности общения. Она обнаруживает себя в следующем:

а) развитие человеко-машинного общения неуклонно идет в направлении разработки и использования языков все более высокого уровня, в максимальной степени приближающихся к естественным человеческим языкам (в понятиях общения между людьми это означает стремление по возможности говорить с собеседником на его собственном или удобном для него языке);

б) пользователю предоставляется множество средств самостоятельно настраивать системы в соответствии со своими потребностями, возможностями, вкусами: настройка рабочего стола, клавиатуры, разрешения экрана, выбор устанавливаемых по умолчанию форматов, режимов, состава вызываемых программ и т. д. и т. п. (в понятиях общения между людьми это означает

предельный учет интересов партнера и предоставление ему преимущественных прав принимать решение в возникающих ситуациях выбора);

в) в процессе работы пользователь обычно имеет возможность отменять не удовлетворившие его собственные решения, действия, возвращаться при желании к предшествующим состояниям и инициировать новые (система, говоря бытовым языком, «не вредничает», она очень покладиста);

г) в ситуациях, когда пользователь совершает операции необратимого характера (например, окончательно удаляет из машинной памяти какую-то информацию, прекращает работу какой-либо программы и т. п.), система обычно обращает внимание пользователя на возможность нежелательных для него последствий, просит подтвердить, что именно такое действие он собирается осуществить (это, конечно, предупредительность, забота об интересах собеседника);

д) обладая огромной собственной скоростью действий, система не торопит пользователя, она готова ждать очередного его коммуникативного хода столько времени, сколько ему требуется для принятия решения (переводя на язык человеческих отношений, можно сказать: система помнит, что она существует для пользователя, а не он для нее);

е) система строится так, чтобы быть максимально понятной пользователю, она сообщает, чем она занята в данный момент, какие совершает операции, почему та или иная команда пользователя временно не может быть выполнена и т. п. (это непрерывность и открытость общения);

ж) обладая возможностью сообщать пользователю огромные объемы самой разной информации, имеющей отношение к выполняемой пользователем работе, система тем не менее стремится не перегружать его лишними сведениями (один из постулатов кооперативного общения между людьми гласит: не сообщай партнеру больше информации, чем ему требуется, но и не будь излишне экономным, не сообщай меньше, чем ему требуется);

з) в систему встраиваются справки, справочники, подсказки общего и ситуативного (привязанного к особенностям текущего момента общения) характера, однако обращение к ним регулируется

самим пользователям (система, скажем так, предупредительна, но ненавязчива);

и) системе можно доверять тайны, она готова поддерживать конфиденциальность общения, если этого желает пользователь.

Здесь перечислены, конечно, не все проявления содержательной стороны вежливости в человеко-машинном и, видимо, в просто человеческом общении. Но и то, что названо, уже позволяет сказать, что существует большое сходство между человеко-машинным и собственно человеческим общением (иначе и не может быть, поскольку человеко-машинное общение является по своей сути особым образом опосредованным общением между людьми) и что доброжелательность коммуникации заключается прежде всего в ее ориентации на интересы адресата и в предоставлении ему преимущественных прав выбора, когда возникает возможность и/или необходимость выбирать.

Ориентация говорящего (пишущего) на интересы, коммуникативные возможности, культурную специфику адресата соответствует основному содержанию толерантности как принципа действий, ведущих к миру и согласию. Каковы, однако, лингвокультурные пределы этой ориентации? Не случайно, говоря об истории культуры речи как лингвистической дисциплины, Е. Н. Ширяев справедливо отмечает, что процессы демократизации речи связаны с расшатыванием нормы и обязательно сменяются перемещением центра тяжести на нормализаторское направление работы [Ширяев 1991]. Не вступает ли принцип толерантности в противоречие с самой идеей нормированности литературной речи, не ведет ли к размыванию ее правильности и тем самым к ослаблению коммуникативных возможностей?

По-видимому, не ведет, если рассматривать языковые страты исторически конкретно, исходить из реального, а не воображаемого соотношения литературной речи с другими социально-функциональными компонентами языка и соответственно этому строить языковую политику в области культуры речи.

К сожалению, русистика в значительной мере остается односторонне «литературноцентричной», то есть недостаточно учитывает реальности социально-функциональной стратификации современного русского языка: литературный язык рассматривается

как безусловно высшая форма существования языка, ему приписывается свойство универсальности, якобы делающее ненужными другие варианты русской речи (прежде всего диалекты и жаргоны); современное обучение в российских школах ориентировано только на литературный язык и игнорирует жизненную необходимость и ценность других разновидностей языка (отдельные факультативы и спецкурсы, посвященные другим вариантам русской речи, издание популярных работ о языковых особенностях различных регионов, редкие теле- и радиопередачи популярного характера о народной речи не меняют ситуации в целом); городская культура образованных людей объявляется самодостаточной, а незнание богатств народной речи (этому можно только удивляться) не считается сейчас недостатком общей культуры человека. Вместе с тем опыт стран (Великобритания, Германия, Япония и др.), где речь на диалекте во многих ситуациях рассматривается прежде всего как выражение патриотизма, подчеркнутой народности и близости к слушателям, где организовано вещание на диалектах и приняты другие формы их поддержки, свидетельствует о том, что данное положение, сколь привычным ни является оно для россиян и каким естественным на первый взгляд ни кажется, не может считаться ни единственно возможным, ни функционально оправданным, ни, конечно, в достаточной мере демократическим и толерантным.

Исследования последних лет показывают, что в России усилились различия между некоторыми внутринациональными вариантами русской культуры. В частности, выявилось гораздо большее, чем это было раньше, расхождение между ее возрастными подтипами: если до «перестройки» состав прецедентных текстов молодежи и старшего поколения был единым в своей основе и прецедентные тексты молодежи по большей мере являлись частью множества прецедентных текстов старшего поколения, если такое положение представлялось тогда нормальным и даже необходимым, то сегодня по всем известным причинам оно перестало существовать. Сделалось более заметным и естественное в таких условиях несовпадение речевой практики с рекомендациями лингвистов. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить язык значительного числа современных российских СМИ с оценками, которые даются

ему лингвистами и с рекомендациями последних. Развился сленг — «общий жаргон», к которому неприменимы известные сущностные характеристики жаргонов в силу того, что он действительно оказывается «общим» — не групповым, не корпоративным [Ермакова и др. 1999]. Не случайно именно сейчас приобрела особую актуальность теория речевых культур в составе национального языка и обсуждается не только соотношение элитарной, «третьей», народной, традиционно-профессиональной речевых культур, по Н. И. Толстому [1991], но и существование полнофункционального, неполнофункционального, среднелитературного, литературно-жаргонизирующего и обиходного типов речевых культур в границах речевой культуры, ориентированной на литературный язык, — в границах культуры, рассматриваемой обычно как единое целое [Гольдин и др. 2001: 103—11]. Можно спорить о том, по каким признакам они различаются, насколько четки различия между ними, но само их существование едва ли способно вызывать сомнения.

В такой речевой ситуации наряду с традиционными проблемами науки о культуре речи все более явно обнаруживает себя проблема направленности и способов осуществления культурно-языковой политики: эти способы должны быть точно ориентированными, эффективными и одновременно, конечно, толерантными. Найти пути согласования точной ориентированности, эффективности и толерантности в культурно-языковой политике означает придать ей по-настоящему практический характер.

Точно направлять работу в области культуры русской речи при общей ее (работы) толерантности, с нашей точки зрения, в первую очередь означает сегодня требовать соблюдения норм литературной речи там и только там, где литературный язык на самом деле оказывается единственно возможным средством речевой коммуникации (сфера официальных форм общественно-политического и делового общения, сфера науки, сфера образования), допуская в иных сферах использование и других типов речи. Иными словами, не следует отождествлять культуру литературной речи с культурой русской речи в целом, как не следует отождествлять русский язык с его литературным вариантом.

Современная культурно-языковая политика будет в большей мере приближаться к идеальному сочетанию эффективности и толерантности, если поставит себе главными целями, во-первых, давать обществу предельно объективную и полную картину его текущего языкового (речевого) состояния, включая все сферы общения, и, во-вторых, демонстрировать функциональные достоинства и функционально слабые стороны в с е х сосуществующих вариантов русской речи, а не только литературного языка.

Если прилагать данное понимание толерантности культурно-языковой политики к оценке, например, русских народных говоров, то, во-первых, приходится учитывать, что около 27% населения России продолжает жить в сельской местности. Это означает, что не менее четверти россиян, говорящих по-русски, и сегодня постоянно использует диалект или региолект. При этом необходимо принимать во внимание и то, что преобладание городского населения над сельским сложилось в России относительно недавно, в послевоенные годы, и не за счет возросшей рождаемости в городах, а в результате переселения туда массы сельских жителей. Следовательно, некоторая часть городских жителей также продолжает пользоваться диалектом. В совокупности это немалая часть россиян, языковые интересы и возможности которых нельзя игнорировать.

Во-вторых, для правильной ориентации работы в области культуры речи чрезвычайно важен учет того, что для значительной части наших соотечественников диалект той или иной местности — это р о д н а я речь, то есть заложенный в раннем детстве первичный, исходный образ русского слова и первичное же воплощение речевой картины мира, в наибольшей мере обогащенное образными, эмоциональными, оценочными компонентами и коннотациями (утрата родной речи, замена ее вторичной, «выученной», как известно, всегда обедняет интеллектуальную и эмоциональную сферы человека). Существенно, что сегодня, как и раньше, многие из россиян, по-настоящему владея только диалектом (или региолектом), не имели / не имеют возможности в полной мере освоить литературную речь и, по-видимому, — это особенно необходимо учитывать! — не всегда даже испытывают потребность в освоении литературной речи, поскольку диалекты лучше, чем литературный

язык и другие разновидности русского языка, приспособлены к обслуживанию традиционной деревенской коммуникации.

Безусловно, не только принцип толерантного поведения, коммуникативно направленного на «других», но и забота о самом литературном языке требуют помнить, что разнообразие русской диалектной речи — отнюдь не беда, а живительная сила и великое языковое богатство. Значит, дело науки о культуре речи, кроме всего прочего, показывать, в чем именно состоит ценность говоров для всех, говорящих по-русски, а не только защищать литературный язык от влияния этих «функционально и территориально ограниченных вариантов русской речи».

С другой стороны, говоря о современном русском литературном языке, доказывая его необходимость и, несомненно, высочайшее развитие, нельзя не отмечать и его недостатков, хотя бы и являющихся продолжением его достоинств (сохранение большого количества «исключений» как следствие необходимой традиционности, относительно большая доля в текстах отвлеченной лексики при общей ослабленности образности литературного слова, за пределами, конечно, художественных и отчасти публицистических текстов), отсутствие в словаре многих конкретных обозначений природных явлений, событий и свойств, особенностей быта, родственных связей и т. д.

Степень общности литературного и диалектного словарей, на которую постоянно ссылаются, когда требуется подчеркнуть единство русской речи, по-видимому, сильно преувеличена. Так, специальное исследование Н. Г. Ильинской, посвященное глаголам современных архангельских говоров, показало, что не более 20% изученной лексики полностью совпадает по содержанию с глаголами литературного языка. Знаменательно при этом, что около 70% глаголов имеют в своей семантической структуре больше значений, чем соответствующие глаголы литературного языка [Ильинская 2001]. Разработка понятия толерантности в аспекте культуры речи заставляет лингвистов вернуться, как мы видим, к обсуждению того, что же стоит реально за номинацией «русский общенародный язык».

Нельзя не отметить, что в сознании «пишущих россиян» (наши журналисты, писатели) высшим образцом и самым полным и точ-

ным собранием русских народных слов продолжает оставаться словарь В. И. Даля. Забывается время его создания, игнорируются богатейшие собрания более позднего времени, оказываются неведомыми и потому неиспользуемыми многочисленные специальные областные словари. Собранные в них проявления народной мысли, чувств, народного опыта остаются достоянием лишь ученых. Между тем лексические богатства диалектной речи неисчислимы. Так, уже одиннадцатый выпуск «Архангельского областного словаря» содержит около 3000 словарных статей и при этом посвящен еще только массиву *Деловатой* — *Доработаться* [АС 2001]!

Отметим в заключение, что специалист в области культуры речи и нормализатор едва ли имеют право смотреть на русский язык лишь с точки зрения некоторых групп населения (например, с позиции говорящих на литературном языке) или учитывать языковые потребности лишь некоторых, хотя бы и очень важных коммуникативных сфер русского общества, ущемляя тем самым языковые права части населения. Толерантность в вопросах культуры речи требует более полного анализа реальных коммуникативных ситуаций и более всестороннего рассмотрения проблемы. Проблема толерантности как одного из ключевых понятий науки о культуре речи, по-видимому, сегодня уже может быть поставлена, но ее решение — дело будущего.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю. Д.* Коннотация как часть прагматики слова // *Апресян Ю. Д. Избранные труды.* Т. 2. М., 1995.
- Бауман З.* Мыслить социологически. М., 1996.
- Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества // *М. М. Бахтин. Человек в мире слов.* М., 1995.
- Бахтин М. М.* Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997.
- Бердяев Н. А.* Самопознание. М., 1990.
- Брагина А. А.* Лексика языка и культура страны: изучение лексики в лингвокультурологическом аспекте. М., 1981.
- Вежбицкая А.* Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. М., 2001.

Винокур Т. Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Винский Т. Е. Мое время. СПб., 1914.

Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994.

Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. Т. 5. М., 1956.

Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека // Литература в поисках реальности. Л., 1987.

Голев Н. Д. Конфликтность и толерантность как универсальные лингвистические категории // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб., 1998.

Головин Б. Н. Основы культуры речи. М., 1988.

Гольдин В. Е. Языковая норма и функции языка // Язык и общество. Саратов, 1974.

Гольдин В. Е. Этикет и речь. Саратов, 1978.

Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б., Ягубова М. А. Русский язык и культура речи. Саратов, 2001.

Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16.

Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. СПб., 1992.

Данилов С. Ю. Власть и бессилие политдискурса // Политический дискурс в России-4: Материалы раб. совещ. Москва, 22 апр. 2000 г. М., 2000.

Добренко Е. Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997.

Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

Ильинская Н. Г. Общерусское слово в лексикологическом аспекте. М., 2001.

Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.

Иорданская Л. Н., Мельчук И. А. Коннотация в лингвистической семантике // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1980. Bd. 6.

Карасев Л. В. Онтология и поэтика // *Вопр. философии.* 1996. № 7.
Караулов Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности // *Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы.* М., 1986.

Костомаров В. Г. Американская версия лингвострановедения (обзор концепции «культурной грамотности») // *Рус. яз. за рубежом.* 1989. № 6.

Красных В. В. Этнолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. М., 2002.

Крейдлин Г. Е. Стереотипы возраста // *Wiener slawistischer Almanach.* Wien, 1996. Bd. 37.

Кронгауз М. А. Речевые клише: энергия разрыва // *Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской.* М., 1998.

Крысин Л. П. Гипербола в русской разговорной речи // *Проблемы структурной лингвистики.* 1984. М., 1988.

Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996.

Купина Н. А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. Красноярск, 1983.

Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь, 1995.

Купина Н. А. Лингвоидеологические аспекты разговорного текста // *Русская разговорная речь как явление городской культуры.* Екатеринбург, 1996.

Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург, 1999.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М., 1999.

Леонтьев А. А. Россия: многокультурность, многоязычие, толерантность // *Школа-2100.* М., 2002. Вып. 6.

Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба. М., 2002.

Ли Найкунь. Сопоставительное изучение китайской и зарубежной этнографии. Цзинань, 1992.

Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989.

Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994.

Мид М. Культура и мир детства // Мид М. Избранные работы. М., 1988.

Михайлова О. А. Толерантность как лингвокультурологическая категория // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Михальская А. К. Основы риторики. М., 1996.

Мокиенко В. М. В глубь поговорок. М., 1975.

Муравьева Н. В. Речевые механизмы коммуникативных конфликтов: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2002.

Муратова К. В. О вербальных очагах напряжения // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Невзглядова Е. Разговор с Л. Я. Гинзбург // Звезда. 2002. № 3.

Потебня А. А. Язык и народность // Потебня А. А. Мысль и язык. Киев, 1993.

Русская литература XX века в зеркале пародии. М., 1993.

Сандомирская И. Книга о Родине: Опыт анализа дискурсивных практик // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 2001. S.-Bd. 50.

Седов К. Ф. Риторика бытового общения и речевая субкультура // Риторика: Специализированный проблемный журнал о человеческой речи. М., 1996. № 1 (3).

Сендерович С. О чеховской глубине, или Юдофобский рассказ Чехова в свете иудаистической экзегезы // Маркович В. М., Шмид В. Автор и текст. СПб., 1996.

Соллогуб В. Повести. Воспоминания. Л., 1988.

Сорокин Ю. А. Роль этнопсихолингвистических факторов в процессе перевода // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.

Сорокин Ю. Н., Морковина Н. Ю. Опыт систематизации лингвистических и культурологических лакун (методологические и методические аспекты) // Лексические единицы и организация структуры литературного текста. Калинин, 1983.

Стариков В. С. Материальная культура китайцев. М., 1967.

Стернин И. А. Толерантность: слово и концепт // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. конф. Екатеринбург, 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Толстой Н. И. Язык и культура (Некоторые проблемы славянской этнолингвистики) // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 1. М., 1991.

Троицкий В. Филология и воспитание национального сознания // Alma Mater. 1996. № 3.

Уолцер М. О терпимости. М., 2000.

Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. М., 1989.

Черняк В. Д. Речевой портрет носителя просторечия в «наивном письме» // Текст: Узоры ковра: Сб. ст. СПб.; Ставрополь, 1999. Вып. 4. Ч. 1: Общие проблемы исследования текста.

Чуковская Л. Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1997.

Ши Ши. Изучение фразеологии в китайском языке. Чэнду, 1979.

Ширяев Е. Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000.

Ширяев Е. Н. Культура речи как лингвистическая дисциплина // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 1. М., 1991.

Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. «Неисконная русская речь» в восприятии русских // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. Н. Д. Артюнова, И. Б. Левонтина. М., 1999.

Штайн К. Э. Заумь идеологического дискурса в свете лингвистической относительности // Текст: Узоры ковра: Сб. ст. СПб.; Ставрополь, 1999. Вып. 4. Ч. 2: Актуальные проблемы исследования разных типов текста.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.

Bj rklund M. Narrative Strategies in "exov's «The Steppe»: Cohesion, Grounding and Point of View. Ebo, Finland, 1993.

G nther H. Тоталитарная народность и ее источники // Русский текст: (Российско-американский журнал по русской филологии). 1996. № 4.

Leech G. N. Principles of Pragmatics. L.; N. Y., 1983.

Mihaychuk G. The Thread of Consciousness in "exov's «Step»: The Relevance of Discourse Features // Slavic and East European Journal. 1994. Vol. 38. № 4.

Nilsson N. E. Studies in "exov's Narrative Technique: «The Steppe» and «The Bishop». Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968.

Troyat H. "exov. N. Y., 1986.

Tolstoy N. From Susanna to Sarra: "exov in 1886—1887 // *Slavic Review*. 1991. Vol. 50. № 3.

Zybatow L. Russisch im Wandel. Wiesbaden, 1995.

СЛОВАРИ

Апресян Ю. Д., Богуславская О. Ю., Левонтина И. Б., Урысон Е. Б. Новый объяснительный словарь синонимов: Просп. М., 1995.

АС — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецевой. М., 2001.

АРСАС — Англо-русский словарь американского сленга / Пер. и сост. Т. Ротенберг, В. Иванов. М., 1994.

Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.

НБАРС — Новый большой англо-русский словарь: В 3 т. Т. 1 / Под общ. рук. Э. М. Медниковой и Ю. Д. Апресяна. М., 1993.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1.

ТСОШ (Толковый словарь Ожегова, Шведовой) — Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БОРИСОВА Ирина Николаевна — доктор филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

БУРВИКОВА Наталия Дмитриевна — доктор филологических наук. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

ВЕПРЕВА Ирина Трофимовна — кандидат филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ГЛОВИНСКАЯ Марина Яковлевна — доктор филологических наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва, Россия)

ГОЛЕВ Николай Данилович — доктор филологических наук. Барнаульский государственный университет (Барнаул, Россия)

ГОЛЬДИН Валентин Евсеевич — доктор филологических наук. Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, Россия)

ДАНИЛОВ Сергей Юрьевич — кандидат филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ДУНЕВ Алексей Иванович — кандидат филологических наук. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия)

ЕМЕЛЬЯНОВ Борис Владимирович — доктор философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ЕНИНА Лидия Владимировна — кандидат филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ЕРМАКОВА Ольга Павловна — доктор филологических наук. Калужский государственный университет (Калуга, Россия)

ЖДАНОВА Ольга Павловна — кандидат филологических наук. Трехгорный политехнический институт, филиал МИФИ (Трехгорный, Россия)

ЙОКОЯМА Ольга — профессор славянских языков и литератур. Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США)

КОСТОМАРОВ Виталий Гргорьевич — доктор филологических наук. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

КРЫЛОВА Ольга Алексеевна — доктор филологических наук. Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)

КРЫСИН Леонид Петрович — доктор филологических наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва, Россия)

КУПИНА Наталия Александровна — доктор филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ЛЕБЕДЕВА Наталья Борисовна — доктор филологических наук. Барнаульский государственный педагогический университет (Барнаул, Россия)

МАЙДАНОВА Людмила Михайловна — доктор филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

МАРОВ Виктор Никифорович — доктор филологических наук. Львенна — кандидат филологических наук. Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)

ПЕРЦЕВ Александр Владимирович — доктор философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ПИКУЛЕВА Юлия Борисовна — аспирант. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ПОПОВА Татьяна Витальевна — доктор филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

СТЕРНИН Иосиф Абрамович — доктор филологических наук. Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия)

ТРУБИНА Елена Германовна — доктор философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ФЕДОСЮК Михаил Юрьевич — доктор филологических наук. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

ФОРМАНОВСКАЯ Наталия Ивановна — доктор филологических наук. Государственный институт им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

ХАРЧЕНКО Елена Владимировна — кандидат педагогических наук. Институт языкознания РАН (Москва, Россия)

Хомяков Максим Борисович — доктор философских наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ЦУН Япин — профессор факультета русского языка колледжа иностранных языков Шаньдунского университета (Китай)

ЧЕПКИНА Элина Владимировна — доктор филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ШАЛИНА Ирина Владимировна — кандидат филологических наук. Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ШКАТОВА Людмила Александровна — доктор филологических наук. Челябинский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург, Россия)

ШМЕЛЕВА Елена Яковлевна — кандидат филологических наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва, Россия)

ШМЕЛЕВ Алексей Дмитриевич — доктор филологических наук. Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)



Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была инициирована Министерством образования и науки РФ, «ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США) в 2000 г.

Целью Программы является расширение сферы научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных школ и содействие становлению новых научных коллективов в области общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.

Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе — Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных университетов. «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных институтов общественных наук.

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные исследования и поддержку академической мобильности.

Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается созданию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные конференции, семинары, круглые столы; организуются международные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследовательских работ грантополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций.

Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231

Электронная почта: info@ino-center.ru

Адрес в Интернете: www.ino-center.ru, www.iriss.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» — российская благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активности и научного потенциала российского общества.

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация научных исследований в области политологии, социологии, отечественной истории, экономики, права; разработка и организация научно-образовательных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содействие институциональному развитию научных и образовательных институтов в России; поддержка развития межрегионального и международного научного сотрудничества.

Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. Кеннана, Джеймса Биллингтона, и Фредерика Старра как подразделение Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX века, который благодаря своим стараниям и книгам о России сыграл важную роль в раз-

витии лучшего понимания американцами этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению американского представления о России и других странах бывшего СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится распространять знания, не отдавая предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам.

Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире».

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги являются: образование, обеспечение международной безопасности и разоружения, международное развитие, укрепление демократии.

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической миссией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее работе.

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу продолжения содействия развитию мирового сообщества.

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) — частная благотворительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда находится в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих; осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распространению результатов, просвещения и профессиональной подготовки, и практической деятельности.

Научное издание

ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Коллективная монография

Художественное оформление серии

А. Л. Бондаренко

Редактор *В. И. Первухина*

Младший редактор *Н. Пастухова*

Художественный редактор *Л. Чернова*

Компьютерная верстка *О. Соловова*

Корректор *Н. Боброва*

Подписано в печать 25.08.05.
Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура Ньютон. Печать офсетная.
Усл. п. л. 34. Тираж 1000 экз. Изд. № 05-7505. Заказ № 962.

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»
129075, Москва, Звездный бульвар, 23.
«ОЛМА-ПРЕСС» входит в группу компаний
ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
127473, Москва, Краснопролетарская, 16